

Слово и обѣкт
Word and objekt

Уиллард Ван Орман Куайн
Willard Van Orman Quine

2000

Издание выпущено при поддержке Института «Открытое общество»
(Фонд Сороса) в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека»

This edition is published with the support of the Open Society Institute
within the framework of «Pushkin Library» megaproject

Редакционный совет серии «Университетская библиотека»:
Н. С. Автономова, Т. А. Алексеева, М. Л. Андреев, В. И. Бахмин,
М. А. Веденяпина, Е. Ю. Гениева, Ю. А. Кимелев, А. Я. Ливергант,
Б. Г. Капустин, Ф. Пинтер, А.В. Полетаев, И. М. Савельева, Л. П. Репина,
А. М. Руткевич, А. Ф. Филлипов

«University Library» Editorial Council:
Natalia Avtonomova, Tatiana Alekseeva, Mikhail Andreev,
Vyacheslav Bakhmin, Maria Vedeniapina, Ekaterina Genieva, Yuri Kimelev,
Alexander Livergant, Boris Kapustin, Frances Pinter, Andrei Poletayev,
Irina Savelieva, Lorina Repina, Alexei Rutkevich, Alexander Filippov

Куайн Уиллард Ван Орман

Слово и объект. Перевод с англ. М.: Логос, Праксис, 2000. 386 с.

Книга представляет собой первое опубликованное на русском языке издание избранных работ крупнейшего аналитического философа XX века Уилларда Ван Ормана Куайна. Публикуемая в данном издании основополагающая работа американского философа «Слово и объект» внесла огромный вклад в философию языка. Книга будет интересна не только для философов, но также и для лингвистов, психологов, специалистов в области когнитивных наук и всех, кто интересуется современной философией.

ISBN-5-8163-0024-5

(с) Перевод с англ. яз. А. З. Черняк, Т. А. Дмитриев.

(с) Художественное оформление А. Кулагин, А. Эльконин

(с) Издательская группа «Праксис», 2000.

(с) Издательство «Логос», 2000.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
1 Язык и истина	7
1.1 Начиная с обычных вещей	7
1.2 Тяга к объективному; или Ex pluribus unum	10
1.3 Взаимооживление предложений	12
1.4 Способы выучивания слов	16
1.5 Данные	18
1.6 Постулированные сущности и истина	21
2 Перевод и значение	25
2.1 Первые шаги радикального перевода	25
2.2 Стимуляция и стимульное значение	28
2.3 Ситуативные предложения. Вклинивающаяся информация	32
2.4 Предложения наблюдения	35
2.5 Внутрисубъектная синонимия ситуативных предложений	39
2.6 Синонимия терминов	43
2.7 Переводя логические связи	47
2.8 Синонимичные и аналитические предложения	50
2.9 Аналитические гипотезы	55
2.10 О неспособности понять неопределенность	58
3 Онтогенез референции	64
3.1 Слова и качества	64
3.2 Фонетические нормы	67
3.3 Разделенная референция	71
3.4 Предикация	74
3.5 Демонстративы. Атрибутивы	78
3.6 Относительные термины. Четыре фазы референции	82
3.7 Относительные простые предложения. Неопределенные единичные термины	85
3.8 Тожество	89
3.9 Абстрактные термины	91
4 Причуды референции	96
4.1 Смутность	96
4.2 Двусмысленность терминов	98
4.3 Некоторые двусмысленности синтаксиса	102
4.4 Двусмысленность охвата	105
4.5 Непрозрачность референции	108
4.6 Непрозрачность и неопределенные термины	111
4.7 Непрозрачность в определенных глаголах	115

5 Категоризация	120
5.1 Цели и требования категоризации	120
5.2 Кванторы и другие операторы	123
5.3 Переменные и референциальная непрозрачность	126
5.4 Время. Ограничение общих терминов	129
5.5 Новый разбор имен	133
5.6 Примирительные замечания. Устранение единичных терминов	137
5.7 Определение и двойная жизнь	141
6 Бегство от интенционала	144
6.1 Пропозиции и вечные предложения	144
6.2 Модальность	147
6.3 Пропозиции как значения	150
6.4 На пути к отказу от интенциональных объектов	154
6.5 Другие объекты установок	157
6.6 Двойной стандарт	162
6.7 Диспозиции и условные предложения	165
6.8 Каркас для теории	169
7 Онтическое решение	174
7.1 Номинализм и реализм	174
7.2 Ложные предпочтения. Онтическое обязательство	177
7.3 Entia non grata	181
7.4 Предельные мифы	184
7.5 Геометрические объекты	186
7.6 Упорядоченная пара как философская парадигма	190
7.7 Числа, сознание и тело	194
7.8 Зачем классы?	197
7.9 Семантическое восхождение	200
Примечания	204
Библиография	207

РУДОЛЬФУ КАРНАПУ

Учителю и другу

Мы подобны мореплавателям, которые вынуждены перестраивать свой корабль в открытом море, не имея возможности поставить его в док и заново собрать из лучших частей.

ОТТО НЕЙРАТ

Онтология повторяет филологию.

ДЖЕЙМС МИЛЛЕР

ПРЕДИСЛОВИЕ

Язык – это социальное искусство. Обучаясь языку, мы полностью зависим от интерсубъективно доступных указаний, что говорить и когда. Поэтому нет никакого иного способа сравнения лингвистических значений, нежели как в терминах предрасположенностей людей к открытой реакции на социально наблюдаемые стимулы. Результатом признания этого ограничения является то, что проблема перевода сталкивается с систематической неопределенностью. Это затруднение – основная тема главы 2.

Неопределенность перевода затрагивает также и вопрос, относительно каких объектов термин должен считаться истинным. Исследования в области семантики референции в силу этого оказались имеющими смысл лишь постольку, поскольку они направлены на наш язык, от начала и до конца. Однако мы все же вправе рассмотреть, пусть и с известными ограничениями, развитие и структуру нашего аппарата референции; собственно говоря, именно этим я и занимаюсь в нижеследующих главах. Прибегая к подобного рода рассмотрению, приходится сталкиваться с различного рода аномалиями и конфликтами, связанными с этим аппаратом (глава 4); в силу этого приходится прибегнуть к средствам, предлагаемым современной логикой (главы 5 и 6). Возможно, удастся добиться ясности также и по вопросу о том, что же, собственно говоря, мы делаем, приписывая чему-либо существование, а также по вопросу о том, какого рода соображениями мы должны были бы руководствоваться, принимая подобного рода решения. Об этом речь идет в главе 7.

Шесть лекций памяти Дэвида Гэвина Янга по философии, прочитанные мной в Университете Аделаиды в июне 1959 г., вошли в мою книгу в качестве отдельных частей. Также я использовал при ее написании отдельные фрагменты из лекций, прочитанных мной в Токийском университете в июле и августе того же года. Сокращенный вариант последней главы был прочитан в качестве Ховисоновской лекции по философии в Калифорнийском университете в Беркли в мае 1959 г., а отдельные разделы глав со 2-ой по 6-ую составили те пять лекций, что были прочитаны мною в Стэнфордском университете в апреле того же года.

Годом раньше я подготовил выступление для четвертого философского симпозиума в Ройамоне (Royumont), а также для моего президентского обращения, направленного восточному отделению Американской философской ассоциации. Еще годом раньше, в 1956–1957 г., я представил предварительные варианты некоторых частей главы 2 в виде отдельных лекций, прочитанных в четырех учреждениях: в Принстонском университете, в институте Высших Исследований, в Колумбийском университете, и в Пенсильванском университете. Курс по философии языка, читанный мной десять раз за послевоенные годы, представляет десять этапов в создании книги; еще один этап написания книги знаменуется курсами, прочитанными мной в качестве приглашенного профессора на кафедре Джорджа Истмэна в 1953–1954 г. в Оксфордском университете и моими Шермановскими лекциями, прочитанными в университетском колледже в Лондоне в 1954 г.

Три публикации, возникшие в ходе работы над книгой, частично пересекаются с ее текстом. Две из них указаны в начале §§ 2.1 и 3.3. Третья – это статья «Миф значимости» ('Le mythe de la signification'), которая должна быть опубликована в работах симпозиума в Ройамоне. Следует отметить также еще три нынешние статьи, в которых получили дальнейшее развитие важные понятия, использованные в книге. Первая – это «Предмет и язык науки»,

которая составляет часть программы, приуроченной к двухсотлетию Колумбийского университета 1954 г. и была опубликована в «Британском журнале по философии науки» в 1957 г. Две другие – это статьи «Кванторы и пропозициональные установки», опубликованная в 1956 г. в «Философском журнале», и «Логическая истина», опубликованная в книге под редакцией Хука «Американские философы за работой».

Выгода, извлеченная мною из годовичного отпуска, предоставленного Гарвардским университетом для научной работы, наряду с щедрым фантом, полученным от Института Высших Исследований в Принстоне, позволили мне посвятить 1956–1957 г. написанию книги в качестве сотрудника этого института. Сходная щедрость, проявленная по отношению ко мне Фондом Форда, позволила мне посвятить тому же самому занятию 1958–1959 г., но уже в качестве стипендиата Центра Высших Исследований в области наук о поведении в Стэнфорде. Я с огромным признанием благодарен я эту поддержку. Вдобавок я хотел бы поблагодарить Фонд Рокфеллера за грант, который позволил мне пользоваться услугами машинистки в те годы, когда услуги подобного рода в Институте и в Центре были недоступны для меня.

Прошлой зимой я имел удовольствие общаться с Дональдом Дэвидсоном, который познакомился с первоначальными набросками рукописи и весьма помог мне как своей толковой критикой, так и обстоятельным знанием литературы. Книга была значительно улучшена благодаря его помощи; кроме того, первая часть моей книги была существенно доработана благодаря мудрой критике моего коллеги Бартона Дребена. В ходе работы над книгой мне помогали своими советами и критическими замечаниями и многие другие друзья, в их числе Джон Остин, К. А. Бейлис, Л. Бинкли, Алонзо Чёрч, Дж. К. Кули, Раймон Фёрт, Нельсон Гудмен, Жозеф Гринберг, Х. П. Грайс, К. Г. Гемпель, Роман Якобсон, Дж. Дженкинс, Георг Крейзель, Т. С. Кун, К. Ф. Осгуд, Хилари Патнэм, П. Ф. Стросон, Мортон Уайт, Оскар Зариски и Пол Зиф. Я весьма признателен Якобсону за постоянную поддержку и помощь, оказанную он как издателем данной серии книг мне оказал.

УИЛЛАРД ВАН ОРМАН КУАЙН

Стэнфорд, Калифорния

3 июня 1959 г.

1.1 Начиная с обычных вещей

Этот знакомый письменный стол дает знать о своем присутствии, сопротивляясь моим воздействиям и преломляя лучи света, попадающие в мои глаза. Физические вещи, как бы ни были они от нас отдалены, обычно становятся известными нам благодаря воздействиям, в производстве которых на наши органы чувств они принимают участие. Все же общепринятым способом говорить о физических вещах остается способ, не использующий преимуществ, которые дают объяснения в более точных чувственных терминах. Разделение мира на сущности начинается уже на расстоянии вытянутой руки; опорными точками в исходной концептуальной схеме являются зрительно воспринимаемые вещи, а не впечатления от них. В этом нет ничего удивительного. Каждый из нас перенимает свой язык от других людей посредством наблюдаемой артикуляции слов при наличных intersubjectивных условиях. Лингвистически, а следовательно, и концептуально вещи, прежде всего попадающие в зону нашего внимания, являются достаточно публичными для того, чтобы о них можно было рассуждать публично; они являются достаточно обычными и заметными для того, чтобы о них можно было говорить часто, и достаточно доступными органам чувств для того, чтобы их можно было быстро идентифицировать и выучивать по именам. Именно эти вещи обозначаются словами чаще всего.

Разговор о субъективных чувственных качествах обычно носит производный характер. При попытке описать особенное чувственное качество обычно приходится ссылаться на общедоступные вещи: описывать цвет как цвет апельсина или гелиотропа, а запах – как запах тухлых яиц. Точно так же, как человек лучше всего видит свой нос в зеркале, отойдя от последнего на дистанцию половины оптимального фокусного расстояния, свои чувственные данные он лучше всего идентифицирует, воспроизводя их из внешних объектов.

Находясь под впечатлением того факта, что мы познаем внешние вещи только опосредованно, при помощи наших органов чувств, философы начиная с Беркли занялись устранением физикалистских предположений и выделением чувственных данных в чистом виде. Но даже если мы пытаемся получить данные, не затронутые интерпретацией, то обнаруживаем, что зависим от взглядов, которые бросаем в сторону естественной науки. Мы можем, вместе с Беркли, придерживаться того мнения, что мгновенные данные зрения состоят из цветов, расположенных в пространственном многообразии двух измерений; однако мы приходим к этому заключению посредством рассуждения, отталкиваясь от двумерности зрительной поверхности или замечая иллюзии, которые могут порождаться двумерными артефактами (такими, как картины и зеркала), или, более абстрактно, просто замечая, что распространению света в пространстве с необходимостью должно мешать столкновение с поверхностью. Мы можем также считать, что мгновенные звуковые данные являются группами компонентов, каждый из которых представляет собой функцию только двух переменных – высоты и громкости, – однако при этом учитывается и наше знание физических переменных частоты и амплитуды в выступающей в роли стимула струне.

Мотивирующее понимание, а именно наша способность познавать внешние вещи только благодаря их воздействиям на наши нервные окончания, само основывается на нашем общем

знании способов поведения физических объектов – освещенных столов, отраженного света, испытывавших воздействие сетчаток. Неудивительно, что поиск чувственных данных должен руководствоваться тем же видом знания, который вызывает его.

Учитывая все вышеизложенное, наш философ может все же попытаться выделить, в духе рациональной реконструкции, чистый поток чувственного опыта и затем изобразить физическую доктрину как средство систематизации регулярностей, различимых в этом потоке. Он может вообразить идеальный «протокольный язык», который, даже если он в действительности выучен на основе разговора о физических вещах в духе здравого смысла или же не выучен вообще, несомненно, является первичным: нарочито безыскусным средством передачи неприукрашенных данных. В этом случае он мог бы в принципе рассматривать разговор об обычных физических вещах как средство упрощения этого беспорядочного объяснения происходящего.

Однако подобным образом изображать суть дела ошибочно, причем даже в том случае, когда идея «языка» чувственных данных честно считается метафорой. Поскольку проблема заключается в том, что непосредственный опыт в качестве самостоятельной области просто-напросто не будет связным. Его в значительной степени объединяют именно указания (*references*) на физические объекты. Такие указания не являются лишь несущественными рудиментами изначально интерсубъективного характера языка, от которых можно избавиться при помощи изобретения искусственно субъективного языка чувственных данных. Скорее они обеспечивают нам непрерывный доступ к самим прошлым чувственным данным; поскольку прошлые чувственные данные по большей части исчезают навсегда, за исключением тех, память о которых запечатлевается в физических постулируемых сущностях. Все, чем мы располагаем помимо постулируемых сущностей и теоретических предположений, – это наши нынешние чувственные данные и наши нынешние воспоминания о прошлых чувственных данных; а оставленные чувственными данными в памяти следы слишком слабы для того, чтобы как-то себя проявить. Настоящие воспоминания являются по большей части следами не прошлых ощущений, а прошлых концептуализаций или вербализаций¹.

Поэтому есть все основания исследовать чувственные или связанные со стимулами предпосылки обыденного разговора о физических вещах. Ошибка кроется лишь в поисках неясной подосновы концептуализации, или языка. Концептуализация на любом значимом уровне неотделима от языка, и наш обыденный язык физических вещей является базисным почти настолько, насколько это только возможно для языка.

Нейрат уподобил науку лодке, которую, если мы хотим перестроить ее, мы должны перестраивать доска за доской прямо на плаву. Философ и ученый находятся в одной и той же лодке. Если мы усовершенствуем наше понимание обыденного разговора о физических вещах, то произойдет это вовсе не благодаря сведению этого разговора к более знакомой идиоме; таковой вообще не существует. Это произойдет благодаря прояснению отношений, причинных и иных, существующих между обычным разговором о физических вещах и различными иными предметами, которые мы, в свою очередь, постигаем с помощью обыденного разговора о физических вещах.

На этом фоне представляется, что идея, будто общераспространенный способ говорить о знакомых физических вещах обычно понимается не сам по себе, или что знакомые физические вещи не являются реальными, или что доказательства их существования нуждаются в раскрытии, является определенным вербальным извращением. Поскольку очевидно, что ключевые слова «понимается», «реальный» и «доказательство» в данном случае слишком плохо поняты, чтобы вынести такого рода наказание. Нам всего лишь следовало бы лишить их тех самых денотатов (*denotations*), которым они обязаны подобными смыслами, свойственным им с нашей точки зрения. Так лексиколог д-р Джонсон доказывал реальность камня, пиная его; и по крайней мере находящиеся в нашем распоряжении средства не столь сильно отличаются от тех, что были под рукой у д-ра Джонсона. Область реального, возможно, и не исчерпыва-

¹См.: Chisholm. Perceiving, p. 160.

ется знакомыми физическими объектами, однако они являются ее наиболее примечательными примерами.

Есть, однако, философы, которые преувеличивают эту мысль, рассматривая обыденный язык как что-то священное и неприкосновенное. Они превозносят обыденный язык вплоть до того, что исключают одну из его собственных характеристик: – предрасположенность к эволюции. Научный неологизм сам представляет собой результат лингвистической эволюции, ставший осознанным, точно так же, как наука представляет собой осознавший себя здравый смысл. В свою очередь, философию как попытку дать себе более ясный отчет о вещах не следует отличать – с точки зрения характерных особенностей ее цели и метода – от хорошей и плохой науки.

В частности, в том случае, если мы преуспеем в организации и упорядочивании различных речевых оборотов, используемых в так называемых утверждениях существования, то обнаружим, что некоторые из них играют ключевую роль в структуре, становящейся все более систематичной; а затем, действуя в стиле, типичном для научного поведения, мы будем предпочитать эти идиомы как утверждения существования («строго говоря»). Кое-кто (хотя сами мы не будем так поступать) может даже успокоиться, открыв для себя то обстоятельство, что самое гладкое и наиболее адекватное всеобъемлющее описание мира в конечном счете не приписывает существование обычным физическим вещам в этом уточненном смысле существования. Такие возможные отклонения от джонсоновского употребления могли бы отдавать духом науки и даже эволюционным духом самого обыденного языка.

Наша лодка остается на плаву потому, что при каждой перестройке мы сохраняем груз в целостности – в этом наша забота. Наши слова продолжают обладать понятным смыслом благодаря непрерывным изменениям в теории: мы искажаем способы употребления достаточно постепенно для того, чтобы избежать разрывов. И точно также в самом начале обстоит дело и с джонсоновским употреблением, поскольку наше исследование объектов может когерентно начаться только в связи с системой теории, которая сама опирается на временно принятые нами допущения относительно объектов. Мы ограничены в отношении начала исследования, даже если мы не ограничены в отношении конца. Если видоизменить метафору Нейрата при помощи метафоры, предложенной Витгенштейном, то можно сказать, что мы можем отбросить лестницу лишь после того, как взобрались по ней наверх.

Итак, пропозицию, согласно которой внешние вещи в конечном счете известны нам только благодаря их воздействию на наши тела, следует считать одной из множества различных соотнесенных друг с другом истин об изначально несомненных физических вещах в физике или в чем-либо еще. Она характеризует эмпирическое значение нашего способа говорить о физических вещах, однако ничего не говорит о референции. Остается еще немало оснований для того, чтобы более тщательно исследовать эмпирическое значение или стимульные условия нашего способа говорить о физических вещах, поскольку подобным образом мы узнаем пределы творческого воображения в науке; и такое исследование не станет хуже от того, что будет проводиться в рамках каркаса тех же самых физических допущений. Никакое исследование невозможно без какой-то концептуальной схемы, и мы можем сохранять и использовать наилучшую из тех, что нам известны, – вплоть до последней подробности квантовой механики, если мы знаем ее и ее предмет.

Анализируя построение теории, как мы хотим, все мы должны начинать с середины. Нашими концептуальными началами являются объекты среднего размера, находящиеся от нас на среднем расстоянии, и наше знакомство с ними и со всем остальным оказывается посередине культурной эволюции человечества. Осваивая это культурное наследие, мы осознаем различие между отчетом и изобретением, субстанцией и стилем, исходной информацией и концептуализацией ненамного больше, чем мы осознаем различие между белками и углеводами в процессе питания. Ретроспективно мы можем провести различие между компонентами, из которых строится теория, точно так же, как мы можем различить белки и углеводы, в то время как мы

живем за счет них. Мы не можем предложение за предложением устранить концептуальные атрибуты и оставить только описание объективного мира; однако мы можем исследовать мир, и человека как часть этого мира, и узнать, какой информацией он может обладать о том, что происходит вокруг него. Вычитая вот эту информацию из его мировоззрения, мы получаем в остатке чистый вклад человека. Этот остаток характеризует степень концептуальной суверенности человека – ту область, в пределах которой он может пересмотреть теорию, сохранив при этом данные.

Поэтому в этой вводной главе я предлагаю, в общем виде, рассматривать наш разговор о физических феноменах как физический феномен и наши научные представления – как деятельность в пределах того мира, который мы себе представляем. Последующие главы будут содержать более детальное рассмотрение.

1.2 Тяга к объективному; или *Ex pluribus unum*¹

«Ой» представляет собой однословное предложение, которое человек может время от времени использовать в качестве краткого комментария происходящего. Правильными случаями его употребления являются те, что сопровождаются болевой стимуляцией. Такое употребление слова, как и правильное употребление языка вообще, прививается индивиду обществом; и общество добивается этого, несмотря на то что оно не может почувствовать боль индивида. Метод общества состоит в поощрении произнесения «Ой» в том случае, когда индивид выказывает некоторые дополнительные свидетельства внезапного дискомфорта, скажем морщится от боли, или если видно, что он действительно подвергается насилию, и в порицании высказывания «Ой» в том случае, когда говорящий не подвергается видимому насилию и сохраняет видимое спокойствие.

Для человека, который выучил свой языковой урок, некоторые из стимулов для произнесения «Ой» могут быть публично наблюдаемыми ударами и порезами, тогда как другие будут скрыты от публичного наблюдения в его внутренностях. Общество, реагируя исключительно на внешние проявления, способно тем не менее натаскать индивида говорить надлежащие с точки зрения общества вещи в ответ даже на скрытые от общества стимуляции. Это зависит от предварительного соупутствия скрытой стимуляции наблюдаемому поведению, которое находит свое выражение, в частности, в инстинкте морщиться от боли.

Мы можем представить себе первоначальное употребление «Красное» в качестве однословного предложения, довольно равнозначного предложению «Ой». Точно так же как «Ой» представляет собой замечание, уместное в случае наличия болевой стимуляции, так и «Красное» при том употреблении, которое я сейчас воображаю, представляет собой замечание, уместное в случае наличия тех определенных фотохимических реакций, которые происходят у нас на сетчатке под воздействием красного света. В этом случае метод общества состоит в поощрении произнесения предложения «Красное» в тех случаях, когда индивида видят смотрящим на что-то красное, и в порицании таких произнесений в тех случаях, когда индивида видят смотрящим на что-то еще.

В действительности виды употребления предложения «Красное» оказываются менее простыми. Обычно «красное», в отличие от «Ой», встречается в качестве фрагмента более длинного предложения. Более того, даже когда «Красное» употребляется само по себе в качестве однословного предложения, оно обычно вызывается не просто восприятием чего-либо красного; гораздо чаще имеет место какой-то вербальный стимул в форме вопроса. Но давайте на время обратимся к тому воображаемому виду употребления, что был описан в предыдущем параграфе; поскольку он, благодаря своему сходству с «Ой», поможет нам найти и определенное различие.

¹ Из многого – единое (лат.).

Критик, выступая от имени общества, одобряет произнесение субъектом предложения «Красное», если он видит субъекта и наблюдаемый им объект и находит, что этот объект действительно красный. Отчасти поэтому информация, которой критик располагает, – это красное раздражение его собственной сетчатки. Между информацией субъекта для произнесения и информацией критика для одобрения в случае с предложением «Красное» достигается частичная симметрия, которая, к счастью для критика, отсутствовала в случае с предложением «Ой». Наличие частичной симметрии в одном случае и ее отсутствие в другом намекает на некий достаточно поверхностный смысл, в котором о предложении «Ой» можно говорить как о более субъективном – в отношении своей референции – по сравнению с предложением «Красное»; «Красное» является более объективным по своей референции, чем «Ой».

С обеих сторон возможны исключения. Если критик и субъект вместе борются с огнем и внезапно оказываются обожженными одной и той же внезапной вспышкой пламени, то одобрение критиком предложения «Ой», произнесенного субъектом, не отличается в сколь угодно значимой степени от одобрения, высказанного критиком в рассмотренном случае с предложением «Красное». И наоборот, критик может одобрить предложение «Красное» на основании косвенных данных, не имея возможности взглянуть на объект самому. Если мы называем предложение «Ой» более субъективным, чем предложение «Красное», то нас следует считать обращающимися к наиболее характерным ситуациям обучения. В случае с предложением «Красное» наставник или критик обычно видит красное; в случае же с предложением «Ой» наставник или критик обычно не испытывает боли.

«Ой» зависит от социального обучения. Стоит только уколоть иностранца, и можно будет убедиться, что ‘Ouch’ («Ой») – это английское слово. Однако в его субъективности нет ничего необычайного. Слова – это социальные средства, и объективность является условием их выживания. В том случае когда слово, несмотря на свои субъективные особенности, имеет широкое распространение, как-то местоимения «я» и «ты», можно предположить, что оно имеет важную, в чем-то даже исключительную, социальную функцию. Сохраняющаяся значимость «Ой» с социальной точки зрения заключается в том, чтобы служить указанием на страдание. И все-таки это слово имеет исключительно маргинальный лингвистический статус, поскольку его нельзя включить – в качестве составного элемента – в более длинные предложения.

Обычное поощрение за объективность хорошо иллюстрируется словом «квадратный». Каждый из группы наблюдателей смотрит на кафельную плитку со своей собственной точки зрения и называет ее квадратной; при этом проекция кафельной плитки на сетчатку каждого наблюдателя представляет собой неравносторонний четырехугольник, который геометрически отличается от всех остальных проекций. Обучаемый слову «квадратный» должен попытаться получить одобрение со стороны остальной части общества, и он приходит к тому, что употребляет это слово в согласии с этим остальным обществом. Ассоциация слова «квадратный» исключительно с теми ситуациями, в которых проекция на сетчатку является квадратной, была бы проще для обучения; однако более объективным, по самой своей интерсубъективности, является такое употребление, с которым мы чаще всего сталкиваемся и которое поощряется со стороны общества.

Говоря в общем, если термин должен выучиваться путем индукции от наблюдавшихся частных случаев, к которым он применяется, то частные случаи должны иметь сходство друг с другом в двух отношениях: они должны быть достаточно подобны от случая к случаю с точки зрения обучаемого, чтобы дать ему основания для обобщения случаев сходства, и кроме того, они должны быть достаточно похожими друг на друга одновременно с различных точек зрения, чтобы заставить обучающего и обучаемого считать соответствующие случаи одними и теми же. Термин, употребление которого ограничивается указанием на квадратную проекцию на сетчатку, соответствовал бы только первому требованию; термин, который употребляется для обозначения физических квадратов во всех неравносторонних проекциях, соответствует обоим. И он соответствует обоим требованиям в том же смысле, а именно в том, что точки зрения, доступные обучаемому от случая к случаю, похожи на точки зрения, доступные

обучающему и обучаемому при одновременно происходящих событиях. Так обычно обстоит дело с терминами, используемыми для обозначения доступных для наблюдения физических объектов вообще; и именно поэтому такие объекты находятся в фокусе референции и мысли.

«Красный», в отличие от «квадратного», представляет собой тот счастливый случай, при котором практически все наблюдатели одновременно находятся в схожих стимульных условиях. Сетчатки всех вовлеченных наблюдателей возбуждаются в принципе одним и тем же красным светом, в то время как никакие два наблюдателя не могут получить геометрически подобные проекции квадрата на своей сетчатке. Таким образом, тяга к объективности представляет собой сильное отталкивание от субъективно простейшего правила ассоциации в случае со словом «квадратный» и в значительно меньшей степени – в случае со словом «красный». Отсюда и возникает наша готовность считать цвет чем-то более субъективным по сравнению с физической формой. Однако же, подобного рода тяга к объективности имеет место даже в случае со словом «красный» – постольку, поскольку заставляют красный объект отбрасывать в чем-то различные оттенки на различные точки зрения. Тяга к объективности все равно ограничит все ответы словом «красное», задействовав множество корректирующих исправлений. Причем совершенство нашей социализации таково, что эти корректирующие исправления по большей части происходят бессознательно; и даже художник должен научиться отбрасывать их в тех случаях, когда он пытается воспроизвести правильно то изображение на сетчатке, которое у него имеется.

То единообразие, что объединяет нас при коммуникации и в наших убеждениях, есть единообразие полученных в результате обучения, накладываемых на хаотичное субъективное многообразие связей между словами и опытом. Единообразие появляется там, где оно имеет социальную значимость; поэтому оно возникает скорее при интересубъективно наблюдаемых обстоятельствах произнесения, нежели чем при обстоятельствах, доступных для наблюдения только одному лицу. В качестве предельно заостренной иллюстрации этой проблемы рассмотрим двух людей, один из которых имеет нормальное зрение, а другой не различает красный и зеленый цвет. Общество натаскивает обоих при помощи указанного выше метода: поощряя произнесение слова «красный» в том случае, когда говорящего видят смотрящим на что-то красное, и наказывая его в противоположном случае. Более того, социально наблюдаемые результаты оказываются почти что сходными; оба человека достаточно успешно приписывают [предикат] «красный» только красным вещам. Однако личные механизмы, при помощи которых оба достигают этих сходных результатов, весьма отличаются друг от друга. Первый выучил слово «красное», ассоциируя его с регулярным фотохимическим воздействием. Другой же мучительно выучился произносить «красное» при наличии стимуляции в виде световых волн определенной длины (красного и зеленого), сопровождающихся достаточно сложными своеобразными комбинациями дополнительных условий в виде интенсивности, насыщенности, формы и фона, с тем чтобы принимать огонь и закат, но исключать траву; принимать цветы, но исключать листья, и признавать омаров лишь после того, как их сварили.

Разные люди, обученные одному и тому же языку, напоминают разные кусты в саду, подстриженные так, чтобы они приняли форму одинаковых слонов. Анатомические детали прутьев и веток будут по-разному выполнять свои функции составления этой формы для различных кустов, однако внешние результаты будут в целом сходными.

1.3 Взаимооживление предложений¹

«Ой» было однословным предложением. «Красное» и «Квадратное», если они употребляются в изоляции, также удобно считать предложениями. Большинство предложений длиннее. Однако даже и более длинное предложение все же может выучиваться как единое целое, напо-

¹Оборот заимствован у Ричардса.

добие «Ой», «Красное» и «Квадратное», благодаря тому, что некоторая чувственная стимуляция непосредственно обуславливает произнесение всего предложения в целом. Свойственные философии Юма проблемы, касающиеся того, как мы приобретаем различные идеи, зачастую можно обойти, представляя соответствующие слова просто в качестве фрагментов предложений, выученных как единое целое.

Не то чтобы все или большинство предложений выучиваются как целое. Скорее большинство предложений строится из уже выученных частей по аналогии с прежде имевшим место использованием этих частей в составе других предложений независимо оттого, были ли они выучены как целое или нет¹. Какие предложения получены путем такого синтеза по аналогии, а какие непосредственно в качестве единого целого – это проблема, затрагивающая биографию, и притом забытую, каждого индивидуума.

Ясно, как новые предложения могут быть построены из старых материалов и при соответствующих обстоятельствах задействованы просто благодаря аналогиям. Будучи непосредственно обусловлен применять «Нога» (или «Это – моя нога») как предложение и «Рука» – подобным же образом, а «У меня болит нога» – как целое, ребенок вполне может произносить: «У меня болит рука» – в соответствующей ситуации, не имея при этом никакого предшествующего опыта употребления этого последнего предложения.

Но задумайтесь о том, как бы мало мы могли сказать, если бы наше обучение предложениям было строго ограничено только двумя способами: (1) выучиванием предложений целиком путем прямого их обуславливания соответствующими невербальными стимуляциями и (2) построением последующих предложений из предшествующих путем подстановки по аналогии, описанной в предшествующем абзаце. Предложения, полученные первым способом, таковы, что каждое из них имеет свой особенный диапазон допустимых стимульных ситуаций, независимо от более широкого контекста. Предложения, полученные вторым способом, в значительной степени похожи на предложения, полученные первым способом; правда, они выучиваются быстрее, но не в меньшей степени могут быть выучены и первым способом. Таким вот образом ограниченная речь удивительно напоминала бы голые отчеты о чувственных данных.

В этом случае была бы вполне уместна тяга к объективному, описанная в § 1.2. Стимуляции, вызывающие «Это – квадратное», включали бы в себя неестественно много удобно расположенных искаженных проекций, требуемых воздействием со стороны общества. Все же эффект от этой тяги к объективному сам по себе является поверхностным, простым искривлением систематизации, искажением фальсификацией в интересах общества набора стимуляций, каждая из которых фиксирует восприятие. Наша идиома в значительной степени осталась бы идиомой того неадекватного вида, что была описана в § 1.1: нарочито безыскусное средство сообщения неприкрашенных новостей. Как было там отмечено, не было бы какого-либо доступа к прошлому, помимо ничтожно малых результатов, которые дает случайный след, оставляемый в памяти неконцептуализованной стимуляцией.

В § 1.1 было отмечено, что для того, чтобы решить, что еще нужно для сохранения богатства прошлого опыта, надо в первую очередь иметь в виду то, что данные памяти представляют собой по большей части следы не прошлых ощущений, а прошлых концептуализации. Мы не можем остановить постоянно происходящую концептуализацию чистого потока опыта; нам нужно лишить этот поток чистоты. Если мы должны использовать готовые концептуализации, а не просто повторять их, то желательно ассоциировать предложения не только с невербальной стимуляцией, но и с другими предложениями.

Вышеуказанный способ (2) в известном смысле всегда представляет собой ассоциацию предложений с предложениями, но только весьма ограниченную. Кроме этого требуются ассоциации слов со словами, чтобы обеспечить использование новых предложений без при-

¹Этот процесс, равно как и первичность предложения, был хорошо известен уже в Древней Индии. См: Brough. *Some Indian theories of meaning*, pp. 164–167.

вязывания их, пусть даже производным образом, к какому-либо фиксированному диапазону невербальных стимулов.

Наиболее очевидным случаем вербальной стимуляции вербальной реакции является опрашивание. В § 1.2 уже было отмечено, что «Красное» является однословным предложением, обычно требующим вопроса для своего произнесения. Вопрос может быть простым: «Какого это цвета?» В этом случае стимул, вызывающий произнесение предложения «Красное», является составным: красный свет воздействует на глаз, а вопрос на ухо. Или же вопрос может быть «Какого цвета это будет?» или «Какого цвета это было?». В таком случае стимул, вызывающий произнесение предложения «Красное», является вербальным; он не сопровождается красным светом, хотя его способность вызывать ответ «Красное», конечно же, зависит от предшествующей ассоциации предложения «Красное» с красным светом.

Широко распространена и обратная зависимость: способность невербального стимула вызывать данное предложение обычно зависит от предшествующих ассоциаций предложений с предложениями. И в действительности именно случаи данного вида наилучшим образом иллюстрируют, как язык преодолевает границы, по сути, феномениалистских отчетов (*reports*). Так, некто, смешав содержимое двух тестируемых тюбиков, наблюдает зеленый оттенок и утверждает: «Там была медь». В данном случае предложение вызывается невербальным стимулом, однако эффективность стимула зависит от предшествующей сети ассоциаций слов со словами; а именно от того, что этот некто знает химическую теорию. Здесь мы имеем дело с хорошей иллюстрацией нашей рабочей концептуальной схемы как своего рода действующего предприятия. Здесь, как и на исходной стадии (1) и (2), предложение вызывается невербальным стимулом, но здесь, в отличие от исходной стадии, вербальная сеть ясно и стройно сформулированной теории вмешивается, чтобы связать стимул с реакцией.

Выступающая в роли посредника теория состоит из предложений, связанных друг с другом при помощи самых разнообразных способов, которые не так-то просто сформулировать даже предположительно. Существуют так называемые логические связи, и существуют так называемые причинные связи; однако любые такие взаимосвязи предложений должны в конечном счете основываться на обусловленности предложений, выступающих в роли реакций, предложениями, выступающими в роли стимулов. Если некоторые из этих связей при более тщательном рассмотрении считаются логическими или причинными, то это только благодаря тому, что они отсылают (*by reference*) к так называемым логическим, или причинным, законам, которые, в свою очередь, являются предложениями в составе определенной теории. Теория в целом – в данном случае раздел химии, дополненный соответствующими приложениями из логики и других наук, – представляет собой строение, составленное из предложений, различным образом связанных друг с другом и с невербальными стимулами посредством механизма условной реакции.

Теория может быть специально сконструированной, как то имеет место в случае с разделом химии, или же она может быть второй натурой, как в случае с идущим с незапамятных времен учением об обычных непрерывно существующих физических объектах среднего размера. Однако в обоих случаях теория обуславливает разделение чувственных данных по предложениям. В конструкции арки блок свода непосредственно поддерживается другими блоками свода, а в конечном счете он поддерживается всеми блоками, лежащими в основании в совокупности, и ни одним из них в отдельности; и так обстоит дело с предложениями, если они соответствуют теории. Контакт блока с блоком – это ассоциация предложения с предложением, а блоки, лежащие в основании, – это предложения, обусловленные невербальными стимулами при помощи способов (1) и (2). Возможно, следует вспомнить о том, что арка неустойчива во время землетрясения; в этом случае блок, лежащий в основании, поддерживается время от времени только другими блоками, тоже лежащими в основании, через посредство арки¹.

¹ Аналогии с устройством и аркой хорошо дополняются более подробной аналогией с сетью, разработанной Гемпелем (Hempel) в работе: “Fundamentals of Concept Formation”, p. 36.

Наш пример «Там – медь» наряду с предложениями «Окись меди – зеленая» и другими представляет собой блок свода. Одним из блоков, лежащих в основании, является, возможно, предложение «Вещество стало зеленым», непосредственно обусловленное чувственной стимуляцией, идущей от тестируемого тюбика.

В ряду ассоциаций между предложениями, связывающих в конечном счете между собой предложения «Вещество стало зеленым» и «Там была медь», все шаги, за исключением последнего, являются, очевидно, непроговоренными. Некоторые из них могут быть проговорены кратко и про себя, однако большинство из них просто пропускается тогда, когда теория становится привычной. Такого рода пропуски, которые выходят за пределы аналогии с аркой, кажутся, в сущности, банальностью: транзитивностью обусловливания.

Другой проблемой, выходящей за рамки аналогии с аркой, является различие между ситуативными предложениями (*occasional sentences*) вроде «Там была медь», истинность которых следует оценивать каждый раз заново в различных экспериментальных обстоятельствах (§ 2.3), и вечными предложениями (*eternal sentences*) типа «Окись меди – зеленая», истинными всегда. Ситуативное предложение произносится химиком-практиком довольно часто; к произнесению же вечного предложения он может быть побужден всего один раз в юности экзаменатором. Вечные предложения более всего стремятся выскочить из транзитивности обусловливания, не оставляя при этом иных следов, кроме как неявно в создании образцов обусловливания остальных предложений.

В результате ассоциаций предложений с предложениями появляется разветвленная вербальная структура, которая, прежде всего в качестве единого целого, самыми разнообразными способами соотносится с невербальной стимуляцией. Эти связи присоединяются к отдельным предложениям (для каждого человека), однако одни и те же предложения, в свою очередь, так связаны друг с другом и с другими предложениями, что невербальные соединения сами могут растягиваться или поддаваться давлению¹. Очевидным образом эта структура взаимосвязанных предложений представляет собой единый связный продукт, включающий в себя все науки и, конечно же, все то, что вообще может быть сказано о мире; поскольку по крайней мере логические истины и, безусловно, многие предложения здравого смысла имеют отношение к любой проблеме и тем самым обеспечивают взаимосвязи². Однако некоторые среднего размера фрагменты теории обычно включают в себя все связи, которые, вероятно, оказывают влияние на наше суждение о данном предложении.

Устойчивость ассоциации с невербальными стимулами, способность такой ассоциации выдерживать обратное воздействие, исходящее от ядра теории, изменяется постепенно от предложения к предложению. Мыслимые в самом общем виде последовательности воздействий на нервные окончания могут убедить нас в истинности высказывания, что на Элм-стрит есть кирпичный дом, вне зависимости от того, будет ли добавлена или исключена способность вторичной ассоциации. Даже тогда, когда обусловливание со стороны невербальной стимуляции оказывается таким устойчивым, все равно остается неясным, до какой степени оно является исходным, а до какой – продуцируется сокращением старых связей предложений с предложениями благодаря транзитивности обусловливания. За единообразием, объединяющим нас в коммуникации, скрывается хаотическое личностное разнообразие связей, причем для каждого из нас эти связи продолжают развиваться. Никто из нас не учит родной язык одинаковым образом, и каждый из нас в известном смысле продолжает учиться языку на всем протяжении своей жизни.

¹Олдрич (Aldrich) ярко обобщил и проанализировал мою точку зрения по этим проблемам (р. 18f). Но он упускает из виду то, что предложения, расположенные на периферии, и наиболее тесно связанные с невербальной стимуляцией, связаны также и с другими предложениями; и благодаря этому внешняя сила передается вовнутрь.

²Это обстоятельство, как я думаю, часто упускалось из виду теми, кто возражал против чрезмерного холизма, с которым можно столкнуться в некоторых моих коротеньких пассажах. Но даже если это так, я все равно считаю их возражения в значительной степени обоснованными. См., к примеру: Хофстадтера (Hofstadter, pp. 408ff).

1.4 Способы выучивания слов

В начале § 1.3 мы указали на различие между выучиванием целых предложений и построением их из отдельных частей. Первые выученные предложения выучиваются как целое (некоторые из них, как мы видели, являются однословными). По мере своего развития ребенок во все большей степени стремится строить новые предложения из частей; и именно поэтому обычно говорят о выучивании нового слова, а не нового предложения. Однако даже утонченное выучивание нового слова обычно осуществляется в рамках какого-то контекста – отсюда обучение, при помощи примера и аналогии, употреблению тех предложений, в которых может встречаться слово. Поэтому вполне уместно на протяжении всего § 1.3, а не только в его начале, рассматривать именно предложения, а не слова в качестве тех целых единиц, употребление которых выучивается; это, однако же, не означает отрицания того, что выучивание этих целых единиц происходит в значительной степени благодаря абстрагированию и соединению частей. Теперь же рассмотрим части более подробно.

Вопрос о том, что считать словом, в противоположность цепочке из двух или более слов, менее очевиден, нежели вопрос о том, что считать предложением. Принципы использования пробелов печатником туманны, а уместность этих принципов для наших размышлений – туманна вдвойне. Мы могли бы даже поддаться искушению и, избавившись от практики печатников, называть любое предложение, равнозначное «Ой», словом, коль скоро оно выучивается как целое, а не строится из частей. Но этот план слаб; он привел бы к тому, что принципы вычленения слова (*wordhood*) колебались бы непредсказуемым образом от человека к человеку, причем принципы вычленения слова для каждого отдельного человека стали бы функцией его давно забытой личной истории. В действительности же нет никакой нужды в рационализации понятия слова. Практика печатников, сколь бы случайный характер она ни носила, обеспечивает слово «слово» денотатом, вполне удовлетворительным для всего того, что мне придется сказать.

Изучение слов (в этом нечетком и подручном смысле) включает в себя контраст, сходный с тем, что имеет место между выучиванием предложений как целого и построением их из частей. В случае со словами это контраст между выучиванием слова в изоляции, т. е., по существу, как однословного предложения, и выучиванием его по контексту, т. е. при помощи абстракции, в качестве части предложения, выученного как целое. Предлоги, союзы и многие другие слова могут быть выучены только контекстуально; мы продолжаем употреблять их по аналогии с теми способами, которыми они, как было нами замечено, употреблялись в прошлых предложениях. Существительные, прилагательные и глаголы, как правило, большей частью выучиваются в изоляции. Однако то, какие из них выучиваются в изоляции, а какие – только в контексте, меняется от человека к человеку. Некоторые, конечно же, вроде ‘sake’^{1*}, выучиваются только в контексте.

То же самое представляется уместным и в случае с терминами типа молекула, которые, в отличие, от «красный», «квадратный» и «кафель», не отсылают к таким вещам, на которые можно определенным образом указать. Такие термины, однако, могут быть освоены еще и при помощи третьего метода, а именно при помощи описания предполагаемых объектов. Этот метод можно было бы отнести к числу контекстуальных, однако он заслуживает особого внимания.

Вещи, которые не могут быть даны при помощи органов чувств, можно понятно описать благодаря аналогии, в частности благодаря специальной форме аналогии, известной как экстраполяция. Так, рассмотрим молекулы, которые описываются как то, что меньше всего видимого. Этот термин «меньше» первоначально становится для нас осмысленным благодаря своей ассоциации с такими наблюдаемыми различиями, как различия между пчелой и птицей, мошкой и пчелой, пылинкой и мошкой. Экстраполяция, которая приводит к речи о совершенно невидимых частицах, например о микробах, может быть представлена в виде аналогии отношения: предполагается, что по своей величине микробы сравнимы с пылинками точно так

же, как пылинки – с пчелами. Если микробы незаметны, то в этом нет ничего удивительного; точно так же по большей части обстоит дело и с пылью. Микроскопы подтверждают учение о микробах, однако они вовсе не требуются для того, чтобы понимать его; и переход к еще более микроскопическим частицам, молекулам и прочему, столь же мало утруждает воображение.

Коль скоро мы вообразили молекулы при помощи аналогии по величине, проведем еще и другие аналогии. Так, используя термины движения, первоначально выучиваемые в связи с видимыми вещами, мы представляем молекулы как движущиеся, сталкивающиеся, отталкивающиеся. В этом заключается способность аналогии делать неощутимое осязательным.

Однако аналогия, скажем так, в исходном смысле соотносит между собой вещи, которые уже известны независимо от самой аналогии. Сказать, что молекулы понимаются по аналогии с пылинками или другими наблюдаемыми частицами, означает, очевидно, отклониться от этого смысла аналогии. Если мы установим аналогию в том, что касается отношения «меньше, чем» (как я и сделал, предположив, что отношение «меньше, чем», в котором молекулы или микробы стоят к пылинкам, понимается по аналогии с наблюдаемым отношением «меньше, чем», в котором пылинки находятся к мошкам и т.п.), мы все-таки будем отклоняться от аналогии в исходном смысле; данная аналогия не является-таки аналогией между вещами или отношениями, известными независимо от аналогии. Мы можем, однако, сделать так, чтобы сохранить исходный смысл понятия «аналогия». В данную аналогию входят, с одной стороны, целые наблюдаемые твердые тела и наблюдаемые так называемые скопления, например, пылинок или мошек, с другой.

Конечно же, эта аналогия довольно ограничена. Дополнительная поддержка при оценке динамики молекул твердых тел приходит со стороны аналогии кровати на пружинах. Но факт заключается в том, что все то, что выучивается о молекулах при помощи аналогии, является довольно скудным. Для того чтобы получить правильное представление о молекулах, необходимо знать, как действует учение о молекулах в рамках физической теории, а этого вообще нельзя добиться ни при помощи аналогии, ни при помощи описания. Этого можно добиться путем изучения слова в контексте как фрагмента предложений, которые выучиваются для использования в подходящих условиях как целое.

В случае с некоторыми терминами, которые отсылают или нацелены на то, чтобы отсылать к физическим вещам, аналогия имеет еще более ограниченную ценность, чем в случае с молекулами. Так, в физике света с ее общеизвестной смешанной метафорой волны и частицы понимание физиком того, о чем он ведет речь, должно практически целиком зависеть от контекста, т.е. от знания того, когда использовать различные предложения, которые говорят одновременно о фотонах и о наблюдаемых феноменах света. Такие предложения напоминают несущие конструкции, удерживаемые тем, что они говорят о знакомых объектах на ближнем конце, и поддерживающие труднодоступные объекты на дальнем конце. Объяснение становится странно обоюдным: фотоны постулируются для того, чтобы помочь объяснить феномены, а эти феномены и относящаяся к ним теория объясняют, что же физик имеет в виду, говоря о фотонах¹.

Представляется, что когда кто-либо предлагает теорию, относящуюся к объектам определенного рода, наше понимание того, что он говорит, будет состоять из двух фаз: во-первых, мы должны понять, что это за объекты, и, во-вторых, мы должны понять, что о них утверждает теория. В случае с молекулами две эти фазы в известной степени разделены благодаря наличию довольно хороших аналогий, которые осуществляют первую фазу; тем не менее наше понимание того, «чем являются эти объекты», в значительной степени зависит от второй фазы. В случае с волнами-частицами в принципе нет никакого значимого разделения; наше достижение понимания того, чем являются эти объекты, по большей части есть не что иное, как

¹Относительно косвенного характера связи между теоретическими терминами и терминами наблюдения см.: Braithwaite, *Scientific Explanation*, Ch. 3; Carnap, *Methodological character of theoretical concepts*; Einstein, p. 289; Frank, Ch. 16; Hempel, оба указанных в библиографии произведения.

знание того, что утверждает теория по их поводу. Мы не учимся сперва тому, о чем говорить, и лишь затем – тому, что говорить об этом.

Представьте себе двух физиков, спорящих о том, имеет ли нейтрино массу. Обсуждают ли они одни и те же объекты? Они согласны друг с другом в том, что та физическая теория, которой они оба с самого начала придерживаются, донейтринная теория, требует исправления в свете тех современных экспериментальных данных, которые ей противоречат. Один физик утверждает, что исправление должно заключаться в постулировании новой категории частиц, а именно частиц, лишенных массы. Другой отстаивает альтернативный способ исправления, заключающийся в постулировании новой категории частиц, обладающих массой. Тот факт, что оба физика используют слово «нейтрино», не существенен. Различать в данном случае две фазы: первую, связанную с согласием по поводу того, что представляют собой объекты (т.е. нейтрино), и вторую, касающуюся разногласия по поводу их качеств (имеют они массу или нет), просто-напросто абсурдно.

Разделение слов на такие, которые следует считать соотносящимися с объектами определенного рода, и на те, которые подобным образом рассматривать не следует, нельзя проводить на грамматической основе. 'Sake' представляет тому ярчайший пример. Иллюстрацией иного рода является «кентавр». Примером третьего рода будет «атрибут», коль скоро среди философов имеют место разногласия, существуют ли атрибуты. Вопрос о том, что есть, будет подвергнут изучению позже (гл. 7). Однако между тем мы замечаем, что различия в способах изучения слов являются как грамматическими, так и референциальными. Слово «кентавр», хотя оно и не является истинным относительно какого-либо объекта, выучивается обычно с помощью дескрипции предполагаемого объекта. Оно также, конечно, может быть выучено контекстуально. 'Sake' может быть выучено только с помощью контекста. «Кафель», которое отсылает (*refer*) к объектам, может быть выучено или в изоляции как однословное предложение, или контекстуально, или по описанию. «Молекула», которое тоже (предположим) отсылает к объектам, может быть выучено как контекстуально, так и по описанию. Точно так же обстоит дело и с «фотоном» и «нейтрино», за тем единственным исключением, что дескриптивный фактор играет в этих последних случаях меньшую роль, чем в случае со словом «молекула». Наконец, слова «класс» и «атрибут», вне зависимости от того, считаем ли мы их отсылающими к объектам или нет, почти наверняка выучиваются только при помощи контекста.

1.5 Данные

Слова могут выучиваться как части более длинных предложений, а некоторые слова могут выучиваться как однословные предложения путем прямого указания (*ostention*) на их объекты. В обоих случаях слова значат только постольку, поскольку их употребление в предложении обусловлено чувственными стимулами, вербальными и иными. Любая реалистическая теория данных должна быть неотделима от психологии стимула и реакции, примененной к предложениям.

Модель обусловливания сложна и колеблется от человека к человеку, однако имеются и пункты общего совпадения: комбинации вопросов и невербальных стимуляций, которые вполне достаточны для того, чтобы вызвать утвердительный ответ у всякого, кого можно включить в соответствующее речевое сообщество. Джонсон наткнулся на такое сочетание, обнаружив такой стимул, который на вопрос, камень ли перед ним, вызвал бы положительный ответ любого из нас^{2*}.

Назвать камень камнем при непосредственном контакте с ним – это предельный случай. Данные разумно упорядочиваются только при равновесии между чувственным обусловливанием утвердительного ответа и противоположным обусловливанием, опосредованным взаиможивлением предложений. Так, вопросом для размышления могло бы быть следующее: было

ли камнем то нечто, увиденное из движущегося автомобиля. То, что это был камень, и то, что это был клочок смятой бумаги, – вот два готовых ответа; причем тяга к первому ответу исключается тягой ко второму ответу в силу взаимооживления предложений в рамках общепринятой физической теории. Тогда осуществляется «проверка», или поиск неопровержимых данных, – путем возвращения к месту, наиболее благоприятному для вынесения суждения и постановки себя в стимульные условия, более устойчиво и непосредственно ассоциируемые с качеством «каменности» или «бумажности».

Если же вещь была замечена с движущегося поезда, операция проверки может оказаться неосуществимой. В этом случае вопрос может быть честно оставлен неразрешенным из-за «отсутствия данных», или, если это сильно занимает кого-то, он может быть разрешен в порядке рабочей гипотезы в свете имеющихся под рукой «косвенных данных». Так, если та местность, которую мы проезжаем вскоре после того, как заметили камень или бумагу, будет каменистой и практически лишенной следов пребывания человека, мы можем предположить, что замеченная нами ранее вещь была скорее камнем, нежели клочком бумаги. Собирая и используя косвенные данные, мы пытаемся сделать себя чувствительными, насколько это только возможно, к цепочкам стимуляций в том виде, в каком они отражаются в нашей теории, начиная от наличных чувственных стимуляций, через взаимооживление предложений.

Утверждение доктора Джонсона было, помимо всего прочего, достаточно надежно обусловлено данными стимулами, чтобы устоять против любой противоположной тенденции, вызванной взаимооживлением предложений; однако в общем случае данные являются вопросом центра тяжести. Обычно мы должны руководствоваться тонким уравниванием различных сил, передаваемых от соответствующих отдаленных стимулов через структурированную совокупность (*fabric*) предложений. Иногда, как в случае с поездом, это происходит потому, что строгие стимулы типа джонсоновских являются недоступными, или же потому, что некоторый достаточно сильный стимул испытывает совместное противодействие менее сильных сил в рамках структурированной совокупности предложений. Зачастую это происходит еще и потому, что соответствующее предложение таково, что понимается только посредством обусловливания его другими предложениями.

Предсказание объединяет то, что иллюстрирует случай с машиной, с тем, что иллюстрирует случай с поездом. Так, мы можем, как в случае с поездом, принять решение относительно того, был ли замеченный нами предмет камнем или клочком бумаги, при помощи косвенных методов, а затем вернуться на место для проверки. Наше предсказание состоит в том, что полученные на близком расстоянии стимуляции приведут к принятию решения о качестве «каменности», свойственном объекту. В действительности предсказание – это дополнительное ожидание дальнейших чувственных данных для подтверждения заранее принятого заключения. Когда предсказание не сбывается, остается отклоняющаяся от предыдущей и тревожащая нас чувственная стимуляция, которая стремится аннулировать ранее принятое решение и таким образом исключить обусловливание предложений предложениями, приведшее к предсказанию. Поэтому теории увядают, когда их предсказания оказываются неверными.

В крайнем случае теория может состоять из столь надежно обусловленных взаимосвязей между предложениями, что она выдерживает одно или два несбывшихся предсказания. Мы оправдываем несбывшееся предсказание как ошибку в наблюдениях или как результат необъясненной помехи. Так в крайних случаях хвост начинает вилять собакой.

Как следует из сделанных замечаний, тщательное изучение данных вроде бы является до крайности пассивным занятием, не говоря уже о попытке перехватить полезные стимулы: мы всего лишь пытаемся быть настолько чувствительными, насколько это только возможно, к последовательному взаимодействию стимуляций в цепи. Какой же разумной политике тогда надо следовать, если не подчиняться пассивно этому взаимооживлению предложений? По размышлении, таковой должен быть поиск простейшего решения. Однако это предполагаемое свойство простоты легче ощутить, чем описать. Возможно, наше хваленое чувство простоты,

или наиболее вероятного объяснения, во многих случаях представляет собой просто чувство убежденности, присоединяемое к случайным следствиям взаимодействия стимуляций различной силы в цепи.

В любом случае о размышлениях, касающихся простоты, в известном смысле можно сказать, что они определяют наиболее нерегулярные (*casual*) действия индивидуального познания даже самого нелюбознательного наблюдателя. Поскольку ему постоянно приходится решать, пусть только косвенным образом, истолковать ли две отдельные встречи как повторяющиеся встречи с одним и тем же физическим объектом или же как встречи с двумя разными физическими объектами. И он решает подобным образом, как свести, по мере своих бессознательных способностей, до минимума такие факторы, как многообразие объектов, скорость промежуточных изменений качеств и местоположений и, в общем, нерегулярность естественного закона¹.

Осмотрительный ученый продолжает действовать, по существу, тем же самым способом, если не более находчиво; и закон наименьшего действия занимает важное место среди его руководящих принципов. Рабочие стандарты простоты, с каким бы трудом они ни поддавались формулировке, функционируют даже в более явно выраженном виде. В область занятий ученого входит обобщение или экстраполяция образцовых данных и тем самым достижение законов, охватывающих больше феноменов, чем было исследовано; и именно простота в его понимании и служит основанием для экстраполяции. Простота по существу своему относится к статистическому выводу. Если данные ученого представляются точками на графике, а его закон должен представляться в виде кривой, проходящей через эти точки, то он проводит самую плавную и простейшую из линий, что он может провести. Он даже слегка подтасовывает расположение точек, чтобы сделать прямую проще, и ссылается при этом на неточность измерений. Если он может получить более простую линию путем устранения некоторых точек, то он старается отыскать для них отдельное объяснение.

Простота не является столь желаемой, как соответствие наблюдению. Наблюдение служит для проверки уже принятых гипотез; простота побуждает к их принятию для последующей проверки. Однако решающее наблюдение или долго откладывается, или оказывается невозможным, по крайней мере по этой причине простота – это окончательный судья.

Чем бы ни была простота, она не является, случайным увлечением. В качестве руководства для вывода она содержится как в бессознательных шагах, так и в наполовину выраженном виде – в сознательных. Вне всякого сомнения, неврологический механизм стремления к простоте является фундаментальным, хотя и неизвестным, и его жизненное значение огромно.

Одно из неожиданных достоинств простоты (которое можно и не заметить) заключается в том, что она имеет тенденцию увеличивать объем теории – богатство ее наблюдаемых следствий. Так, пусть θ – теория, а C – класс всех ее проверяемых следствий. Теория θ была получена нами при помощи ряда K первичных наблюдений, составляющих подкласс C . Говоря в общем, чем проще теория θ , тем меньше выборка K из C , достаточная для того, чтобы предложить θ . Сказать это – значит просто повторить сделанное ранее замечание: простота служит своего рода руководящим указанием для экстраполяции. Однако это отношение может быть описано и в перевернутой форме: при данном K , чем проще теория θ , тем более обширным будет класс проверяемых следствий C . Само собой разумеется, что последующая проверка C может отбросить θ ; но тем не менее выигрыш в объеме теории налицо².

Простота также создает хорошие рабочие условия для непрерывной деятельности творческого воображения, поскольку чем проще теория, тем легче держать в уме соответствующие соображения. Но другое свойство (быть может, равноценное по этой причине) – это привычность принципа.

¹Превосходный логический пример этой операции см. в «Aufbau» Карнапа, где он в общих чертах обрисовывает то, что называет *dritte Stufe*.

²О пользе простоты см. также: Kemeny. The use of simplicity in induction.

Привычность принципа – это то, чем мы пользуемся, когда ухитряемся «объяснять» новые проблемы при помощи старых законов; например, когда мы изобретаем молекулярную гипотезу для того, чтобы подчинить феномены теплоты, капиллярного притяжения и поверхностного натяжения старым знакомым законам механики. Привычность принципа играет роль и тогда, когда «неожиданные наблюдения» (т.е. в конечном счете какой-то нежелательный конфликт между чувственными стимуляциями, опосредованными взаимооживлением предложений) заставляют нас подвергнуть старую теорию исправлению. В этом случае действие привычности принципа будет заключаться в предпочтении минимального изменения.

Полезность привычности принципа для непрерывной деятельности творческого воображения является своего рода парадоксом. Консерватизм, предпочтение унаследованной или изобретенной концептуальной схемы своей собственной уже проделанной работы является одновременно и защитной реакцией лени и стратегией открытия. Отметим, однако, важное нормативное различие, имеющее место между простотой и консерватизмом. Всякий раз, когда известно, что простота и консерватизм дают противоположные рекомендации, вердикт обдуманной методологии находится на стороне простоты. Тем не менее консерватизм является преобладающей силой, и в этом нет ничего удивительного: он может продолжать действовать и тогда, когда силы и воображение на исходе.

Еще один принцип, который можно считать подспудным руководящим принципом науки, – это принцип достаточного основания. Давний след этого почтенного принципа кажется узнаваемым по крайней мере в том, что ученый избегает необоснованных фактов¹. Если он приходит к законам динамики, которые не предпочитают какую-либо одну систему координат другим, движущимся относительно данной, то он немедленно решает, что понятие абсолютно-го покоя и, следовательно, абсолютного положения в пространстве является несостоятельным. Такого рода отрицание не является, как это могли бы предположить, отрицанием эмпирически неопределимого; эмпирически неисключаемые определения покоя всегда есть у нас под рукой – в произвольном принятии любой из разнообразных специфицируемых систем координат. Это же – отбрасывание необоснованного. Этот принцип достаточного основания может, однако, быть подведен под требование простоты благодаря неопределенности этой последней идеи.

1.6 Постулированные сущности и истина

Мы можем думать, что физик интересуется систематизацией таких общих истин, которые могут быть выражены в терминах здравого смысла по поводу обыкновенных физических вещей. Однако самое большое, чего он добивается в рамках этого посредника, – это комбинация q плохо связанных теорий относительно ракетных снарядов, изменений температуры, капиллярного притяжения, поверхностного натяжения и т.п. Достаточным основанием для постулирования им необычных физических вещей, т.е. молекул и невидимых групп молекул, является то, что для расширенного таким вот образом универсума он может предложить теорию θ' , которая проще, чем θ , и согласуется с θ в следствиях, касающихся обыденных вещей. Ее дальнейшие следствия для постулированных необычных вещей носят побочный характер.

(Оказывается, он действует еще лучше. Помимо того, что его теория θ' проще, чем θ , она превосходит θ в отношении привычности лежащих в ее основе принципов; ср. § 1.5. Более того, даже те из ее следствий, которые могут быть сформулированы при помощи терминов здравого смысла, относящихся к обычным вещам, превосходят соответствующие следствия θ и, видимо, не включают при этом предложения, которые есть основания отрицать).

Если бы при помощи какого-то чуда физик мог напрямую идентифицировать все истины, которые могут быть высказаны при помощи терминов здравого смысла, относящихся к

¹См.: Birkhoff. Lecture II.

обычным вещам, все же его разделение высказываний о молекулах на истинные и ложные оставалось бы по большей части непроведенным. Мы можем представить, что он частично проводит это разделение при помощи того, что смутно принято называть научным методом: руководствуясь при этом соображениями простоты объединенной теории обычных вещей и молекул. Однако вполне вероятно, что истины о молекулах только частично определены каким-либо идеальным органом научного метода плюс всеми истинами, которые могут быть высказаны при помощи терминов здравого смысла, относящихся к обычным вещам; поскольку в общем простейшая из возможных теорий, соответствующих данной цели, не обязательно должна быть единственной.

В действительности те истины, о которых можно говорить при помощи терминов здравого смысла, относящихся к обычным вещам, сами, в свою очередь, располагают гораздо большим, чем нужно, количеством доступных данных. Неполнота определения поведения молекул при помощи поведения обычных вещей лишь случайна по отношению к этой более основополагающей неопределенности: *оба* вида событий не полностью определяются поверхностными раздражениями наших органов чувств. Ситуация не изменится, даже если мы включим все прошлые, настоящие и будущие стимуляции всех органов чувств человечества и, возможно, даже если мы добавим сверх того в действительности недостижимый идеальный орган научного метода.

Молекулы и им подобные необычные сущности, будучи рассмотренными относительно имеющих у нас раздражений органов чувств, которыми исчерпываются наши взаимосвязи с внешним миром, оказываются весьма сходными с самыми обычными вещами. Постулирование таких необычных вещей – это всего лишь яркий аналог постулирования или признания обычных вещей; живость его обусловлена тем, что физик явно постулирует эти необычные сущности по понятным причинам, тогда как гипотеза об обычных вещах скрыта в предистории. Хотя о мотивах принятия древней и бессознательной гипотезы обычных физических объектов мы можем говорить не больше, чем об основаниях того, что мы люди или млекопитающие, все же с точки зрения функции и жизненной силы эта гипотеза и гипотеза о молекулах схожи. Что ж, тем лучше для молекул!

Назвать постулированную сущность постулированной сущностью не означает относиться к ней снисходительно. Постулированная сущность может быть исключена лишь ценою использования других, не менее искусственных приемов. Все, за чем мы признаем существование, с точки зрения описания процесса построения теории является постулированной сущностью и одновременно – реальным с точки зрения теории, которая строится. Не стоит смотреть свысока на точку зрения теории как на выдуманную; поскольку нам не остается ничего иного, кроме как занять точку зрения той или иной теории, лучшей из имеющихся под рукой в распоряжении в настоящее время.

Мучительно строить догадки и предположения о том, на что похожа реальность, – это дело ученого в самом широком смысле этого слова; и вопрос о том, что есть, что реально, является частью этого вопроса. Вопрос о том, откуда мы знаем, что существует, составляет часть вопроса, кратко затронутого в § 1.5, о данных для истины о мире. Последний арбитр – это так называемый научный метод, каким бы аморфным он ни был.

Научный метод был схематически описан в § 1.5 как определяемый чувственными стимулами, чувством простоты в известном смысле и чувством привычности. Из рассмотрения значительного количества литературы, посвященной научному методу, можно почерпнуть более точные каноны; хотя обычно принято сомневаться в том, что научный метод может быть разработан окончательно и во всех деталях. В любом случае научный метод, каковыми бы ни были его детали, производит теорию, связь которой со всеми возможными раздражениями органов чувств заключается исключительно в самом научном методе, не поддержанном какими-либо окончательными проверками. Именно в этом смысле научный метод является последним арбитром истины.

Пирс стремился определить истину напрямую в терминах научного метода как идеальную теорию, к которой приближаются как к пределу, когда (предполагаемые) каноны научного метода непрерывно отрабатываются на делящемся опыте¹. Однако в этом представлении Пирса много неверного, помимо его допущения окончательного органа научного метода и его обращения к бесконечному процессу. Когда речь идет о пределе теорий, возникает неправильное употребление числовой аналогии, поскольку понятие предела зависит от понятия «ближе, чем», которое определено для чисел, а не для теорий. И даже если мы обойдем подобного рода затруднения путем довольно произвольной идентификации истины с идеальным результатом применения научного метода сразу ко всей будущей совокупности раздражений органов чувств, все же остается проблема с приписыванием свойства единственности «идеальному результату». Ведь, как утверждалось двумя страницами ранее, у нас нет никакого основания предполагать, что раздражения органов чувств человека даже в вечности допустят какую-либо одну систематизацию, которая будет в научном отношении лучше или проще, чем все остальные возможные систематизации. Кажется более вероятным, что в первую очередь были бы связаны между собой бесчисленные альтернативные теории, если только не рассматривать их с точки зрения симметрии и дуальности. Научный метод – это путь к истине, однако он даже в принципе не способен дать единственного определения истины. Любое так называемое прагматическое определение истины равным образом обречено на неудачу.

После этого размышления можно обрести некоторое утешение в следующем. Если имеется (вопреки нашему выводу) какая-то неизвестная, но единственная лучшая и всеобъемлющая систематизация θ , соответствующая всем прошлым, настоящим и будущим раздражениям нервных окончаний человечества, так что мы могли бы определить всеобъемлющую истину как это неизвестное θ , все же мы тем самым не определили бы истину для действительных отдельных предложений. Мы не могли бы утверждать, соответственно, что любое отдельное предложение S является истинным, если оно или его перевод входят в состав θ , поскольку вообще нет никакого смысла в приравнивании предложения теории θ предложению S , не входящему в состав этой теории. Не будучи обусловленным достаточно устойчиво и непосредственно чувственной стимуляцией, предложение S бессмысленно за пределами своей собственной теории; оно бессмысленно межтеоретически (*intertheoretically*)². Это обстоятельство, уже достаточно очевидное из § 1.3 и из притчи про нейтрино в § 1.4, будет более детально развито в главе 2.

Мы можем и действительно говорим осмысленно о том или ином предложении как об истинном скорее тогда, когда мы обращаемся к средней части фактически принятой, пусть по крайней мере гипотетически, теории. Осмысленно можно применять термин «истинный» к предложению, сформулированному в терминах данной теории и рассматриваемому в рамках самой теории и постулированной ею реальности. Здесь нет оснований обращаться даже к воображаемой кодификации научного метода. Утверждать, что высказывание «Брут убил Цезаря» является истинным или что высказывание «Атомный вес натрия – 23» истинно, означает в действительности утверждать только то, что Брут убил Цезаря или что атомный вес натрия – 23³. То, что это – высказывания о постулированных сущностях, что они имеют значение только относительно всей теории в целом и обосновываются только путем дополнительного наблюдения при помощи научного метода, не имеет больше значения, поскольку задание ис-

¹Peirce. Vol. 5, § 407.

²Ринин (Rynin) в статье “The Dogma of Logical Pragmatism” (p. 390) доказывает противоположное: «Если высказывания, являющиеся составными частями системы, сами не имеют истинностных значений, то они не могут и вносить никакого вклада в истинностное значение системы как целого. ...Однако если высказывание является истинным, то оно верифицируемо; и если оно ложно, то оно фальсифицируемо; и если верифицируемо или фальсифицируемо, то оно осмысленно. ...Отдельное высказывание не просто *могло* бы быть осмысленным вне всей науки в целом, но... оно *должно* быть таковым, если оно может функционировать в рамках системы науки». Мое несогласие касается среднего шага – шага верификации.

³Классическое развитие этой темы см. в статье «Понятие истины» в сборнике работ Тарского.

тинностных значений происходит с точки зрения той же самой теории и они находятся в той же самой лодке.

Что же нам теперь так снизить наши требования, чтобы довольствоваться релятивистской доктриной истины, то есть оценкой высказываний каждой теории как истинных относительно этой теории, и отказом от всякой дальнейшей критики? Нет! Нас спасает то, что мы продолжаем серьезно относиться к нашей отдельной составной науке, к нашей собственной отдельной теории или к расплывчатой совокупности квазитеорий, каковы бы они ни были. В отличие от Декарта, мы владеем и распоряжаемся временными мнениями, даже в самом средоточии философствования, пока с помощью того, что смутно называется научным методом, мы не изменим их там и сям к лучшему. В рамках нашей собственной совокупной развивающейся доктрины мы можем судить об истине столь серьезно и абсолютно, насколько это только возможно; она подлежит коррекции, но это само собою разумеется.

ГЛАВА 2. ПЕРЕВОД И ЗНАЧЕНИЕ

2.1 Первые шаги радикального перевода

Рабочий набросок главы 2 был опубликован, с купюрами, в виде очерка «Значение и перевод». Часть этого очерка дословно воспроизводится в данной главе, охватывая в совокупности примерно третью ее часть.

Мы рассматривали в самом общем виде, как поверхностные раздражения производят при помощи языка наше знание о мире. Нас учат так ассоциировать слова со словами и иными стимулами, что возникает нечто, понимаемое как разговор о вещах и неотделимое от истины о мире. Пространный и сложно структурированный разговор, который возникает в результате этого обучения, содержит мало явного соответствия с прошлым и нынешним потоком невербальной стимуляции; тем не менее именно к этой стимуляции мы должны обращаться с вопросом, касающимся эмпирического содержания данного разговора. В этой главе мы рассмотрим, какую часть языка можно осмыслить в терминах его стимульных условий и какое место это оставляет для эмпирически необусловленных изменений в человеческой концептуальной схеме.

Первый, некритический способ выделить именно эту область для эмпирически необусловленной вариации состоит в следующем: два человека могут быть в точности подобны друг другу в отношении всех их диспозиций к вербальному поведению при всех возможных чувственных стимуляциях, и тем не менее значения идей, заключенных в их идентично стимулированных и идентично звучащих высказываниях, могут различаться радикальным образом в целом ряде случаев. Такая постановка вопроса, однако же, содержит в себе опасность бессмысленности: поскольку в таком случае напрашивается возражение, что различие в значении, не находящее отражения в совокупности диспозиций к вербальному поведению, является таким различием, которое лишено различия.

Эту постановку вопроса можно сделать осмысленной, если переформулировать ее следующим образом: бесконечная совокупность предложений любого данного языка, на котором изъясняется говорящий, может быть перестроена или картографирована на саму себя так, что (а) совокупность диспозиций говорящего к вербальному поведению останется неизменной и тем не менее (б) картографирование больше уже не будет простой корреляцией предложений с *эквивалентными* предложениями, в любом удовлетворительном смысле эквивалентности, как бы он ни был расплывчат. Бесчисленное множество предложений может решительно отклоняться от своих соответствующих коррелятов, и тем не менее колебания могут так систематически компенсировать друг друга, что общий образец, по которому предложения ассоциируются друг с другом и с невербальной стимуляцией, сохраняется. Конечно, чем прочнее непосредственные связи предложения с невербальной стимуляцией, тем меньше предложение способно отличаться от своего коррелята при любом таком картографировании.

То же самое можно сказать менее абстрактно и более реалистично, если обратиться к переводу. Тезис тогда будет состоять в следующем: руководства для перевода с одного языка на другой могут быть составлены различными способами; все они могут быть совместимы со всей совокупностью речевых диспозиций, но в то же самое время несовместимы друг с другом. В бесчисленном множестве случаев они будут различаться в том, что они предлагают в качестве соответствующих переводов предложений одного языка предложения другого

языка, которые не находятся одно к другому в отношении какой-либо удовлетворительной эквивалентности. Конечно, чем прочнее непосредственные связи предложения с невербальной стимуляцией, тем менее решительно переводы этого предложения могут различаться от руководства к руководству. Именно в этой последней форме, а именно в форме принципа неопределенности перевода, эта проблема и будет рассмотрена мною в этой главе. Однако глава будет длиннее, чем она могла бы быть, если бы различные понятия и рассуждения, играющие вспомогательную роль в рамках этой темы, казались бы не заслуживающими рассмотрения также и сами по себе.

Здесь мы имеем дело с языком как комплексом данных диспозиций к вербальному поведению, в котором говорящие на одном языке волей-неволей оказываются сходными друг с другом; при этом речь не идет о процессе овладения языком, чьи вариации от индивида к индивиду должны быть сглажены в интересах коммуникации (ср. § 1.2). Предложение «Этот человек хорошо стреляет», которое произносится одновременно с указанием на невооруженного человека, в качестве непосредственной стимуляции имеет увиденное мельком знакомое лицо стрелка. Прошлая стимуляция, которая сыграла здесь свою роль, включает в себя прошлые наблюдения за тем, как человек стрелял, равно как и отдаленные эпизоды, которые приучали говорящего к соответствующему употреблению слов. В силу этого прошлая стимуляция обычно обусловлена отчасти овладением языком, а отчасти овладением дополнительной (*collateral*) информацией; тем не менее этой вспомогательной дихотомии может не хватать указаний на то, для чего она пригодна и какие общие подсказки имеются для нее в наблюдаемом вербальном поведении (ср. § 2.3, 2.6, 2.8). Между тем то, что нас интересует, – это то, на что в данный момент направлены вербальное поведение и его наблюдаемые в настоящее время корреляции со стимуляцией. Оценивай текущий язык человека по его текущим диспозициям реагировать вербально на текущие стимулы, и ты автоматически отнесешь все прошлые стимуляции к обучающей фазе. Тем не менее даже этот способ проводить границу между языком, которым овладевают, и языком, который используют, имеет свои колебания в той степени, в какой мы можем принимать в расчет соображения удобства, устанавливая границы области текущих стимуляций. Эту границу, рабочий стандарт для того, что считается кажущимся наличным, я называю *коэффициентом (modulus)* стимуляции.

Извлечение языка, который человек в данный момент использует, из его текущих наблюдаемых ответов является делом лингвиста, который, не пользуясь услугами переводчика, не может понять и перевести до сих пор бывший неизвестным язык. Все объективные данные, с которых ему приходится начинать, это те силы, что он видит воздействующими на нервные поверхности аборигена, и наблюдаемое поведение, звуковое или иное, этого аборигена. Такие данные проявляют «значения» аборигена только в отношении наиболее эмпирических или связанных со стимулами многообразий. И все же лингвист более или менее справляется со «значениями» аборигена в некотором довольно нестрогом смысле; при этом его задача, как бы то ни было, состоит в переводе всех возможных предложений языка аборигена.

Перевод с одного родственного языка на другой, например с фризского на английский, облегчается сходством словесных форм, произошедших от одного корня. Перевод с не соотносящихся друг с другом языков, например с венгерского на английский, может облегчаться традиционными соответствиями, связанными с общностью культуры. Для наших целей подходит скорее *радикальный* перевод, т. е. перевод с языка бывшего до сих пор еще неизвестным народа. Эта задача обычно не возникает в ее крайней форме, поскольку есть возможность воспользоваться услугами целого ряда переводчиков из среды каких-то маргинальных личностей даже на самых малонаселенных архипелагах. Но проблема тем более приближается к этой крайней форме, чем скуднее те подсказки, которые могут дать эти переводчики; в силу этого внимание к техникам предельно радикального перевода не было затребовано¹. Я буду исходить из того, что всякая помощь со стороны переводчиков исключена. По случаю я буду

¹См.: Pike.

игнорировать в данный момент фонематический анализ (§ 3.2), хотя вроде бы он и должен входить в задачу нашего полевого лингвиста, поскольку он не затрагивает то философское положение, которое я намереваюсь отстаивать.

Высказывания, в первую очередь и с наибольшей степенью убежденности переведенные в такой ситуации, являются теми высказываниями, которые опираются на данные события и которые видны как лингвисту, так и его информатору. Мимо быстро пробегают кролик, абориген говорит: 'Gavagai', и лингвист записывает предложение 'Rabbit' («Кролик») или 'Lo, a rabbit' («Смотри, кролик») в качестве пробного перевода, который требуется подвергнуть проверке в других ситуациях. На первый раз лингвист будет отказываться от того, чтобы вкладывать слова в уста своего информатора, разве что ему не будет хватать слов. Сам лингвист, когда он в состоянии это сделать, должен дополнить предложения аборигенов одобрением своего информатора, несмотря на имеющийся риск тенденциозно домыслить данные. В противном случае он мало что может сделать с терминами аборигенов, которые вообще имеют референцию. Ибо, предположим, что язык аборигенов включает в себя предложения S_1 , S_2 и S_3 , которые реально переводимы как соответственно: «Животное», «Белое» и «Кролик». Ситуации всегда различаются, неважно, релевантно или нет; и именно потому, что эти предложения являются произвольными реакциями или ответами, даваемыми поодиночке, классы ситуаций, при которых туземец произвольно высказывает S_1 , S_2 и S_3 , являются, конечно же, взаимоисключающими, несмотря на скрытые действительные значения слов. Как тогда лингвисту установить, что абориген захочет согласиться с предложением S , во всех тех ситуациях, когда ему случалось произвольно высказывать предложение S_3 , и в некоторых, хотя и не во всех ситуациях, когда ему приходилось произвольно высказывать предложение S_2 ? Только взяв исходные и вопросительно-уточняющие комбинации предложений аборигена и стимульных ситуаций таким образом, чтобы сузить свои догадки до возможного удовлетворительного ответа.

Итак, лингвист спрашивает: «Гавагай?» ('Gavagai?') – в каждой из различных стимульных ситуаций и всякий раз записывает, соглашается ли абориген с его вопросом, высказывает ли он несогласие или же демонстрирует какую-то иную реакцию. Однако как ему узнать, согласен или несогласен абориген? Жесты не следует принимать за чистую монету; турки являются почти что полной противоположностью нам самим. Он должен вывести из своих наблюдений определенную догадку, а потом посмотреть, «работает» ли она. Предположим, что, спрашивая: «Гавагай?» – в моменты присутствия кроликов в поле зрения, лингвист сталкивался с ответами «Да» ('Evet') и «Нет» ('Yok') достаточно часто для того, чтобы предположить, что они соответствуют ответам 'Yes' («Да») и 'No' («Нет»), но не имеет пока представления, что с чем соотносится. Затем он пытается провести эксперимент, подражая произвольным изъяснениям (*pronouncements*) самих аборигенов. Если таким образом он достаточно часто вызывает скорее ответ 'Evet', чем 'Yok', то склоняется к тому, чтобы считать 'Evet' эквивалентом «Да». Он также пытается употреблять 'Evet' и 'Yok' для ответов на замечания аборигенов; то выражение, которое встречает более спокойную реакцию, становится более предпочтительным кандидатом для «Да». Как бы несовершенны ни были эти методы, они производят рабочую гипотезу. Если из ряда вон выходящие трудности сведут все его последующие усилия на нет, то лингвист может отбросить эту гипотезу и принять новую¹.

Теперь предположим, что лингвист установил, что считать знаками согласия и несогласия аборигенов. В таком случае он оказывается в состоянии собрать индуктивные данные для перевода предложения «Гавагай» предложением «Кролик». Общий закон, для которого он собирает отдельные случаи, заключается в следующем предположении: аборигены будут всякий раз соглашаться с «Гавагай?» при тех же стимуляциях, при которых они дали бы утвердительный ответ на вопрос «Кролик?»; то же самое имеет силу и в отношении несогласия.

¹См.: Firth. Elements of Social Organisation, p. 23, по поводу сходной проблемы идентификации жеста приветствия.

Но мы можем еще в большей степени отдать должное цели поисков лингвиста, если вместо того, чтобы говорить просто о стимуляциях, при которых абориген будет выражать согласие или несогласие с заданным ему вопросительным предложением, мы, используя причинные цепи, будем говорить о стимуляциях, которые *побуждают* аборигена к согласию или несогласию с заданным ему вопросительным предложением. Предположим, что вопросительное предложение было задано потому, что кто-то выслеживал жирафа. Целый день абориген будет соглашаться с ним, когда бы его ни спросили; а на другой день он будет не соглашаться с этим вопросительным предложением при тех же самых не имеющих отношения к делу стимуляциях. Важно знать, что в случае вопроса «Гавагай?» стимуляции, представляющие кролика, и в самом деле вызывают согласие и что другие действительно вызывают несогласие.

На практике лингвист обычно разрешает эти вопросы, касающиеся причинности, сколь настойчивыми бы они ни были, при помощи интуитивного суждения, опирающегося на особенности поведения аборигена: его разглядывающие движения, его внезапное чувство признания и т. п. Имеются и более формальные размышления, которые, при надлежащих обстоятельствах, могут убедить лингвиста в том, что имеется отношение побуждения к ответу. Если сразу же после того, как аборигену был задан вопрос *S* и он согласился или не согласился с ним, лингвист подвергает аборигена стимуляции *s*, снова задает вопрос *S* и получает противоположный ответ, то он может сделать вывод, что *s* побудила к ответу.

Отметьте, что побудить к чему-то (*prompt*) в нашем смысле не означает добиться ответа (*elicit*). Добиться ответа ‘Evet’ или ‘Yok’ со стороны аборигена позволяет комбинация, состоящая из побуждающей к ответу стимуляции и настойчивого повторения вопроса «Гавагай?».

2.2 Стимуляция и стимульное значение

Важно думать о том, что побуждает аборигена к согласию с вопросом «Гавагай?», как о стимуляциях, а не как о кроликах. Стимуляция может оставаться той же самой, даже если кролик заменяется его муляжом. Напротив, сила стимуляции побуждать к согласию с вопросом «Гавагай?» может изменяться в зависимости от изменений в зрительной перспективе, освещении и цветовом контрасте, хотя кролик при этом и остается тем же самым. При экспериментальном отождествлении употребления предложений «Гавагай» и «Кролик» именно стимуляции, а не животные должны быть приведены в соответствие.

Для наших целей именно зрительная стимуляция наилучшим образом отождествляется с моделью хроматического возбуждения глаза. Глубоко входить в рассмотрение мозга субъекта, даже если бы это и было возможно, нет никакого смысла, поскольку мы стремимся держаться подальше от его идиосинкратических нервных окончаний или от личной истории формирования его привычек. Нас интересует его социально обусловленное употребление языка, следовательно, его реакции на условия обычно подлежат социальной оценке (ср. § 1.2). Зрительное возбуждение в известной степени интерсубъективно проверяемо со стороны общества и лингвиста путем принятия допущений относительно ориентации субъекта и соотносящегося с ним местоположения объектов.

Рассматривая зрительные стимуляции в качестве моделей возбуждения, мы снабдили их такой точностью деталей, которые лингвист оказался бы не в состоянии проверить. Но это не страшно. Лингвист может разумно доказать, что абориген был бы побужден согласиться с предложением «Гавагай» в силу тех же микроскопических возбуждений, что побудили бы его самого, лингвиста, согласиться с предложением «Кролик», даже если это доказательство опирается исключительно на примеры, относительно которых соответствующие возбуждения могут в лучшем случае рисковать оказаться всего лишь очень похожими.

Тем не менее не следует рассматривать зрительные стимуляции как образцы моментального статистического воздействия. Поступать так означало бы не брать в расчет примеры,

которые, в отличие от предложения «Кролик», утверждают движение. С другой стороны, подобный подход мог бы создавать проблемы даже с предложениями типа «Кролик»; дело в том, что слишком много зависит от того, что предшествует мгновенному воздействию, и от того, что следует за ним. Мгновенный кроликоподобный образ, высвечиваемый искусственным образом посреди какой-то последовательности, которая иначе ничем бы не напоминала о кролике, может не побудить к согласию с предложением «Кролик», даже несмотря на то, что тот же самый образ побудил бы к согласию с вышеуказанным предложением, будь он частью более благоприятной последовательности. Трудность может возникнуть из-за надежды поставить в соответствие моделям возбуждения, располагающим к согласию с предложением «Гавагай», модели возбуждения, которые располагают к согласию с предложением «Кролик»; мы даже не можем недвусмысленно сказать о модели возбуждения, самой по себе и безотносительно к тому, что предшествует ей и следует за ней, располагает ли она к предложению «Кролик» или нет¹. Поэтому лучше считать соответствующими стимуляциями не модели моментального возбуждения, но эволюционирующие образцы возбуждения, включающие в себя все длительности до определенного удобного предела, или *коэффициента*. Более того, мы можем рассматривать в качестве идеальной экспериментальной ситуации такую, в которой требуемая зрительная экспозиция сопровождается моментами полной слепоты.

Вообще, образцы зрительного возбуждения лучше всего постигаются в их пространственной полноте, поскольку имеются образцы, вроде предложения «Хорошая погода», которые, в отличие от предложения «Кролик», невозможно приурочить к каким-либо без труда выделяемым фрагментам поля зрения. Таковы же все те свободные от наличия кроликов модели, которые требуются для побуждения к несогласию с предложением «Кролик». В том же, что касается моделей, которые требуются для побуждения к согласию с предложением «Кролик», все поля зрения в целом будут все же лучше служить этой цели, нежели их отдельные фрагменты, поскольку в этом случае автоматически вступает в действие различие между центром и периферией, которое является столь важной детерминантой зрительного внимания. Модели всеобъемлющего зрительного возбуждения, которые отличаются в отношении своего центра, отличаются также и в отношении своих границ; поэтому они просто являются разными моделями. Модель, которая показывает кролика чересчур косвенно, просто-напросто не будет моделью, побуждающей согласиться с предложением «Гавагай», или «Кролик».

Определенные предложения типа «Гавагай» являются теми самыми предложениями, с которых должен начинать наш полевой лингвист, и как раз для этих предложений мы теперь имеем в своем распоряжении грубо сработанное понятие эмпирического значения, поскольку значение предположительно есть то, что предложение разделяет со своим переводом; а сам перевод на данном этапе основывается исключительно на корреляциях с невербальной стимуляцией.

Давайте проясним это понятие значения и дадим ему нейтральное техническое обозначение. Начать можно с определения *утвердительного стимульного значения* предложения вида «Гавагай» для данного говорящего как класса всех тех стимуляций (следовательно, моделей эволюционирующего зрительного возбуждения в промежутке между точно отмеренными точками полной зрительной слепоты), которые будут побуждать говорящего к согласию с данным предложением. Еще отчетливее: если следовать соображениям, изложенным в конце § 2.1, стимуляция S относится к утвердительному стимульному значению предложения S для данного говорящего тогда и только тогда, когда имеется стимуляция σ' , такая, что если бы она была дана говорящему и затем ему задали бы вопрос S , после чего он был бы подвергнут стимуляции σ' и ему снова был бы задан вопрос S , он выразил бы несогласие в первом случае и согласие – во втором. Мы можем определить *отрицательное стимульное значения* предложения S сходным образом, просто поменяв местами «согласие» и «несогласие», а затем определить *стимульное значение* как упорядоченную пару этих двух. Мы могли бы усовершенствовать

¹ Эта проблема была поднята Дэвидсоном.

понятие стимульного значения, проводя различие между степенями сомнительности согласия и несогласия, скажем, по времени реакции; однако в целях краткости изложения мы пока оставим эти тонкости в стороне. Воображаемое равенство предложений «Гавагай» и «Кролик» теперь можно сформулировать так: они имеют одинаковое стимульное значение.

Стимульное значение есть стимульное значение предложения для говорящего в определенное время, поскольку мы должны позволить говорящему менять свои способы выражения. Оно зависит также от коэффициента, или максимальной длительности, устанавливаемого для стимуляции, так как с увеличением коэффициента мы дополняем стимульное значение некоторыми стимуляциями, которые были слишком длительными, чтобы их можно было исчислить прежде. Обобщая, можно сказать, что стимульное значение есть стимульное значение *коэффициента n секунд предложения S для говорящего a во время t* .

Для того, чтобы стимуляции можно было объединить в стимульное значение предложения, мы для живости до сих пор рассматривали их как визуальные, в отличие от сопровождавших их вопросов. В действительности наряду со зрением нам следует иметь в виду и иные чувства, которые отождествляют стимуляции не только с образцами зрительного возбуждения, но с этими образцами и с различными токами других чувств, взятыми как по отдельности, так и во всевозможных синхронических комбинациях. Возможно, детали этой процедуры можно опустить.

Утвердительное и отрицательное стимульные значения предложения (для данного говорящего в данный момент времени) взаимно исключают друг друга. Предположим, что наш субъект сперва мог бы *быть побужден* данной стимуляцией a согласиться с предложением S , а затем, при повторении σ , он выразил бы свое несогласие с S ; в этом случае, однако, мы были бы вынуждены просто заключить, что то значение, которое он приписывал S , изменилось. Мы считали бы тогда, что стимуляция a его утвердительного стимульного значения предложения S относится к одному времени, а стимуляция s отрицательного стимульного значения S – к другому времени.

Тем не менее утвердительное и отрицательное стимульные значения не определяют друг друга; это объясняется тем, что многие стимуляции не являются ни утвердительными, ни отрицательными. Поэтому, вообще-то говоря, сравнение целых стимульных значений может служить лучшим основанием для перевода, чем сравнение только утвердительных стимульных значений.

Как в таком случае быть с частицей в сослагательном наклонении, выражающей жесткое условие («would») в нашем определении стимульного значения? Ее употребление в данном контексте ничем не хуже ее употребления при объяснении значения предложения « x растворим в воде», под которым мы подразумеваем, что x растворится, если его погрузить в воду. Высказывание, выражающее жесткое условие, определяет диспозицию; в нашем случае – диспозицию соглашаться или не соглашаться с S при наличии различных стимуляций. Диспозиция могла бы считаться едва различимым структурным условием, наподобие аллергии или растворимости; в частности, наподобие аллергии на непонимание. Онтологический статус диспозиций, или философский статус рассуждения о диспозициях, я намереваюсь затронуть в § 6.7; а между тем мы достаточно осведомлены – в самом общем виде – о том, как мы узнаем, исходя из продуманных проверок, и образцов, и наблюдаемых единообразий, имеет ли место диспозиция определенного вида.

Стимульное значение предложения обобщает для субъекта его диспозиция соглашаться или не соглашаться с предложением в ответ на данную стимуляцию. Стимуляция – это то, что актуализирует диспозицию, в противоположность тому, что ее прививает (даже несмотря на то, что стимуляция имеет шанс внести определенный вклад в закрепление какой-то другой диспозиции).

С этой точки зрения стимуляция должна мыслиться не как датируемое конкретное событие, но как универсальная, повторяемая форма события. Мы должны утверждать, что не две

одинаковые стимуляции произошли, но что одна стимуляция повторилась. Такой подход предполагается тем, как мы говорим об одинаковости стимульного значения для двух говорящих. Мы могли бы, конечно же, пересмотреть это соображение, перестроив нашу терминологию. Но это не относилось бы к сути дела; поскольку кое-где все еще остается непреодолимая причина считать стимуляции универсалиями, а именно форма жесткого условия в определении стимульного значения. Так, рассмотрим снова утвердительное стимульное значение предложения S : класс Σ всех тех стимуляций, которые *побуждали бы* к согласию с S . Если бы стимуляции считались бы скорее событиями, нежели формами событий, то в этом случае класс S был бы классом событий, которые в значительной мере не происходили в прошлом и не произойдут в будущем, но которые побуждали бы к согласию с S , если бы они произошли. Когда бы класс Σ ни включал в себя реализованное или нереализованное особенное стимульное событие σ , он должен был бы включать в себя все остальные нереализованные двойники события σ ; и как много *таковых* могло бы оказаться? Поэтому было бы безнадежной бессмыслицей вести речь о нереализованных конкретных событиях и пытаться объединить их в класс. Нереализованные сущности следовало бы конструировать в качестве универсалий.

В § 1.3 на нас произвела впечатление взаимозависимость предложений. Поэтому мы имеем полное право выяснить, можно ли вообще говорить о значении целых предложений (более краткие выражения оставим пока в покое) иначе, нежели как о зависимых от их отношений с другими предложениями всеобъемлющей теории. Подобная относительность затруднительна, поскольку, напротив, отдельные предложения открывают нам путь в теорию. Итак, понятие стимульного значения отчасти может преодолеть это затруднение. Оно выделяет своего рода сеть эмпирического содержания каждого из различных отдельных предложений, взятых безотносительно к содержащей их теории, даже если при этом не утрачивается то, чем эти отдельные предложения обязаны включающей их теории. Понятие стимульного значения – это инструмент, постольку, поскольку он работает, для исследования конструкции взаимосвязанных предложений, предложения в определенный момент времени.

Между понятием стимульного значения и заметками Карнапа по эмпирической семантике¹ имеются некоторые связи и различия, требующие упоминания. Карнап предлагает объяснять значение термина путем опроса субъекта, при каких воображаемых обстоятельствах, которые были ему описаны, он бы применил данный термин. Данный подход имеет то преимущество, что позволяет сохранить различие между такими терминами, как «гоблин» и «единорог», несмотря на несуществование соответствующих отдельных случаев этих сущностей в мире. Стимульное значение имеет то же самое достоинство, поскольку имеются образцы стимуляции, которые побуждали бы к согласию с вопросительным предложением «Единорог?», но не с предложением «Гоблин?». Подход Карнапа подразумевает определенное решение по поводу того, какие описания воображаемых обстоятельств являются допустимыми; например, «единорог» не требуется при описаниях, употребляемых для исследования значения термина «единорог». С этой целью он намекает на соответствующие ограничения, имея в виду «размер, форму и окраску»; мое понятие стимульного значения, двигаясь в том же самом направлении, дает более устойчивое определение. В данном случае сохраняется важное различие между тем, как мы оба употребляем условные частицы в сослагательном наклонении: я ограничиваю их рассудительным суждением моего исследователя по поводу того, что сделал бы информатор, столкнувшись с определенной стимуляцией; исследователь же Карнапа отдает такие предложения, выражающие условия, на суд своему информатору. Конечно же, мой исследователь на практике задал бы тот же самый вопрос, что и исследователь Карнапа, для того чтобы побыстрее оценить стимульное значение, если имеется подходящий язык для формулировки подобных вопросов. Однако стимульное значение можно исследовать и на первых этапах радикального перевода, на которых недоступен тип вопрошания Карнапа. В силу всего этого немаловажным обстоятельством, как мы увидим в § 2.6, является то, что моя теория, в отли-

¹ Carnap R. Meaning and Necessity, 2d ed., Прил. D. См. также: Chisholm. Perceiving, pp. 175f, и его сноски.

чие от теории Карнапа, имеет в первую очередь дело с предложениями определенного вида, а не с терминами.

2.3 Ситуативные предложения. Вклинивающаяся информация

Ситуативными (occasion) предложениями, в противоположность *устойчивым (standing)* предложениям, являются такие предложения, как «Гавагай», «Красное», «Больно», «Его лицо испачкано», которые вызывают согласие или несогласие только после того, как был задан вопрос при соответствующей побудительной стимуляции. К вердиктам по поводу устойчивых предложений также *можно* побуждать; стимуляция, осуществленная интерферометром, побудила однажды Майкельсона и Морли выразить несогласие с устойчивым предложением «Наблюдается движение эфира»; говорящий может ежегодно побуждаться к согласию с предложением «Крокусы отцвели» и ежедневно – с предложением «Газета “Таймс” пришла». Однако эти устойчивые предложения отличаются от ситуативных предложений тем, что субъект, когда его снова опрашивают некоторое время спустя, может воспроизводить свое прошлое согласие или несогласие, не будучи побужден к этому наличной стимуляцией; тогда как ситуативное предложение вызывает согласие или несогласие только в том случае, если субъект побуждается к этому наличной стимуляцией снова и снова. Устойчивые предложения постепенно приближаются к ситуативным предложениям по мере того, как уменьшается интервал между возможными повторениями побуждений; а ситуативное предложение представляет собой предельный случай, при котором интервал оказывается меньше коэффициента. Как и сами стимульные значения, различие между устойчивыми предложениями и ситуативными предложениями зависит от коэффициента; ситуативное предложение коэффициента n секунд может быть устойчивым предложением коэффициента $n - 1$.

Стимуляции, не принадлежащие ни к утвердительному, ни к отрицательному стимульному значению ситуативного предложения, таковы, что препятствуют вынесению вердикта по поводу соответствующего вопросительного предложения, либо в силу нерешительности (как в случае с неясным проблеском), либо в силу того, что они сбивают субъекта с толку. С другой стороны, стимуляции, не принадлежащие ни к утвердительному, ни к отрицательному стимульному значению устойчивого предложения, бывают двух видов: наряду с теми, что препятствуют вынесению вердикта, имеются еще и те, которые являются *иррелевантными*. Они не побуждают к согласию или к несогласию и не препятствуют им. Задавание вопросительного предложения по следам такой стимуляции вызывало бы вердикт, но всегда такой, который этот вопрос вызывал бы без дополнительной стимуляции; и вердикт никогда бы не изменился.

Стимульное значение является срезом развернутых диспозиций субъекта соглашаться или не соглашаться с предложением, если предложение является ситуативным предложением; в меньшей мере это касается устойчивого предложения. С любой интуитивной точки зрения¹, устойчивые предложения могут отличаться друг от друга по своему «значению» столь же произвольно, сколь и ситуативные предложения; но, чем менее чувствительны они к побуждаемому согласию или несогласию, тем меньше подсказок содержит в себе стимульное значение. Поэтому понятие стимульного значения в первую очередь важно для ситуативных предложений, и мы на время ими и ограничимся.

В действительности даже в отношении таких привилегированных ситуативных предложений, как «Гавагай» и «Кролик», подобие (*sameness*) стимульного значения, как и отношение синонимии, не лишено недостатков. Проблема заключается в том, что согласие или несогласие информатора с предложением «Гавагай?» может быть излишне зависимо от предшествующей

¹ Я был дважды поражен тем, что употребление мною термина «интуитивный» расценивалось как намекающее на некий особенный и мистический путь познания. Под интуитивным подходом я имею в виду такой, при котором термины употребляются привычными способами, когда не задумываются над тем, как их можно было бы определить или какие предпосылки они скрывают.

дополнительной информации, сопутствующей наличному побудительному стимулу. Он может выразить согласие, основанное исключительно на едва мелькнувшем движении в траве, руководствуясь тем, неизвестным для лингвиста соображением, что он прежде видел в этом месте кролика. Поскольку сам лингвист, исходя из имеющейся в его распоряжении информации, не был бы побужден тем же самым мимолетным зрительным впечатлением согласиться с предложением «Кролик?», мы сталкиваемся здесь с несовпадением между наличным стимульным значением предложения «Гавагай?» для информатора и наличным стимульным значением предложения «Кролик?» для лингвиста.

Более устойчивые несовпадения того же самого типа можно представить себе, если воздействовать не на одного аборигена, а на всех вместе и не один раз, а регулярно. Так, может наличествовать частный случай кроличьего бега¹, неизвестный лингвисту и опознаваемый каким-то образом по мельтешению его лапок и беспорядочным движениям: и наблюдение бега по соседству с едва различимым животным может помочь аборигену опознать это последнее как кролика. Зрительные возбуждения, комбинирующие смутные образы кроликов с ясными образами кроличьего бега, принадлежали бы к стимульному значению предложения «Гавагай» для аборигена, но не к стимульному значению предложения «Кролик» для лингвиста.

Сюда же, чтобы быть менее фантастичным, относятся все те стимулы, которые включают вербальные указания аборигенов-зануд. Так, предположим, что стимуляция, по следам которой информатору задают вопрос «Гавагай?», есть сложная стимуляция, включающая в себя постороннего наблюдателя, указывающего на смутно различимый объект и говорящего «Гавагай». Эта сложная стимуляция будет, вероятно, относиться к утвердительному стимульному значению предложения «Гавагай» для информатора, а не к стимульному значению предложения «Кролик» для большинства англоязычных говорящих, для которых будет утрачена сила вербального вмешательства постороннего наблюдателя. Такие случаи не будут сбивать с толку нашего лингвиста, но они на практике послужат доводами против определения синонимии как подобия стимульного значения. Поскольку мы должны помнить о том, что всякая достаточно кратковременная модель стимуляции, хотя она и может оказаться такой, что никогда не будет приниматься во внимание или использоваться лингвистом, все же, по определению, относится к стимульному значению предложения «Гавагай» для некоторого лица в какой-то определенный момент времени, если только она побуждает этого человека к согласию в этот момент времени.

Интуитивно ясно, что в идеале следовало бы ставить в соответствие стимульному значению предложения «Гавагай» только те стимуляции, которые побуждали бы к согласию с вопросительным предложением «Гавагай?» исключительно в силу понимания предложения «Гавагай» и без помощи какой бы то ни было дополнительной информации: без помощи текущих наблюдений кроликов в поле зрения, без помощи знания природы и повадок кроличьего бега, без помощи знакомства с языком зануд. Вследствие этого трудно исключить этот третий вид помощи, учитывая нашу сохраняющуюся зависимость от понимания субъектом предложения «Гавагай». Однако само затруднение распространено еще шире. Оно заключается в том, что мы не придали никакого экспериментального смысла различию между тем, что входит в изучение аборигеном использования выражения, и тем, что входит в изучение аборигеном дополнительной информации по поводу соответствующих объектов. Верно, что лингвист частично может такое различие провести: он может отфильтровать такие идиосинкратические единицы дополнительной информации, как текущие наблюдения информатором кролика в своем поле зрения, за счет того, что будет менять время постановки вопроса и самих своих информаторов и тем самым выделит более устойчивое и более социальное стимульное значение в качестве общего знаменателя. Однако любая социально разделяемая информация, вроде информации по поводу кроличьего бега или способности понимать замечания постороннего наблюдателя, будет продолжать оказывать воздействие даже на этот общий знаменатель.

¹Этим примером я обязан Дэвидсону.

Мы не располагаем ясным критерием для того, чтобы устранить такие следствия и оставить только значение предложения «Гавагай» как такового, чем бы ни было это значение само по себе.

Таким образом, для того чтобы отобразить это затруднение в более общих терминах, предположим, что утверждается, что отдельный класс S охватывает только те стимуляции, каждая из которых достаточна для непосредственного побуждения к согласию с предложением S без помощи какой-либо дополнительной информации. Предположим, утверждается, что стимуляции, входящие в другой класс, Σ' , также достаточны для побуждения к согласию с предложением S , но уже в первую очередь благодаря широко распространенной дополнительной информации C . Не могли бы мы вместо этого с тем же основанием утверждать, что, приобретая C , люди сочли удобным имплицитно изменять само «значение» S , как и членов класса Σ , так что членов класса Σ' вполне достаточно для непосредственного побуждения к согласию с S ? Я думаю, что мы можем утверждать и то, и другое; даже историческое предвидение не открыло бы различия, хотя оно открыло бы все этапы приобретения C , поскольку значение может эволюционировать *pari passu*. Это различие является мнимым: оно столь же ошибочно, как и понятие, отвергнутое в § 1.4, будто мы можем определить по отдельности, о чем говорить и что сказать об этом. Речь идет просто о том, как называть сокращения транзитивности – изменениями значения или сжатиями доказательства; в действительности это нереальный вопрос. То, с чем мы объективно имеем дело, – это эволюционирующее приспособление к природе, которое находит свое отражение в ряде диспозиций быть побуждаемым стимуляцией к согласию или несогласию с предложениями. Эти диспозиции можно считать нечистыми в том смысле, что они содержат знание о мире, но они содержат его в растворенном состоянии, не имеющем осадка.

Кстати, отметьте, что стимульные значения, как мы их определили в § 2.2, могут даже претерпевать некоторые расхождения, которые – интуитивно – нельзя приписать ни различиям в значении, ни различиям в дополнительной информации. Например, рассмотрим шокирующее молчание. Начнем с того, что, если говорящий уже ошеломлен к моменту времени t , все стимульные значения для него в момент времени t будут пусты. Этот результат определения стимульного значения является неестественным, но безобидным, поскольку мы можем не принимать во внимание стимульные значения для ошеломленных личностей. Однако в случае, когда говорящий находится настороже в момент времени t , имеются стимуляции, которые ошеломили бы его в момент времени t и тем самым положили бы конец любому согласию или несогласию с вопросительным предложением «Гавагай?». Эти стимуляции, по определению, не будут относиться ни к утвердительному, ни к отрицательному стимульному значению предложения «Гавагай» для говорящего в момент времени t . Итак, расхождения в стимульном значении будут появляться в тех ситуациях, в которых стимуляция окажется таковой, что будет приводить в потрясение одного говорящего, а не другого, поскольку она могла бы относиться, скажем, к отрицательному стимульному значению для второго говорящего и ни к утвердительному, ни к отрицательному стимульному значению для первого говорящего. Тут вновь мы сталкиваемся с расхождением, которое не озадачивает нашего лингвиста, но которое, по нашему определению, существует. Помимо этого, имеются менее сильнодействующие помехи. Абориген может не согласиться с предложением «Гавагай» из-за того, что видны только уши кролика и в этом положении он представляет собой неудобную мишень для стрельбы¹; в данном случае речь идет о том, что абориген ошибочно истолковал мотив, побудивший лингвиста задать ему вопрос «Гавагай?».

Теперь мы видим, что стимульному значению в том виде, в каком мы его определили, по разному недостает интуитивных требований в отношении понятия «значение» как неопределенного и что подобие стимульного значения оказывается слишком строгим отношением, чтобы можно было ожидать, что оно связывает ситуативное предложение аборигена с пере-

¹Этот пример я заимствовал у Раймона Фёрта (Firth).

водом этого ситуативного предложения даже в таких благоприятных случаях, как «Гавагай» и «Кролик». Тем не менее стимульное значение, как его ни называть, следует рассматривать как объективную реальность, которую лингвист должен исследовать в том случае, если он занимается радикальным переводом. Ведь стимульное значение ситуативного предложения есть, по определению, всеобъемлющий набор наличных диспозиций аборигена побуждаться к согласию или к несогласию с предложением и эти диспозиции как раз являются тем, что лингвист должен испытать и оценить. Поэтому более правильным было бы подвергнуть исправлению не наше понятие стимульного значения, но только наши представления о том, как лингвист оперирует со стимульными значениями. Факт заключается в том, что он делает перевод, опираясь при этом не на тождество (*identity*) стимульных значений, а на установление приблизительного сходства (*approximation*) стимульных значений.

Если, несмотря на вышеописанные расхождения в стимульном значении, лингвист все же переводит предложение «Гавагай» как «Кролик», то он поступает так потому, что стимульные значения, по-видимому, с непреодолимой силой обнаруживают тенденцию к совпадению, а расхождения, коль скоро он наталкивается на них, кажутся наилучшим образом объяснимыми или устранимыми как следствия неидентифицированных помех. Некоторые расхождения он может устранить, как было предположено, меняя время и своих информаторов. Другие расхождения, включающие неясные образы, или шок, или вербальные вмешательства, он даже не побеспокоится прояснить до конца путем повторения предложения. Некоторые, включающие кроличий бег, он устраним как следствия неидентифицированных препятствий, если только он не сталкивается с ними часто. Действуя энергично в этом последнем направлении, он, ясное дело, будет исходить из естественного предположения, что все люди в стране, где обитают кролики, должны были бы располагать *неким* кратким выражением, которое в конечном счете можно было бы наилучшим образом перевести предложением «Кролик». Он доказывает, что на данный момент не объясненные расхождения между предложениями «Гавагай» и «Кролик» в конце концов могут быть сглажены посредством его перевода, после того как он каким-то образом настолько глубоко освоит аборигенный язык, что сможет задавать сложные вопросы.

Конечно, на деле естественное ожидание, что аборигены имеют краткое выражение для предложения «Кролик», оказывает на лингвиста подавляющее влияние. Лингвист однажды слышит предложение «Гавагай» в ситуации, когда интересующим объектом, по-видимому, выступает кролик. Он будет затем подвергать испытанию предложение «Гавагай» в паре с ситуациями, возможно сконструированными для устранения предложений «Белый» и «Животное» в качестве альтернативных переводов, и немедленно остановится на предложении «Кролик», не прибегая к дальнейшим опытным проверкам, хотя и находясь при этом в полной готовности обнаружить, при помощи какого-то непредвиденного опыта, что исправление стоит в повестке дня. Я сделал лингвиста неестественно предусмотрительным и преувеличил его невезучесть в отношении противоречивых наблюдений, чтобы рассмотреть, в каком теоретическом отношении дополнительная информация аборигена может находиться к той дополнительной информации, которой располагает лингвист в условиях совершенно поспешного начинающегося перевода.

2.4 Предложения наблюдения

Некоторые стимульные значения меньше других чувствительны к влияниям вклинивающейся информации. Поэтому предложения «Красное» и «Кролик» существенно различаются даже тогда, когда предложение «Красное» употребляется равнозначным предложению «Кролик» образом, т.е. сообщает не о преходящем чувственном данном, а об имеющем длительность объективном следе физического объекта. Правда, существуют крайние случаи, когда дополнительная информация о необычном освещении и положении в пространстве может убедить нас, что нечто, не кажущееся красным, на самом деле красное, и наоборот; но, несмотря

на наличие таких случаев, решение вопроса, является ли вещь, увиденная лишь мельком, красной, меньше зависит от дополнительной информации, чем решение вопроса, кролик ли это. Таким образом, для предложения «Красное» однообразие стимульного значения необыкновенно близко подходит к тому, чего интуитивно ожидают от синонимии.

Известно, как плохо соответствуют друг другу слова, обозначающие цвет, в отдаленных языках вследствие различий в привычках группировать оттенки. Но не в этом суть дела; это просто значит, что в некоем аборигенном языке вполне может не существовать такого ситуативного предложения, которое приблизительно соответствовало бы стимульному значению предложения «Красное», по крайней мере достаточно простого такого предложения. Но даже если такое предложение существует, имеется определенное затруднение с установлением его равенства предложению «Красное», просто потому, что границы между цветами в обоих языках нечеткие. Но проблема дополнительной информации даже не в этом; это трудность, которая сохраняется даже в том случае, когда различие между значением и дополнительной информацией успешно проведено. С ней можно справиться путем приблизительного соотношения статистических расхождений (*scatterings*). Степень (*penumbra*) смутности предложения «Красное» состоит из стимуляций, в отношении которых его стимульное значение имеет тенденцию изменяться от говорящего к говорящему и от случая к случаю; то же относится и к степени смутности предложения аборигенного языка; следовательно, предложение «Красное» настолько хорошо подходит для перевода, насколько его степень смутности совпадает со степенью смутности предложения аборигенного языка (*umbra for umbra and penumbra for penumbra*).

Чем, говоря в терминах непосредственной поведенческой очевидности, те флуктуации стимульного значения, которые можно отнести к степени смутности, отличаются от тех его флуктуации (например, предложения «Гавагай»), которые возникают вследствие изменений дополнительной информации от случая к случаю? Отчасти тем, что первые (*penumbral fluctuations*) довольно плавно растут по мере прекращения (*grade off*) стимуляции, тогда как вторые не так регулярны и указывают на вторжение посторонних факторов. Но в основном они различаются тем, что в случае, когда побуждающая стимуляция относится к степени смутности, каждое индивидуальное согласие или несогласие имеет тенденцию характеризоваться сомнением и колебанием. Если бы нам нужно было усовершенствовать понятие стимульного значения так, чтобы оно представляло собой оценку каждой стимуляции по времени реакции (см. § 2.2), но с обратным знаком, то расхождения стимульного значения для разных говорящих имели бы тенденцию играть незначительную роль в случае, когда их появление вызвано смутностью, и – более значительную в случае, когда оно не вызвано смутностью.

Если «Красное» каким-то образом менее чувствительно к влияниям вклинивающейся информации, чем «Кролик», то существуют другие предложения, которые к ней гораздо чувствительнее. Пример – «Холостяк». Согласие информатора с этим предложением, можно сказать, действительно вызывает увиденное лицо, хотя опирается оно главным образом на накопленную информацию, а не на побудительную стимуляцию, за исключением той, которая нужна для признания холостяком его друга. Если использовать не критический жаргон значения, трудность с предложением «Холостяк» заключается в том, что его значение выходит за рамки вида лиц, оказывающих побудительное воздействие, и имеет дело с тем, что может быть известно только из других источников. Значение предложения «Кролик» только отчасти таково, как свидетельствуют муляжи кролика из папье-маше; значение предложения «Холостяк» таково в гораздо большей степени. Никакая широта воображения не поможет считать стимульное значение предложения «Холостяк» его «значением», разве что если ее дополняет некая широта коэффициента.

Различие стимульного значения для разных говорящих на одном языке есть признак вторжения дополнительной информации, за исключением случаев, когда информация разделяется всеми говорящими, как в примерах с занудой и бегом кролика (§ 2.3). В таком случае, как с предложением «Холостяк», мы, следовательно, можем ожидать, что различия будут подавля-

ющими; и они действительно таковы. Для любых двух говорящих, чьи социальные контакты фактически не тождественны, стимульные значения предложения «Холостяк» будут различаться значительно сильнее, чем стимульные значения предложения «Кролик».

Чем менее чувствительно стимульное значение ситуативного предложения к влияниям дополнительной информации, тем менее абсурдно думать о стимульном значении предложения как о его значении. Ситуативные предложения, стимульные значения которых не изменяются под воздействием дополнительной информации, естественно можно назвать *предложениями наблюдения*, а об их стимульных значениях можно, не опасаясь противоречия, сказать, что они полностью исчерпывают их значения. Это – ситуативные предложения, которые не скрывают своих значений (*wear their meanings on their sleeves*). Еще лучше было бы говорить о степенях наблюдаемости (*observationality*), поскольку даже стимульное значение предложения «Красное» можно, как мы заметили, заставить немного колебаться от случая к случаю в зависимости от дополнительной информации, касающейся условий освещения. У нас есть градация наблюдаемости, где в высшей точке находится «Красное» или предложение с еще большей степенью наблюдаемости, а в нижней – «Холостяк» или предложение с еще меньшей степенью наблюдаемости.

В предыдущем параграфе мы, оставив всякую брезгливость, барахтались в концептуальном болоте значения и дополнительной информации. Теперь же любопытно будет заметить, что почерпнутое нами из этого болота – понятие степени наблюдаемости – вполне можно почистить и уважить. Ведь, если говорить в терминах поведения, ситуативное предложение можно с тем большим основанием назвать предложением наблюдения, чем ближе стремятся совпасть его стимульные значения для разных говорящих. Правда, с помощью этого определения нельзя выявить неприятные следствия влияния такой информации, которая разделяется всеми говорящими, подобной информации о беге кролика. Однако, как утверждалось в § 2.3, я подозреваю, что различию между употреблением, основанном на значении, и употреблением, основанном на разделяемой всеми говорящими дополнительной информации, не следует придавать систематического экспериментального смысла.

Понятие наблюдаемости соответствует коэффициенту стимуляции. Этому не следует удивляться, так как понятие стимульного значения соответствовало коэффициенту (см. § 2.2) и таково же само различие между формированием привычки и сформированной привычкой (см. § 2.1). Наблюдаемость увеличивается вместе с коэффициентом следующим образом. Типическим случаем различия между стимульными значениями предложения «Гавагай» для двух аборигенов является случай, когда один из двоих, но не другой, недавно видел кроликов неподалеку от того места, на которое они теперь оба смотрят. Мелькнувшее неясное движение побуждает одного из аборигенов, но не другого, утвердительно ответить на вопрос «Гавагай?». Но если мы сделаем коэффициент достаточно большим, чтобы он включал в себя как часть наличной стимуляции одного аборигена его недавнее наблюдение кроликов рядом с данным местом, тогда то, что было различием между стимульными значениями, окажется просто различием между стимуляциями: одна стимуляция такова, что побудила бы утвердительно ответить на вопрос «Гавагай?» обоих аборигенов, а другая – ни одного. Увеличь коэффициент настолько, чтобы он включал пространные периоды изучения друзей, и ты увеличишь даже наблюдаемость для предложения «Холостяк». Но давайте на некоторое время снова забудем о коэффициентах, выведя, таким образом, из игры наши переменные.

Мы грубо определили наблюдаемость для ситуативных предложений как степень неизменности стимульного значения для разных говорящих. Бесполезно использовать это определение в общем виде применительно к устойчивым предложениям, поскольку стимульное значение устойчивого предложения может оправданно оставаться неизменным для разных говорящих по другой причине: из-за простой скудности составляющих стимуляций. Между тем применительно к тем устойчивым предложениям, которые в значительной степени приближаются к ситуативным (см. § 2.3), понятие наблюдаемости работает так же хорошо, как и применительно к ситуативным предложениям, и значимо таким же образом; а именно чем выше наблю-

даемость, тем лучше мы можем справиться с переводом с помощью стимульного значения. Мы можем надеяться, например, перевести фразу «Прилив закончился» посредством приблизительного соотнесения стимульных значений; с фразой «На борту – известный романист» этого сделать нельзя.

Рассматривая градуированное понятие наблюдаемости в качестве первичного, мы по-прежнему можем говорить о предложениях просто как о предложениях наблюдения, если их степень наблюдаемости высока. В узком смысле таким образом характеризуемо только предложение «Красное»; в более широком смысле к предложениям наблюдения относятся также «Кролик» и «Прилив закончился». Именно для предложений наблюдения, определенных подобным образом, понятие стимульного значения конституирует приемлемое понятие значения.

Для философов «предложение наблюдения» говорит о предложениях, выражающих данные науки. В этом отношении наша версия не плоха, поскольку предложения наблюдения, как мы их определили, есть просто ситуативные предложения, относительно которых почти наверняка существует устойчивое соглашение со стороны хорошо расположенных наблюдателей. Таким образом, они представляют собой просто такие предложения, к которым склонен прибегать ученый, критикуемый сомневающимися коллегами. Более того, наша версия поддерживает философскую доктрину непогрешимости предложений наблюдения. Ведь простор для ошибки и диспута существует лишь в той мере, в какой многообразны, косвенны и противоречивыми способами опосредованы во времени теорией связи с опытом, служащие критериями оценки предложений; пока дела обстоят так, ни один вердикт по поводу предложения не будет непосредственно опираться на наличную стимуляцию. (Однако для нас этот иммунитет к ошибкам, как и сама наблюдаемость, есть вопрос степени.) Наша версия предложений наблюдения отклоняется от философской традиции, позволяя предложениям быть предложениями об обычных вещах вместо того, чтобы требовать от них быть отчетами о чувственных данных; но у этого отклонения достаточно сторонников¹.

Варьирование времени и говорящего помогает лингвисту оценивать стимульное значение предложения для некоего говорящего в некое определенное время. Выбирать перевод ему помогает сравнение говорящих на этом языке, и таким образом устраняются идиосинкразии стимульного значения. И тем не менее само понятие стимульного значения, по определению, не зависит от многообразия говорящих. А понятие наблюдаемости, напротив, социально. Поведенческое определение, предложенное для него выше, включает в себя сходства стимульных значений на всем сообществе.

Широкая интерсубъективная изменчивость стимульного значения – вот что, по определению, делает степень наблюдаемости ситуативного предложения низкой. Язык как социально внедренный набор диспозиций в значительной степени единообразен для всего сообщества, но он единообразен по-разному для разных предложений. Если предложение таково, что (подобно предложениям «Красное» и «Кролик») внедрено в основном посредством чего-то подобного прямой остенсии, единообразие будет лежать на поверхности и изменчивость стимульного значения будет мала; предложение будет иметь высокую степень наблюдаемости. Если же оно таково, что (как «Холостяк») внедрено через связи с другими предложениями, косвенно связывающими его, таким образом, с прошлыми стимуляциями других видов, не тех, что служат непосредственно для побуждения к теперешнему согласию с предложением, то его стимульное значение будет изменяться в зависимости от того, каково прошлое говорящего, и предложение будет считаться в очень большой степени не предложением наблюдения. Стимульное значение такого ситуативного предложения для говорящего есть продукт двух обстоятельств: довольно стандартного множества связей между предложениями и случайной

¹См. заметки по этому поводу в: *von Mises. Positivism*, pp. 91–95, 379. Я чувствую, что по поводу главной темы этого параграфа согласен со Стросоном (*Individuals*, p. 212): «Если какие-нибудь факты заслуживают... быть названными... атомарными фактами, то это – факты, утверждаемые теми пропозициями, которые демонстративно указывают на сферу действия общего признака». Судя по всему, упомянутые пропозиции, в свете смежного текста, вполне соответствуют тому, что я назвал ситуативными предложениями.

личной истории; отсюда – во многом случайный характер стимульного значения для разных говорящих.

Но этот случайный характер влияет не только на то, что стимульное значение предложения для одного говорящего отличается от стимульного значения *этого* предложения для других говорящих. Оно будет отличаться также и от стимульного значения любого другого обнаруживаемого предложения для других говорящих, в том же языке или любом другом. Допустим, что можно вообразить такое большое сложное английское предложение, относительно стимульного значения которого для одного человека на основании абсолютного исчерпания всех случаев установлено его соответствие стимульному значению предложения «Холостяк» другого человека; но такое предложение никогда не найти, поскольку так как ничье стимульное значение предложения «Холостяк» нельзя подходящим образом описать, то и поиск начинать не с чего.

Но посмотрим опять, как это было с предложением «Гавагай». В данном случае стимуляции, относящиеся к утвердительному стимульному значению, обладают заметной отличительной чертой, и для нас, и для аборигенов: они содержат мимолетные кроличьи образы. Эта черта достаточно заметна, для того, чтобы лингвист сделал обобщение, отталкиваясь от образцов: он ожидает, что следующий мимолетный образ кролика побудит согласиться с предложением «Гавагай» так же, как это делали прошлые мимолетные образы. Его обобщение рождено повторениями, и он заключает, исходя из своего предположения, что в целом стимульное значение «Гавагай» аборигенов – никогда, разумеется, экспериментально не исчерпаемое – стремится совпасть с нашим стимульным значением предложения «Кролик». Но сходное усилие, предпринятое в отношении ситуативного предложения аборигенов, не являющегося предложением наблюдения, типа нашего «Холостяк», забуксует на ранних стадиях. Образцовые стимуляции, относящиеся к утвердительному стимульному значению такого предложения для данного аборигена, не выкажут соблазнительных общих черт, на основании которых можно было бы предполагать, какими будут последующие случаи, или не выкажут никаких других черт, кроме тех, которые не смогут поддерживать дальнейших усилий в этом направлении.

2.5 Внутрисубъектная синонимия ситуативных предложений

Стимульное значение остается определенным независимо от наблюдаемости. Но в случае предложений, не являющихся предложениями наблюдения, такими, как «Холостяк», оно мало походит на то, что можно было бы обоснованно назвать значением. Перевод ‘Soltero’ предложением «Холостяк» явно не может основываться на тождестве стимульных значений говорящих; нельзя на этом основании также утверждать синонимию предложений «Холостяк» и «Неженатый».

Весьма любопытно, однако, что стимульные значения предложений «Холостяк» и «Неженатый», несмотря на все это, тождественны для любого индивидуального говорящего¹. В любой единичный момент времени одни и те же стимуляции побуждают индивида согласиться и с предложением «Холостяк», и с предложением «Неженатый»; и то же самое касается несогласия. *Стимульная синонимия*, или сходство стимульного значения, – настолько же хороший

¹ Можно возразить, что этот часто используемый пример синонимии несовершенен, когда речь идет о возрастах, разводе и бакалавре гуманитарных наук. О другом примере, много используемом в философии, «брат» и «ребенок тех же родителей мужского пола» (*male sibling*), можно утверждать, что он теряет свою значимость, когда речь идет об определенных церковных словоупотреблениях. Пример, возможно свободный от нападков, – «отец матери» и «дедушка по материнской линии» (поэтические коннотации здесь не принимаются во внимание) или «вдовец» и «человек, потерявший свою жену» (Якобсон). Имея все это в виду, во избежание софизмов, мы можем, пожалуй, придерживаться нашего конвенционального примера и не обращать внимания на существующие отклонения.

стандарт синонимии для ситуативных предложений, не являющихся предложениями наблюдения, как и для предложений наблюдения, в той мере, в какой мы ограничиваемся одним говорящим. Для каждого говорящего «Холостяк» и «Неженатый» – стимульные синонимы, которые при этом не имеют одного и того же значения в каком-либо приемлемым образом определенном смысле термина «значение» (поскольку стимульное значение в случае предложения «Холостяк» ни в коей мере не является его значением). Очень хорошо; в этом случае мы можем приветствовать синонимию, а значение оставить в покое.

Ограничение одним говорящим не препятствует тому, чтобы утверждать, что «Холостяк» и «Неженатый» стимульно синонимичны для всего сообщества в том же смысле, в каком они стимульно синонимичны для каждого его члена. Не надо долго искать практического расширения этого случая даже до случая с двумя языками, если имеется двуязычный говорящий. Взяв его за образец, мы можем считать «Холостяк» и «Soltero» синонимами в рамках переводческих задач двух языковых сообществ, которые такой двуязычный говорящий представляет. Достаточно ли он хорош в качестве образца, проверяется наблюдением за плавностью его коммуникации в обоих сообществах и сравнением его с другими двуязычными говорящими.

Мы оставили лингвиста в § 2.4 неспособным судить о тенденции стимульного значения ситуативного предложения, не являющегося предложением наблюдения, на основании примеров. Теперь мы видим путь, хотя и не простой, которым он все же может завершить радикальный перевод таких предложений. Он может вжиться в аборигенное сообщество и выучить язык аборигенов непосредственно так, как это мог бы сделать ребенок¹. Становясь, таким образом, двуязычным, он может перевести не являющиеся предложениями наблюдения ситуативные предложения, опираясь на самонаблюдение стимульной синонимии.

Примечательным результатом этого шага является инициация ясного понимания того, что аборигены считают ложным. Пока лингвист не делает ничего большего, как только соотносит предложения наблюдения аборигена со своими собственными посредством стимульного значения, он не может выявить ложность ни одного из вердиктов аборигена – разве что *ad hoc*, очень сдержанно, ради упрощения своих сопоставлений. Но как только он становится двуязычным и, таким образом, выходит за рамки предложений наблюдения, он может вступать в спор с аборигеном, так же как это может делать брат аборигена.

Даже при недостатке двуязычности не составит труда сравнить два не являющихся предложениями наблюдения аборигенных предложения, чтобы увидеть, являются ли они для аборигена внутрисубъектно стимульно синонимичными. Лингвист может сделать это без помощи интуитивных предположений о тенденциях стимульного значения каждого предложения. Ему только нужно высказывать эти предложения в виде вопросов, заданных наугад, параллельно различным стимуляциям, пока он либо не обнаружит стимуляцию, которая побуждает к согласию или несогласию с одним предложением, но не с другим, либо не удовлетворится тем, что он не может обнаружить такой стимуляции. Пришелец с Марса, который никогда не учил, при каких обстоятельствах применять предложения «Холостяк» или «Неженатый», все же сможет выяснить приведенным выше методом, что стимульное значение предложения «Холостяк» для одного говорящего на английском языке не совпадает со стимульным значением этого же предложения для другого говорящего на английском языке, но совпадает со стимульным значением предложения «Неженатый» для того же самого говорящего. Можно считать, что он способен это сделать, если не принимать в расчет одной трудности: нет ясной причины, почему ему должно прийти на ум пытаться так, вслепую, сравнивать именно предложения «Неженатый» и «Холостяк». Эта трудность делает внутрисубъектную стимульную синонимию не являющихся предложениями наблюдения ситуативных предложений в меньшей степени доступной для иноязычного лингвиста, чем стимульная синонимия предложений наблюдения, таких, как «Гавагай» и «Кролик». Все же лингвист может исследовать на предмет стимульной синонимии любую пару ситуативных предложений аборигена, которой ему

¹См. соображения по поводу обучения ребенка нашему собственному языку в главе 3.

придет в голову заинтересоваться; и мы увидим в § 2.9, как косвенные соображения могут даже предлагать такие пары для изучения.

Пока один человек понимает язык, который не понимает другой, между стимульным значением какого-либо предложения для первого и стимульным значением того же или любого другого предложения для второго почти наверняка будут существовать бесчисленные различия в том, что касается вербально засоренных стимуляций. Аргумент здесь – такой же как в случае с занудой из § 2.3. Лингвист, занимающийся переводом должен, следовательно, учитывать различия, возникающие вследствие вербальной засоренности стимуляций. Но внутрисубъектное сравнение не сталкивается с этой трудностью. Внутрисубъектно мы можем даже сравнить ситуативные предложения «Да», «Ого» и «Точно» в отношении стимульной синонимии, несмотря на то что стимуляции, входящие в стимульные значения этих предложений, – чисто вербальные в их соответствующих частях. Другое достоинство внутрисубъектной ситуации проявляется в случае стимуляций, которые в одно и то же время лишают дара речи одного говорящего, но не другого (см. § 2.3); ведь ясно, что при этом внутрисубъектно никакие различия не конституируются. Приравнивание стимульных значений вообще выполняется гораздо лучше внутрисубъектно, чем между субъектами: оно выходит за рамки предложений наблюдения, поглощает шок и лучше распределяет вербальные стимуляции.

Вербальные стимуляции могут мучить даже внутрисубъектные сравнения, если это стимуляции «вторичной интенции», т.е. если, помимо того, что они состоят из слов, они еще и о словах. Примеры вторичной интенции отравляют теоретическую лингвистику, даже независимо от проблем синонимии. Так, допустим, лингвист устанавливает различия между теми последовательностями звуков или фоном, которые могут встречаться в английской речи, и теми, которые не могут: все исключенные им формы могут встретиться ему в закавыченном виде и сбить его с толку во вторично интенциональном английском. Следующие вторично интенциональные стимуляции могут побудить субъекта согласиться с одним из вопросов «Холостяк?» или «Неженатый?» и не согласиться с другим: стимуляция, представляющая произношение слова «холостяк», стимуляция, представляющая слова «рифмуется с «беспокойный» ('harried')», стимуляция, представляющая мимолетный образ друга-холостяка вместе с требованием переопределить слово «холостяк». Нелегко найти поведенческий критерий вторичной интенции, с помощью которого можно было бы отразить такие случаи, особенно последний.

Оставляя эту проблему нерешенной, мы все же должны упомянуть другое, более банальное ограничение, которое надо иметь в виду, приравнивая предложения в соответствии с их стимульными значениями: мы должны ограничиться короткими предложениями. Иначе простая неспособность субъекта переварить длинные вопросы может, в соответствии с нашим определением, привести к различию стимульных значений длинных и коротких предложений, синонимичность которых нам хотелось бы установить. Стимуляция может побудить к согласию с коротким предложением, но не с длинным, просто вследствие неясности длинного предложения; поэтому нам хотелось бы в таком случае сказать не что субъект продемонстрировал отличие значения длинного предложения от короткого, а что он просто не смог осмыслить его. Тем не менее понятие синонимии, первоначально значимое только для коротких предложений, может быть распространено на длинные предложения по аналогии, например следующим образом. Будем понимать под *конструкцией*, лингвистически говоря, любой фиксированный способ построения сложного выражения из произвольно взятых компонентов соответствующего вида, одного или более в определенный момент времени. (Фиксированная часть может включать в себя несколько добавочных слов, наряду со способом расположения нефиксированных компонентов.) Теперь две формирующие предложения конструкции могут быть так соотносены, что, когда бы они ни применялись к одним и тем же компонентам, они дают взаимно синонимичные предложения в той мере, в какой эти предложения достаточно коротки для того, чтобы их можно было сравнить с целью установления синонимии. В этом случае естественно также считать, действуя подобным же образом, взаимно синонимичными любые предложения, появившиеся в результате применения таких конструкций к тождественным,

сколь угодно длинным, компонентам. Но, чтобы упростить следующие отсюда соображения, давайте продолжим рассуждать, не ссылаясь на эту тонкость там, где возможно.

Нашего успеха с предложениями «Холостяк» и «Неженатый» достаточно, несмотря на тупик вторичной интенции, чтобы подвинуть нас к переоценке того, как хорошо внутрисубъектная стимульная синонимия противостоит дополнительной информации. Внеся соответствующие коррективы, рассмотрим случай исследователя Гималаев, выучившего, как применять слово «Эверест» к отдаленной горе, видимой из Тибета, и Гаурисанкер» – к горе, видимой из Непала. Как ситуативные предложения эти слова будут иметь взаимно исключающие стимульные значения для него до тех пор, пока его исследования не откроют, к удивлению всех заинтересованных, что эти пики тождественны. Его открытие – болезненно эмпирическое, а не лексикографическое; тем не менее стимульные значения предложений «Эверест» и «Гаурисанкер» для него с этого момента будут совпадать¹.

Или возьмем ситуативные предложения «Индийский пятицентовик» и «Бизоний пятицентовик»^{3*}. Они имеют разные стимульные значения для мальчика в первую минуту, или две, пассивного знакомства с этими монетами, но, когда он догадывается посмотреть на их обратные стороны, эти стимульные значения получают тенденцию к слиянию.

Сливаются ли они полностью? Вопрос, одинаковое ли стимульное значение у предложений «Бизоний пятицентовик» и «Индийский пятицентовик» для данного субъекта, есть вопрос о том, будет ли какая-либо последовательность зрительных раздражений или другая стимуляция (в границах коэффициента), реализованная или нет, побуждать к согласию или несогласию с предложением «Индийский пятицентовик», но не с предложением «Бизоний пятицентовик», или наоборот. Среди подобных стимуляций встречаются такие, которые предлагают, для всех визуализаций, монету, чья лицевая сторона подобна лицевой стороне индийского пятицентовика, но изображение на обратной стороне которой не похоже на бизона. Такие стимуляции могут быть, даже несколько злонамеренно, реализованы. После длительного по коэффициенту исследования такой гибридной монеты новичок мог бы с удивлением прийти к выводу, что, оказывается, существуют два вида индийского пятицентовика, тогда как эксперт, знаток нумизматики, мог бы заключить, что монета, должно быть, поддельная. Для эксперта «Индийский пятицентовик» и «Бизоний пятицентовик» стимульно синонимичны; для новичка – нет.

Новичок полагает и продолжает полагать, как и эксперт, что все индийские пятицентовики суть бизоньи пятицентовики, и наоборот; поскольку новичок не был и не будет реально подвержен удивляющей стимуляции описанного выше типа. Но тот простой факт, что образец такой стимуляции существует и что новичок теперь отреагировал бы на нее описанным выше образом (знаем мы об этом или нет), есть то, что, по определению, заставляет стимульные значения предложений «Индийский пятицентовик» и «Бизоний пятицентовик» различаться даже для такого новичка.

Чтобы сохранить уместность нашего примера, мы должны абстрагироваться от того, что может быть названо попустительствующим способом выражения: способом, каким мы сознательно называем Оливье Макбетом, статую лошади – лошастью, фальшивый пятицентовик пятицентовиком. Даже эксперт на практике говорил бы о представленной на экспертизу монете как о «том индийском пятицентовике с какой-то непонятной штуковиной на обратной стороне», добавляя, что это – подделка. Здесь мы имеем дело с более широким употреблением слова «пятицентовик», при котором никто всерьез не утверждает даже, что все индийские пятицентовики на самом деле – бизоньи пятицентовики, и наоборот; между тем наша задача в этом примере – исследовать два предположительно совпадающих по объему (*coextensive*) термина на сходство стимульного значения. В этом примере, таким образом, следует понимать «индийский пятицентовик» и «бизоний пятицентовик» как «подлинный индийский пятицентовик» и «подлинный бизоний пятицентовик».

¹ Я обязан этим рассуждением Дэвидсону, а примером – работе “What is life?” Шрёдингера.

Из приведенного примера мы видим, что два термина могут фактически совпадать по объему или быть истинными относительно одних и тех же предметов, но не быть внутрисубъектно стимульно синонимичными подобно ситуативным предложениям. Можно считать их совпадающими по объему и при этом не стимульно синонимичными подобно ситуативным предложениям даже для того, кто так считает; об этом свидетельствует отношение новичка к предложениям «Индийский пятицентовик» и «Бизоний пятицентовик». Но если, как в случае эксперта, вера настолько крепка, что никакой образец стимуляции (в границах коэффициента) не будет достаточным, чтобы поколебать ее, эти предложения будут стимульно синонимичны так же, как ситуативные предложения.

Таким образом, очевидно, что внутрисубъектная стимульная синонимия остается открытой для критики со стороны интуитивных предвзятых мнений за близость к ситуативным предложениям, чьи стимульные значения совпадают вследствие дополнительной информации. Однако по-прежнему существует способ отсеять влияния идиосинкротической информации: мы можем настаивать на фактической неизменности внутрисубъектной синонимии для всего сообщества. В этом социальном смысле стимульной синонимии «Индийский пятицентовик» и «Бизоний пятицентовик» перестали бы считаться стимульно синонимичными из-за таких говорящих, как наш новичок; в то же время «Холостяк» и «Неженатый» по-прежнему могли бы считаться стимульно синонимичными даже социально, поскольку они почти для всех внутрисубъектно стимульно синонимичны. Все же не существует никакого общего для всего сообщества прикрытия от влияний дополнительной информации; но, как говорилось в § 2.3, я думаю, что в этом месте идеал становится иллюзорным.

2.6 Синонимия терминов

Начав наше рассмотрение значения с предложений, мы прокладывали себе путь в направлении, заданном § 1.3 – 1.4, где подчеркивалось, что слова изучаются только абстрактным образом по их ролям в изучаемых предложениях. Имеются, однако, однословные предложения, такие, как «Красное» и «Кролик». Постольку, поскольку понятие стимульного значения может считаться конституирующим, в некотором неестественном смысле, понятие значения для таких предложений, оно будет казаться конституирующим также понятие значения для общих терминов вроде «красный» и «кролик». Это, однако же, ошибочно. Стимульная синонимия ситуативных предложений «Гавагай» и «Кролик» даже не гарантирует того, что термины «гавагай» и «кролик» являются терминами, совпадающими по объему, то есть терминами, истинными относительно одних и тех же предметов.

Так, рассмотрим термин «гавагай». Кто знает, не являются ли те объекты, к которым применяется этот термин, не кроликами, а простыми фазами, или краткими временными сегментами кролика? В каждом таком случае стимульные ситуации, которые побуждают к согласию с предложением «Гавагай», будут такими же, что и стимульные ситуации, которые побуждают к согласию с предложением «Кролик». Или, возможно, те объекты, к которым применяется термин «гавагай», – это все без исключения неотчуждаемые части кроликов; опять-таки стимульное значение не регистрирует каких-либо различий. Когда от подобия стимульных значений предложений «Гавагай» и «Кролик» лингвист резко перескакивает к заключению, что гавагай – это целый делящийся кролик, он просто считает само собою разумеющимся то, что аборигены достаточно похожи на нас, чтобы иметь краткий общий термин для кроликов и не иметь кратких общих терминов для кроличьих фаз или частей.

Другая альтернатива, равным образом совместимая с тем же самым старым стимульным значением, заключается в том, чтобы считать «гавагай» единичным термином, именующим, в смысле Гудмена, слияние всех кроликов: ту единичную, хотя и прерывистую часть пространственно-временного мира, что состоит из кроликов. Таким образом, даже различие между общими и единичными терминами независимо от стимульного значения. То же самое можно

увидеть, если рассмотреть, наоборот, единичный термин «Бернард Дж. Орткатт»: по своему стимульному значению он не отличается ни от общего термина, истинного по отношению к темпоральным сегментам хорошего декана, ни от общего термина, истинного в отношении каждой из пространственных частей декана. Еще одна альтернатива в случае «гавагай» заключается в том, чтобы считать его единичным термином, именуемым повторяющуюся универсалию, кроликовость. Различие между конкретным и абстрактным объектом, равным образом как и между общим и сингулярным термином, независимо от стимульного значения.

Обычно мы можем перевести нечто (например, 'for the sake of' («ради чего-то»)) на данный язык, хотя ничто в этом языке не соответствует составляющим его словам каждому в отдельности. Точно так же ситуативное предложение «Гавагай» переводимо как утверждение, что здесь находится кролик, даже если ни одна из частей предложения «Гавагай», ни что-либо вообще в аборигенном языке полностью не соответствует термину «кролик». Синонимия «Гавагай» и «Кролик» как предложений зависит от размышлений по поводу побужденного согласия; однако с синонимией «гавагай» и «кролик» как терминов дело обстоит по-иному. Мы вправе написать «Кролик» вместо «кролик» в качестве указания на то, что мы рассматриваем его в связи с тем, что синонимично ему как предложению, а не в связи с тем, что синонимично ему в качестве термина.

Не кажется ли, что воображаемое отсутствие решения между кроликами, фазами кроликов, неотчуждаемыми частями кроликов, слиянием кроликов и кроликовостью должно быть обусловлено просто некоторым особенным недостатком в нашей формулировке стимульного значения и что оно могло бы быть устранено путем некоторого дополнительного указания и вопрошания? Рассмотрим тогда, как это достигается. Указывая на кролика, вы указываете на фазу кролика, на неотчуждаемую часть кролика, на слияние кроликов и на то место, где проявляется кроликовость. Указывая на неотчуждаемую часть кролика, вы снова указываете на оставшиеся четыре вида предметов; и так по кругу. То, что не выделено в стимульном значении самом по себе, не может быть выделено путем указания до тех пор, пока указание не сопровождается вопросами идентичности и различия: «Это тот же самый гавагай, что и тот?», «Один здесь гавагай или два?». Такое вопрошание требует от лингвиста владения языком аборигена в значительно большей степени, чем та, которую мы на данный момент знаем, как объяснить. Мы не можем даже сказать, какие выражения аборигена следует считать аналогичными нашим терминам, а тем более – как приравнять их друг к другу термин за термином; у нас нет другого выхода, кроме как считать, что мы уже решили, какие есть у аборигена вспомогательные средства, аналогичные нашим, выполняющие окольными путями работу наших собственных различных вспомогательных средств указания на объект: наши артикли и местоимения, наши единственное и множественное числа, наша связка, наш предикат тождества¹. Весь аппарат в целом является взаимозависимым, и само понятие термина столь же свойственно именно нашей культуре, как и эти связанные с ним средства. Абориген может достичь тех же самых сетевых эффектов, используя лингвистические структуры, столь отличные от наших, что любое гипотетическое (*eventual*) толкование наших средств в аборигенном языке, и наоборот, могло оказаться неестественным и чересчур произвольным (ср. § 2.9). Тем не менее сетевые эффекты, ситуативные предложения, а не термины могут соответствовать друг другу по стимульным значениям, как обычно. Ситуативные предложения и стимульное значение являются чем-то общим; термины и референция являются локальными по отношению к нашей концептуальной схеме².

¹Стросон обращает внимание на это обстоятельство, когда пишет, что «предложения, размещающие свойства, не вводят особенности в наш дискурс» (Particular and general, p. 244). См. § 6.6 относительно связи с тезисом Brentano.

²Рассел мыслил то, что он называет «объектными словами», как в действительности ситуативные предложения (Inquiry, Ch. 4). Однако он, как и Карнап (см. конец § 2.2), не замечает данного обстоятельства, а именно что употребление слова в качестве ситуативного предложения, сколь бы определенным оно ни было, не фиксирует экстенционал слова в качестве термина.

Возможно, сочтут, что нет никакой серьезной проблемы в распознавании суждений тождества со стороны аборигена или даже бессловесного животного. Это достаточно верно в отношении качественного тождества, которое более удачно было бы называть сходством. В чувствительности организма к обусловливанию реакций мы имеем полноценные критерии для его стандартов сходства стимуляции (ср. § 3.1). Однако предшествующие размышления касались нумерического тождества. Два указания могут быть указаниями на нумерически тождественного кролика, на нумерически различные части кролика и на нумерически различные фазы кролика; непроницаемость заключается не в совпадении, но в анатомии предложений. Мы могли бы приравнять аборигенное выражение к любому из несоизмеримых английских терминов – «кролик», «фаза кролика», «неотчуждаемая часть кролика» и т.д. – и все же, путем компенсирующей фальсификации перевода нумерического тождества и связанных с ним частиц, сохранить соответствие стимульным значениям ситуативных предложений¹.

Внутрисубъектная стимульная синонимия, при всех ее преимуществах над случаем двух говорящих, равным образом не в состоянии приравнять термины. Наш марсианин из § 2.5 может обнаружить, как он это и сделал, что «Холостяк» и «Неженатый человек» являются синонимичными ситуативными предложениями для англоязычного, но все же любой *термин*, исключающий другой термин, мог бы, настолько, насколько это ему известно, применяться не к людям, но к их фазам или частям или даже к беспорядочно рассредоточенной конкретной тотальности или к абстрактному атрибуту.

Мы видели в § 2.5, что совпадение терминов по объему или даже убедительное совпадение недостаточно для их стимульной синонимии в качестве ситуативных предложений. Теперь мы видим также и то, что оно не является и необходимым. Там, где речь идет о языках иных, нежели наш собственный, совпадение терминов по объему оказывается не более очевидно ясным понятием, чем синонимия или сам перевод; оно оказывается не более ясным, чем размышления, каковы бы они ни были (§ 2.9, 2.10), которые делаются для контекстуального перевода предиката тождества, связки и соответствующих частиц.

Тем не менее основной интерес, скрывавшийся в синонимии «Холостяк» и «Неженатый человек» в качестве ситуативных предложений, заключался наверняка в том, что она информировала нас по поводу синонимии «холостяк» и «неженатый человек» в качестве терминов. Итак, в рамках английского языка ситуация отнюдь не безнадежна. Для того, чтобы из синонимии соответствующих ситуативных предложений получить синонимию терминов, нам надо только добавить условие, которое будет отбрасывать такие пары, как «холостяк» и «часть холостяка»; мы можем добиться этого, выдвинув требование, чтобы субъект был готов соглашаться с устойчивыми предложениями «Все F суть G , и наоборот», думая при этом об « F » и « G » как об интересующих нас терминах. Определение получается следующее: « F » и « G » являются стимульно синонимичными терминами для говорящего в момент времени t тогда и только тогда, когда в качестве ситуативных предложений они имеют то же самое стимульное значение для данного говорящего в момент времени t и говорящий согласился бы с предложением «Все F суть G , и наоборот», будучи спрошенным в момент времени t . Однако мы можем упростить это определение, ужесточив последнюю часть для того, чтобы сделать ее гарантирующей первую часть. Вместо того, чтобы говорить, что говорящий согласился бы с предложением «Все F суть G , и наоборот» как имеющим место (*as things stand*) в момент времени t , мы можем сказать, что он все-таки согласился бы с ним, если вообще согласился бы с чем-либо, следуя любой стимуляции, какой он только может подвергнуться в момент времени t . (Выражение «если вообще согласился бы с чем-либо» включает в себя состояние шока.) Это ужесточенное условие убеждает, что « F » и « G » будут также совпадать по своему стимульному значению в качестве ситуативных предложений; поскольку, если каждая стимуляция позволяла бы субъекту оставаться готовым к согласию с предложением «Все F суть G , и наоборот», если вообще

¹ По этому поводу см. далее § 2.9, 2.10, 3.3, 3.4, 3.8.

с чем-либо, то ни одна стимуляция не побуждала бы его к согласию или несогласию с одним только «*F*» или «*G*», безотносительно к другому члену этой пары¹.

По соображениям, которые станут ясными из § 2.8, я называю предложение *стимульно аналитическим* для некоего субъекта, если он будет соглашаться с ним или вообще ничего не будет делать после всякой стимуляции (в пределах коэффициента). Наше условие стимульной синонимии «*F*» и «*G*» в качестве общих терминов сводится поэтому к стимульной аналитичности предложения «Все *F* суть *G*, и наоборот». Это условие обладает известным параллелизмом для единичных терминов, представленных «*a*» и «*b*», а именно стимульная аналитичность «*a* = *b*». Заметьте, однако, что наши формулировки применимы только к английскому и к языкам, переводы на которые выражений «все», «суть» и «=» каким-либо образом заранее установлены. Формулировку этого ограничения следует ожидать в понятиях, относящихся к терминам.

Наше упрощение определения синонимии терминов распространяет его на все термины, вне зависимости от того, являются ли их объекты такими, что мы могли бы разумно использовать эти термины в качестве ситуативных предложений. Нам не следует, исходя из кажущегося соответствия определения, применимого к терминам вроде «кролик», «холостяк», «бизоний пятицентовик», заключать, что оно также соответствует более широкой области. Давайте, однако же, оставим в покое этот вопрос и задумаемся о более узкой области.

Наша версия синонимии делает термины «индейский пятицентовик» и «бизоний пятицентовик» синонимичными для эксперта § 2.5, а не для новичка. Она открыта для критики, отталкивающейся от интуитивных предрассудков, из-за приравнивания терминов, равенство которых по объему субъект выучил путем исследования и эксперимента, а не просто путем схватывания их «значений». Таково понятие стимульной синонимии терминов, произведенное от стимульной синонимии ситуативных предложений для отдельных говорящих. Мы можем еще социализировать это понятие и пресечь тем самым следствия идиосинкратической информации, как мы сделали это в отношении ситуативных предложений в конце § 2.5: мы можем считать социально стимульно синонимичными только те термины, которые являются стимульно синонимичными для каждого отдельного говорящего почти что без исключения. Социально термины «холостяк» и «неженатый человек» остаются стимульно синонимичными, тогда как термины «индейский пятицентовик» и «бизоний пятицентовик» – нет.

Мы приветствуем это следствие социализации нашего понятия стимульной синонимии, поскольку наша интуитивная семантика² считает термины «холостяк» и «неженатый человек» синонимичными, а «индейский пятицентовик» и «бизоний пятицентовик», вероятно, нет. Теперь какова была причина самих этих интуитивных оценок? Такой причиной, как я думаю, не была никакая близкая аналогия, какой бы бессознательной она ни была, нашей нынешней конструкции; не является таковой и имплицитная социологическая догадка, что при необычной стимуляции большинство людей сочло бы термины «холостяк» и «неженатый человек» совпадающими по объему, тогда как большая часть из них стала бы считать термины «индейский пятицентовик» и «бизоний пятицентовик» различающимися по объему. На самом деле причину следует искать в различии между тем, как мы на своем родном английском языке выучиваем «холостяк» и «индейский пятицентовик». Мы выучиваем «холостяк», обучаясь соответствующим ассоциациям слов со словами, и мы выучиваем «индейский пятицентовик», обучаясь непосредственно ассоциировать термин с образцом объектов³. Это – различие между описанием и знакомством, занимающее центральное место в философии Рассела. Оно проходит перед нами в синхронном поведении в виде различия между ненаблюдательными ситуативными

¹ Непоследовательное поведение возможно, однако имеется предел причудам тех исключений, допустить которые требуется в наших поведенческих формулировках.

² См. § 2.3, примечание 1.

³ Если быть точным относительно этого примера, мы выучиваем «пятицентовик» и «индейский» путем прямой ассоциации с объектами-образцами или сходствами, и в этом случае «индейский пятицентовик» объясняет сам себя, коль скоро мы его видим.

ми предложениями, с их произвольными вариациями в стимульном значении от говорящего к говорящему, и предложениями наблюдения с их социально единообразными стимульными значениями (ср. § 2.4). На термин «неженатый человек» смотрят как на семантически связанный с термином «холостяк» потому, что в данном случае не существует социально постоянного стимульного значения, которое бы управляло использованием этого слова; разрубите его связь с термином «неженатый человек», и вы лишите его довольно очевидного социального определения, поскольку от него не будет пользы в коммуникации.

«Брат» по своей синонимии с «ребенок мужского пола тех же родителей» принципиально подобно синонимии «холостяк» с «неженатый человек». Мы учим слово «брат» (в его точном взрослом употреблении) исключительно путем вербальных взаимосвязей с предложениями относительно рождения детей, а «ребенок мужского или женского пола тех же родителей» – путем вербальных взаимосвязей с выражениями «брат» и «сестра». Ситуативные предложения «Брат» и «Дитя одних родителей» являются ненаблюдательными; их стимульные значения колеблются в обществе настолько случайным образом, насколько колеблются стимульные значения предложения «Холостяк», и только редкие вербальные связи придают терминам устойчивость, требующуюся в коммуникации.

Многие термины систематической теоретической науки относятся к третьему виду. Они подобны выражениям вроде «холостяк» и «брат» в том, что не имеют социально постоянных стимульных значений, управляющих их использованием; конечно же, такой термин обычно бесполезен в роли ситуативного предложения, так что в данном случае речь не идет о стимульном значении. С другой стороны, они отличаются от выражений «холостяк» и «брат» тем, что они обладают более сложной сетью вербальных взаимосвязей, так что ни одна из связей, как кажется, не имеет решающего значения для коммуникации. Таким образом, в теоретической науке, по крайней мере до тех пор, пока это не пересмотрено с точки зрения энтузиастов семантики, редко ощущаются или утверждаются различия между синонимиями и «фактическими» эквивалентностями. Даже тождество, исторически введенное в механику путем определения «количества движения» как «массы, помноженной на скорость» занимает свое место в сети взаимосвязей наряду со всем остальным; если физик последовательно пересматривает механику таким образом, что импульс оказывается непропорциональным скорости, изменение будет, вероятно, сочтено изменением в теории, а не в самом значении¹. Интуиции синонимии в данном случае не возникают просто в силу того, что термины связаны с остальным языком большим числом способов, чем слова вроде «холостяк»².

2.7 Переводя логические связки

С § 2.1 по § 2.4 мы объясняли радикальный перевод ситуативных предложений при помощи приблизительной идентификации стимульных значений. Однако имеется еще одна, принципиально отличная область, которая непосредственно касается радикального перевода: это *область истинностных функций*, таких, как отрицание, логическая конъюнкция и двойное отрицание. Для этой цели безразлично, являются ли предложения, согласие или несогласие с которыми мы пытаемся вызвать у аборигенов, ситуативными предложениями или же устойчивыми предложениями. Те, которые являются ситуативными предложениями, должны сопровождаться побуждающей стимуляцией, если требуется вызвать согласие или несогласие; с другой стороны, устойчивые предложения могут быть предъявлены без поддержки стимуляции. Теперь путем ссылки на согласие или несогласие мы можем установить семантические

¹См. последний раздел моей статьи “Carnap and Logical Truth”.

²Патнэм в статье “Analytic and Synthetic” предложил поучительное описание интуиции синонимии как противоположности между терминами, которые коннотируют пучки характерных свойств, и теми, которые не делают этого. Мой подход согласуется с его и, возможно, кое-что добавляет к объяснению. Его случаи разбиения на пучки [характерных свойств] соответствуют моим терминам наблюдения, таким, как «индейский пятицентовик», и теоретическим терминам типа «импульс» в отличие от таких, как «холостяк».

критерии для истинностных функций; т.е. критерии для определения того, действительно ли данная аборигенная идиома должна толковаться как выражающая соответствующую истинностную функцию. Семантический критерий отрицания заключается в том, что он превращает любое короткое предложение, с которым будут соглашаться, в предложение, с которым не будут соглашаться, и наоборот. Семантический критерий конъюнкции заключается в том, что он производит сложное предложение, с которым (постольку, поскольку предложения, являющиеся его составными частями, кратки) готовы соглашаться тогда и только тогда, когда готовы соглашаться с каждой из его составных частей. Семантический критерий двойного отрицания подобен согласию, дважды измененному на несогласие.

О коротких компонентах речь, как и в § 2.5, идет исключительно потому, что в случае с длинными компонентами субъект может запутаться. Идентификация аборигенной идиомы в качестве отрицания, или конъюнкции, или двойного отрицания не должна исключаться на основании отклонения субъекта от наших семантических критериев, если таковое происходит из-за смешения. Не существует никаких ограничений на длину составных предложений, к которым может применяться отрицание, конъюнкция и двойное отрицание; дело просто в том, что пробные случаи для первоначального опознания таких конструкций в чужом языке являются случаями с короткими компонентами.

Когда мы обнаруживаем, что аборигенная конструкция удовлетворяет тому или другому из этих трех семантических критериев, мы можем больше не интересоваться тем, как ее следует понимать. В зависимости от конкретного случая мы можем теперь перевести идиому на английский как «не», «и» или «или», только если каждая из них в отдельности не является предметом банальной оговорки; поскольку хорошо известно, что эти три английских слова не представляют отрицание, конъюнкцию и двойное отрицание точным и недвусмысленным образом.

Любая конструкция для построения предложений из предложений считается в логике выражающей истинностную функцию, если она удовлетворяет следующему условию: составное предложение обладает единственным истинностным значением (истина или ложь) для каждого задания истинностных значений частям, его составляющим. Семантические критерии могут, ясное дело, быть установленными для всех истинностных функций согласно методам, которые уже применяются для отрицания, конъюнкции и двойного отрицания.

Этот подход плохо согласуется с доктриной «дологической ментальности». В качестве предельного случая предположим, что о некоторых аборигенах утверждается, что они признают истинными определенные предложения, переводимые в форму « p и не- p ». Это утверждение согласно нашим семантическим критериям является абсурдным. Чтобы не быть догматиками в отношении этих критериев, какие критерии можно было бы предпочесть? Произвольный перевод может сделать аборигенные звуки столь проблематичными, насколько пожелает переводчик. Лучший перевод навязывает им нашу логику, и здесь возникла бы проблема дологичности, если вообще можно считать это проблемой¹.

Рассмотрим с этой целью испанца с его ‘No hay nada’ («Ничего нет»). Любители парадоксов могут посчитать, что он нарушает закон двойного отрицания. Более рассудительные переводчики могут рассматривать «no» и «nada» в этом контексте как составные части одного отрицания.

¹ Малиновский (Malinowski) (pp. 68 ff.) избавляет своих островитян от дологичности, варьируя переводы терминов от случая к случаю так, чтобы избежать противоречия. Лич (Leach) (p. 130) протестует; однако никакого ясного критерия не возникает. Вполне понятно, что дальнейшая альтернатива порицания перевода союзов, связей или иных логических частиц нигде не рассматривается; поскольку любая значимая сложность со стороны английских коррелятов подобных слов столкнула бы работающего переводчика с грозными практическими трудностями. В конечном счете Леви-Брюль (p. 130 f.) отбросил свою доктрину дологической ментальности; однако соображения, которые при этом принимаются в расчет, не так-то просто соотносить с соображениями, которыми мы здесь оперируем.

То, что сносный перевод сохраняет логические законы, имплицитно на практике даже там, если выражаться парадоксально, где речь вообще не идет об иностранном языке. Так, когда на наше вопросительное предложение, заданное на английском языке, англоговорящий отвечает 'Yes and no' («Да и нет»), мы допускаем, что заданное предложение означает разное при утверждении и при отрицании; это более правдоподобно, чем допущение, что говорящий настолько глуп, что одновременно утверждает и отрицает одно и то же. Наконец, когда некто демонстрирует логику, законы которой по видимости противоречат нашим, мы готовы предположить, что он просто придает некоторым знакомым старым вокабулам («и», «или», «не», «все» и т.д.) новое значение. Такой разговор о значении является интуитивным, некритическим и неопределенным, но он мирно сосуществует с переводом; он выражает наше нежелание при таких обстоятельствах «переводить» английский говорящего на наш английский посредством нормального подразумеваемого метода омофонного перевода.

Или рассмотрим знакомое нам замечание, что даже наиболее оригинальный строитель системы связан законом противоречия. Как он им в действительности связан? Если он должен был принять противоречие, то он перестроил бы свои логические законы так, чтобы гарантировать различия определенного вида; поскольку классические законы утверждают, что из противоречия следует любое предложение. Но тогда мы перешли бы к перетолкованию его отчаянно новой логики как непротиворечивой логики, возможно даже знакомой логики, представленной в извращенной символике.

Максима перевода, лежащая в основании всего этого, заключается в том, что утверждения, изначально ложные, следует, вероятно, рассматривать как содержащие скрытые языковые различия. Эта максима является достаточно сильной в каждом из нас, чтобы даже заставить нас отклониться от омофонического метода, который играет столь фундаментальную роль в самом приобретении и употреблении родного языка.

Здравый смысл, диктующий это правило, гласит, что глупость какого-то собеседника, за определенной гранью, значительно менее правдоподобна, нежели плохой перевод или, в частном случае, лингвистическое расхождение¹. Другой подход к проблеме, в той мере, в какой он касается логических законов в частном случае, заключается в следующем. Логические частицы «и», «или» и т.д. выучиваются только в контексте предложений. Отбрасывание логического закона означает ужасающее широко распространенное приведение в беспорядок истинностных значений контекстов соответствующих частиц, причем не остается ничего устойчивого, на что можно было бы опереться при употреблении этих частиц. Короче говоря, их значения исчезли; можно добавить новые значения. В данном случае то, что обуславливает смысл включения значения (*meaning-involvement*), является, таким образом, в своей основе тем же самым, что и в случае с терминами «холостяк» и «неженатый человек» (§ 2.6).

Давайте подведем итог нашим размышлениям по поводу логики в условиях радикального перевода. Мы полностью определили логические законы людей постольку, поскольку дело касается истинностно-функциональной части логики, коль скоро мы зафиксировали наши переводы при помощи вышеупомянутых семантических критериев. Истины этой части логики называются *тавтологиями*: это – истинностно-функциональные составные выражения, истинные исключительно в силу своей истинностно-функциональной структуры. Имеется известная табличная процедура определения для предложений, в которых функции истинности являются как угодно чрезмерно итерированными и добавленными, какие именно задания истинностных значений минимальным составляющим сделают целое составное предложение истинным; а тавтологии являются составными предложениями, которые становятся истинными при любых заданиях.

Однако истинностные функции и тавтологии являются только простейшими из логических функций и логических истин. Не можем ли мы сделать больше? Другие логические функции,

¹ Сравните принцип снисходительности Уилсона: «В качестве десигната мы выделяем тот индивид, который будет делать наибольшее возможное число... высказываний истинными» (*Wilson. Substances without Substrata*).

которые наиболее естественно приходят на ум, – это категорические высказывания, традиционно обозначаемые А, Е, I и О и обычно конструируемые в английском языке при помощи конструкций ‘all are’ («все суть») («Все кролики пугливы»), ‘none are’ («ни один не суть»), ‘some are’ («некоторые суть»), ‘some are not’ («некоторые не суть»). Семантический критерий для А, вероятно, намекает о себе следующим образом: составное выражение вызывает согласие (у данного говорящего) тогда и только тогда, когда (для него) утвердительное стимульное значение первого компонента есть подкласс утвердительного стимульного значения второго компонента и отрицательные стимульные значения связаны противоположным образом. Как варьировать это правило для Е, I и О – довольно очевидно, за исключением того, что вся идея в целом является ложной с точки зрения § 2.6. Так, возьмем А. Все индейские пятицентовики суть бизоньи пятицентовики и даже считаются таковыми новичком из § 2.6, и все же утвердительное стимульное значение предложения «Индейский пятицентовик», во всяком случае для нашего новичка, обладает само по себе образцами стимуляции, не содержащимися в утвердительном стимульном значении предложения «Бизоний пятицентовик». По этой причине предполагаемый семантический критерий противоречит «Все *F* суть *G*» в том, что он выходит за пределы объема. И он обладает еще более серьезным недостатком противоположного вида; поскольку, в то время как неотъемлемые части кроликов не являются кроликами, мы видели в § 2.6, что с точки зрения стимульного значения подобное различие не имеет места.

Это затруднение носит фундаментальный характер. Истинность категорических высказываний зависит от объектов, какими бы внешними или выводными они ни были, относительно которых истинны составляющие термины; а то, чем являются эти объекты, не определяется однозначно стимульными значениями. Конечно, категорические высказывания, равно как окончания множественного числа и тождество, являются частью нашего собственного специального аппарата объектной референции, тогда как стимульное значение является, повторяя § 2.6, чем-то общим. В том, что нами считается логикой, истинностно функциональная составляющая представляет только одну часть, признание которой в чужом языке мы, по-видимому, можем свести к поведенческим критериям.

Условие, которое было сочтено неадекватным в качестве семантического условия для связки А, все еще определяет связку. Позвольте мне написать «равенство» для этой связки. Ее употребление должно быть таковым, чтобы составное выражение формы «... равно ...», образованное из двух ситуативных предложений S_1 и S_2 в таком вот порядке, было устойчивым предложением и вызывало согласие только того говорящего, для которого утвердительное стимульное значение предложения S_1 есть подкласс утвердительного стимульного значения предложения S_2 , и наоборот – для пары отрицательных стимульных значений. Таким образом, если мы считаем S_1 и S_2 общими терминами – деталь перевода, которая остается незатронутой стимульным значением, – то «*F* равно *G*» утверждает приблизительно то, что всякое *F* есть часть слияния (§ 2.6) *G*; а если мы считаем S_1 и S_2 единичными терминами, то «*a* равно *b*» утверждает приблизительно то, что *a* есть часть *b*. Теория отношений между частями, названная мереологией Лесьневским и исчислением индивидов – Гудменом и Леонардом¹, является, таким образом, в большей степени согласуемой с радикальными семантическими критериями, чем логика силлогизма. Мы должны, однако, только что дважды использованному слову «приблизительно» придать полновесный смысл, поскольку, как было отмечено двумя параграфами выше, требование нашего семантического критерия выходит за пределы объема.

2.8 Синонимичные и аналитические предложения

По своей этимологии «синонимичный» применяется к именам. Хотя это употребление термина нацелено просто на то, чтобы приписывать тождество значения, действие его этимологии усматривается в тенденции обращаться к некоторому другому слову, «эквивалентный»

¹См.: Goodman. Structure of Appearance, pp. 42 ff., а также дальнейшие имеющиеся там отсылки.

или «эквивалентный», для случаев, в которых оба сравниваемых выражения являются (в отличие от выражения «холостяк») вербально сложными. Использование мною выражения «синонимичный» не ограничивается подобным образом; я полагаю, что это слово несет на себе всю степень общности выражения «то же самое по значению», каковой бы она ни была. Конечно же, я не придавал существенного значения различию между словом и фразой. Даже первый объект перевода, скажем «Гавагай», может или не может в конце концов быть представлен в виде связной последовательности нескольких слов, зависящей от чьего-либо окончательного выбора аналитической гипотезы (§ 2.9, 2.10).

Принимая эту незначительную либерализацию в дальнейшем в качестве чего-то само собою разумеющегося, мы все же должны проводить различие между широким и узким типом синонимии, или тождества значения, применительно к предложениям. Широкий тип синонимии может быть сформулирован в интуитивных терминах следующим образом: два предложения вызывают согласие при сопутствующих обстоятельствах и несогласие при сопутствующих обстоятельствах, и это сопутствие обязано своим наличием исключительно словоупотреблению, а не тому, что происходит в мире. Стало привычным считать, что ситуация описывается обычно скорее в терминах истинностных значений, нежели в терминах согласия и несогласия; однако я деформирую описание первого вида до второго с тем, чтобы предельно увеличить шансы осмысления отношения на основе вербального поведения.

Для определенных целей требуется более узкий вид синонимии предложений, вроде того, который Карнап называет интенциональным изоморфизмом; он включает в себя определенные поэлементные (*part-by-part*) соответствия рассматриваемых предложений (ср. § 6.3). Однако подобные различные варианты могут быть определены на основе более широкого типа синонимии. Синонимия частей определяется путем обращения к аналогии ролей в синонимичных целых единицах; в таком случае синонимия в более узком смысле определяется для целых единиц путем обращения к синонимии гомологических частей. Так что давайте сосредоточим внимание на более широком и более основополагающем понятии синонимии предложений.

Ведя в данном случае разговор в терминах согласия и несогласия, а не в терминах истинностных значений, мы вводим следующее затруднение: согласие и несогласие могут подвергаться воздействию путаницы, обязанной своим появлением длине и сложности предложения. Однако это затруднение может быть устранено способом, обрисованным в § 2.5. Кроме того, только что упомянутая программа действий автоматически позаботилась бы и о выведении отношения синонимии фрагментов предложения и, таким образом, о конструировании реформированного отношения синонимии для целых предложений. Давайте не будем останавливаться на этих моментах, поскольку есть более серьезная проблема.

В тех случаях, когда предложения являются ситуативными предложениями, представленное понятие синонимии достаточно хорошо реализуется во внутрисубъектной стимульной синонимии, особенно если она социализована. Ведь мы можем утверждать, что только вербальная привычка в состоянии убедительно объяснить, с точки зрения согласия и несогласия, сопутствующую вариацию двух ситуативных предложений в рамках всего диапазона возможных стимуляций. Имеются все же невыявленные воздействия широко распространенной в обществе дополнительной информации, однако нет никаких очевидных оснований не считать такую информацию просто детерминантом вербальной привычки (§ 2.3). Когда же предложения являются устойчивыми предложениями, которые, наподобие «Газета «Таймс» пришла», имеют близкое сходство с ситуативными предложениями в том, что касается разнообразия согласия и несогласия, стимульная синонимия все еще действует достаточно хорошо.

Однако чем менее изменчивы устойчивые предложения с точки зрения согласия и несогласия, тем большим будет разброс их стимульных значений и, следовательно, тем меньше стимульная синонимия будет приближаться к синонимии предусмотренного вида. Ведь каким бы ни был разброс его стимульного значения, предложение все равно сохраняет взаимосвязи с другими предложениями и играет свою характерную роль в теориях. Разбросанность его

стимульного значения не является разбросом того, что мы интуитивно называем значением, но имеет своим последствием то, что стимульное значение не позволяет оценить предложение должным образом.

Путем увеличения коэффициента стимуляции мы можем обогатить стимульные значения и тем самым усилить отношение стимульной синонимии; поскольку чем более долговременными являются стимуляции, тем выше их шанс оказать воздействие на согласие или несогласие. Тем не менее ситуация выходит из-под контроля, когда коэффициент становится чрезмерным. Так, рассмотрим стимульную синонимию коэффициентом в месяц. Сказать, что два предложения соотнесены в настоящее время таким вот способом, означает сказать, что любой образец месячной стимуляции, если начался в настоящий момент и закончился месяц спустя вопрошанием двух предложений, будет вызывать одинаковый вердикт относительно обоих предложений. Проблема заключается в том, что в данном случае отсутствуют всякие указания на то, чего ожидать при совершенно фантастических последовательностях стимуляции на протяжении указанного времени. Субъект мог бы исправить свои теории непредвиденными способами так, что этим предполагалось бы изменение значений слов. Нет никаких оснований ожидать, что сопутствование предложений в подобных обстоятельствах будет отражать тождество значения в каком-то интуитивно правдоподобном смысле. Увеличение коэффициента обогащает стимульные значения и усиливает стимульную синонимию только постольку, поскольку оно уменьшает познаваемость стимульных синонимов.

Стимульная синонимия при оптимальном коэффициенте приблизительно соответствует тому, что философы неточно называют тождеством подтверждающих опытов и неподтверждающих опытов. Она есть приближение к тому, что могло бы означать «речь о двух предложениях как о находящихся в том же самом отношении согласованности с теми же самыми отдельными опытами»¹. В тех случаях, когда устойчивые предложения относятся к типу предложений, в ничтожно малой степени зависящих от обстоятельств, неадекватность стимульной синонимии синонимии, которая так называется интуитивно, разделяется только что цитированными более смутными формулировками. И она разделяется предположением Перкинса и Сингера, а именно что мы сравниваем предложения по синонимии, предлагая их нашему информатору для верификации и наблюдая за тем, ведет ли он себя одинаковым образом в обоих случаях². Проблема заключена во взаимосвязях предложений. Если функция предложения может исчерпываться описанием опыта, подтверждающего или не подтверждающего его в качестве изолированного предложения самого по себе, тогда предложение является, по существу, ситуативным предложением. Отличительная черта иных предложений заключается в том, что опыт соотносится с ними по преимуществу косвенными способами, благодаря посредничеству ассоциированных предложений. Появляются альтернативы: опыты требуют изменения теории, но не указывают – в каком месте и как. Любые из различных систематических изменений могут согласовать конфликтующие данные, и все предложения, испытавшие воздействие какой-либо из этих возможных альтернативных перестроек, должны, очевидно, были бы считаться не подтвержденными этими данными всеми вместе или вообще не считаться таковыми. Тем не менее предложения, интуитивно говоря, могут весьма отличаться по содержанию или по роли в той теории, в которую они включены.

Грайс и Стросон (*loc. cit.*) пытаются разрешить это затруднение, определив S_1 и S_2 как синонимичные в том случае, когда для каждого допущения, касающегося истинностных значений других предложений, одни и те же опыты подтверждают (и не подтверждают) S_1 при этом допущении, что и подтверждают (и не подтверждают) S_2 при этом допущении. Теперь, вместо «каждое допущение, касающееся истинностных значений других предложений» мы с равным правом можем сказать просто «всякое предложение S »; поскольку S может быть логической конъюнкцией этих соответствующих «других предложений» или их отрицаний. Так

¹ Grice and Strawson, p. 156.

² См.: Perkins and Singer. Важно иметь в виду то, что их примерами являются ситуативные предложения.

что S_1 и S_2 определяются как синонимичные тогда, когда для всякого S одни и те же опыты подтверждают (или не подтверждают) S_1 на основании гипотезы S , как и подтверждают (или не подтверждают) S_2 на основании той же самой гипотезы. Понятие подтверждающих и неподтверждающих опытов имело поведенческое приблизительное соответствие в нашем понятии стимульного значения; но можем ли мы релятивизировать его таким образом, чтобы оно соответствовало гипотезе S ? Я полагаю, что мы в состоянии сделать это, поскольку подтверждение или неподтверждение S_1 на основании S представляет собой, по-видимому, подтверждение или неподтверждение условного предложения, состоящего из S как антецедента и S_1 как консеквента. В таком случае предполагаемое определение синонимии приобретает следующий вид: S_1 и S_2 синонимичны тогда, когда для каждого S условное предложение, составленное из S и S_1 и условное предложение, состоящее из S и S_2 , стимульно синонимичны. Однако теперь очевидно, что этому определению не удастся обеспечить более тесное отношение между S_1 и S_2 , чем то удастся стимульной синонимии. Ведь если S_1 и S_2 являются стимульно синонимичными, то а fortiori условные предложения также являются таковыми.

Иным предположением было бы определить S_1 и S_2 как синонимичные тогда, когда для всякого S логическая конъюнкция S и S_1 и логическая конъюнкция S и S_2 стимульно синонимичны. Но еще проще увидеть, что они не обеспечивают более тесной связи.

Если бы какое-либо из этих предприятий оказалось удачным, то полученная синонимия все еще была бы строго внутриязыковой, поскольку вспомогательное предложение S , принадлежа к одному языку, присоединяется (*gets joined*) как к S_1 , так и к S_2 . Однако язык не обязательно должен быть нашим собственным языком. Поскольку, согласно § 2.7, конъюнкция переводима; и тем самым переводимо и условное предложение, если мы берем его в материальном смысле «Не (p и не- q).

Общее отношение столь безуспешно разыскивавшейся внутрисубъектной синонимии предложений взаимоопределимо с помощью другого ускользающего понятия интуитивной философской семантики: понятия *аналитического* предложения. Это интуитивное понятие состоит в том, что предложение является истинным исключительно в силу своего значения и независимо от дополнительной информации: таковы предложения «Ни один холостяк не женат», «Свиньи суть свиньи» и, при некоторых подходах, « $2 + 2 = 4$ »¹. Взаимоопределения происходят следующим образом: предложения являются синонимичными тогда и только тогда, когда их двустороннее условное предложение (*biconditional*) (образованное путем соединения их с «тогда и только тогда») является аналитическим, а предложение является аналитическим тогда и только тогда, когда оно синонимично со своим собственным условным предложением («Если p , то p »).

Как синонимия предложений связана с аналитичностью, так и стимульная синонимия предложений связана со стимульной аналитичностью (§ 2.6).

¹ Имеется небольшая путаница, которую я хотел бы, пользуясь предоставившейся возможностью, устранить, хотя она и лежит в стороне от основного направления данных размышлений. Те, кто убежденно говорит об аналитичности, не соглашались, как известно, друг с другом относительно аналитичности истин арифметики, но практически единодушны в том, что касается аналитичности истин логики. Мы, то есть те, кто не считает понятие аналитичности таким ясным, можем поэтому воспользоваться в общем допущенной (*conceded*) аналитичностью истин логики как частичным экстенциональным прояснением аналитичности; однако пойти на это не означает принять аналитичность истин логики как предварительно понятную доктрину. По этой причине я был неправильно понят Гевиртом (*Gewirth*, p. 406, сноска) и другими. Сравните мою статью “Truth by Convention”. Нельзя сказать, что вся эта критика моих замечаний, касающихся истин логики, основывается на этом непонимании. Критика Папа (*Semantic and Necessary Truth*, p. 237, сноска) представляет собой нечто иное и получила предвосхищающий ответ в моей статье “Carnap and Logical Truth”, конец § IX, к которой он не имел доступа. Критика Стросона в статье “Propositions, concepts and Logical Truths” представляет собой другой и интересный пример такой критики; причем я не могу утверждать, что где-либо ответил на нее. Говоря о работе “Truth by Convention”, я отметил бы, что мое многократно цитировавшееся определение логической истины в этой статье имело в виду только усовершенствованное выражение давней идеи. Так что я не был ошеломлен тем, что Бар-Хилель обнаружил эту идею у Больцано, хотя я недавно обнаружил предвосхищение моего специфического изложения у Айдукевича.

Философская традиция указывает на три угнездившиеся категории надежных истин: аналитические, априорные и необходимые. Вопрос о том, исчерпывается ли вторая категория первой, а третья – второй, традиционно вызывал разногласия, поскольку ни одна из этих трех категорий традиционно не определялась в терминах различных признаков вербального поведения. В наши дни те, кто допускает отождествление этих трех категорий, будучи принуждаемы к прояснению взаимоотношений между ними, отвечали следующим образом: аналитические предложения суть те, которые мы готовы утверждать при любых обстоятельствах (*come what may*). Это заявление равнозначно нулю до тех пор, пока мы независимым образом не очертим границы выражения «любые обстоятельства». Так, можно возразить, что мы не приняли бы «Ни один холостяк не женат», если бы обнаружили женатого холостяка; и как бы мы отклонили его пример без обращения к самому понятию аналитичности, которое мы пытаемся определить? Один способ заключается в том, чтобы считать «при любых обстоятельствах» равнозначным «при любой стимуляции (§ 2.2)»; и это, действительно, дает определение (§ 2.6) стимульной аналитичности¹.

Мы слегка усовершенствовали стимульную синонимию, социализировав ее. Мы можем проделать то же самое с аналитичностью, назвав социально стимульно аналитическими только те предложения, которые стимульно аналитичны практически для всех. Однако даже в этом усовершенствованном смысле аналитичность будет применяться как к предложению «Существовали черные собаки», так и к « $2 + 2 = 4$ » и «Ни один холостяк не женат». Давайте честно признаем: наши социализированные стимульная синонимия и стимульная аналитичность все еще являются не бихевиористскими реконструкциями интуитивной семантики, но только бихевиористским суррогатом.

В конце § 12 мы размышляли о том, что делает осмысленной интуицию синонимии терминов. Сходные соображения применимы к интуициям стимульной синонимии и аналитичности предложений. Такая интуиция фигурирует в случае аналитичности, несмотря на техническое звучание слова; предложения вроде «Ни один неженатый человек не женат», «Ни один холостяк не женат» и « $2 + 2 = 4$ » вызывают ощущение, которое все высоко ценят. Более того, понятие «согласие при любых обстоятельствах» не содержит четких указаний на имеющуюся интуицию. Чья-то реакция на отрицание предложений, которые типично воспринимаются как аналитические, больше похожа на реакцию на непонятые иностранные предложения². Там, где соответствующее предложение является законом логики, кое-что, касающееся основания этой реакции, было выделено в § 2.7: отбрасывание логического закона разрушает образец, от которого сильно зависит коммуникативное употребление логической частицы. Во многом то же самое применимо к « $2 + 2 = 4$ » и даже к «Части частей вещи суть части вещи». Ключевые слова здесь обладают бесчисленными дополнительными контекстами, фиксирующими их употребление, но мы каким-то образом чувствуем, что если наш собеседник не согласится с нами относительно этих банальностей, то это не будет зависеть от него в большинстве дополнительных контекстов, содержащих соответствующие термины.

Примеры вроде «Ни один холостяк не женат» считаются аналитическими как непосредственно на смутном основании, только что предположенном, так и в силу того, что они получаются из логических истин путем подстановки синонимов.

Если механизм интуиции аналитичности в своих существенных чертах таков, как я предположил в общем виде, то эти интуиции в целом стремятся возникать там, где имеет место неразбериха в отношении того, о чем человек, отрицающий некоторое предложение, может говорить. Этот результат может быть постепенным, а также кумулятивным³. Интуиции являются со своей стороны безупречными, однако было бы ошибкой проводить с их помощью

¹ Я обязан Дэвидсону понятием стимульной аналитичности, равно как и наблюдениями, ее касающимися. О Мейтсе также можно сказать, что он сделал шаг в сходном направлении, предложив контрфактические анкеты (Analytical Sentences, p. 532).

² Ср.: Grice and Strawson, pp. 150 f.

³ Апостел и его коллеги исследовали эту проблему экспериментально, прося субъектов классифицировать из-

широкую эпистемологическую дихотомию между аналитическими истинами как побочными продуктами языка и синтетическими истинами как отчетами о мире¹. Я подозреваю, что понятие такой дихотомии только поощряет ошибочные впечатления по поводу того, как язык связан с миром. Стимульная аналитичность, наша строго вегетарианская имитация, в данном случае, конечно же, не подвергается сомнению.

2.9 Аналитические гипотезы

Для начала мы предположили, что наш лингвист наблюдал за высказываниями аборигена и сопутствующими им обстоятельствами пассивно, а затем выборочно проверял аборигенные предложения на согласие и несогласие с ними при изменяющихся обстоятельствах. Суммируем возможные результаты таких действий. (1) Могут быть переведены предложения наблюдения. При этом остается неопределенность, но это – нормальная индуктивная ситуация. (2) Могут быть переведены истинностные функции. (3) Могут быть опознаны стимульно аналитические предложения, а также – предложения противоположного типа, «стимульно противоречивые», вызывающие безапелляционное несогласие. (4) Могут быть разрешены, если возникают, вопросы внутрисубъектной стимульной синонимии аборигенных ситуативных предложений даже не из числа предложений наблюдения, но сами эти предложения не могут быть переведены,

И как же лингвисту выйти за эти рамки? В общих чертах, следующим образом. Он разделяет услышанное на повторяющиеся сегменты удобной для него краткости и на этом основании составляет список аборигенных «слов». Некоторые из них он гипотетически приравнивает к английским словам и фразам так, чтобы они отвечали условиям (1) – (4). Таковы его *аналитические гипотезы*, как я их называю. Их соответствие условиям (1) – (4) в идеале должно быть следующим. В число переводов предложения, производного от аналитических гипотез, должны включаться те, что уже установлены по условию (1); они должны соответствовать предварительному переводу истинностных функций, полученному по условию (2); они должны ставить в соответствие стимульно аналитическим или стимульно противоречивым, по условию (3), предложениям такие предложения английского языка, которые также являются стимульно аналитическими или стимульно противоречивыми; и они должны пере-

бранные предложения, с помощью и без помощи предшествующих рубрик. Их открытия предлагают постепенность (*gradualism*) интуитивной аналитичности. По поводу более раннего экспериментирования с интуициями синонимии смотри: *Naess*. По поводу постепенности см. также: *Goodman*. On likeness of meaning, *White*. Analytic and synthetic.

¹Понятие, напоминающее о Канте, часто некритически принимается в современных работах по эпистемологии. Иногда давалась видимость обоснования в терминах «семантических правил» и «постулатов значения» (*Carnap*. Meaning and Necessity, особенно второе издание), однако эти проекты только принимают это понятие в замаскированной форме. (См. мои статьи: “Two Dogmas of Empiricism” и “Carnap and Logical Truth”.) Это понятие давно уже вызывало сомнения; взгляды Дюэма, выраженные в работе 1906 г. (*Duhem*, op. cit., pp. 303, 328, 347 f.), вряд ли благоприятны для понятия аналитичности, и идеалисты открыто отвергали его. (См.: *Gewirth* (*Gewirth*), p. 399 по поводу ссылок). Мои опасения по поводу этого понятия появились в ограниченном виде в статье “Truth by Convention” и фигурировали во все возрастающей степени в моих лекциях в Гарварде. Тарский и я долго обсуждали эту проблему там в 1939–1940 гг. Вскоре Уайт занимался обсуждением этой проблемы с Гудменом и со мной в трехсторонней переписке. Очерки, ставившие под вопрос это различие, принадлежат перу многих людей, иногда независимо от обсуждений, имевших место в Гарварде; например, Рид, 1943. Карнап и Уайт упомянули мою позицию в своих статьях 1950 г., однако мои опубликованные упоминания о ней были незначительными (1940, p. 55; 1943, p. 120; 1944, Введение; 1947, p. 44f.) до тех пор, пока в 1950 г. я не получил приглашения от Американской философской ассоциации выступить с докладом по этой теме и так вот написал “Two Dogmas”. Последующая дискуссия привела к появлению множества статей и нескольких книг. Помимо работ, отмеченных в примечаниях к этому параграфу и к § 2.6, 6.3, 6.4, см. в особенности: *Пэш* (Часть I), *Уайт* (Toward Reunion in Philosophy, pp. 133–163), и *Беннет*. Между прочим, заголовок “Two Dogmas” оказался неудачным в его непреднамеренном, но весьма правдоподобном предположении, что не существует эмпиризма без соответствующих догм; ср. например: *Хофштадтер* (*Hofstadter*), pp. 410, 413.

водить стимульно синонимичные, по условию (4), пары предложений такими предложениями английского языка, которые так же являются стимульно синонимичными.

Аналитические гипотезы, какими бы пробными они при этом ни были, начинают появляться задолго до того, как закончена работа, предписанная методами (1) – (4), и они помогают направлять выбор примеров для исследования этими методами. Это существенно для метода (4), поскольку без косвенных подсказок со стороны аналитических гипотез, очевидно, никак нельзя сказать, какие пары предложений, не являющихся предложениями наблюдения, следует испытать на внутрисубъектную стимульную синонимию.

Наш рецепт более чем схематичен. Если аналитические гипотезы предлагают какую-либо банальность английского языка в качестве перевода какого-либо аборигенного устойчивого предложения, обнаружение того, что последнее также вызывает общее и незамедлительное согласие среди аборигенов, окажет поддержку этим гипотезам, даже если ни соответствующее предложение английского языка, ни аборигенное не являются вполне стимульно аналитическими. При более реалистичном подходе допустимы степени приближения к стимульной аналитичности, так же как и степени наблюдаемости. В любом случае от аналитических гипотез не требуется безоговорочно, чтобы они согласовывались с условиями (1) – (4) применительно к каждому примеру; чем аккуратнее аналитические гипотезы, тем большую следует проявлять терпимость.

Если аборигенное предложение, разделяемое всем сообществом с твердостью, которую не может поколебать никакой стимульный образец приемлемой длительности, переводится как «Все кролики – перевоплотившиеся люди», следует проявлять терпимость. Ведь переводчик вправе переводить стимульно аналитическое аборигенное предложение предложением английского языка, не являющимся стимульно аналитическим. Я думаю, такой образ действий придает подобному переводу вполне правильный смысл: смысл резкого отклонения, которое может быть принято только в том случае, если во избежание его потребуются, предположительно, принять гораздо более сложные аналитические гипотезы. Действительно, чем абсурднее или экзотичнее приписываемые людям верования, тем подозрительнее мы вправе относиться к переводам; миф о дологическом человеке указывает лишь на крайний случай¹. Для теории перевода банальные сообщения – это дыхание жизни.

Читатель может попытаться вывести из стимульной аналитичности лучшее понятие аналитичности, отображая предложения, подобные аборигенному предложению о перевоплощении, воспользовавшись следующим критерием: посредством косвенных соображений они переводятся предложениями другого языка, не являющимися стимульно аналитическими. Однако этот критерий иллюзорен, поскольку он зависит от аналитических гипотез, которые, как подчеркнуто на последующих страницах, не являются определенными функциями языкового поведения.

Вернемся теперь к аналитическим гипотезам с целью более неторопливого рассмотрения их формы и содержания. Они не всегда имеют форму уравнения. Нет нужды настаивать на том, что аборигенное слово должно быть непосредственно приравнено к какому-либо английскому слову или фразе. Могут быть установлены определенные контексты, в которых слово должно переводиться одним способом, и другие контексты, в которых слово должно переводиться по-другому. На форму уравнения могут влиять дополнительные семантические инструкции *ad libitum*. Поскольку нет общего позиционного соответствия между словами и фразами одного языка и их переводами на другой, некоторые аналитические гипотезы нужны также для объяснения синтаксических конструкций. Это обычно описывают с помощью вспомогательных терминов для разных классов аборигенных слов и фраз. Взятые вместе, аналитические гипотезы и вспомогательные определения конституируют аборигенно-английские (*Jungle-to-English*) словарь и грамматику лингвиста. Их форма не материальна, так как их

¹ Об этом мифе и принципе снисходительности см. § 2.7.

цель – не перевод слов или конструкций, а перевод когерентного дискурса; отдельные слова и конструкции обращают на себя внимание только как средства достижения этой цели.

Тем не менее есть причина привлечь особое внимание к простой форме аналитической гипотезы, приравнивающей аборигенное слово или конструкцию к гипотетическому английскому эквиваленту. Ведь гипотезы должны придумываться, а типичный случай придумывания – это случай, когда лингвист постигает параллелизм функций между каким-либо составляющим фрагментом переводимого целого аборигенного предложения и каким-либо словом – компонентом перевода этого предложения. Только каким-то таким способом мы вообще можем объяснить чье-либо решение радикально переводить некий аборигенный оборот речи на английский как окончание множественного числа или как предикат тождества «=», или как категориальную копулу, или как любую другую часть нашего родного аппарата объективной референции. Только путем такой непосредственной проекции предшествующих языковых привычек лингвист может вообще найти в аборигенном языке общие термины или, найдя их, поставить их в соответствие своим собственным; стимульных значений никогда не бывает достаточно для определения даже того, какие слова являются терминами, если таковые вообще имеются, и в еще меньшей степени – для того, чтобы определить, какие термины совпадают по объему.

Метод аналитических гипотез – это способ катапультироваться в аборигенный язык, получив импульс от родного языка. Это – способ прививки экзотических побегов на старый знакомый куст (если вспомнить заключительную метафору § 1.2), пока еще что-то, кроме экзотики, попадает на глаза. С точки зрения теории перевода значений самое примечательное в аналитических гипотезах – то, что они подразумевают больше, чем любая аборигенная диспозиция речевого поведения. Проводя аналогии между предложениями, поддающимися переводу, и другими, они расширяют рабочие границы перевода за те границы, в которых может существовать независимая очевидность.

Не то чтобы методы (1) – (4) сами по себе охватывали все доступные данные. Ведь мы помним, что утверждали подобное только в отношении лингвиста, для которого сбору данных предшествовала проверка аборигенных предложений, задаваемых в виде вопросов, на согласие и несогласие при изменяющихся обстоятельствах. Лингвист может расширить свои основания, как отмечалось в § 2.5, став двуязычным. Пункт (1) тогда расширится следующим образом: (1') все ситуативные предложения могут быть переведены. Пункт (4) опускается как излишний. Но даже наш двуязычный лингвист, если он создает переводы, не предусмотренные условиями (1') – (3), необходимо делает это с помощью метода аналитических гипотез, какими бы бессознательными они ни были. Так, предположим для начала нереальное: что, изучая язык аборигенов, двуязычный лингвист оказался в состоянии симулировать ситуацию ребенка до такой степени, чтобы не принимать в расчет свое прошлое знание языков. Тогда, если он в конце концов, как двуязычный лингвист, вернется к своему проекту аборигенно-английского разговорника, он должен будет проектировать аналитические гипотезы во многом так, как будто его английская личность является лингвистом, а его аборигенная личность – информатором; различия состоят только в том, что он может интроспективно наблюдать свои эксперименты вместо того, чтобы ставить их, что он может изнутри отслеживать связи ситуативных предложений, не являющихся предложениями наблюдения, и что он будет склонен видеть в своих аналитических гипотезах очевидные аналогии в случаях, когда он вообще их осознает. Однако истина, разумеется, такова, что он не мог бы точно симулировать ситуацию ребенка, обучаясь языку аборигенов, но на протяжении всего обучения прибегал бы к помощи аналитических гипотез; таким образом, на практике эти элементы оказались бы неразделимо смешанными. Из-за этого обстоятельства и ускользающей природы интроспективного метода мы отталкивались, теоретизируя о значении, от более примитивной парадигмы: согласно ей лингвист наблюдает за информатором, как за живым помощником, а не «проглатывает» его предварительно.

Каковы бы ни были детали его приемов толкования переводов слов и синтаксических па-

радиgm, законченный лингвистом аборигенно-английский словарь приносит чистый доход в виде бесконечной *семантической корреляции* предложений: неявного определения английского предложения или различных приблизительно взаимозаменяемых английских предложений для каждого из бесконечного множества возможных предложений аборигенного языка. Большинство семантических корреляций за пределами зоны, где возможна независимая очевидность перевода, поддерживается только аналитическими гипотезами. То, что такие неверифицируемые переводы не терпят неудач, нельзя рассматривать как прагматическое свидетельство в пользу хорошей лексикографии, поскольку неудача здесь невозможна.

Так, вспомним § 2.6, где мы видели, что стимульное значение не может служить основанием решения вопроса, какому из терминов: «кролик» или «неотъемлемая часть кролика» – наряду со многими другими считаться переводом «гавагай». Если, согласно аналитической гипотезе, мы принимаем «есть то же самое» как перевод некой конструкции в аборигенном языке, мы на этом основании можем перейти к опросу нашего информатора относительно одинаковости гавагаев в разных случаях и таким образом заключить, что гавагаи – это кролики, а не их неотъемлемые части. Но, если вместо этого мы принимаем «есть неотъемлемые части одного и того же животного» в качестве перевода той же аборигенной конструкции, мы из того же самого последующего опроса нашего информатора заключим, что гавагаи – это неотъемлемые части кроликов. Можно предполагать обе аналитические гипотезы. Обе, несомненно, можно приспособить посредством компенсаторных вариаций аналитических гипотез, касающихся других оборотов речи, ко всем независимо открываемым переводам целых предложений и, конечно, ко всем речевым диспозициям всех рассматриваемых говорящих, так, чтобы равным образом всем им соответствовать. И все же для несметного числа аборигенных предложений, не проверяемых независимо и не удовлетворяющих условиям (1') – (3), можно ожидать получить радикально различающиеся и несовместимые английские переводы в этих двух системах.

Затруднительно привести реальный пример двух таких соперничающих систем аналитических гипотез. Известные языки известны посредством единственных в своем роде систем аналитических гипотез, сформированных традицией или рожденных в муках единичными профессиональными лингвистами. Разработка отличающейся системы потребовала бы дублирования всего перевода без помощи даже обычных подсказок со стороны переводчиков. Стоит только задуматься о природе возможных данных и методов, чтобы оценить существующую неопределенность. Предложения, переводимые непосредственно благодаря независимым данным стимуляции, редки и должны удручающе недоопределять аналитические гипотезы, от которых зависит перевод всех последующих предложений. Проецировать такие гипотезы на не независимо переводимые предложения – значит в конечном счете неверифицируемым образом приписывать наше чувство языковой аналогии аборигенному сознанию. И даже диктат нашего собственного чувства аналогии не склонил бы нас к какой-либо внутренней уникальности; использование того, что первым приходит на ум, создает атмосферу определенности там, где правит бал свобода. Не может быть никаких сомнений в том, что конкурирующие системы аналитических гипотез могут полностью соответствовать всей совокупности речевого поведения и в той же степени могут соответствовать всей совокупности диспозиций речевого поведения и все же предполагать взаимно несовместимые переводы бесчисленных предложений, невосприимчивых к независимому контролю.

2.10 О неспособности понять неопределенность

Итак, аналитические гипотезы и большая синтетическая гипотеза, к которой они сводятся, являются гипотезами лишь отчасти. Сравните случай перевода ситуативного предложения «Гавагай» на основании подобия стимульного значения. Это – настоящая гипотеза, основанная на выборочных наблюдениях, хотя, возможно, неверная. «Гавагай» и «Там – кролик» имеют

приблизительно одинаковые или существенно различные, в зависимости от правильности или неправильности нашей догадки, стимульные значения для двух говорящих. С другой стороны, ничего такого нельзя сказать о типичной аналитической гипотезе. Суть не в том, что мы не можем быть уверены, правильна ли аналитическая гипотеза, а в том, что здесь даже нет, в отличие от случая с предложением «Гавагай», объективного критерия, согласно которому можно быть правым или неправым.

Существует по крайней мере семь причин неспособности правильно оценить это. Первая состоит в том, что аналитические гипотезы подтверждаются в полевых условиях. Это значит всего лишь, что дополнительные случаи видов, перечисленных в пунктах (1) – (4) или (1') – (3) § 2.9, собираются после того, как сформировались аналитические гипотезы. Неверифицируемые следствия, которые я имею в виду, – это переводы, не согласующиеся с условиями (1) – (4) и даже (1') – (3). Их можно отстоять только с помощью аналитических гипотез, теперь и всегда.

Вторая причина неспособности правильно оценить неопределенность – смешение заключения о неопределенности с более поверхностным выводом о том, что не стоит рассчитывать на единственность грамматической систематизации. Очевидно, грамматические теории могут различаться способами сегментации слов, частей речи, конструкций и, соответственно, волей-неволей – словарями для перевода и при этом приводить к тождественным системным результатам на уровне целых предложений и даже английских переводов предложений. Но я как раз говорю о различии системных результатов.

Третья причина неспособности правильно оценить неопределенность – смешение заключения о неопределенности с банальным выводом о том, что единственность перевода абсурдна. Неопределенность, которую я имею в виду, радикальнее. Она состоит в том, что конкурирующие системы аналитических гипотез могут соответствовать всем речевым диспозициям каждого из рассматриваемых языков и все же предписывать в бесчисленных случаях резко различающиеся переводы – не просто взаимные парафразы, а переводы, каждый из которых исключается другой системой перевода. Два таких перевода могут даже упорно иметь противоположные истинностные значения благодаря отсутствию стимуляции, которая поддержала бы согласие с одним из них.

Четвертая и главная причина неспособности правильно оценить неопределенность – упрямое чувство, что подлинный носитель двух языков, разумеется, может в общем виде правильно скоррелировать предложения этих двух языков. Это чувство взлелеяно некритической менталистской теорией идей: каждое предложение и его приемлемые переводы выражают одну и ту же идею в уме двуязычного индивида. Это чувство может также сохраниться после отказа от идей: можно продолжать утверждать, что как предложение, так и его переводы отвечают какому-то одному, даже если и не известному, состоянию нервной системы двуязычного индивида. Допустим, мы приняли это; этим мы только утверждаем, что у двуязычного индивида имеется его собственная личная семантическая корреляция – и соответственно его личная неявная система аналитических гипотез – и что она каким-то образом располагается в его нервной системе. Моя позиция остается незыблемой; ведь в этом случае она может сводиться к тому, что другой двуязычный индивид, не отличающийся от первого своими речевыми диспозициями, относящимися к каждому из языков, за исключением диспозиций перевода, может иметь семантическую корреляцию, несовместимую с семантической корреляцией первого двуязычного индивида.

Пятая причина состоит в том, что лингвисты придерживаются неявных дополнительных канонов, помогающих ограничивать их выбор аналитических гипотез. Например, если поставлен вопрос, приравнивать ли короткий аборигенный оборот речи к выражению «кролик», а длинный – к выражению «часть кролика», или наоборот (§ 2.6), они предпочтут первый вариант, объясняя, что, чем заметнее выделяется целое, тем вероятнее оно является носителем более простого термина. Такой неявный канон всем хорош, пока его ошибочно не принимают за существенный закон речевого поведения.

Шестая причина состоит в том, что небольшое число принятых на ранних стадиях аналитических гипотез заводит лингвиста слишком далеко. Приняв гипотезы, охватывающие тождество, связку и связанные частицы, он может переводить термины, основываясь на стимульной синонимии предложений. Лишь немногие гипотезы, принимаемые в дальнейшем, могут послужить основанием для переоценки аборигенных предложений и положить начало спору или даже постановке интуитивной синонимии под вопрос. В этом случае в распоряжение лингвиста поступают изобильные новые структурные данные и он не в состоянии обратить внимание на предварительные решения, которым эти данные обязаны своей значимостью.

Седьмая причина заключается в том, что, формируя свои аналитические гипотезы, лингвист подчиняется практическим ограничениям. Поскольку он, в своей конечности, не свободен сопоставлять английские предложения бесконечному числу предложений аборигенного языка только тем способом, который бы отвечал поддерживающим его гипотезы данным, он вынужден делать это каким-то контролируемо систематическим относительно контролируемо ограниченного множества повторяемых сегментов речи образом. Выделив такие сегменты, приняв для себя аналитические гипотезы и выработав вспомогательный аппарат классов слов для своих формулировок, лингвист еще больше ограничивает свою свободу в отношении последующего выбора.

Рабочая сегментация, производимая лингвистом, все же есть нечто большее, нежели сужение возможностей появления аналитических гипотез. Она даже вносит вклад в установление, для него или для всех нас, целей перевода. Ведь целью являются структурные параллели: соответствие между частями аборигенного предложения, как они выделены в качестве сегментов, и частями английского предложения. При прочих равных, более буквальный перевод рассматривается как перевод в более буквальном смысле¹. Тенденция к букальному переводу в любом случае гарантирована, поскольку задача сегментации – создать условия для конструирования длинных переводов из коротких соответствий; но лингвист идет дальше и превращает эту тенденцию в цель – в цель, которая даже изменяется в деталях в зависимости от принятой практической сегментации.

Полный радикальный перевод продолжается, а аналитические гипотезы неустранимы. Не являются они и капризом; мы показали в общих чертах, как они подкреплены. Не можем ли мы в таком случае сказать, что самими этими способами выдумывания и подкрепления аналитических гипотез смысл в конечном счете придается подобно значению выражений, которые приравниваются этими гипотезами друг к другу? Нет. Мы могли бы утверждать такое, только если никакие два конфликтующих множества аналитических гипотез не могли бы поделить первое место в борьбе за все теоретически допустимые данные. Для методологии аналитических гипотез неопределимость синонимии посредством референции – формально то же самое, что неопределимость истины посредством референции для научного метода (§ 1.5). Так же сходны и их следствия. Подобно тому как мы можем осмысленно говорить об истине предложения только в терминах какой-либо теории или концептуальной схемы (ср. § 1.5), мы в целом можем осмысленно говорить о межъязыковой синонимии только в терминах какой-либо конкретной системы аналитических гипотез.

Можем ли мы заключить, что синонимия, получаемая путем перевода, как бы она ни была плоха, не хуже истины в физике? Увериться в этом – значит неправильно оценить параллелизм. Тот, кто способен говорить об истине предложения только в рамках содержащей его теории, не испытывает по этому поводу особых затруднений; ведь человек всегда действует в рамках какой-либо удобной теории, каким бы предварительным ни был ее характер. Истина даже открыто зависит от языка в том, что, например, форма слов «Брут убил Цезаря» может, благодаря совпадению, иметь не связанные одно с другим употребления в двух языках; поскольку человек действует в рамках какого-либо языка, это обстоятельство также не слишком мешает

¹С этим связаны понятия аналитического значения Льюиса и интенционального изоморфизма Карнапа. См. ниже, § 6.3.

ему высказываться об истине. Короче говоря, параметры истины остаются фиксированными в большинстве случаев по соображениям удобства. Но не так обстоит дело с аналитическими гипотезами, конституирующими параметры перевода. Мы всегда готовы выяснять значение замечаний иностранца без ссылки на какое-либо множество аналитических гипотез и даже в отсутствие таковых; тем не менее два множества аналитических гипотез, равным образом совместимых с любым языковым поведением, могут дать противоположные ответы, если только замечание не является замечанием такого вида (их ограниченное число), которые возможно перевести без помощи аналитических гипотез.

Истинное положение дел проявляется в случаях, когда затрагиваются предельно теоретические предложения. Так, кто возьмется переводить на аборигенный язык предложение «Нейтринно не обладает массой»? Если кто-то возьмется за это, то от него можно ожидать, что он создаст новые слова или исказит употребление старых. От него можно ожидать, что он сошлется в качестве оправдания на недостаток требуемых понятий у аборигенов; а также – на их слишком слабое знание физики. И он прав во всем, за исключением только своего указания на то, что «Нейтринно не обладает массой» имеет некое свободно плавающее нейтральное значение, которое мы понимаем, а аборигены не могут понять.

Если оставаться в континууме нижненемецкого языка, то это облегчит перевод с фризского на английский (§ 2.1), а если оставаться в континууме культурной эволюции, то это облегчит перевод с венгерского на английский. Облегчая переводы, эти континуумы поощряют иллюзию наличия предмета: иллюзию, что наши с такой готовностью взаимно переводимые предложения есть различные вербальные воплощения некой межкультурной пропозиции или значения, тогда как лучше их рассматривать как простейшие варианты одного и того же внутрикультурного вербализма. Дисконтинуальность радикального перевода подвергает наши значения испытанию: либо действительно полагает их на множестве их вербальных воплощений, либо, что типичнее, не обнаруживает там никаких значений.

Предложения наблюдения замечательным образом очищаются; их значения, стимульные значения, являют себя абсолютными и свободными от остаточного вербального налета. Подобным образом обстоят дела и с ситуативными предложениями вообще, поскольку лингвист может стать аборигеном. Теоретические предложения, такие, как «Нейтринно не имеет массы» или закон энтропии или постоянства скорости света, представляют собой противоположную крайность. Именно относительно таких предложений истинно высказывание Витгенштейна: «Понимание предложения значит понимание языка»¹. Такие предложения и бессчетное множество других, занимающих промежуточное положение между двумя крайними позициями, не имеют лингвистически нейтрального значения.

Здесь не говорится, насколько успех, которого кто-либо достигает, оперируя аналитическими гипотезами, обязан реальному сходству между аналитическими гипотезами аборигенов и нашими и насколько – языковой изобретательности и счастливому совпадению. Я не уверен, что имеет смысл даже спрашивать об этом. Напротив, мы можем удивляться неанализируемости аборигенного сознания и тому, насколько абориген похож на нас, если, в одном случае, мы просто упустили из виду лучший перевод, а в другом – проделали более тщательную работу по вчитыванию наших собственных периферийных состояний в речь аборигена.

Так, рассмотрим, для большей ясности, простой случай, когда культурное различие объективно проявляется в языке без вмешательства аналитических гипотез. О неких островитянах говорят, что они называют пеликанов своими единокровными братьями². Таким кратким переводом аборигенного слова, как «единокровный брат», здесь не отделаешься: скорее потребуется какой-то более объемлющий вариант, такой, как «единокровный брат или младший член тотема». Остается еще не связанное с этим объективное культурное различие, и оно от-

¹Blue and Brown Books, p. 5. Возможно, доктрина неопределенности перевода не будет выглядеть такой парадоксальной для тех, кто знаком с замечаниями Витгенштейна последнего времени по поводу значения.

²Пример взят из: *Lienhardt*, p. 97. Его обсуждение этого примера некоторым образом согласуется с моим.

ражается в языке следующим образом: у островитян есть короткое ситуативное предложение, обуславливающее согласие островитянина при всех без исключения представлениях любого из его единокровных братьев или любого пеликана, и у них, предположительно, нет никакого сравнительно короткого ситуативного предложения для случаев представления одних только единокровных братьев, тогда как в английском – все наоборот. Подобные разночтения в том, что касается вычленения человеческих стимуляций в соответствии с базисными или короткими предложениями, есть подлинные разночтения между культурами, которые можно объективно описать посредством референции к стимульным значениям¹. Культурным контрастам отсутствие значения начинает угрожать скорее там, где они зависят от аналитических гипотез.

Часто можно слышать утверждения², что глубокие различия в языке сопровождаются глубокими различиями в способах мыслить или во взглядах на мир. Я утверждаю, что в наибольшей степени здесь задействована неопределенность соотношения. Чем дальше мы удаляемся от предложений, явно непосредственно обусловленных невербальными стимулами, и чем больше родная почва уходит у нас из-под ног, тем меньше оснований для сравнения – меньше смысла говорить, что является хорошим переводом, а что – плохим.

Наш успех в случае с соотечественником состоит в том, что автоматическая или омофонная (§ 2.7) гипотеза перевода, принимаемая с небольшими изменениями, затмевает все остальные. Будь мы капризны и изобретательны, мы могли бы презреть эту гипотезу и изобрести другие аналитические гипотезы, которые бы приписывали нашему соотечественнику невообразимые взгляды, согласуясь при этом со всеми его диспозициями, касающимися вербальных реакций на все возможные стимуляции. Размышление об экзотических языках в терминах радикального перевода помогло оживить эти обстоятельства, но главный урок, который стоит отсюда почерпнуть, касается эмпирической слабости наших собственных верований. Дело в том, что наши собственные взгляды могут быть пересмотрены и заменены на приписываемые соотечественнику в рамках воображаемой неуместной шутки; никаких конфликтов с опытом отсюда не может последовать, кроме тех, что в равной степени затрагивают наши сиюминутные понятия о благоразумии. В той же степени, в какой радикальный перевод предложений недоопределен всей совокупностью диспозиций к вербальному поведению, наши собственные теории и полагания в общем недоопределены всей совокупностью возможных чувственных данных, сколько бы их ни было.

Могут возразить, что, когда две теории таким образом согласны относительно всех возможных чувственных детерминант, то это уже не две, а в некоем существенном смысле одна теория. Разумеется, такие теории, как совокупности, эмпирически эквивалентны. Если нечто подтверждается одной теорией и отрицается другой, можно возразить, что сама конкретная форма слов, которая подтверждается и отрицается, имеет в этих двух случаях разные значения, но что при этом содержащиеся ее теории как совокупности имеют одно и то же системное значение. Сходным образом, могут возразить, что две системы аналитических гипотез, как совокупности, эквивалентны постольку, поскольку никакое вербальное поведение не позволяет установить различия между ними; и, если они предлагают различающиеся на первый взгляд английские переводы, на это опять-таки могут возразить, что видимый конфликт есть конфликт только между частями, рассматриваемыми отдельно от контекста. Это – вполне оправданный подход, если не принимать во внимание, как бойко он решает проблему значения; и он помогает сделать принцип неопределенности перевода не таким неожиданным. Когда две системы аналитических гипотез полностью согласуются со всей совокупностью вербальных диспозиций и все же не согласны в том, что касается их переводов некоторых предложений, имеет место именно конфликт частей, рассматриваемых отдельно от включающих их совокупностей. Принцип неопределенности перевода требует внимания, хотя бы потому, что перевод

¹ Яркий пример – сравнение слов, выражающих цвета у Леннеберга и Робертса (*Lenneberg and Roberts*, pp. 23–30).

² Например, Кассирер, Д. Д. Ли, Сепир (гл. X), Уорф. См. далее рецензию Бидо (*Bedau*).

осуществляется шаг за шагом, а предложения считаются выражающими значения каждое в отдельности. То, что этот принцип требует внимания, хорошо иллюстрирует почти универсальная вера в то, что объективные референции терминов в радикально различающихся языках могут объективно сравниваться.

Неопределенность перевода была не так полно оценена, как ее достаточно многообразный аналог в родном языке. В менталистской философии существует знакомое затруднение индивидуальных миров. В спекулятивной неврологии существует условие, что одно и то же вербальное поведение может быть объяснено различными нервными соединениями. Изучение языка сопряжено со множеством индивидуальных историй, которые могут быть выражены в одном и том же вербальном поведении. И все же о ситуации с родным языком с готовностью утверждается со всей позитивистской рассудительностью, что если два говорящих согласны во всех своих диспозициях речевого поведения, то нет смысла воображать, будто между ними существуют семантические различия. Иронично, что межъязыковой случай привлекает меньше внимания, ведь именно здесь семантическая неопределенность получает ясный эмпирический смысл.

ГЛАВА 3. ОНТОГЕНЕЗ РЕФЕРЕНЦИИ

3.1 Слова и качества

Мы видели, что характерная объективная референция иностранных терминов непроницаема для стимульных значений или других текущих речевых диспозиций. Когда на английском языке мы решаем, указывает ли термин на единичный объект как на целое или на каждую из различных его частей, наше решение ограничено тем аппаратом артиклей, связок и множественных чисел, которыми располагает наш язык и которые непереводимы на иностранные языки, разве что нетрадиционными или произвольными способами, недетерминированными речевыми диспозициями. Самое большее, что мы можем сделать, пытаюсь понять, как работает этот аппарат, – исследовать составляющие его инструменты в их отношении один к другому и в перспективе развития индивида или расы. В этой главе мы поразмышляем над приращением этих инструментов к речевым привычкам ребенка в нашей культуре. Мы не затронем филогенетический аспект, разве что в немногих спекулятивных замечаниях ближе к концу главы; а в том, что я хочу сказать даже об онтогенетическом аспекте, я не отважусь привлекать какие-либо психологические детали, касающиеся действительного порядка приобретения этих инструментов. Как было отмечено, язык, о котором здесь идет речь, – английский; эта ограниченность интересов особенно усиленно отмечается начиная с § 3.3 и далее.

Наш болтливый вид отличается исполненным лепета периодом позднего детства. Это случайное звуковое поведение предоставляет родителям постоянные возможности для поощрения тех случайных высказываний, которые они считают подходящими; таким образом, передаются из поколения в поколение рудименты речи. Лепет есть случай того, что Скиннер называет *оперантным поведением*, «скорее выпускаемым, нежели порождаемым». Такое поведение у людей и других животных можно выборочно закреплять путем быстрого поощрения. Существо стремится повторить поощряемое действие, когда повторяются те стимулы, которые по случаю наличествовали при его первоначальном выполнении. То, что было случайно сопровождающей действие стимуляцией, превращается, посредством поощрения, в стимул для этого действия.

Оперантное действие может представлять собой случайное бормотание чего-то, похожего на «Мама», в тот момент, когда, по стечению обстоятельств, показалось материнское лицо. Мать, довольная тем, что ее назвали, поощряет это случайное действие и, таким образом, в будущем приближение материнского лица воздействует как стимул для последующих произнесений «Мама». Ребенок выучил ситуативное предложение.

Разумеется, первоначально «Мама» произносится в окружении разных стимуляций; материнское лицо – это еще не все. Можно вообразить, что одновременно подул внезапный ветерок. Сюда также можно отнести и сам звук «Мама», услышанный ребенком из своих собственных уст¹. Таким образом, воздействие поощрения будет заключаться не только в том, чтобы подтолкнуть ребенка в будущем произносить «Мама» при виде приближающегося материнского лица, но так же точно и при ощущении дуновения ветерка, и когда слышится «Мама». Тенденция реагировать таким образом на последующие дуновения ветерка отомрет в дальнейшем вследствие того, что подобные реакции не будут в достаточной степени поощряться;

¹Это обстоятельство скорее, конечно, имеет место одновременно с произнесением, нежели предворяет его; но оно все же может закрепляться в качестве стимула. См.: *Osgood and Sebeok*, p. 21.

тенденция же реагировать так, когда ребенок слышит «Мама», будет продолжать поощряться, поскольку все в восторге от детской мнимой мимики. Таким образом, в действительности продолжают закрепляться стимулы говорить «Мама» двух совершенно различных видов: видимое лицо и слышимое слово. Следовательно, в основе изучения слов лежат начала мимики; и то же самое относится к двусмысленности, или омонимии, существующей между употреблением и упоминанием слов.

Изучая слова, мы должны обучаться посылать и получать их. Мы вообразили ребенка, обучающегося посылать звуки «Мама», а также повторять слово, услышав его, но мы не касались проблемы осмысления услышанного. Что из того, что наблюдаемо настолько, чтобы наблюдатели могли подкрепить это поощрениями, можно было бы считать осмысленным ответом на услышанное слово «Мама»? Игра в побуждение к согласию (§ 2.1) не подходит для таких маленьких детей. Возможно, скорее, что-то в этом роде: ребенок слышит «Мама» (скажем, от отца), ощущая в то же время мать на периферии своего визуального поля, а затем поворачивается к ней. Такая реакция на услышанное слово, как поворот, может быть выучена до или после речевой реакции на появление материнского лица. Она соответствует тому же самому старому образцу подкрепления реакций, но на этот раз исходное действие ребенка – не лепет, а поворот. Поворачивающемуся в сторону матери, когда он слышит «Мама», ребенку рукоплещут, и таким образом реакция подкрепляется в установленном порядке. Но обучение так поворачиваться лицом к именуемому объекту не обязательно должно предваряться причинами оперантного поведения; ведь ребенка можно направлять.

В конце концов ребенок становится таким же сговорчивым и в случаях первоначального произнесения новых слов. Мимикрия, предвестником которой является, как мы уже видели, механизм подкрепленного оперантного поведения, развивается до такой степени, когда всякое новое высказывание, произнесенное кем-либо другим, становится непосредственным стимулом для его воспроизведения. Как только ребенок достигает этой стадии, его дальнейшее обучение языку перестает зависеть от оперантного поведения, даже тогда, когда он сам выступает в роли говорящего; а затем, с небольшими исправлениями со стороны взрослых или вовсе без таковых, он совершенствуется в языке быстро и легко.

Скиннер, чьим идеям в главных чертах следовал предшествующий обзор, не избежал критики¹. Но в худшем случае мы можем предположить, что это описание, помимо того, что оно достаточно определенное, в значительной степени истинно относительно большей части того, что происходит, когда выучиваются первые слова. Однако здесь остается место и для других факторов. Так, высказывание «Мама» может быть производным, как часто говорится, от предваряющих кормление движений; Скиннер не стал бы на это возражать, поскольку он не считал, что оперантное поведение не должно иметь причины. Опять же, в том, что правильная речь поощряется, а от неправильной ребенка отучают, скорее может играть роль какая-то фундаментальная склонность к подчинению, нежели просто скрытые ценности, такие, как общение и похвала²; но это все равно конгениально схеме Скиннера, так как он не приводит списка поощрения. Такого рода склонность может быть необходима для того, чтобы полностью объяснить мимику, несмотря на рассмотренные выше включения.

В любом случае ясно, что раннее изучение ребенком вербальной реакции зависит от того, как сообщество подкрепляет его реакцию на стимуляции, которые, с точки зрения сообщества, заслуживают такой реакции, и как оно в противном случае отучает ребенка от этой реакции. Это истинно, какова бы ни была причина того, что ребенок отваживается на свою первую вербальную реакцию; и это истинно даже в том случае, когда подкрепление его реакции сообществом состоит всего лишь в подтверждающем употреблении, сходство которого с усилием ребенка есть единственное поощрение.

¹ Например, со стороны Чомского.

² Я обязан этим тезисом Г. А. Миллеру.

Нет причин предполагать, что стимуляции, на которые ребенок таким образом учится единообразно вербально реагировать, были изначально объединены для него в какую-нибудь одну идею, что бы это ни значило. Между тем, для того чтобы поддаваться такой тренировке, ребенок должен прежде иметь тенденцию оценивать качественные различия по-разному. Он должен, так сказать, ощущать большее сходство между одними стимуляциями по сравнению с другими. Иначе дюжина подкреплений его ответа «Красное» в ситуации, когда наблюдается нечто красное, будет не в большей мере поощрением такой же реакции при тринадцатом появлении красного предмета, чем при появлении синего; а дюжина подкреплений его ответа «Мама» в ситуации, в которой он под разными углами наблюдает лицо матери, точно так же не будет иметь последствий.

Таким образом, в результате мы должны наделить ребенка каким-то языковым пространством качеств. Мы можем оценить относительные расстояния между качествами в этом его пространстве, наблюдая, как он обучается. Если мы подкрепляем его ответ «Красное» в присутствии малинового и не подкрепляем его в присутствии желтого, а затем обнаруживаем, что он реагирует таким образом на розовый, но не на оранжевый, мы можем из этого заключить, что оттенки малинового и розового в его пространстве качеств ближе друг к другу, чем малиновый и оранжевый. Дополнительные ключи к расстановке интервалов дают колебание ребенка или скорость его реакции.

Лучшие различия, которых можно ожидать от ребенка в условиях таких тестов на закрепление и искоренение, называются его порогами установления различий или едва заметными различиями. Но из этих минимальных различий мы можем путем косвенных рассуждений получить еще меньшие интервалы. Мы замечаем, что ребенок отличает качества А и С одно от другого, но не от В; следовательно, мы считаем, что В отличается от А и С в пространстве качеств ребенка, даже несмотря на то, что это различие меньше тех, которые ребенок может заметить.

Так, подробно исследуя и картографируя языковое пространство качеств ребенка, мы можем, в самом деле, систематически обманываться. Ведь, возможно, реконструированное подобным образом пространство лишь незначительно соответствует исходным диспозициям ребенка, а форму придали ему мы сами на основании поступательных результатов нашего тестирования ребенка¹. Такую возможность можно не принимать в расчет, если мы обнаружим достаточное единообразие пространств качеств разных детей при перестановке последовательности тестов. Заметим между тем, что подобный критерий никак не применим к языковым пространствам качеств, если они не единообразны для разных детей. Психология, подобно другим наукам, отдает предпочтение единообразию природы уже в самих критериях своих понятий.

Если считать установленным, что у ребенка есть достаточно прочное языковое пространство качеств, то тогда возникают интересные вопросы относительно структуры этого пространства. Всегда ли едва заметные различия сводятся воедино таким образом, чтобы соответствовать другим сравнениям расстояния, которые мы проводим? Например, больше ли едва заметных различий между малиновым и оранжевым из нашего последнего примера, чем между малиновым и розовым?

Связанность обречена нарушиться: никакая цепь подсознательных различий не позволит перейти от звука к цвету. Нам понадобится отдельное пространство качеств для каждого из чувств². Хуже того, в границах одного чувства должны быть различимы вспомогательные пространства. Например, может показаться, что мы обнаружили, наблюдая, как ребенок учит предложение «Мяч», что красный мяч, желтый мяч и зеленый мяч не так далеки друг от друга в его пространстве качеств, как от красного платка, и в то же время нам может показаться, что,

¹Этим предостережением я обязан Дэвидсону.

²Ср.: *Carnap*. *Der logische Aufbau der Welt*. Больше о конструировании пространств качеств см.: *Goodman*. *The Structure of Appearance*. О ранних экспериментах см.: *Анрен, Басе и Халл; Ховланд*.

наблюдая, как ребенок учит предложение «Красное», мы обнаружили, что красный мяч, красный платок и красный кирпич не так далеки друг от друга, как от зеленого и желтого мячей. Понятие простого расстояния даже в границах чувства зрения может, таким образом, разрушиться, освобождая дорогу расстояниям в разных «отношениях». Но довольно; нет причины рассуждать дальше на этих страницах на тему качественных пространств.

В § 2.2 рассуждения о стимуляциях частично заменяли рассуждения о чувственных качествах. Во многом такая же замена происходит здесь – это можно заметить, если обратить внимание на подсознательные различия. Давайте снова рассмотрим случай, в котором ребенок отличает А от С, но не А от В или С от В. Благодаря нашему знанию физических классификаций мы знаем, что это действительно В (а не А и не С) дважды проверялось путем сравнения с А и С. Мы исходим из существенного сходства стимуляций. С равным успехом мы можем сказать, что обитателями того, что мы назвали пространством качеств ребенка, являются стимуляции; только расстановка интервалов между ними нуждается в том, чтобы быть собственно «внутри» ребенка. Все же нам нет нужды отрекаться по этой причине от проникновения в непосредственный опыт ребенка, к которому нас принуждает наше исследование его расстановки качеств. Ссылка на непосредственный опыт здесь уместнее всего как промежуточная теоретическая глава в рамках существующей теории физических объектов – человеческих и других.

3.2 Фонетические нормы

Первую фазу изучения слов характеризует главным образом смутность. Стимуляции, вызывающие языковую реакцию, скажем «красное», лучше всего изображать формирующими не строго ограниченный класс, а некое распределение относительно центральной *нормы*. Чем ближе в пространстве качеств некая стимуляция расположена к тем стимуляциям, ответ «красное» на которые был непосредственно подкреплён, тем с большей вероятностью или постоянством она будет вызывать этот ответ. Такая норма не будет простой точкой в пространстве качеств; скорее, она будет свободно располагаться в измерениях, не имеющих значения для красноты. Так, если мы считаем чье-либо пространство качеств распределением стимуляций по качествам, норма красного будет представлять собой класс стимуляций, отличающихся друг от друга как видимой формой, так и яркостью. Между тем некоторые стимуляции, относящиеся к норме, могут считаться по оттенкам краснейшими из красного. Другие же стимуляции, отличающиеся от этих своими оттенками, находятся на самой низкой ступени в отношении тенденции вызывать ответ «красное».

Для полноты описания ситуации следует уточнить некоторые аспекты этого подхода. Во-первых, добровольные вербальные реакции на невербальные стимулы слишком редки, чтобы нормы определялись ими; так получилось, что в § 2.1 нам пришлось полагаться на процедуру постановки вопросов и получения утвердительных ответов. Во-вторых, нормы от случая к случаю искажаются контрастами; так, стимуляция скорее вызовет реакцию «красное» по контрасту с воздействием зеленого. Сравнение более и менее красного, таким образом, можно сказать, фундаментальнее для обучения, чем норма красного; тем не менее одно обуславливает другое.

Более того, образец объединения вокруг нормы характеризует не только стимульную сторону изучения слов. Подобный образец характерен и для реакции, поскольку то, что вызывает представления красного, не является инвариантным ответом «красное». Воздействие общесенсорных поощрений и наказаний выражается в фонетическом объединении вокруг фонетической нормы «красное» со стороны реакций субъекта на объединение стимуляций вокруг цветовой нормы красноты. Подобно норме красного, норма «красное» свободно располагается в нескольких измерениях: так, высота и громкость произнесения безразличны относительно того, произносится ли слово «красное». Однако норма может считаться произвольно

узкой в отношении некоторых акустических качеств, обусловленных особенностями устной артикуляции. Способность других вариантов произнесения, отличающихся в отношении этих последних качеств, восприниматься как произнесение слова «красное» будет ниже. Факторы окружающих различий также играют здесь свою роль, уточняя картину, как это делает зеленое в случае с красным.

У фонетических норм есть одно удивительно занудное свойство, которого нет у цветовых норм. Цвет, явно не подпадающий ни под одно цветное слово, все же остается цветом, за обозначение которого эти слова борются и с которым стараются совместиться; но абнормальная (*ab-norm-al*) речь есть просто плохое исполнение, наподобие неправильно взятой ноты. Важность фонетических норм такова, что мы правильно сделали, посвятив этой теме несколько страниц, несмотря на то что эти размышления не найдут применения в последующих частях текста.

Нормы представляют собой средства примирения непрерывности и дискретности. Когда мы слушаем плохое пение, мы осознаем предполагаемую мелодию, ставя в соответствие каждой неправильно взятой ноте одну из двенадцати норм диатонической шкалы. В определенном смысле при этом все градации высоты звука доступны, но, с другой стороны, в определенном смысле недоступны: так как пение воспринимается лишь как плохое исполнение диатонической мелодии, а не как хорошее исполнение чего-то другого. Так же точно существуют непрерывные фонетические градации между 'red' («красное») и 'raid' («набег») и между 'raid' и 'rate' («скорость»); и все эти градации отчасти принадлежат английскому языку, отчасти же – нет. Принадлежат английскому языку они в том смысле, что могут встречаться в английской речи, а не принадлежат – в том смысле, что они замещают три нормы: 'red', 'raid' и 'rate'. Произнесения, не подпадающие ни под одну из норм, рассматриваются как произнесения согласна ближайшей норме или определяются исходя из предположения и по контексту.

Противоположная точка зрения – считать каждую незначительную неточность полноценной ошибкой – навязала бы певцам и говорящим неудобно высокие стандарты. В самом деле, она была бы в принципе неприменима, поскольку ошибка, вообще-то, может быть очень незначительной, мы никогда бы не смогли ее заметить. Политика распределения ошибок по ближайшим нормам, напротив, проста и практична. Проблемы возникают только в тех случаях, когда из-за плохого воспроизведения или шумного фона рецепция располагается точно посередине между двумя нормами и при этом контекст не дает никаких подсказок. Такие случаи в речи сводятся к минимуму тремя способами: систематически, путем щедрого распределения норм; не систематически, путем сдержанно осторожного произнесения, достаточно далекого от средней точки; и не систематически же, путем преднамеренного плеоназма, рассчитанного на создание контекстуальной помощи. Когда есть помощь со стороны контекста, произнесение благодарно разнообразится.

Наши языковые нормы, вероятно, не порождают никаких прямых нарушений в континууме лингвистически приемлемых звуков; ведь даже звук, располагающийся посередине между двумя нормами, может быть однозначно понят в определенных контекстах, а именно тогда, когда только одна из двух норм имеет смысл. Однако нормы порождают некие почти нарушения: звуки, располагающиеся почти посередине между нормами, стремятся встречаться реже других, поскольку именно в этих случаях, как правило, защита против неоднозначности самая слабая.

Мы видели, что гораздо лучше принять непрерывные градации и интерпретировать их в терминах дискретных норм, чем принять только эти дискретные значения и презреть все приближения. Но что теперь делать с непрерывной символической средой самой по себе, без норм? Например, мы могли бы разработать непрерывный гудящий словарь для фиксации цвета следующим образом. Континуум высот определенной произвольно выбранной октавы мог бы использоваться для предстаонтинуума оттенков спектра. Громкость могла бы использоваться для обозначения яркости. Порядок озвучивания во времени мог бы использоваться для

представления пространственной упорядоченности элементов в границах рассматриваемого предмета, скажем пестрой ленты. Здесь, таким образом, имеет место символизм, не знающий никаких норм; ни одна из звуковых норм не является его проводником, и ни одна из цветовых норм – его предметом. Второй пример можно получить, перевернув первый, если использовать пеструю ленту как способ записи мелодии. Третий пример – немая мультипликация как средство зачаточного повествования. Но всем трем недостает гибкости настоящих языков. (Этим мультипликация отличается от конвенционального пиктографического письма, опирающегося на нормы.) Их предмет ограничен избранными характеристиками – цветом, звуком, расположением, – отражающими непрерывность символов.

Допустим, предмет не непрерывен; допустим, например, что только высоты до среднего *си* обозначают оттенки, а более высокие – что-то другое. В таком случае среднее *си* будет предельно двусмысленным. Неразличимые высоты по соседству от нее будут резко различаться своими референциями, в отличие от таких же неразличимых высот в другом месте. В результате участники коммуникации будут стараться избегать среднего *си*, как если бы это была средняя точка между нормами. Если допустить много разрывов в предмете, то в континууме высот появится много таких точек дефицита, пока не останется только диапазон испещренный, вкраплениями норм – точек конденсации.

В доступе к власти, который нормы делают возможным, чувствуется что-то парадоксальное, поскольку, конденсируя наш континуум символов вокруг конечной совокупности норм, мы его обедняем. Но объяснение кроется в средствах комбинирования. Так, рассмотрим опять тоны. Мы можем избавиться не только от систематического соответствия высоты оттенку, но также и от систематического соответствия местоположения во временной последовательности местоположению в пространстве. С этого момента мы вольны таким символическим образом употреблять как нам угодно не только сравнительно немногие избранные нормы высоты, но и бесконечный запас различных конечных последовательностей, которые из них можно сформировать. Такова же и эффективность алфавита.

Случайное достоинство норм – возможность неопределенно долгой трансляции. Послание может передаваться дословно в языковом сообществе и из поколения в поколение, и это обеспечивается просто тем, что при каждой передаче слышимые звуки узнаваемо близки тем нормам, согласно которым оно первоначально строилось. Каждый человек очищает послание от неточностей своих предшественников, прежде чем заменить их своими собственными неточностями, и потому не происходит накопления ошибок¹.

Здесь, таким образом, мы сталкиваемся с другим парадоксом: старательная мимикрия на каждой стадии передачи ускорила бы утрату послания, вызывая накопление мелких искажений. В отсутствие норм долгая трансляция, например человеческое стремление симитировать крики птиц, обречена завершиться чем-то неузнаваемым.

Устная трансляция, если ее не поддерживают надписи, должна зависеть также от работы памяти между передачами. Здесь опять действуют нормы: послание, если оно вообще дословно запомнено, запоминается с некой ссылкой на фонетические нормы; другие детали, если таковые запомнены, являются дополнительными. Память действительно представляет собой вид трансляции от самости к самости². Письменная запись уменьшает нашу зависимость от трансляции, но в свою очередь допускает транслирование: текст можно воспроизводить без ограничений и в каждом случае восстанавливать его первоначальный вид, поскольку существуют нормы записи, в соответствии с которыми его следует приводить.

Задача обучения тому, в чем состоит произнесение того или иного слова, носила бы в самом деле запретительный характер, если бы она не относилась к распространенным среди

¹ Дальнейшую помощь в такой очистке оказывает избыточность, и не только в форме преднамеренного плеоназма. См.: *Shannon and Weaver*, а также *Мандельброт* (Mandelbrot).

² В § 1.1 мы обратили внимание на другой аспект этого механизма трансляции, рассматривая зависимость памяти от концептуализации.

норм, относящихся к разным словам, частичным совпадениям. Ребенок, будучи приведен путем закрепления навыков и устранения ошибок к правильным фонетическим привычкам для слова 'mama' – так что его произнесения этого слова располагаются вблизи ортодоксальной нормы, – настраивается на 'marble' («мрамор») и в меньшей степени на 'milk' («молоко»). С того времени как он научился выговаривать несколько дюжин слов, в языке для него больше не существует слова, которое бы он уже не предвосхитил во всей полноте, хотя бы по частям. Таким образом, ребенок обретает способность предсказывать норму любого нового слова или фразы, услышав всего лишь одно удовлетворительное их произнесение. Эта значительная экономия труда зиждется на следующем законе фонетических норм: *нормы сегментов произнесений являются сегментами нормы произнесения*. Закон неточен, так как звуки в потоке речи обычно скорее гармонируют с предшествующими и последующими звуками¹; и все же отклонения от закона не настолько значительны, чтобы лишить ребенка этого экономящего труд метода.

Лингвисты осваивают фонетические нормы с помощью своего понятия *фонемы*. Фонемы языка для речи на этом языке являются тем же, что буквы – для письма. В самом деле, изобретение алфавита стало первым примитивным шагом в направлении фонематического анализа, хотя конвенциональное произношение обычно не вполне соответствует фонемам. Фонемы языка можно считать короткими сегментами норм произношения, принятых в этом языке. Лингвисты предпочитают, чтобы они были достаточно короткими, чтобы можно было подавлять их численный рост и при этом представлять любую более пространную норму в виде ряда коротких норм. Говоря о фонемах, лингвисты вынуждены абстрагироваться от всех фонетических мелочей, неуместных с точки зрения грамматики и лексикографии языка; ибо каждая фонема есть всего лишь норма, в противоположность неисчислимым более или менее приемлемым отклонениям от этой нормы.

Закон фонетических норм наполняет смыслом фонематический подход, убеждая нас в том, что любое произнесение имеет в качестве нормы последовательность фонем, приблизительно воспроизведенных в этом произнесении. Заметим, однако, что этот закон не дает основания ни для какой особой нарезки фонем по длине. Считать ли слово 'cheer' (одобрительное восклицание) просто сегментированным на два слога 'chee' и 'er', или на согласный 'ch', гласный 'ee' и гласный 'er', или на согласный 't', согласный 'sh', гласный 'ee', скользящий 'y' и гласный 'er', безразлично как для нашего закона фонетических норм, так и для изучения языка ребенком. В языке есть свои произнесения и свои нормы, а лингвист затем навязывает нормам техническую сегментацию, чтобы выполнить свою работу конкретизации всего их множества.

Фонемы иногда толкуют как классы приближений к ним. Представляя их, скорее, как сегменты норм, я подчеркиваю качественный характер объединения вокруг статистической нормы и свожу к минимуму влияние охватывающей это объединение границы. Но мы по-прежнему можем считать каждую норму классом событий, представляющих собой ее выполнения².

¹См.: Joos; а также Zipf (Zipf), p. 85–121.

²Подробнее о природе фонем см.: Bloomfield, ch. 5, и Jakobson and Halle, pp. 7–37. О предшественниках в древней Индии см.: Brough. Theories of General Linguistics.

3.3 Разделенная референция¹

Если термин допускает определенный и неопределенный артикли и окончание множественного числа, то обычно в нашем доведенном до совершенства взрослом употреблении это – общий термин. Его формы единственного и множественного числа удобнее всего рассматривать не как два родственных термина, а как способы появления одного и того же термина в меняющихся контекстах. Окончание ‘-s’ в ‘apples’ («яблоки») следует, таким образом, считать просто отделяемой частицей, сравнимой с ‘an’ в ‘an apple’. Позднее мы увидим (§ 3.8, 5.4), что путем некоторых стандартизации фразировки контексты, требующие множественного числа, в принципе вообще могут быть перефразированы. Но дихотомия между *единичными терминами* и *общими терминами*, чье сходство по наименованию с грамматической дихотомией между единичным и множественным числом слишком заметно, не так поверхностна². Единичный термин, например ‘mama’, имеет только грамматическую форму единственного числа и не имеет артикля. Семантически различие между единичными и общими терминами состоит примерно в том, что единичный термин именуется или нацелен именовать один-единственный объект, сколь угодно сложный или расплывчатый, тогда как общий термин истинен относительно каждого в отдельности из какого-либо числа объектов. Это различие приобретет более четкий вид в § 3.4.

В полноценных общих терминах, таких, как «яблоко» или «кролик», возникают такие особенности референции, которые требуют провести различия, не подразумеваемые простыми стимульными ситуациями ситуативных предложений. Чтобы выучить слово «яблоко», недостаточно выучить, насколько происходящее считается яблоком; мы должны выучить, насколько происходящее считается *одним* яблоком (*an apple*), а насколько – другим. Подобные термины обладают встроенными модусами разделения своих референций, каким бы произвольным оно ни было.

Различие заключено в терминах, а не в том, что они именуют. Это не вопрос рассредоточения. Вода рассредоточена в различных водоемах и емкостях, а красное – в различных предметах; тем не менее это «водоем», «емкость» и «предмет» разделяют свои референции, а не «вода» или «красное». Или возьмем «предмет обуви» (‘shoe’), «пара обуви» (‘pair of shoes’) и «обувь» (‘footwear’): все три охватывают одинаковое множество предметов, а отличаются одно от другого только тем, что два из них разделяют свои референции по-разному, а третье вообще – не разделяет.

Так называемые *массовые термины* (*mass terms*), такие, как «вода», «обувь» и «красное» имеют семантическое свойство кумулятивного указания: любая сумма частей, являющихся водой, есть вода³. Грамматически они подобны единичным терминам, так как не приемлют множественного числа и артиклей. Семантически они подобны единичным терминам тем, что

¹Половина этого раздела взята из статьи “Speaking of objects” (p. 9–11) с разрешения Американской философской ассоциации. В этом обращении я назвал термины с разделенными референциями индивидуирующими, а в своих Гарвардской и Оксфордской лекциях предшествующих лет я колебался между названиями «индивидуирующие» и «артикулирующие»; оба они страдают нежелательными ассоциациями. Оба эти обозначения сохраняются в работе Стросона “Particular and General” (p. 238, 254n.), но его обычное для этой работы обозначение – «имя субстанции», что позволило ему в новой книге говорить о «сортальной универсалии» (Individuals, p. 168 f., p. 205 f.). Вуджер употребляет термин (p. 17) «разделяемое имя». Мартин в книге “Truth and Denotation” (ch. 4) говорит о разделенной референции как о множественной денотации. Я в восторге от такого употребления слова «денотирует», я сам так употреблял его, пока не склонился вследствие его неправильного толкования читателями к варианту «истинен относительно»; и употребление Мартином термина «множественный» устраняет непонимание. Я надеюсь, мой термин «разделенная референция» будет воспринят достаточно несерьезно, чтобы не рассматривать его как дальнейшую пролиферацию терминологии. В нем ударение сделано на разделение в противоположность умножению, что, кажется, лучше подходит для того, что я этим хочу сказать.

²«Различие... между *общим*... и... *единичным*... имеет основополагающий характер, – пишет Милль, – и может рассматриваться как первое важное разделение имен» (Bk.1, ch.2, § 3).

³Термин с такой семантической характеристикой Гудмен (Structure of Appearance, p. 49) называет *коллективным*. Я, конечно, должен был бы предпочесть термин «коллективный термин» термину «массовый термин» для

не разделяют свою референцию (или не очень разделяют; ср. § 3.4). Но семантически же они не уподобляются единичным терминам (или явно не уподобляются; ср. § 3.4) в нацеленности последних на наименование каждым одного-единственного объекта. Об их статусе больше будет сказано в § 3.4, как читатель может догадаться. Пока же заметим, что полноценные общие термины, такие, как «яблоко», также могут обычно употребляться еще и как массовые термины. Мы можем сказать: «Положи в салат лук», не имея в виду «тот или иной лук»^{4*}. Подобным образом мы можем сказать: «У Мэри есть рыба» – в одном из двух смыслов^{5*}. Напротив, как могли бы возразить уже с начала абзаца более придирчивые читатели, чем вы, «вода» имеет особое употребление, допускающее множественное число.

С точки зрения изучения языка ребенком, так же как и с точки зрения первых шагов радикального перевода (гл. 2), нам лучше рассматривать «Мама», «Красное», «Вода» и прочее просто как ситуативные предложения. Все, чего лингвист может требовать от своих первых радикальных переводов, это – согласие в стимульных значениях, а все, что выучивает ребенок – это произносить слово только тогда, когда имеет место соответствующее воздействие, и никак иначе. Пожалуй в связи с возрастающим интересом к общим терминам с разделенными референциями впервые становится уместным поставить в отношении ситуативного предложения («Мама», «Красное», «Вода», «Яблоко», «Яблоки») вопрос, единичный ли это термин, употребляемый как предложение, или общий термин, употребляемый как предложение. Если рассматривать детские ситуативные предложения как зачаточные термины, то, возможно, привлекательнее всего будет отождествить их с категорией массовых терминов, просто вследствие того, что они не обеспечивают решения проблемы утонченной дихотомии между единичным и общим¹.

В зрелости мы начинаем смотреть на мать ребенка как на неотъемлемое от него тело, которое по нерегулярной закрытой орбите время от времени навещает ребенка; в то же время на красное мы начинаем смотреть совершенно по-другому, а именно как на нечто, рассредоточенное вокруг нас. Вода для нас, скорее, подобна красному, но не совсем; красными являются вещи, тогда как только вещество является водой. Но для младенца и мать, и красное, и вода – одного типа; каждое есть только история спорадических встреч, разрозненная часть того, что происходит вокруг. Первоначальное изучение ребенком этих трех слов в одинаковой степени представляет собой изучение того, как многое из происходящего вокруг него считается матерью, или красным, или водой. Ребенок не скажет в одном случае: «Ага! Снова мама», во втором случае: «Ага! Еще одна красная вещь», а в третьем случае: «Ага! Прибавилось воды (More water)». Все это для него равнозначно: Ага! Еще мама, еще красное, еще вода (More mama, more red, more water).

Ребенок вполне может выучить слова «мама», «красное» и «вода» до того, как освоит все тонкости нашей взрослой концептуальной схемы подвижных протяженных во времени физических объектов, сохраняющих тождественность во времени и пространстве. В принципе он мог сделать то же самое со словом «яблоко» в качестве массового термина для спорадического неразделенного яблочного вещества. Но он никогда полностью не сможет освоить слово «яблоко» в его разделяющем употреблении, если только он не овладеет схемой протяженных и повторяющихся физических объектов. Он может почти вплотную подойти к разделительному употреблению слова «яблоко», прежде чем вполне освоит всеобъемлющую физическую

таких слов, как «вода» и подобные, если бы он не распространялся на не слишком удачные непредусмотренные случаи, такие, как «стадо», «армия» и т.д. Привлекателен термин «разделительный», но он имеет коннотации с ошибочным принципом, поскольку некоторые части мебели и даже воды не являются мебелью или водой. Стросон в работе “Particular and General” использует термин «материальное имя». Говоря «массовый термин», я следую терминологии Есперсена, чей термин «массовое слово», кажется, довольно прочно укоренился в лингвистике в требуемом смысле. В работе “Speaking of objects” я использовал термин «объемный (*bulk*) термин», который в большей степени является почти что *mot juste* (правильным названием. – Прим. перев.); но я не стану настаивать на таком умножении альтернатив.

¹См. § 2.6.

перспективу, но употребление им этого слова будет искажено отождествлениями различных яблок во времени или же различениями, проводимыми между тождественными яблоками.

Раз он реагирует на кучку яблок, используя множественное число «яблоки», возникает искушение предположить, что он действительно узнал разделенную референцию. Но это не так. Он мог на этой стадии выучить «яблоки» как другой массовый термин, применимый исключительно к такому количеству яблока, какое содержится в кучках яблок. Термин «яблоки» для него был бы так же подчинен термину «яблоко», как термин «теплая вода» – термину «вода», а «ярко-красный» – термину «красный».

Ребенок мог бы далее таким же образом усвоить термины «кирпич» и «кирпичи», «мяч» и «мячи» как массовые термины. Силой аналогии, основываясь на таких парах, он мог бы даже достичь употребления окончания множественного числа ‘-s’ с кажущейся приемлемостью для новых слов и отнимания его с кажущейся приемлемостью от слов, первоначально выученных только с ним. Мы вполне можем на первых порах не заметить ошибочности его концепции: что ‘-s’ всего лишь превращает массовые термины в более специальные массовые термины, коннотирующие сгруппированность.

Правдоподобный вариант ошибочной концепции таков: «яблоко» массовым образом может распространяться не на яблоки вообще, а лишь на одиночные яблоки, тогда как «яблоки» по-прежнему употребляется так, как описано выше. Тогда яблоки и яблоко скорее взаимно исключали бы друг друга, чем подчиняли бы один термин другому. Этот вариант ошибочной концепции подобным образом можно было бы систематически спроецировать на термины «кирпич» и «кирпичи», «мяч» и «мячи», и он долго избегал бы разоблачения.

Как мы вообще в таком случае можем говорить, что ребенок в действительности овладел спецификой общих терминов? Только путем вовлечения его в утонченный дискурс об «этом яблоке», «не этом яблоке», «каком-то яблоке», «том же самом яблоке», «другом яблоке», «этих яблоках». Только на этом уровне возникает осязаемое различие между подлинно разделенной референцией общих терминов и сфантазированными выше обманчивыми разделенными референциями (ср. § 2.6).

Несомненно, ребенок усваивает из контекста колебания таких особенных прилагательных, как «тот же самый», «другой», «какой-то», «этот», «не этот»: сперва он настраивается на различные длинные фразы или предложения, которые их содержат, а затем постепенно развивает в себе соответствующие привычки, относящиеся к составляющим эти фразы или предложения словам как общим частям и остаткам этих более длинных форм (ср. § 1.4). Уже предварительное овладение им окончанием множественного числа ‘-s’, о котором говорилось выше, есть первый шаг в этом направлении. Можно предположить, что изучение различных частиц такого рода из контекста происходит одновременно – так, что они постепенно подгоняются одна к другой, и таким образом развивается когерентный образец употребления, соответствующий тому образцу, который использует сообщество. Ребенок карабкается по интеллектуальному дымоходу, отталкиваясь от одной его стенки и одновременно упираясь в другие.

Поскольку эти аспекты языка не отражены в стимульном значении, ребенок вынужден постигать их методом одновременного изучения, а лингвист вынужден прибегать к аналитическим гипотезам для того, чтобы их перевести. Продолжим параллель. Когда речь идет об аналитических гипотезах, следующий момент заслуживает внимания: два марсианина, независимо друг от друга, могли бы в совершенстве выучить английский язык посредством различных и даже несовместимых друг с другом систем аналитических гипотез, относящихся к переводу с английского на марсианский, так что английский одного был бы неотличим от английского другого. То же можно сказать и об англоязычных детях: двое из них могут в одинаковой степени овладеть английским языком посредством весьма различающихся процессов пробной ассоциации и подгонки различных взаимозависимых прилагательных и частиц, от которых зависит специфика разделенной референции. Или, возвращаясь к гипотезе нервных соединений (§ 2.10, «четвертая причина»), одинаковая степень владения английским языком

у детей может быть внешним проявлением совсем разных образцов нервных соединений. В основе одинаковой слоновой формы могут, как в фигуре из § 1.2, лежать совсем разные конфигурации прутьев и веток.

Мои замечания о том, как ребенок шаг за шагом приобретает и упорядочивает различные обороты речи, необходимые для выполнения разделенной референции, были незначительными и метафорическими. Было бы правильно с моей стороны теперь проиллюстрировать одну возможную фазу этого процесса, какой бы нереалистичной она ни была, просто предложив ее желаемое завершение. Ребенок, предположим, выучил предложения «Мама» и «Папа» в основном остенсивно, как описано в § 3.1. Теперь предположим, и это – нереалистическая часть, что с помощью подобного, но бинарного процесса остенсии он выучивает предложение «Один и тот же человек». Этот термин сопровождается одновременными или близко следующими друг за другом попарно представлениями. Он оказывается применим либо когда оба представления соответствуют предложению «Мама», либо когда оба соответствуют предложению «Папа», но никогда – если одно соответствует предложению «Мама», а другое – «Папа». Если уж ребенок поднялся в своем поведении к этому обобщению высокого уровня, о нем, вероятно, можно сказать, что он движется в правильном направлении к оценке того, что значит для мамы и папы быть людьми, но не одним и тем же человеком, – хотя для того, чтобы спасти любое такого рода отделение термина «один и тот же» от термина «человек», потребуется абстракция третьего порядка от этого обобщения и ему подобных. При радикальном переводе сходные последовательности обобщений могут лежать в основании возможных аналитических гипотез марсианина, касающихся нашего аппарата разделенной референции.

Овладев разделенной референцией общих терминов, ребенок вместе с тем овладевает схемой устойчивых и повторяющихся физических объектов. Ведь наши самые распространенные общие термины – это в подавляющем большинстве термины, которые, подобно терминам «яблоко» и «река», разделяют свои референции в соответствии с сохранением или непрерывностью изменения вещества в объективном пространстве. До какой степени о ребенке можно говорить, что он постиг тождественность физических объектов (а не только сходство стимуляции) вместе с разделенной референцией, трудно сказать без прояснения критериев.

Будь все так, как предполагается, ребенок, имеющий в своем распоряжении общие термины и тождественность физических объектов, готов, таким образом, переопределить эти термины. В частности, «Мама» определяется задним числом в качестве имени пространственного и повторяющегося, но вместе с тем индивидуального объекта и, следовательно, как единичный термин *par excellence*. Поскольку случаи, вызывающие произнесение «мама», ровно настолько же не непрерывны, как случаи, вызывающие произнесение «вода», эти два термина равнозначны; но теперь мать интегрируется в способную к сцеплению пространственно-временную обособленность, тогда как вода остается рассредоточенной даже в пространстве и времени. Эти два термина, таким образом, расходятся.

Кажется, что владение разделенной референцией едва ли влияет на отношение людей к термину «вода». Ведь «вода», «сахар» и подобные термины, относящиеся к категории массовых терминов, возможно являющиеся пережитками недифференцированных ситуативных предложений, плохо поддаются разделению на общее и единичное. Даже после овладения разделенной референцией в эту архаическую категорию добавляются новые термины; свидетельства тому – «мебель», «обувь». Также и подлинные общие термины могут сохранить за собой употребление в качестве массовых терминов, как было замечено выше по поводу терминов «ягненок» и «яблоко».

3.4 Предикация

Различие между общими и единичными терминами может показаться преувеличенным. В конечном счете, могут возразить, единичный термин отличается от общих только тем, что

число объектов, относительно которых он истинен, равняется одному, а не какому-то другому числу. Почему числу один уделяется особое внимание? Но в действительности не различие между бытием истинным относительно многих объектов и бытием истинным относительно только одного определяет различие между общим и единичным. Это станет очевидным, как только мы перейдем к рассмотрению производных терминов, таких, как «Пегас», выучиваемых по описанию (§ 3.7), или таких как «естественный спутник земли», составленных из выученных частей. Ведь «Пегас» считается единичным термином, хотя не истинен относительно ни одного объекта, а «естественный спутник земли» считается общим термином, хотя истинен относительно всего одного объекта. Говорят, довольно неопределенно, что «Пегас» – единичный термин, поскольку он *нацелен* (*purports to*) указывать на один-единственный объект, а «естественный спутник земли» – общий термин, поскольку единичность его референции им не *подразумевается* (*purported in the term*). Такие разговоры о цели – всего лишь образный способ намекнуть на различные грамматические роли, играемые единичными и общими терминами в предложениях. Общий и единичный термины правильно можно различить только по их грамматическим ролям.

Основополагающее сочетание, обнаруживающее различие ролей общего и единичного терминов, – *предикация*: «Мама есть женщина» или, схематически, «*a* есть *F*» (*'a is an F'*), где «*a*» обозначает единичный термин, а «*F*» – общий. Предикация соединяет общий термин с единичным, образуя предложение, истинное или ложное в соответствии с истинностью или ложностью общего термина относительно объекта, если таковой имеется, на который указывает единичный термин.

Поскольку в этой книге нас интересует механизм референции, естественно, что предикация и связанное с ней грамматическое различие между общими и единичными терминами должны иметь для нас серьезное значение. Что касается грамматических различий между существительным, прилагательным и глаголом, то это – случай прямо противоположный. Здесь тоже имеют место различия грамматических ролей, с которыми связаны различия словесных форм; но так случилось, что разделение ролей на те, что требуют формы существительного, те, что требуют формы прилагательного, и те, что требуют глагольной формы, имеет мало отношения к вопросу о референции. Наше исследование, следовательно, можно упростить, рассматривая существительное, прилагательное и глагол просто как возможные формы общего термина.

Таким образом, лучше описывать предикацию с помощью нейтрального логического схематизма '*Fa*', понятого как обозначение не только '*a is an F*' (где '*F*' обозначает существительное), но также – '*a is F*' (где '*F*' обозначает прилагательное) и – '*aFs*' (где '*F*' обозначает переходный глагол)¹. Предикация без различия иллюстрируется как высказыванием: «Мама есть женщина», так и: «Мама большая», и: «Мама поет». Общий термин предикцируется или занимает то, что грамматики называют предикативной позицией; и он может иметь форму прилагательного или глагола с тем же успехом, что и существительного. Даже глагол можно считать основополагающей формой для предикации в том отношении, что глагол входит в предикацию без вспомогательных средств – 'is' или 'is an'.

Связку 'is' или 'is an' можно, соответственно, объяснить просто как префикс, служащий для изменения формы общего термина в предикативной позиции – из формы прилагательного или существительного в глагольную форму. 'Sings' («поет»), 'is singing' («[сейчас] поет») и 'is a singer' («является певцом»), таким образом, все исходно являются глаголами и взаимозаменяемы, если отвлечься от некоторых тонкостей (§ 5.4) идиом английского языка. Напротив, '-ing' и '-er'^{6*} – суффиксы, служащие для изменения глагольной формы общего термина на форму прилагательного или существительного, чтобы он мог занимать различные другие

¹ Во многих работах по логике, включая мои собственные, '*Fa*' скорее используется для обозначения любого вида предложений, включающих '*a*', независимо оттого, собраны ли другие части, помимо '*a*', в общий термин или нет. Но в этой книге я буду употреблять это выражение иначе, кроме тех случаев, которые я особо оговариваю.

позиции, помимо предикативной (§§ 21–23); а ‘thing’ и ‘-ish’^{7*} – суффиксы, служащие для преобразования прилагательных в существительные и наоборот¹.

Прилагательные в английском формально сходны с массовыми существительными тем, что мы не можем применить к ним ни неопределенный артикль (‘an’), ни окончание множественного числа. Прилагательные с кумулятивной референцией (§ 3.3) даже играют двойные роли как массовые существительные – например, в случаях, когда говорят «Красное – это цвет» или «Добавь немного красного». В подобных случаях английский язык содействует нам, высвечивая различие между существительным и прилагательным. Но в целом мы должны иметь в виду, от какого именно существительного не требуется отличать некое прилагательное. Существительные, которые таким путем следует приравнять к прилагательным «красный», «деревянный» и «сферический», – это «красный цвет», «дерево» и «сфера», а не «краснота», «деревянность» и «сферичность». Эти последние представляют собой нечто особое: абстрактные единичные термины (§ 3.9). В целом правильный существительный термин, хотя и не самый короткий, можно получить из прилагательного путем присоединения к нему слов «вещь» (‘thing’) или «штука» (‘stuff’).

Теперь вернемся к различию между общим и единичным терминами, как оно прояснено их ролями в предикации. Амбивалентность массовых терминов в отношении этого различия в предикации ясно видна. Ведь массовый термин, как выяснилось, входит в предикацию иногда после связки «есть» (‘is’), как общий термин в форме прилагательного, а иногда – перед связкой «есть», как единичный термин. Проще всего, похоже, будет считать его, соответственно, общим термином при употреблении после связки «есть» и единичным термином при употреблении перед связкой «есть».

Примеры употребления массовых терминов после «есть»: «Эта лужа есть вода», «Этот белый кусок есть сахар», «Остальной груз есть мебель». Не будем останавливаться на составных единичных терминах «эта лужа», «белый кусок», «остальная часть груза»; они – тема следующего раздела. Сейчас же нас больше интересует предикативное употребление массовых терминов. Можно рассматривать массовые термины в этих контекстах как общие термины, читая их так: «есть вода», «есть сахар», «есть мебель» – фактически как «есть немного воды», «есть кусочек сахара», «есть набор мебели». В целом массовый термин в предикативной позиции можно рассматривать как общий термин, истинный относительно каждой части того, о чем идет речь, за исключением лишь тех частей, которые слишком малы, чтобы их можно было подсчитать. Так, «вода» и «сахар» в роли общих терминов истинны относительно каждой части мировой воды или сахара, вплоть до отдельных молекул, но не атомов; а «мебель» в роли общего термина истинен относительно каждой части мировой мебели, вплоть до отдельных стульев, но – не ножек и шпинделей.

В высказываниях «Вода – жидкость» (‘Water is a fluid’), с одной стороны, и «Вода жидкая» (‘Water is fluid’) и «Вода течет» (‘Water flows’) массовый термин во многом равен единичному термину в высказываниях «Мама большая» (‘Mama is big’) или «Агнец – это барашек» (‘Agnes is a lamb’). Массовый термин в позиции субъекта ничем не отличается от таких единичных терминов, как «мама» и «агнец», пока рассредоточенный материал, который он именует, не исключает приписывания ему статуса единичного разделенного на части объекта. Несомненно, первые применения ребенком механизма общего и единичного терминов зависят от заметного единства чего-либо, различимого по контрасту с фоном, но со временем он осваивает не столь зримо связанные сущности; конечно, нам – взрослым, – ретроспективно описывающим поведение терминов, нет причин колебаться, говоря о воде как о едином, хотя и рассредоточенном объекте – водной части мира. Даже самый плотный объект, за исключением элементарной частицы, имеет рассредоточенную подструктуру, когда дело доходит до физических фактов. Мы можем исследовать термин «вода» этим утонченным способом, не навязывая тому, кто его употребляет, никакой рефлексивной семантики; для правильности нашей содержательной

¹Эту тему развивал Пеано в работах 1912 и 1930 гг. См. его работу “Opere Scelte”, vol.2, pp. 458 ff, 503 ff.

семантики достаточно того, что он употребляет термин «вода» в позиции субъекта примерно так же, как термины «мама» и «агнец».

Точно так же массовое существительное «красный цвет» в позиции субъекта можно понимать как единичный термин, именующий рассредоточенную совокупность красной субстанции. «Цвет» становится общим термином, истинным относительно каждой из множества таких рассредоточенных совокупностей.

Не стоит воображать, что, допуская рассредоточенные конкретные объекты, мы легко сводим все разнообразия к единствам, все общности к единичностям. Это не так¹. Помимо мировой воды как совокупного рассредоточенного объекта остаются разные его части – озера, водоемы, капли и молекулы; и, выделяя такие типы частей при быстром упоминании, мы по-прежнему обычно нуждаемся в общих терминах – «озеро», «водоем», «капля», «молекула воды». Трактовка термина «вода» как имени отдельного рассредоточенного объекта не имеет целью побудить нас отказаться от общих терминов и множественности референции. Рассредоточенность – это в действительности несущественная деталь. Общие термины в той же мере нужны для выделения частей (рук, ног, пальцев, клеток) нерассредоточенного объекта (мамы), как и для выделения частей рассредоточенного объекта – воды. Рассредоточенность – это одно, многообразие референции – другое. Понимание рассредоточенного объекта как отдельного объекта редуцирует категорию массовых терминов к категории единичных терминов, но оставляет нетронутым деление на единичные и общие термины.

Если массовые термины, стоящие перед связкой, таким образом, путем введения рассредоточенных объектов ассимилируются к единичным терминам, то сама собой возникает идея продвинуть искусственность еще на шаг вперед и рассматривать как единичные термины также и массовые термины, стоящие после связки. Может показаться, что есть возможность это сделать, реконструировав связку ('is') в таком контексте, как «есть часть...» ('is part of'). Но так ничего не получится, поскольку есть слишком маленькие части воды, сахара и мебели, чтобы считаться водой, сахаром, мебелью². Более того, то, что слишком мало, чтобы считаться мебелью, не слишком мало, чтобы считаться водой или сахаром; таким образом, необходимое ограничение нельзя представить в виде какого-либо общего приспособливания «есть» или «есть часть...»; скорее следует оставить за некоторыми массовыми терминами, понятыми как общие термины, функцию разделения референции. Лучше всего согласиться с определенной разносторонностью массовых терминов и рассматривать их как единичные термины в позициях субъекта, как общие – в предикатных³.

Разносторонний характер массовых терминов в действительности распространяется еще дальше. Мы уже отмечали в § 3.3, что даже обычный общий термин, такой, как «яблоко» или «барашек», может иметь двойника в виде массового термина. Всего же, таким образом, «барашек» имеет не два, а три способа употребления. В высказывании «Барашек в дефиците» он фигурирует как массовый термин, употребленный как единичный термин, именующий рассредоточенный объект – мировое мясо барашка. В высказывании «Агнец – это барашек» он фигурирует как общий термин, истинный относительно каждого юного представителя вида *Ovis aries*. Наконец, в высказывании «Коричневое мясо – это барашек» он фигурирует как массовый термин, употребленный как общий термин, истинный относительно каждой части или рассредоточенного количества мяса барашка. Постоянство формы слова «барашек» при выполнении этих трех функций напоминает состояние ребенка перед тем, как он обучился обращаться с разделенной референцией общих терминов. Хотя его обучение разделенным референциям революционно, язык до этого момента и язык после него составляют неразрывное целое; и благодаря этому первичные слова сохраняют разветвленные употребления.

¹ О действенности и границах этого инструмента как средства редуцирования универсалий к единичностям см.: Goodman. *Structure of Appearance*, pp. 155 f., 203 ff., и мою работу: *From a Logical Point of View*, pp. 68–77.

² См.: Goodman. *Structure of Appearance*, p. 48. Термины в его терминологии не являются *разрезающими*.

³ Здесь я следую Льюису (*Modes of Meaning*, p. 239), но только частично.

Более того, и это является образцом, даже слова, приобретенные после обучения разделенным референциям, по аналогии сохраняют неизменную форму для трех функций. Но различие рассматриваемых функций много для нас значит, как бы плохо оно ни отражалось в словарных формах. Не следует колебаться, ни проводя различия, если они проясняют наши затруднения, ни взирая на то, что они не отражены живо в идиоме английского языка, ни отказываясь от различий, если они не решают наших затруднений, несмотря на то что идиома Английского языка создает о нем преувеличенное впечатление.

3.5 Демонстративы. Атрибутивы

Значительная польза общих терминов заключается в том, что из них образуются демонстративные единичные термины. Они получаются из общих путем прибавления к последним в качестве префиксов демонстративных частиц «это» и «то». Достигаемая таким образом экономия усилий огромна. Во-первых, мы избегаем бремени знания имен. Мы можем воспользоваться выражениями «эта река», «эта женщина», не зная, каковы в действительности имена этих предметов. Во-вторых, это позволяет нам указывать на единичные предметы, у которых просто нет собственных имен: это яблоко. В-третьих, это помогает нам в обучении употреблению собственных имен. Скажем, мы захотели обучить кого-то имени «Нил». Трудный путь мог бы состоять в длительном тренинге, подобном тому, посредством которого выучиваются слова «мама» и «вода». Мы могли бы показывать нашему ученику отрезки Нила на всем его протяжении от Кении до моря, обучая его правильным употреблением слова и исправляя его ошибки, пока не будем удовлетворены тем, как он подготовлен к употреблению термина в рамках предполагаемой части мира, но не вне ее. С другой стороны, если он уже владеет общим термином «река» и процедурой производства единичных терминов, нам достаточно всего лишь встать вместе с ним на набережной Каира и сказать один раз, сопровождая это указанием: «Эта река – Нил».

Общий термин предполагает разделение референции, которое, будучи освоено, может затем применяться в бесконечном числе случаев для фиксирования предполагаемых областей употребления единичных терминов. Высказывание «Это Нил», сопровождаемое жестом, но не включающее общего термина «река», может быть неправильно понято как указание на изгиб реки; «Это Надежда» может быть неправильно понято как указание на надежный материал, из которого сделана одежда данного человека; но высказывания «Эта река – Нил», «Эта женщина – Надежда» устраняют сомнения.

Часто выражение «это» само по себе служит единичным термином. Если объект указания отличается от своего окружения, предполагаемые границы референции в рамках данного пространства будут понятны без помощи общего термина; и даже предполагаемые границы референции в прошлом и в будущем вполне могут быть установлены. А изолированного «это» обычно достаточно для указания на Нил или Надежду вследствие того, что бывает известно о человеческих предпочтениях: реки и женщины – более вероятные объекты идентификации, чем изгибы и материалы.

Также мы можем употреблять «это» с массовым термином: «эта вода», «этот сахар». После слова «это», как и после «есть», мы предпочитаем объемный термин в роли общего. Термин «вода», так употребляемый, равняется термину «объем воды», понятому как применимое равным образом как к реке, так и к луже, и к содержимому стакана.

Заслуживающая внимания черта таких терминов, как «эта река», «эта вода», и подобных – мимолетность их референции, в противоположность таким устойчивым единичным терминам, как «мама», «вода», «Нил», «Надежда». Такой эффект имеют не только две демонстративные частицы, но и *указательные слова* вообще: «это», «то», «я», «ты», «он», «теперь», «здесь», «тогда», «там», «сегодня», «завтра». Обучение ребенка словам «мама» и «вода» зависит от постоянства референции; он приучен методом поощрения и исключения на множестве случаев

произнесения подстраиваться под крепко в нем укорененные нормы или границы референции. Изучая указательные слова, он изучает технику более высокого уровня: как менять референцию термина в соответствии с систематическими подсказками, исходящими от контекста или окружения. Демонстративные единичные термины, полученные таким способом, обладают достоинством гибкости и недостатком нестабильности; и этот недостаток начинает сказываться как раз тогда, когда мы вводим собственные имена в качестве носителей референции: «Эта река – Нил», «Эта женщина – Надежда»¹.

Демонстративные единичные термины сохраняют механизм *остенсии* – непосредственного связывания в опыте с объектом референции – и в то же время обходят тренировочный процесс, сопровождающий остенсивное обучение словам «мама» и «вода». Это происходит благодаря общим терминам. Будучи так используемы, общие термины должны, таким образом, выучиваться в первую очередь, а обучение им, как было показано (§ 3.3), представляет собой более сложное дело, чем изучение таких слов, как «мама» и «вода». Но, будучи изучены, они обеспечивают скоростное остенсивное введение единичных терминов, как временных («эта река», «эта женщина»), так и постоянных («Нил», «Надежда»). Более того, такие производные единичные термины, в свою очередь, обеспечивают остенсивное введение новых общих терминов. Следовательно, имея общий термин «круглая (вещь)» и благодаря этому – единичный термин «эта круглая вещь», мы можем дальше объяснить термин «гранат» следующим образом: «Эта круглая вещь – гранат». Нашему ученику может понадобиться несколько таких уроков, чтобы изучить допустимый диапазон различий между гранатами. Но здесь уже заранее проявлена забота о другом факторе в изучении общих терминов, а именно о разделенной референции, поскольку мы даем ученику каждый пример в виде: «эта круглая вещь», используя таким образом уже изученный им общий термин, чьей разделенной референцией он уже овладел.

Мы увидели, что не только общие термины способствуют образованию демонстративных единичных терминов, но и демонстративные единичные термины также способствуют приобретению новых общих терминов. Последнее утверждение есть преуменьшение. Демонстративные единичные термины участвуют даже в приобретении ребенком первых общих терминов: он должен выучить в отношении *этого* яблока и *того* яблока – когда их отождествлять, а когда различать (см. § 3.3). Таким образом, демонстративные единичные термины, хотя они образованы из общих терминов, необходимы для усвоения принципа действия общих терминов. Общий термин и демонстративный единичный термин, вместе с тождеством (§ 3.8), представляют собой взаимозависимые средства, которые ребенок, принадлежащий к нашей культуре, должен освоить одним отчаянным усилием.

Часто общего термина, следующего за терминами «это» или «то», вместе с обстоятельствами произнесения достаточно, чтобы направить внимание на предполагаемый объект без посредства жеста. В подобных случаях преобладает стремление свести роль терминов «это» и «то» к роли определенного артикля ('the'): например, «эта река» ('the river'). Такие вырожденные демонстративные единичные термины называются *единичными дескрипциями*, хотя эта фраза оказывается более удачной, когда доступные в качестве составляющих дескрипцию общие термины сами могут быть составными.

Часто объект настолько явно имеется в виду, что даже общий термин может быть опущен. Тогда, поскольку определенный артикль (в отличие от «это» и «то») никак не может быть существительным, он заменяется существительным *pro forma*: таковы выражения «определенный (the) человек», «определенная женщина», «что-то определенное». Эти минимальные дескрипции сокращаются в «он», «она», «оно». Такого рода местоимение, таким образом,

¹ Дополнительно об указательных словах см.: Goodman. Structure of Appearance, p. 290 и дальше, или его диссертацию, Гарвард, 1940, p. 594 и дальше; Russel. Inquiry into Truth and Meaning, ch. 7; Reichenbach, § 50. Термин принадлежит Гудмену; Есперсен (Language) называл их шифтерами, Рассел – эгоцентрическими частицами, а Райхенбах – рефлексивными токенами (*token-reflexive*). Пирс называл их индексами, но он также употреблял этот термин в более широком смысле; см.: Peirce. Vol. 2, § 248, 265, 283 f, 305.

можно рассматривать как короткую единичную дескрипцию, в то время как его грамматический предшественник представляет собой другой единичный термин, указывающий на тот же объект (если вообще на какой-либо) в тех случаях, когда для его идентификации требуется больше единичностей.

Теперь мы обратимся к другому методу формирования составных терминов. Он, в отличие от метода демонстративных единичных терминов, не подразумевается тем, что он подразумевает; ребенок спокойно может изучить его после того, как совершит свой рывок. Это – метод присоединения прилагательного к существительному в позиции, которую грамматики называют *атрибутивной*. «Красный» занимает атрибутивную позицию в выражении «красный дом» в противоположность предикативной позиции, которую он занимает в высказывании «Дом Элиота красный». Так сформированный составной общий термин истинен только относительно того, относительно чего истинны оба его составляющих.

Существительные также обычно встречаются в чем-то напоминающем атрибутивную позицию, но большинство так сформированных соединений лучше рассматривать скорее как неуместно сходные конденсации разнообразных фраз. Поскольку, в то время как красные дома и красное вино красные, водные лыжи^{8*} – не вода; таковы же и счетчики воды, водное право, водяные крысы. В выражениях «водные крылья, счетчики, права и крысы» есть даже определенный солецизм (а именно зевгма); слово «вода» нуждается в повторении, поскольку его отношения с каждым из присоединенных терминов различны. Подлинно атрибутивное употребление существительных, говоря функционально, обнаруживается только в ситуативных случаях, таких, как «студенческий лидер», «женщина-полицейский» и «железный брусок»; между тем для прилагательных такое употребление обычно.

Среди прилагательных также имеются исключения. Обыкновенный ребенок не есть нечто обыкновенное и ребенок. То же относится к сомнительной чести, притворной любви, настоящим деньгам и беременным женщинам. К таким прилагательным применимо старое философское слово *синкатегорематическое*. Ведь такого рода прилагательное не является термином (в моем представлении), который сам по себе выделяет категорию объектов; оно имеет смысл только вместе (*син*) с термином, например «женщина», как часть другого термина, например «беременная женщина». Даже когда синкатегорематическое прилагательное появляется в предикате в одиночестве, как в высказываниях «Сомнительная честь», «Настоящие деньги», его зависимость от господствующего термина сохраняется; соответствующими подлинными предикациями (§ 3.4) в упомянутых случаях должны быть скорее «Это – сомнительная честь», «Вот это – настоящие деньги». Синкатегорематические имитации атрибутивного и предикативного употребления прилагательных относятся к более утонченной фазе изучения языка, чем та, что нас сейчас интересует; теперь продолжим исследование истинно атрибутивного употребления прилагательных, представляющих собой подлинные термины.

Употребляя прилагательное в качестве предиката, его следует, как известно, считать общим термином: «*F*» в «*Fa*». Подобным образом в атрибутивном употреблении следующее за общим термином прилагательное следует считать общим термином, поскольку только так можно и полученное составное выражение в целом считать общим термином, истинным относительно всего, относительно чего вместе истинны его компоненты. Но в атрибутивной позиции при массовом термине прилагательное должно быть признано массовым термином: например, «красное» в выражении «красное вино». Объединение двух массовых терминов дает составной массовый термин. Если счесть два составляющих его массовых термина единичными терминами, именующими две рассредоточенные порции мира, составное выражение окажется единичным термином, именующим еще меньшую рассредоточенную порцию мира, представляющую собой всего лишь общую часть первых двух. Красное вино есть та часть мирового вина, которая также является частью того в мире, что окрашено в красный цвет. Если составной массовый термин играет роль скорее общего термина, как в высказывании «Эта лужа – красное вино» (см. § 3.4), его части также выступают в роли общих терминов; они равносильны в подобных контекстах выражениям «красная вещь» и «немного (или пор-

ция) вина», и в таком случае составной термин истинен относительно каждого из предметов, относительно которого оба его компонента вместе истинны.

Формальное сходство между прилагательными и массовыми существительными, отмеченное в § 3.4, не должно затмевать тот факт, что многие прилагательные, такие, как «сферический», разделяют свою референцию с таким же постоянством, как и любое существительное. Такие прилагательные не накапливают референцию и не являются массовыми терминами; они могут обходиться без артиклей и окончаний множественного числа по той лишь причине, что мы скорее присоединяем подобные аксессуары к существительному, которое сопровождается прилагательным в предикативной или атрибутивной позиции^{9*}. Но что можно сказать о таких прилагательных в связи с нашим указанием, что прилагательное в атрибутивной позиции при массовом термине следует считать массовым термином? Успокоительно звучит замечание, что прилагательные, не накапливающие свои референции, стремятся просто не занимать положения рядом с массовыми терминами («сферическое вино», «квадратная вода»). Такие прилагательные служат исключительно в качестве общих терминов. С другой стороны, прилагательные, которые могут выступать в роли массовых терминов, обычно, как мы увидели, выступают и в роли единичных терминов («красное» в выражении «красное вино») и в трех ситуациях – в роли общих терминов («красное» в высказывании «Дом Элиота красный», в выражениях «красный дом» и иногда – «красное вино»).

Но «красный» в роли общего термина настолько отличается от «красный» в роли единичного термина, что первый истинен относительно предметов, не являющихся даже частями единой красной субстанции мира. Красные дома и красные яблоки пересекаются с красной субстанцией мира только самым поверхностным образом, будучи красными лишь снаружи. Так уж устроено, что различие между словом в роли единичного термина и тем же словом в роли общего термина – не просто педантичное различие видов референции; даже связанные области мира могут различаться. И все же оба эти употребления слова «красный» представляют собой естественные следствия того единственного первоначального употребления, которое одно доступно ребенку, прежде чем он освоит разделенную референцию и понятие физического объекта. Ведь на этой ранней стадии не может быть проведено никакого различия между случаем, когда «красное» сказано о яблоке и когда только о его коже^{10*}. Ребенок может видеть неразрезанное яблоко как красное, а следом за тем отрезанный от него ломтик – как белый, но белым он видит не отрезанный от того самого неразрезанного красного яблока ломтик, если только не использовать здесь термины утонченной физической идентификации во времени.

Близко к атрибутивному объединению терминов объединение терминов посредством связок «и» или «или». Когда используются такие соединительные частицы, то либо оба составляющих термина имеют форму существительных, либо оба имеют форму прилагательных. В таком употреблении, как '*a is F and G*' объединение посредством «и» ('and') имеет силу объединения, сформированного атрибутивным образом; а именно: оно истинно относительно только тех объектов, относительно которых вместе истинны оба его компонента. Однако, будучи преобразовано в форму множественного числа, как в случае '*Fs and Gs are H*', объединение посредством «и» ('and') обычно функционирует скорее как термин, истинный относительно всех объектов, относительно которых либо истинен один из его компонентов, либо оба вместе. Эта функция в основном закреплена за объединениями посредством частицы «или», когда форма множественного числа не используется.

3.6 Относительные термины. Четыре фазы референции

То, что я до сих пор называл общими терминами, есть, выражаясь точнее, *абсолютные* общие термины. И наряду с ними существуют *относительные* общие термины¹, такие, как «часть...» ('part of'), «больше, чем» ('bigger then'), «брат...» ('brother of') и «превосходит» ('exceeds'). Тогда как абсолютный общий термин просто истинен относительно объекта *x*, объекта *y* и т.д., относительный термин скорее истинен относительно *x* в его отношении к некоему объекту *z* (тому же самому или другому), относительно *y* – в его отношении к *w* и т.д. Так «часть...» истинен относительно Роксбери в его отношении к Бостону. «Больше, чем» и «превосходит» истинны относительно Бостона в его отношении к Роксбери. «Брат...» истинен относительно Каина в его отношении к Авелю, и наоборот; он также истинен относительно сэра Осберта Ситвела в его отношении к леди Эдит, но не наоборот.

Точно так же, как абсолютный общий термин может принимать форму как существительного, так и прилагательного или непереходного глагола, относительный термин может принимать следующие формы: существительное плюс предлог ('brother of' – «брат...»), прилагательное плюс предлог или союз ('part of', 'bigger then', 'same as' – «часть...», «больше, чем», «такой же, как»), или – форму переходного глагола. Кроме того, относительный термин может принимать форму одного только предлога: «в», «под», «такой, как».

Параллельно форме предикации «*Fa*» для абсолютных терминов существует форма предикации «*Fab*» для относительных терминов: '*a is F to b*' («*a* есть *F* по отношению к «*b*») или '*a Fs b*'^{11*}.

Можно сказать, что относительные термины истинны относительно объектов, составляющих пару. Но мы также должны распознавать относительные термины в расширенном смысле – триадическом – истинные относительно объектов, составляющих последовательность из трех элементов; а также – тетрадические и выше. «Дает» ('Gives to'), как в случае «*a* дает *b* *c*» ('*a gives b to c*') – триадический относительный термин; «платит [тому-то] за» ('pays to for') – тетрадический. Предикация таких терминов может быть представлена как «*Fabc*», «*Fabcd*» и т.д. Тем не менее в большинстве случаев, говоря об относительных терминах, я буду подразумевать диадические относительные термины, точно также, как, говоря об общих терминах, я буду продолжать подразумевать абсолютные общие термины.

Часто можно попарно располагать относительные термины как взаимно *противоположные*: один истинен относительно любого *x* в его отношении к любому *y* тогда и только тогда, когда другой истинен относительно *y* в его отношении к *x*. Таковы термины «больше, чем» и «меньше, чем», а также – «родитель [того-то]» и «потомок [того-то]». Часто, как в случае терминов «брат...» ('brother of'), «отец...» ('father of') и «часть...» ('part of'), оказывается, что нет уместного английского слова для выражения противоположного. Но для случаев, когда, в частности, относительный термин имеет форму переходного глагола, в английском имеется общее правило для формирования противоположного: переключайся на пассивный залог и добавляй 'by' («посредством»^{12*}).

Обычно ключевое слово относительного термина употребляется также *несоотносительным* образом в качестве абсолютного термина так: он истинен относительно любого *x* тогда и только тогда, когда относительный термин истинен относительно *x* в его отношении по крайней мере к одному предмету. Так кто угодно является братом тогда и только тогда, когда есть кто-то, чьим братом он является. Если относительный термин является переходным глаголом, соответствующий абсолютный термин – это тот же глагол, употребляемый непереходно.

Относительные термины также соединяются с единичными терминами путем *дополнения* ('application'), в результате чего получаются абсолютные общие термины составного типа. Так, относительный термин «брат...» дает не только абсолютный общий термин «брат», но

¹Эта терминология пришла к нам от Милля (bk. I, ch. II) вместе с терминами «общий» и «единичный», «конкретный» и «абстрактный» (§ 3.9).

также – абсолютный общий термин «брат Авеля». Точно так же относительный термин «любит» дает не только абсолютный общий термин «любит» (непереходный), но также – абсолютный общий термин «любит Мэйбл». А относительный термин «у» ('at') дает абсолютный общий термин «у Мэйси»¹.

Мы рассмотрели два основных метода получения составных общих терминов. Один – присоединение одного общего термина к другому атрибутивным образом (§ 3.5); таковы «красный дом», «железный брусок». Другой метод, только что проиллюстрированный терминами «брат Авеля», «любит Мэйбл» и «у Мэйси», – дополнение относительного общего термина единичным. Эти две операции могут комбинироваться для получения более сложных общих терминов; таковы «злой брат Авеля», сформированный путем присоединения атрибутивным образом термина «злой» к термину «брат Авеля», или – «человек у Мэйси», сформированный путем присоединения составного прилагательного общего термина «у Мэйси» атрибутивным образом к термину «человек». Составные общие термины, полученные одним из этих двух способов или обоими, могут, в свою очередь, формировать новые единичные термины в соединении с терминами «этот», «тот» и с определенным артиклем. Чтобы получить новые общие термины, мы можем, напротив, дополнить относительные термины составными единичными терминами; и так – по кругу. Такой сжатый термин, как «его брат» ('his brother'), может рассматриваться как инкапсулирование трехуровневого состава такого вида, так как мы можем считать его сокращением от термина «брат вот его» ('the brother of him'), где «вот его» ('him') – сокращение от термина «такого-то человека» ('the man') (ср. § 3.5). Заметным результатом этого прироста составных общих терминов является единичная дескрипция, поскольку составного общего термина часто бывает достаточно для фиксации объекта референции единственным образом без помощи каких-либо дополнительных детерминант контекста или других обстоятельств произнесения. Традиционный пример от Рассела – составной общий термин «автор *Уэверли*»; добавь определенный артикль ('the'), и получится единичный термин с устойчивой и независимой от контекста и случая референцией. Единственность референции большинства единичных дескрипций – например, «человек у Мэйси» или «президент Соединенных Штатов», – разумеется, по-прежнему зависит от контекста или случая.

Приведенный выше разбор термина «злой брат Авеля» приводит к следующим соображениям. «Естественный спутник земли» можно разбирать подобным образом; или можно предпочесть рассматривать термин «естественный спутник...» ('natural satellite of') как относительный термин, а термин «естественный» – как синкатегорематическую (§ 3.5) его часть. Конечно, именно таким образом необходимо рассматривать термин «внебрачный сын Карла Лысого». Если синкатегорематические прилагательные не играли большой роли в нашем обзоре образования терминов, так это только потому, что они вообще не являются терминами. Это следует сказать о них, а также в равной степени о наречиях: это слова, присоединяемые к терминам, относительным («сын...», «любит») или абсолютным («мать», «красный», «говорит»), чтобы сформировать новые термины того же вида («внебрачный сын...» ('natural son of'), «любит нежно», «беременная женщина», «темно-красный», «говорит быстро»).

Сродни дополнению относительных терминов единичными, как в случае «брат Авеля» и «любит Мэйбл», дополнение относительных терминов общими. В таком сочетании вспомогательный общий термин имеет форму множественного числа, как в случае «благотель беженцев», а результатом является также общий термин.

Благодаря созданию составных общих терминов посредством такого дополнения относительных терминов новыми терминами, единичными или общими, рождается новый вид референции. Еще раз обратимся к фазам, которые мы уже выделили в рамках референциальной функции языка, чтобы при правильном обрамлении выявилась значимость референции нового вида.

¹ 'At' («в») в качестве местоимения времени будет рассмотрено с разных сторон в § 5.4.

На первой фазе выучиваются такие термины, как «мама» и «вода», – их можно ретроспективно рассматривать как имена наблюдаемых пространственно-временных объектов. Каждый такой термин выучивается путем закрепления правильных и устранения неправильных употреблений, благодаря чему пространственно-временной диапазон применения термина постепенно уточняется. Именуемый объект, несомненно, является наблюдаемым в том смысле, что подкрепленные стимулы вполне непосредственно исходят от него. Само собой разумеется, сам разговор об имени и объекте принадлежит к более поздней стадии изучения языка, равно как и разговор о стимуляции.

Вторая фаза отмечена пришествием общих и демонстративных единичных терминов; а также – в качестве вырожденных случаев последних – единичных дескрипций. Общие термины по-прежнему изучаются остенсивно, но отличаются от своих предшественников своей разделенной референцией. Референция разделяется так, чтобы выявить временные непрерывности субстанции и объективного местоположения (§ 3.3). Уже может стать возможным изучение такого общего термина, как «единорог», посредством предъявления изображений, при том что изучающий вполне готов обнаружить, что этот термин ни на что не указывает; ведь скоро придет понимание того, что термины гораздо чаще предназначены указывать не на изображения, а на то, что на них изображено¹. И в любом случае становятся возможными ошибки (*failures*) референции при употреблении демонстративных единичных терминов и единичных дескрипций; например, термины «это яблоко» или «определенное (*the*) яблоко» употреблены в связи с чем-то, относительно чего установлено, что у него отсутствует задняя половина, или что признано помидором. Но, несмотря на такой простор для ошибок референции, ее потенциальные объекты в значительной степени – все те же старые объекты. Это объекты, от которых исходят подкрепленные стимулы рассматриваемого остенсивного изучения общих терминов, или же объекты, достаточно сходные с этими, чтобы допустить применение к ним тех же самых терминов.

Третья фаза порождает составные общие термины посредством атрибутивного соединения общих терминов. Здесь нам очевиднее, чем прежде, гарантированы случаи несостоятельности (*failure*) референции общих терминов; мы получаем такие соединения, как «квадратное яблоко» и «летающая лошадь», не являющиеся истинными относительно чего-либо, вследствие того, что среди объектов, относительно которых истинен один из составляющих их терминов, нет таких, относительно которых истинен второй. Атрибутивное соединение терминов может также непосредственно порождать ничего не именующие единичные термины; таковы, например, такие составные массовые термины, как «сухая вода». Более того, из атрибутивно составленных общих терминов можно получить демонстративные единичные термины и единичные дескрипции, несостоятельность референции которых категорически гарантирована: «это квадратное яблоко», «определенная (*the*) летающая лошадь».

Эта третья фаза, при всех открываемых ею возможностях несостоятельности референции, тем не менее не создает для общих терминов никакой референции к новым видам объектов. Если для вновь составленных общих терминов вообще имеются предметы, относительно которых эти термины истинны, то они непременно принадлежат к числу все тех же старых предметов, к которым применяются составные термины. На третьей фазе происходит массовое образование общих терминов, значительно превосходящих числом объекты референции; но сами объекты остаются теми же самыми, что и прежде.

Кое-кто может все же спросить, не способствует ли третья фаза появлению новых объектов для наименования посредством единичных терминов. Ведь атрибутивное соединение массовых терминов дает единичный термин, указывающий не на что иное, как на общую часть двух масс или рассредоточенных совокупностей, именуемых составляющими его терминами. Не может ли так случиться, что эта общая часть окажется тем, на что не указывает ни один из прежде образованных единичных терминов и относительно чего не истинен ни один из име-

¹Этим соображением я обязан Дэвидсону.

ющихся в наличии общих терминов? Не может. Каждый из компонентов, будучи массовым термином, предикативно употребляется как общий термин (ср. § 3.4), и в таком употреблении он уже истинен относительно этой общей части в числе прочего.

Обеспечивать доступ к новым объектам – это, скорее, характеристика четвертой фазы. Об этой фазе возвестила только что описанная процедура образования общих терминов посредством дополнения относительных терминов единичными или общими. Эта фаза привносит новый способ понимания – через образование таких соединений, как «меньше, чем это пятнышко». Подобное соединение отличается от термина «квадратное яблоко» тем, что оно даже не нацелено на обозначение предметов, на которые мы можем указывать и которым можем давать индивидуальные имена при необходимости. Относительный термин «меньше, чем» позволяет нам выйти за установленные рамки, не испытывая при этом чувства, что мы произносим тарабарщину. Здесь, конечно, действует механизм аналогии, конкретнее – экстраполяции (ср. § 1.4).

Постулирование новых объектов – дело не только этой грамматической конструкции. Относительные простые предложения (*clauses*) (§ 3.7) представляют собой удивительно гибкие средства формулирования условий, которым должны соответствовать объекты, а неопределенные единичные термины (§ 3.7) позволяют нам вполне ясно высказываться о существовании любых объектов, какие только мы признаем существующими. Абстрактные объекты вводятся другими способами, о которых скоро пойдет речь (§ 3.9). Но дополнение относительных терминов другими терминами представляет особый интерес в силу того, что в ряду простых конструкций, которые мы до сих пор рассматривали, эта – первая, расширяющая наши референциальные горизонты.

3.7 Относительные простые предложения. Неопределенные единичные термины

Употребление слова «относительный(ое)» в словосочетании «относительное простое предложение» имеет мало общего с его употреблением в словосочетании «относительный термин». Относительное простое предложение обычно представляет собой абсолютный термин. Оно имеет форму предложения за тем исключением, что место единичного термина занимает в нем относительное местоимение, а порядок слов часто бывает изменен, как, например, в случае «которую я купил». Общий термин такого вида истинен относительно только тех предметов, которые, если их имена подставить на место относительного местоимения, дадут истинное предложение; так, «которую я купил» истинно относительно только таких *x*, что *x* я купил, или, лучше, таких, что я купил *x*.

Из этого последнего общего правила мы, в частности, видим, что относительное местоимение так или иначе излишне, когда оно стоит на месте субъекта. Например, «который любит Мэйбл» истинно относительно только тех людей, относительно которых истинно «любит Мэйбл», а «который больше, чем Роксбери» истинно относительно только тех предметов, относительно которых истинно «больше, чем Роксбери». Но излишнее местоимение может служить грамматической цели: мы предпочитаем предложению «любит Мэйбл» предложение «который любит Мэйбл» в атрибутивном употреблении, как в случае «брат, который любит Мэйбл», просто потому, что относительные простые предложения имеют форму прилагательного и вследствие этого в отличие от глагольной формы «любит Мэйбл» приспособлены к занятию атрибутивной позиции. В меньшей степени служит этой цели предложение «который больше, чем Роксбери», поскольку «больше, чем Роксбери» уже имеет форму прилагательного. Основное употребление такой формы, как «который больше, чем Роксбери», – после запятой в качестве неограничительного простого предложения; и мы можем не обращать внимания на неограничительные простые предложения, так как они являются всего лишь стилистическими вариантами соответствующих предложений.

В любом случае особенность относительных простых предложений состоит в том, что они создают из предложения «...х...» сложное прилагательное, суммирующее все, что это предложение высказывает об *х*. Иногда того же можно добиться, опуская «х есть», как в последнем примере, или другими средствами; так, к случаю «Я купил *х*» «купленное мною» (образованное путем обращения и дополнения) подходит так же хорошо, как относительное простое предложение «которое я купил». Но часто, как в случае «колокол звонит по *х*», относительное простое предложение представляет собой наиболее сжатое прилагательное, доступное для выполнения этой задачи.

Мы обратили в § 3.5 внимание на то, что некоторые прилагательные, такие, как «сферический», не могут функционировать в качестве единичных терминов, тогда как другие, такие, как «красный», вольны вести себя и как общие термины при общих терминах, и как единичные термины при единичных терминах. Эти замечания в особенности относятся к относительным простым предложениям. В предложении «Кофе, из которого сделан экстракт, произрастает в низинах» существительное «кофе» и прилагательное «из которого сделан экстракт» являются массовыми терминами, которые играют роль единичных терминов, каждое – как имя рассредоточенной части мира; а сочетание, образованное ими, «кофе, из которого сделан экстракт», – это единичный термин, именующий ту меньшую рассредоточенную часть мира, которая является общей частью двух первых.

«Который» ('which'), «кто» ('who') и «кого», «кому» ('whom') – не единственные относительные местоимения, к которым относится вышесказанное. Другим является «что» ('that'), но я избегал его из-за его употреблений в качестве демонстративного слова и связи. Существует также вариант, при котором относительное местоимение просто остается скрытым, как в случае «машина, купленная мной у тебя» ('car I bought from you'^{13*}).

Общий термин в форме относительного простого предложения представляет собой плодотворную основу для единичных дескрипций; например, «определенная машина, [которую] я купил у тебя» ('the car [which] I bought from you'). Реконструируем этот пример из его элементов. Мы имеем триадический относительный термин «купил у», который, будучи дополнен предикативно единичными терминами «я», «х» (скажем) и «тебя», дает предложение формы «Я купил *х* у тебя». Подставляя на место *х* относительное местоимение, меняя элементы местами, получаем относительное простое предложение «которую я купил у тебя». Это простое предложение является общим термином со статусом прилагательного. Соединив его атрибутивным образом с общим термином «машина», мы получим общий термин «машина, которую я купил у тебя»; а затем присоединение определенного артикля ('the') дает единичный термин.

Относительное простое предложение должно быть атрибутивно соединено с существительным прежде, чем его дополнит определенный артикль ('the'), поскольку последний присоединяется к существительным, тогда как относительные простые предложения – прилагательные. Если, помимо этого грамматического требования в присоединении существительного нет надобности, для той же цели используются бесцветные выражения «вещь» ('thing'), или «предмет» ('object'), или «индивид» ('person'); а после этого «тот самый (the) предмет, который» сокращается, в свою очередь, до вида «тот, который» (that which) или даже – «что» (what). Мы, таким образом, получили такие единичные дескрипции, как «что эта кошка притащила» ('what the cat dragged in'). Заметим, что это – единичный термин и существительное, тогда как «который эта кошка притащила» ('which the cat dragged in') – общий термин и прилагательное.

Порядок слов при образовании относительных простых предложений изменяется для того, чтобы поместить относительное местоимение в начало предложения или рядом с ним. Эта задача может оказаться трудной в сложных случаях, и иногда ее избегают, прибегая к альтернативной конструкции – казенному выражению «такой, что» ('such that'). Эта конструкция не требует тех трюков с порядком слов, которых требует выражение «который» ('which'), поскольку она разделяет две обязанности последнего: обязанность занимать место единичного

термина в простом предложении делегирована выражениям «его», «ее», «(н)ему», «(н)ей», «нём» ('it'), а «такой, что» выполняет обязанность указания на начало простого предложения. Так, термин «который я купил» превращается в «такой, что я купил его»; «по кому звонит колокол» превращается в «такой, что колокол звонит по нему».

Конструкция «такой, что» более гибкая по сравнению с конструкцией «который». Но еще замечательнее – сила и гибкость любой из этих конструкций в противоположность более ранним или «алгебраическим» способам выведения общих терминов: таким операциям, как атрибутивное сопоставление, дополнение относительных терминов, обращение пассивного залога, дерелятивизация («брат» из «брат...» ('brother' from 'brother of')) и соединение терминов посредством «и» и «или». Не очевидно, что какого-либо предписанного конечного множества алгебраических операций будет достаточно для выполнения всей работы, возложенной на относительные простые предложения; хотя фактически можно сказать, что работа Шонфинкеля, ознаменовавшая собой начало комбинаторной логики, обосновывает утвердительный ответ на этот вопрос.

Большая часть дискурса зависит от *неопределенных* единичных терминов, образованных, как правило, подстановкой неопределенного артикля ('an') на место определенного артикля ('the') или терминов «этот» ('this') или «тот» ('that'). В предложении «Я видел этого (the) льва» предполагается, что единичный термин «этот лев» ('the lion') указывает на какого-то одного льва, выделенного среди его сородичей для говорящего и слушающего предшествующими предложениями или сопутствующими обстоятельствами. В предложении «Я видел некоего (a) льва» относительно единичного термина ничего такого не предполагается; это мнимый единичный термин. «Я видел некоего льва» считается истинным, если я видел хотя бы одного льва, не важно какого, в описываемом случае.

Именно с пришествием неопределенных единичных терминов появляются чистые утверждения существования. «Я видел некоего льва» истинно, если есть по крайней мере один объект, отвечающий условиям бытия львом и наблюдаемости в описываемом случае; в других случаях это утверждение ложно. О предложениях вида «Мама поет» и «Я видел этого (the) льва», содержащих определенные единичные термины, можно сказать, что их истинность зависит от существования объектов, которые эти термины именуют, но отличие состоит в том, что они не становятся явно ложными (а их отрицания – истинными), если таких объектов нет. В отсутствие объектов референции их определенных единичных терминов такие предложения, вероятно, следует рассматривать не как истинные, не как ложные, а просто как неуместные¹.

Различие между такими неопределенными единичными терминами и обычными или определенными единичными терминами акцентируется при повторениях. В предложении «Я видел этого льва, и ты видел этого льва» говорится, что мы видели одного и того же льва; в самом деле на место второго употребления «этого льва» с равным успехом можно поставить «его» ('it' or 'him'). Но предложение «Я видел некоего льва, и ты видел некоего льва» не внушает мысли о подобной тождественности. В этом предложении мы можем заменить последние четыре слова выражением «ты также» ('so did you'), но мы не можем поставить «его» на место двух последних слов, не навязывая тем самым изначально не предполагавшейся тождественности. Неопределенный единичный термин «некий лев» ничего единичного не именует, даже временно в пространстве одного-единственного предложения. В этом отношении неопределенный единичный термин подобен относительному местоимению «который», о котором, хотя оно и занимает в относительных простых предложениях места, соответствующие местам единичных терминов в предложениях, тем не менее с трудом можно сказать, что оно что-то именует, даже временно.

В этом отношении отличаются обычные местоимения «он», «она» и «оно». Они представляют собой, как отмечено выше, определенные единичные термины. Насколько лучше

¹См.: Frege. Über Sinn und Bedeutung.

рассматривать их таким образом, чем как того или иного рода «заместителей» своих грамматических antecedентов, показывает, между прочим, отмеченная в предыдущем параграфе несостоятельность подстановки: термин 'it' не может быть замещен своим грамматическим antecedентом, если это неопределенный единичный термин, просто поскольку 'it' остается определенным единичным термином, независимо от того, является ли таковым его antecedент или нет.

«Он», «она» и «оно» – определенные единичные термины наряду с «этот лев» ('that lion' and 'the lion'). Референция любого из них может зависеть от детерминант предшествующего словесного потока, и любой из них может быть поставлен в зависимость от ложных или мнимых детерминант, поставляемых неопределенным единичным термином. Три составных предложения: «Я видел некоего льва (a lion), и ты видел этого льва (that lion)», «Я видел некоего льва, и ты видел того же льва (the lion)» и «Я видел некоего льва, и ты видел его» взаимозаменяемы. Такое зависимое от неопределенного antecedента употребление определенного единичного термина отклоняется от употреблений определенных единичных терминов, рассмотренных на предыдущих страницах, но оно не делает различия между таким местоимением, как «он» ('it'), и такой единичной дескрипцией, как «этот лев» ('the lion').

Употребление слов «она» ('it'), «он» и др. в связи с конструкцией «такой, что» может показаться большим отклонением от образца единичной дескрипции. Но даже в этих случаях можно подставить выражения «эта вещь» ('the thing'), «этот человек» ('the man') и др. одно на место другого без насилия над контекстом. Фактически простые предложения с конструкцией «такой, что» обычно входят в контекст таким образом, что связанное с этой конструкцией местоимение воспринимается, как будто ему предшествует определенный или неопределенный единичный термин. Мы чувствуем, что «ее» ('it') употребляется в конструкциях «эта машина, такая, что я купил ее у тебя» ('the car such that I bought it from you') или «некая машина, такая, что я купил ее у тебя» ('a car such that I bought it from you'^{14*}), как обычно, с выражениями «эта машина» ('the car') или «некая машина» ('a car') в качестве antecedента. Это чувство явно противоречит нашему анализу, согласно которому определенный ('the') или неопределенный ('a') артикли скорее управляют составным общим термином, образованным путем атрибутивного присоединения простого предложения с конструкцией «такой, что» к термину «машина». А наш анализ предпочтителен по разным причинам; например, он позволяет определенному артиклю ('the') охватить столько, сколько возможно, из того, что может влиять на единственность референции, предполагаемую этим словом. Этот анализ требует рассматривать функцию местоимений, связанных с конструкцией «такой, что», как нечто особое.

'An' – не единственная частица, используемая для образования неопределенных единичных терминов. Другая – 'every' («всякий»). Она отличается от 'an' условием истинности для предложения, содержащего ее, но она подобна 'an' тем, что образует только мнимый единичный термин. Нет ничего, ни льва, ни класса, ни чего-либо еще, что именовал бы термин «всякий лев», так же как нет ничего, что именовал бы термин «некий лев» ('a lion'). Более того, примером «Я видел некоего льва, и ты видел некоего льва» ('I saw a lion and you saw a lion'), который помог выявить особенность неопределенных единичных терминов, можно проиллюстрировать и употребление термина «всякий». Рассмотрим сначала предложение «Этот лев – африканский, или этот лев – азиатский». «Этот лев» ('this lion') здесь – определенный единичный термин, и поэтому на месте его второго появления в предложении может стоять «он» ('he') или вообще ничего. Но с термином «всякий лев» в ложном высказывании «Всякий лев – африканский или всякий лев – азиатский» нельзя этого проделать. Исключение второго появления термина «всякий лев» или его замена на «он» в этом ложном предложении радикально изменили бы его, превратив в истинное предложение.

Частицы 'an' и 'every' имеют варианты, среди которых заметны «некоторый» ('some'), «каждый» ('each') и «любой» ('any'). Взаимозаменяемости здесь удивительно непостоянны, как можно увидеть, подставляя «всякий», «некоторый» и «любой» на место неопределенного

артикля ('a') в предложениях «Джон может обогнать члена этой команды (a member of the team)» и «Джон не может обогнать члена этой команды» и сравнивая (ср. § 4.4).

3.8 Тожество

Тожество выражается в английском языке такими употреблениями слова «есть» ('is'), которые легко можно развернуть в «есть тот же самый объект, что и» ('is the same object as'). Знак «=» можно для удобства считать добавленным в английский с этим смыслом, чтобы позволить нам кратко высказываться по поводу тождества без двусмысленности. Но понятие тождества, как бы оно ни записывалось, является действительно фундаментальным для нашего языка и концептуальной схемы.

Знак тождества «=» представляет собой относительный термин, а именно переходный глагол, который, можно сказать, не боится зрелища прямого дополнения в именительном падеже. Как любой такой термин, он образует предложение в соединении с единичными терминами. Подобным образом построенное предложение истинно тогда и только тогда, когда составляющие его термины указывают на один и тот же объект.

Тожество тесно связано с разделением референции, так как разделение референции состоит в установлении условий тождества: насколько имеющееся яблоко – одно и то же и когда оно становится другим. О ребенке только тогда можно сказать, что он знает общие термины, когда он до определенной степени научился говорить об одном и том же и другом. Иначе тождество не имеет смысла. Мы можем, наверное, вообразить, что «Это есть мама» или «Это есть вода» произносится до того, как освоены общие термины, и что «есть» здесь – «=», но только ретроспективно. Кроме тех случаев, когда целью является возможная разделенная референция общих терминов, предложения «Это есть мама» и «Это есть вода» лучше понимать как «Мама здесь», «Вода здесь».

Еще один мыслимый случай тождества на этой самой ранней стадии референции – это случай, когда вместо указательного «этот» на одной стороне и устойчивого термина, такого, как «мама», – на другой обе стороны заняты терминами последнего вида. Но такое тождество истинно, только если оба термина обусловлены одним и тем же диапазоном стимуляций для одного и того же лица; и если бы так было, что невероятно, то по этой самой причине тождество не давало бы никакой новой информации.

«Гаурисанкер = Эверест» – вполне информативно, даже несмотря на то, что оба его единичных термина выучены остенсивно (в случае, рассмотренном в § 2.5), поскольку они выучены не первобытным способом, как «мама», а только после овладения общими терминами и зрелой схемой непрерывных физических объектов. Даже если наш исследователь выучит каждое из имен остенсивно вместе с аборигенами, не имеющими возможности пользоваться вспомогательным английским термином «эта гора», это для исследователя будет во многом подобно тому, как если бы они владели таким вспомогательным термином: он уверен, что аборигены именуют с присущих им точек зрения непрерывное тело, а не только его текущую фазу или видимую сторону.

Все же более типичные случаи полезных и информативных тождеств – это когда один или оба термина – сложные; например, «Мама – новая кассирша», а также «Амбар за домом 21 по Эльм-стрит – это тот же амбар, что стоит за домом 16 по Хай-стрит»¹.

Хотя понятие тождества такое простое, оно не редко вызывает путаницу. Один пример обнаруживается во фрагменте из Гераклита, согласно которому нельзя ступить в одну и ту же реку дважды из-за течения воды. Трудность разрешается, если обратиться к принципу разделения референции общего термина «река». Считать кого-то ступающим в одну и ту же

¹Пример Льюиса.

реку оба раза типично как раз для того, что отличает реки как от фаз реки, так и от воды, разделенной сохраняющими вещество способами¹.

Другие трудности, связанные с тождеством, лежат в основании следующего высказывания Юма: «Мы не можем ни в какой правильной речи сказать, что предмет такой же, как он сам, если только мы не имеем в виду, что предмет, существующий в одно время, такой же, как он сам, существующий в другое время»². Кажется вероятным, что его высказывание частично вызвано тем, на что мы указали тремя параграфами раньше: что предложения тождества, соединяющие простые термины, не имеют применения до тех пор, пока не освоена схема физических объектов. Но есть еще и другая причина, ясно прослеживаемая в работе Юма: если понимать тождество строго как отношение, связывающее всякую сущность только с ней самой, то нельзя увидеть, что же в нем есть от отношения и как оно отличается от простого атрибута существования³. Корень этой проблемы – в том, что путают знак и предмет. Знак « \Rightarrow » ставится между разными случаями употребления единичных терминов, одних и тех же или различающихся между собой, и это, а не то, что он соотносит разные предметы, делает тождество отношением, а « \equiv » – относительным термином.

Сходное смешение знака с предметом заметно у Лейбница, когда он объясняет тождество как отношение скорее между знаками, чем между именуемым предметом и им самим: «*Eadem sunt quorum unum potest substitui alteri, salva veritate*»^{15*}.⁴ Фреге одно время занимал такую же позицию⁵. Эту путаницу любопытным образом удваивает Кожибский, когда утверждает, что « $1 = 1$ » должно быть ложным, поскольку две стороны уравнения пространственно различны⁶.

Тождество очевидно располагает к тому, чтобы люди, которые не перепутали бы знак и предмет в других контекстах, путали их в этом контексте. Среди таких людей – большинство математиков, предпочитающих смотреть на уравнения как на установления отношений между числами, которые каким-то образом равны, но различны. Уайтхед когда-то защищал этот взгляд, говоря, например, что « $2 + 3$ и $3 + 2$ не тождественны; в двух сочетаниях порядок символов разный, и это различие порядка управляет различными мыслительными процессами»⁷. Можно поспорить, насколько такая защита зависит от смешения знака и предмета, а насколько – от специальной доктрины, согласно которой числа являются мыслительными процессами. Ошибку Витгенштейна легче распознать, когда он возражает против понятия тождества, говоря, что «сказать о двух вещах, что они тождественны, – значит высказать бессмыслицу, а сказать об одной вещи, что она тождественна самой себе, – значит ничего не сказать»⁸. В действительности, конечно, высказывания тождества, истинные и имеющие применение, состоят из неподобных единичных терминов, обозначающих одну и ту же вещь.

В соединении с неопределенными единичными терминами тождество дает эквиваленты изобилия знакомых и полезных идиом. Взять хотя бы «Мэйбл не любит никого, кроме Джорджа» ('Mabel loves none but George'). Это предложение соответствует тождеству с определенным единичным термином «Джордж» в качестве одной стороны и неопределенным единичным термином «всякий тот, кого любит Мэйбл» ('everyone whom Mabel loves') – в качестве другой. Этот неопределенный единичный термин, в свою очередь, образован путем дополнения общего термина «тот, кого любит Мэйбл» ('one whom Mabel loves') неопределенной

¹ Больше об этом см. § 5.4, From a Logical Point of View, pp. 65–70.

² Hume, p. 201.

³ См.: Hume, p. 200.

⁴ Leibniz. Opera Philosophica (под ред. Эрдмана), 1840, p. 94. С другой стороны, Аристотель прямо говорит: вещи тождественны (tauta), когда «что бы ни сказывалось об одной, должно сказываться о другой» (Topics, Bk. 7, Ch. 1, 15). Аквинат говорит то же самое: Summa Theologica, Part 1, question 40, art. 1, 3. Ср.: Peano. Opere Scelte, vol. 2, pp. 258, 417, откуда эти ссылки.

⁵ См.: Über Sinn und Bedeutung, предварительные замечания. Гич (Geach) недавно занял эту позицию; см. p. 540 f. его работы.

⁶ Korzybski, p. 194.

⁷ Universal Algebra, p. 6.

⁸ Трактат, 5.5303.

частицей «всякий» ('every'). Этот общий термин, в сущности, всего лишь относительное простое предложение «кого любит Мэйбл»; «тот» является субстантивирующей частицей, присутствующей здесь по той лишь причине, что «всякий» дополняет общие термины только в форме существительного, а не прилагательного.

Или взять предложение «Мэйбл любит Джорджа и кого-то еще» ('Mabel loves George and someone else'). Оно соответствует предложению «Мэйбл любит Джорджа и некого того, иного, чем Джордж» ('Mabel loves George and someone other than George'). Неопределенный единичный термин «некий тот, иной, чем Джордж» ('someone other than George') образован путем дополнения неопределенной частицей «некий» ('some') (или неопределенным артиклем 'an') (субстантивированной формы) общего термина «иной, чем Джордж», который, в свою очередь, соответствует относительному простому предложению «кто \neq Джорджу», отрицанию предложения «кто = Джорджу».

Общие термины указанной только что формы «иной, чем у» представляют особый интерес, поскольку они позволяют нам выделить самое замечательное употребление грамматического множественного числа. Так, возьмем предложение «Я слышу львов», означающее по крайней мере двух. Оно соответствует предложению «Я слышу другого льва, чем лев, которого я слышу» ('I hear a lion other than a lion which I hear') – это прямой и избегающий окончаний множественного числа парафраз, каким бы он ни был неестественным. («Иной, чем» в нем можно, как и в предыдущем случае, переписать как «который \neq ».) Расширения одного и того же метода позволяют нам отдельно для каждого n сказать, что есть n объектов данного вида, что есть больше, чем n , и что есть меньше, чем n , объектов, по-прежнему избегая форм множественного числа¹.

Сочетание «есть» с неопределенным артиклем ('is an'), которое мы рассматривали как одну связку, можно заново проанализировать как составленную из 'is' и 'an', где неопределенный артикль понят как частица, образующая неопределенные единичные термины. «Агнец есть ягненок» при таком прочтении перестает выглядеть как случай « Fa » и начинает выглядеть как случай « $a = b$ », где « b » обозначает неопределенный единичный термин формы 'an F '. «Агнец блеет» и «Агнец есть покорный» сохраняют форму « Fa », а «есть» из «есть покорный» сохраняет статус связки или частицы, служащей для превращения прилагательных в глаголы; но «есть» из «есть ягненок» приобретает статус « $=$ ». Это исследование в некотором смысле больше касается английского языка, но оно подчеркивает слишком локальную черту. В немецком и романских языках « a есть F » является образцом так же часто, как и не является, даже в тех случаях, когда в роли существительного выступает общий термин; таково 'Il est medecin'. В польском и русском артиклей вообще не существует. К месту будет заметить, что наша первоначальная трактовка формы « a есть некое F » (' a is an F ') как « Fa » лучше сочетается с логическими выводами этой главы. Но множество других употреблений «есть» по-прежнему следует конструировать как « $=$ ».

3.9 Абстрактные термины

Наконец, приходит время радикально нового вида терминов. Этот этап знаменует появление таких терминов, как «круглость»: абстрактных единичных терминов, предполагаемых имен качеств или атрибутов. Прежде чем спекулировать по поводу механизма этого нового шага, посмотрим, в чем он заключается. Посмотрим, чем функция таких терминов отличается от функции термина «круглый».

Мы посчитали различие между существительным, прилагательным и глаголом, а стало быть – между терминами «круглая вещь», «круглый» и «есть круглый», всего лишь поверх-

¹Требуемые способы расширения, благодаря Фреге, лучше вырабатывать в свете pp. 211 и 231 f. моей работы «Methods of Logic». Об употреблении множественного числа, не затронутом настоящими замечаниями, см. § 3.9, 4.3.

ностным. Но к различию между общими и единичными терминами мы отнеслись серьезно; это касается и важного различия между терминами «круглый» и «круглость». Различие между общим и единичным затрагивало главным образом конструкцию предикации. Тогда как «круглый» и подобные термины играют роль «*F*» в «*Fa*», термину «круглость» и ему подобным больше подходит роль «*a*» или «*b*» в «*Fa*», «*Fab*» и т. д. Но чтобы такая роль для абстрактных единичных терминов могла существовать, должны наличествовать некие абстрактные общие термины, выполнявшие бы роль «*F*»: некие общие термины, сказываемые об абстрактных объектах. «Добродетель» и «редкий» – два таких абстрактных общих термина; таким образом, «Смирение – это добродетель» или «Смирение редко» соответствуют «*Fa*». Также абстрактным, с одной стороны, является относительный термин «обладает» ('has'), как в случаях «а обладает смирением» или «а обладает округлостью», которые имеют форму «*Fab*». Тот же самый шаг, который вводит абстрактные единичные термины, должен одновременно вводить и абстрактные общие термины.

Если бы разбор некоторых слов как абстрактных терминов, общих или единичных, зависел только от разбора их сочетаний как определенных способов предикации, и наоборот, то решения по обоим вопросам были бы просто бессодержательными¹. Но фактически мы знаем общие и единичные термины, абстрактные или конкретные, не только по их роли в предикации. Единичные термины употребляются так же, как антецеденты слова 'it', а общие термины – после артиклей и во множественном числе. Предикация – всего лишь часть образца взаимосвязанных употреблений, определяющих статус слова в качестве общего или единичного термина. Как только мы встречаем абстрактные общие термины в таких контекстах, как, например, «Он обладает редкой добродетелью», у нас уже нет никакой вполне ясной альтернативы тому, чтобы отнести их к абстрактным общим терминам, а предложение – даже к прямым утверждениям существования абстрактного объекта.

Я сожалею о таком поверхностном стиле мысли, согласно которому мы можем свободно употреблять абстрактные термины всеми возможными для терминов способами без того, чтобы признавать тем самым существование каких-либо абстрактных объектов. В соответствии с этим решением абстрактные обороты речи – это просто лингвистические употребления, свободные от метафизического обязательства в отношении особого царства сущностей. Всякого, кто не уверен в том, какие объе- <...> ризнает, такое решение должно в не меньшей степени обескуражить, чем успокоить, поскольку в этом случае теряется различие между безответственным овеществлением и его противоположностью. И действительно, кто угодно, не важно, интересуется его проблема абстрактных объектов или нет, не может не интересоваться теми или иными экзистенциальными импликациями тех или иных обсуждаемых тем; некоторые по крайней мере из якобы референциальных оборотов речи должны, таким образом, предварительно приниматься за чистую монету, хотя бы – как шаг в направлении установления окончательных границ между тем, что следует принимать за чистую монету, и тем – что не следует. Если уж защищать идиомы – якобы об абстрактных объектах на основании их лингвистического удобства, то почему бы тогда не рассматривать эту защиту как защиту овеществлений в единственном возможном смысле? Привилегию не интересоваться некоторыми онтическими² импликациями того, о чем идет речь, лучше использовать, игнорируя их, чем отрицая. Но все, конечно, не так просто; надо еще кое-что сказать о том, какие употребления термина считать не эквивокативно утверждающими существование своих мнимых объектов. Но эту тему мы сможем детальнее исследовать, когда подойдем к главе 7.

Мы увидели, что появление абстрактных единичных терминов не следует отделять от появления абстрактных общих терминов и что ни то, ни другое не следует отделять от появления систематического образца употреблений таких слов в связи с местоимениями, окончаниями

¹ Отчасти, возможно, соображение этого типа способствовало появлению второй главы книги Лазеровица.

² Из трех очевидных преимуществ термина «онтические» по сравнению с термином «онтологические» в специальном смысле – «относящийся к тому, что есть», краткость – наименьшее. Этим улучшением моей терминологии я обязан Уильямсу.

множественного числа, артиклями и тому подобным. Но все же, может быть, неплохо порассуждать о таком развитии, обратив при этом особое внимание на абстрактные единичные термины. Но каким бы мог быть механизм такого развития?

Одна его часть – массовый термин. Мы видели, что такие термины можно освоить на самом первом этапе обучения, равно как термин «мама». Мы видели, что на втором этапе это сходство сходит на нет просто в силу того, что женщина начинает рассматриваться как цельная вещь в пространстве и времени, тогда как с мировой водой или тем, что имеет красный цвет, этого обычно не происходит. Таким образом, для ребенка, не знакомого с утонченной идеей рассредоточенного единичного объекта, массовый термин уже обладает достаточной степенью общности, сравнимой с общим термином «яблоко»; и при этом он во многом – формой и функцией – подобен единичным терминам, таким, как «мама», и он даже мог быть выучен на первом этапе, равно как и «мама». Поэтому массовый термин уже представляет собой скорее некий гибрид – абстрактный единичный термин. О термине «вода» можно даже сказать, что он именует скорее (1) разделяемый всеми и каждой лужей и стаканом воды *атрибут*, чем (2) рассредоточенную часть мира, *составленную* из этих луж и стаканов воды; ребенок, разумеется, не принимает ни одну из этих позиций. Достоинства (2) в качестве ретроспективного определения массовых терминов состоят в том, что оно сохраняет родство между терминами, изученными или могущими быть изученными на первом этапе, и отсрочивает возможность абстрактных объектов; но, конечно, для ребенка, несведущего в идее рассредоточенного конкретного объекта, так же как и в идее абстрактного объекта, (1) и (2) равноценны. Это различие столь же неуместно для детской речи, сколь и для стимульного значения (см. § 2.6).

Таким образом, категория массовых терминов, этот архаический пережиток первого этапа изучения языка, уже предоставляет в распоряжение ребенка предтечи его возможных единичных терминов. Дальнейший переход облегчают такие примеры, как «красный». Это слово может быть выучено на первом этапе, когда, как было замечено (§ 3.5), различие между словом «красное», сказанным о яблоках, и им же, сказанным о поверхности яблок, еще не существенно. Так, ребенок осваивает слово «красное» одновременно и как массовый термин, и как прилагательное, истинное относительно предметов, первоначально даже не имеющих в своем составе ничего красного. Конечно, он не различает здесь сознательно два слова с разными функциями. Результат таков: «красное» становится в конце концов именем атрибута, разделяемого не только лужами и пятнами однородного красного вещества, но также и яблоками. Этот абстрактный объект мы уже не можем оставить без внимания так же легко, как атрибут воды, а именно позволив (2) возобладать над (1). Даже мы, умудренные настолько, что знаем, что вода – это конкретный рассредоточенный объект, а красное (красное составляющее мира) – другой такой объект, склонны признавать дополнительно еще абстрактный объект – красноту (как мы можем его назвать, чтобы подчеркнуть отличие). Затем эта аналогия распространяется с массовых терминов на термины с наиболее строго разделенной референцией; например, округлость, сферичность. Каждый общий термин дает абстрактный единичный термин.

Польза абстрактных терминов прежде всего заключается в сокращенной перекрестной референции (*cross-reference*). Например, заметив что-то о президенте Эйзенхауэре, некто говорит: «То же самое относится и к Черчиллю». Или кто-то говорит в поддержку некого ботанического отождествления: «Оба растения имеют следующее общее свойство», и дальше следует описание, относящееся к обоим предметам. В таких случаях выгодно избегается вымученное повторение. Перекрестная референция в таких случаях обусловлена формой слов. Но у нас есть упрямая склонность овеществлять неповторенное, говоря о свойстве, вместо того чтобы просто говорить о словах. Конечно, существует архаический прецедент таких смешений знака и объекта; например, одновременное подкрепление неясно вырисовывающегося лица и слышимого слова как стимулов произнесения «мама» (§ 3.1). Этот вид смешения настолько укоренен, что многие неkritичные личности настаивают на реальности атрибутов по той лишь причине, что два растения (или Эйзенхауэр и Черчилль), «по общему признанию, имеют что-то общее».

В той степени, в какой разговор об атрибутах вытекает из существования такой сокращенной перекрестной референции, предполагаемые атрибуты, вероятно, соответствуют не простым абстрактным терминам, а сложным фразам, поскольку, чем сложнее фраза, тем большую экономию дает перекрестная референция. Так, развивающаяся онтология атрибутов позволяет атрибутам соответствовать любому, сколь угодно сложному, предложению, формулируемому о предмете. Сложные единичные термины для атрибутов обычно имеют вид герундиальных простых предложений (например, «обладание(-я^{16*}) колючками, располагающимися пучками по пять штук в каждом» ('bearing spines in clusters of five')), предваряемых или нет конструкцией «атрибут (или качество, или свойство). . . » ('the attribute (or quality or property) of').

Мы увидели, как ребенок может незаметно впасть в разделяемую сообществом онтологию атрибутов, начав с массовых терминов и пройдя через простые этапы. Мы также увидели, как разговор об атрибутах продолжает поощряться определенным удобством перекрестной референции в паре со смешением знака и объекта. Эти рассуждения дают нам некоторые материалы для размышления о зарождении онтологии атрибутов в детстве расы. Здесь остается также место для альтернативных или дополнительных предположений; например, что атрибуты – это следы низших божеств какого-то устарелого вероисповедания¹.

Можно из похвальных научных побуждений решиться устранить эти абстрактные объекты. Можно начать делать это с объяснения, что фразы «Смирение есть добродетель» и «Краснота есть знак спелости» – это извращенные способы говорить о конкретных смиренных людях и конкретных красных фруктах, что они добродетельны и спелы. Но эту программу нельзя долго осуществлять без трудностей. Что можно сказать о фразе «Смирение редко»? Для пользы аргумента мы можем сконструировать «Смирение есть добродетель» и «Смирение редко» как «Смиренные люди добродетельны» и «Смиренные люди редки»; но сходство обманчиво. Ведь тогда как «Смиренные люди добродетельны» означает, что каждый смиренный человек добродетелен, «Смиренные люди редки» не означает, что каждый смиренный человек редок; во второй конструкции утверждается скорее что-то о классе смиренных людей, а именно какую малую часть он составляет от всего класса людей. Но эти классы, в свою очередь, тоже – абстрактные объекты, не отличающиеся от атрибутов, разве что некоторыми техническими тонкостями (§ 6.4). Таким образом, «Смиренные люди редки», в отличие от «Смиренные люди добродетельны», обладает только кажущейся конкретностью; «Смирение редко» – более честное прочтение. Возможно, эта абстрактная референция все же может быть устранена, но только каким-нибудь весьма хитрым способом.

Раз начав признавать абстрактные объекты, уже не остановишься. Не все из них – атрибуты, по крайней мере не *prima facie*; существуют или предполагаются существующими классы, числа, функции, геометрические фигуры, единицы измерения, идеи, возможности. Некоторые из этих категорий удовлетворительным образом редуцируемы к другим, а некоторые лучше отвергнуть. Каждая такая реформа представляет собой настройку научной схемы, сравнимую с введением какой-либо категории элементарных физических частиц или отказом от нее. Мы основательно разберем эти вопросы в некотором отношении в главе 7.

Мы вкратце поразмышляли о пользующихся дурной репутацией истоках абстрактного дискурса: как путаница с массовыми терминами, смешения знаков и объектов, возможно, даже дикая теология подстрекают индивида и расу к его развитию. В общем виде такое размышление эпистемологически релевантно, так как предлагает некий взгляд на то, как организмы, взрослея и развиваясь в известном нам физическом окружении, могут мыслимым образом прийти к разговору об абстрактных объектах, как мы пришли к нему. Но дурная слава истоков сама по себе не является аргументом против сохранения и поощрения абстрактной онтологии. Такая концептуальная схема вполне может оказаться хотя и случаем, но счастливым, так же как теория электронов не стала бы хуже, если бы впервые явилась своему создателю в некоем абсурдном сне.

¹ Например: Cassirer, p. 95 ff.

Задуманные вследствие ошибки средства ценны тем, что сохранились и их надо оценивать по их теперешней полезности. Но мы стоим за увеличение наших достижений за счет устранения путаниц, которые продолжают их окружать, так как ясность в среднем плодотворнее, чем путаница, даже если ни теми, ни этими плодами не следует пренебрегать. Поэтому мы правильно поступаем, отличая абстрактные единичные термины от конкретных общих посредством заслуживающего доверия употребления суффиксов ‘-ness’, ‘-hood’ и ‘-ity’ («-та, -ость и -ие»^{17*}), по крайней мере в контекстах философского анализа, несмотря на тот факт, что появление абстрактных единичных терминов, вероятно, обусловлено отсутствием отличительного признака.

Взаимосвязанная концептуальная схема физических объектов, тождества и разделенной референции – это часть того корабля, который, по образному выражению Нейрата, мы можем перестроить не иначе как на плаву, тогда как мы находимся на нем. Онтология абстрактных объектов – тоже часть этого корабля, разве что чуть менее фундаментальная часть. Корабль может быть частично обязан своим строением грубо ошибавшимся предшественникам, не затопившим его благодаря одному лишь везению. Но мы не в том положении, чтобы выбрасывать за борт какую-либо часть корабля, разве что мы заменим некоторые приспособления на те из имеющихся у нас под рукой, которые могут служить тем же целям.

ГЛАВА 4. ПРИЧУДЫ РЕФЕРЕНЦИИ

4.1 Смутность

В предыдущей главе мы представили себе последовательное приобретение терминов и вспомогательных частиц ребенком, принадлежащим к нашей культуре. Полнота экспериментальных деталей не была самоцелью, но генетический стиль подхода имел свои преимущества: он помог нам последовательно обрисовать, какими инструментами надо овладеть и в чем состоит владение ими, и он позволил нам изучать референциальные притязания этих инструментов в порядке их накопления. Теперь в этой главе мы рассмотрим освоенный язык и распространенные в нем неопределенности и нерегулярности.

Такое исследование не нуждается в требовании реформы языка. Мы привыкли каждодневно перефразировать наши предложения под давлением или ввиду угрозы неудачи коммуникации, и мы можем продолжать действовать таким образом. Собственно все, на что мы в этой главе решимся в нормативном ключе, – это типичные способы таких парафразов. Задача этого исследования – прояснить работу нашего языка, связанную с референцией.

Смутность – это естественное следствие основного механизма изучения слов (см. § 3.2). Неопределенные объекты смутного термина – это объекты, чье сходство с объектами, вербальный ответ на стимуляцию со стороны которых вознаграждался, относительно слабо. Или, если процесс обучения со стороны субъекта представляет собой скрытую индукцию в отношении того, как употребляется выражение в обществе, неопределенные случаи – это случаи, в отношении которых такая индукция с точки зрения очевидности страдает наибольшей незавершенностью. В этих случаях очевидность недостижима, так как члены сообщества сами, изучая язык, принимали настолько же неясные пограничные случаи. Такова неизбежность смутности терминов, изученных примитивным способом; и она имеет тенденцию передаваться другим терминам, определенным на основании первых.

До тех пор, пока остается неустановленным, насколько близок к желтому или к голубому в спектре может быть цвет, чтобы все еще считаться зеленым, термин «зеленый» будет смутным. До тех пор, пока остается неустановленным, в каких случаях «грязная вода» предпочтительнее, чем «жидкая грязь», термины «вода» и «грязь» будут смутными. До тех пор, пока остается неустановленным, как далеко можно находиться от вершины горы Рейнир, чтобы продолжать считаться находящимся на горе Рейнир, термин «гора Рейнир» будет смутным. Неясность характеризует не только общие термины, но также и единичные. Единичный термин, именуемый физический объект, может быть смутным в отношении границ этого объекта в пространстве и времени, тогда как общий термин может быть смутным в отношении маргинальных прихлебателей его объема.

Обычно общий термин, истинный относительно физических объектов, бывает смутным двумя способами: в отношении некоторых границ всех своих объектов и в отношении включения или исключения маргинальных объектов. Рассмотрим общий термин «гора»: он является смутным по причине того, что неизвестно, как много поверхности земли надо относить к каждой из несомненных гор, но он смутен также и по той причине, что неизвестно, какие более низкие возвышенности считать горами. Термин «организм» в меньшей степени смутен в обоих смыслах. Так, в первом смысле ему соответствует вопрос: на каком этапе питания и

пищеварения следует считать еду частью организма; а также датировать ли появление индивида его зачатием, или разрывом пуповины, или каким-либо событием между этими двумя; а также считать ли плесень организмом или колонией организмов. Во втором смысле термин «организм» смутен, поскольку возникает вопрос: считать ли вообще фильтрующиеся вирусы органическими.

Первый из двух способов, посредством которых термин «гора» может быть смутным, вызывает неопределенность счета: неясно, когда объявлять седловину расположенной в середине горы, а когда – между двумя горами. Этим только и отличается одна гора от двух. Соответственно, для термина «организм»: неясно в случае беременности, говорить ли об одном организме или о двух, или же, в случае плесени – говорить ли об одном организме или о тысяче.

Экстравагантная степень смутности, если это смутность, наблюдается в отношении терминов «большой» и «маленький». Отчасти странность этих слов состоит в том, что мы говорим о больших бабочках и маленьких слонах, имея при этом в виду, что одни большие для бабочек, а другие – маленькие для слонов. Эта соотносительность с классами – не смутность, а синкатегорематическое употребление (§ 4.2). Но эти слова употребляются также и в отсутствие подобных ссылок на классы – способами, которыми можно управлять, отступая к относительным терминам «большой» и «меньший». То же относится и к терминам «горячий» и «холодный», «высокий» и «низкий», «гладкий» и «шершавый», «тяжелый» и «легкий». Назовем мы такую релятивизацию полярных слов прояснением смутности или нет, мы можем применить этот же механизм к терминам, которые обычно называют смутными, к таким, как «зеленый». Все беспокойство вокруг границ неопределенно зеленой части спектра устраняется в той степени, в какой мы можем ограничить себя так, чтобы говорить об одних предметах как более зеленых, чем другие; сера зеленее крови, а небо зеленее фиалок¹. Но даже этот относительный термин «зеленее» сохраняет некоторую смутность, если он сравнивает отклонения от центральной нормы зеленого, которая сама строго не определена; он, однако, не сохранит смутности такого размаха, как смутность исходного термина «зеленый». Во многом то же самое средство применимо, разве что менее естественным образом, даже к смутному единичному термину «гора Рейнир»: мы можем рассматривать гору как точку – вершину, – а затем, говорить просто об относительной удаленности вниз и вдаль от этой точки. Но этот механизм не обеспечивает разрешение всех смутностей; он может затруднить или усложнить разговор о некоторых предметах в терминах «зеленый» и «Гора Рейнир», который мы хотим продолжать быть способными вести. Альтернативные способы устранения или уменьшения смутности, иллюстрируемые далее, служат некоторым целям лучше.

Достойным целям часто служит невмешательство в смутность. Смутность не несовместима с точностью. Как заметил Ричарде, художник с ограниченной палитрой может достичь более точных изображений, утончая и комбинируя свои цвета, чем может достичь выкладывающий мозаику с его ограниченным разнообразием кусочков. И умелое наложение смутностей имеет сходные преимущества перед прилаживанием друг к другу точных технических терминов².

Также смутность помогает справляться с линейностью разговора. Толкователь обнаруживает, что понимание какого-то *A* необходимо для понимания *B* и что при этом само *A* не может быть правильно изложено в деталях без того, чтобы, напротив, не были упомянуты некоторые исключения и различия, требующие предварительного понимания *B*. Смутность в таком случае приходит на помощь. Толкователь утверждает *A* смутным образом, переходит к *B*, а затем поправляет *A*, обходясь без того, чтобы призывать своего читателя выучить и забыть о какой-либо прямой ложности в предварительном утверждении *A*.

Смутность не затрагивает истинностные значения обычных предложений, в которых встречаются смутные слова. Типичные истины об организмах истинны благодаря чему-то,

¹ Но такое упорядочивание по частоте, возможно, не самое значимое. См.: *Land*, pp. 89–91.

² *Richards*, pp. 48 ff., 57 ff., 69.

что безоговорочно причисляется к организмам, независимо от того, считаются ли организмами вирусы, эмбрионы, плесень и жвачка. Предложение, утверждающее приблизительную высоту горы Рейнир, не зависит от смутности этого единичного термина. Но не так обстоит дело с предложением, утверждающим приблизительную площадь или население горы Рейнир; однако это – не обычные аспекты в разговоре о горе. Когда предложения, чьи истинностные значения зависят от степени смутности смутного слова, становятся важными, они заставляют принимать новую языковую конвенцию или изменять направление употребления, устраняющего смутность в ее релевантной части. Мы можем благоразумно позволить смутности сохраняться до тех пор, пока дело не дойдет до такого рода изменений, поскольку в это время мы находимся в позиции, малопригодной для того, чтобы судить, какие реформы можно предпринять в отношении наиболее полезной концептуальной схемы¹.

Предложения, чьи истинностные значения зависят от смутности, обычно представляют для нас интерес только в рамках специализированных исследований, если вообще представляют какой-либо интерес, и правила, принятые для устранения мешающей нам смутности, принимаются только локально, для решения насущных задач. Одной плодотворной иллюстрацией этого является закон, другой – первые числа календаря.

Так, рассмотрим проблему наибольшего пресного озера. Приемлемо ли в этом качестве озеро Мичиган с Гуроном или это – два озера? Здесь самая краткая рефлексия по поводу вероятных критериев даст положительный вердикт. Затем рассмотрим проблему с длиннейшей рекой. Приемлема ли в этом качестве Миссисипи с Миссури или это – река с притоком? Ответ будет зависеть от того, решим мы отличать реку от ее притока по объему или по длине.

Также длина будет зависеть от того, как мы обращаемся с изгибами берегов, так как мы можем удвоить длину, удвоив наше внимание к мелочам. Здесь возможное определение таково: длина кратчайшей водной кривой от истока до устья. Этот аспект речной проблемы повторяется в понятии длины морского побережья и может быть выяснено аналогичным образом, если взять кратчайшую кривую, покрытую водой при приливе и сухую при отливе.

А еще есть проблема самого большого города или числа городов с населением больше миллиона, где «город» понимается аполитично; ведь, искажая факты, можно поместить всю человеческую расу в одну область, с такой, фактически, плотностью, какая только может быть. (Одно решение – потребовать четких очертаний для города и какой-либо произвольной плотности населения.) По этой причине наш двусмысленный термин «гора» дает нам не худшие примеры: на сколько гор, имеющих в высоту больше 14 000 футов, может притязать Колорадо или – на сколько первых восхождений, совершенных каким-либо отважным альпинистом; это будет зависеть от того, как мы установим, когда седловина образует середину горы, а когда – объединяет две горы.

4.2 Двусмысленность терминов

Двусмысленность отличается от смутности. Смутные термины лишь сомнительным образом применимы к маргинальным объектам, а двусмысленный термин, такой, как 'light' («светлый», «легкий»), может быть в одно и то же время как очевидно истинным относительно различных объектов (таких, как темные перья), так и очевидно ложным относительно них же. Иногда двусмысленность слова устраняется остальной частью содержащего его предложения; например, в случае, когда после 'light' следует «как перо»^{18*}. Но иногда двусмысленность слова заражает все содержащее его предложение; таково 'bore' в предложении 'Our mothers bore us' («Наши матери родили нас» или «Наши матери надоедают нам»). В таких случаях двусмысленность устраняется либо более широкими обстоятельствами произнесения, например некоторыми примыкающими замечаниями, касающимися рождения или занудности, либо же коммуникация терпит неудачу и требуется парафраз.

¹См.: *Waismann*.

Лексикографы и грамматики долгое время позволяли себе считать слова чем-то отличным от лингвистических форм, заявляя, что форма иногда функционирует как одно слово, а иногда – как другое. Таковы так называемые омонимы. Ну и в каких случаях следует говорить, что имеются два омонима, а не одно двусмысленное слово? Очевидным достаточным условием здесь является различие этимологии. Но слова даже с тождественной этимологией иногда считаются двумя разными словами, если, с точки зрения типичного говорящего, между их употреблениями нет никакой живой аналогии. Более того, человек, переводящий с иностранного языка на свой родной, может даже прибегнуть к разделению по принципу омонимии, не имея для этого лучшей причины, чем потребность иметь два различных коррелята в своем родном языке для охвата всего объема иностранного слова¹. Обособляя слова таким образом как подчиненные диктату формы и этимологии, лексикографы и грамматики действуют в соответствии с соображениями удобства. В частности, они находят втрое удобнее рассматривать ‘boge’ из приведенного выше примера как пару омонимов, поскольку в интуитивном смысле различаются их этимологии и грамматические функции. Грамматики будут настаивать на чистой исключительности грамматических классов слов ценой умножающихся омонимов. Все это хорошо, пока осознаются проблемы анализа, перенесенные, таким образом, на понятие слова или лексического тождества. Наших собственных целей легче всего достичь, прямо называя тождественными слова, которые звучат одинаково (или выглядят одинаково, если речь идет о письме) Для дополнительных различий всегда можно изобрести дополнительную терминологию.

Систематические двусмысленности вербальных существительных относятся к таким двусмысленностям, которые даже те, кто говорит об омонимах, называют двусмысленностями. Один распространенный тип таких двусмысленностей – двусмысленность процесс-результат (Блэк), иллюстрируемая словом ‘assignment’, которое может указывать как на акт приписывания, так и на то, что приписано. Другой – двусмысленность действие-привычка (Зигварт, Эрдманн), иллюстрируемая словом ‘skater’, которое может указывать как на того, кто в данный момент катается на коньках и, таким образом, бодрствует, так и на того, кто умеет кататься на коньках, а в данный момент, возможно, спит.

Мы свободно создаем двусмысленность, когда называем ребенка в честь кого-то. Имя ‘Paul’, несмотря на тысячи его обладателей, не является общим именем; это единичный термин с широкой двусмысленностью. Каждое типическое произнесение этого слова обозначает или нацелено обозначать одного конкретного человека. Мы не скажем, как мы сказали бы в случае общего термина, ‘a Paul’, ‘the Paul’, ‘Pauls’^{19*} – если только мы не употребляем его в шутку в смысле подлинного общего термина «человек по имени ‘Paul’».

Таково в английском языке грамматическое различие между двусмысленным единичным термином и общим термином. Но как нам в случае признанного общего термина решить, что из разнообразного применения термина – двусмысленность, а что – общность? Возьмем слово «тяжелый», сказанное о стульях и вопросах. Как было отмечено, двусмысленность может проявиться в том, что термин одновременно истинен и ложен относительно одного и того же. Это, похоже, было так для термина ‘light’, но не для термина «тяжелый» (‘hard’). Разве мы можем притязать на то, что «тяжелый», как он применяется к стульям, не относится к тяжелым вопросам, или наоборот? Если нет, почему не сказать, что стулья и вопросы, как бы они ни были непохожи, тяжелые в едином смысле слова? Предложение «Стулья и вопросы были тяжелыми» напоминает зевгму, но не только ли вследствие несходства между стульями и вопросами? Не должны ли мы в результате назвать термин «тяжелый» двусмысленным, если вообще называть его таковым, только потому, что он истинен относительно очень несходных вещей?

¹ Например, см.: Малиновский; см. выше, § 2.7, примечание на стр. 48. Но, возможно, под давлением он не стал бы настаивать на различии между омонимией и двусмысленностью для этого случая. И еще остается вопрос об отличии их обоих от простой общности; но я предвосхищаю события.

По отношению к первоначальной фазе изучения слов мы можем вполне обоснованно называть слово двусмысленным (а не просто общим), если его произнесение вызывается двумя очень несходными классами стимуляций, каждый из которых – крепко спаянный класс взаимно подобных стимуляций. Пример двусмысленности этого уровня приводился в § 3.1: произнесение «Мама» закрепляется в качестве реакции как на появление матери, так и на звук «Мама». Между обусловливанием слова непрерывной областью детского развивающегося качественного пространства и обусловливанием его двумя сильно различающимися областями генетически существует реальное различие. Но «тяжелый» представляет собой другой случай, так как разговор о тяжелых вопросах слишком абстрактен и изощрен. Он осваивается в среднем детстве как образное расширение первоначального употребления слова «тяжелый». Должны ли мы рассматривать это расширение как второй смысл с этого момента двусмысленного термина или – как расширение применения с этого момента более общего термина?

Такой же, по существу, вопрос возникает в связи с примерами, которые принимаются всерьез. Есть философы, упорно настаивающие на том, что «истинно», сказанное о логических или математических законах, и «истинно», сказанное о прогнозах погоды или о признаниях подозреваемых, – это два употребления одного двусмысленного термина. Есть философы, упорно отстаивающие тезис, что «существует», сказанное о числах, классах и подобном, и «существует», сказанное о материальных предметах, – это два употребления одного двусмысленного термина. Что меня больше всего приводит в недоумение – так это упорство, с которым они настаивают на своем. Что они могут считать очевидным? Почему не рассматривать «истинно» как недвусмысленный, но очень общий термин, а различие между истинными логическими законами и истинными признаниями понимать как просто различие между логическими законами и признаниями? И почему бы то же самое не сделать в отношении существования?¹

В двусмысленных терминах 'light' и 'bore' или 'bore us' поразительно то, что от произнесения к произнесению они могут быть очевидно истинны или очевидно ложны относительно одного и того же, согласно тому, какие интерпретативные подсказки дают обстоятельства произнесения. Эта черта если и не является необходимым условием двусмысленности термина, то во всяком случае – наиболее ясным условием такого типа, которое мы обнаруживаем. Мы рассмотрели двусмысленность только постольку, поскольку она играет роль одной из причин вариации истинностного значения предложения в зависимости от изменения обстоятельств произнесения.

Но даже изменение истинностного значения предложения от случая к случаю не должно с необходимостью приводить к двусмысленности. Предложение «Эта дверь открыта» ('The door is open') меняет свое истинностное значение вместе с движениями двери – такова сила настоящего времени; и оно меняет свое истинностное значение одновременно для разных дверей – такова референциальная нестабильность единичной дескрипции. И все же считать любое из этих четырех слов или их комбинаций двусмысленным с этой точки зрения не соответствовало бы типичному употреблению термина «двусмысленный». Изменение референции выражения «эта дверь» ('the door') и истинностного значения предложения «Эта дверь открыта» вместе с обстоятельствами произнесения считается нормальным для значений рассматриваемых слов, тогда как двусмысленность, как предполагается, состоит в невозможности выбрать между значениями. Наши соображения в главе 2 не много способствовали проведению различия этого вида; не имея непосредственной технической надобности в понятии двусмысленности, я, соответственно, не буду пытаться улучшить эту границу, но просто буду продолжать употреблять это слово как нетехнический термин там, где это покажется уместным.

Двусмысленность может особыми путями входить в составные термины. Один путь – через неопределенность между истинно атрибутивным и синкатегорематическим (§ 3.5) упо-

¹Что касается примеров того, против чего я протестую, см.: Ryle. *The Concept of Mind*, p. 23, и Russel. *Problems of Philosophy*, Ch. IX. Критическое исследование проблемы см.: White. *Toward Reunion in Philosophy*, Ch. IV. См. также: Wittgenstein. *Blue and Braun Books*, p. 58, и Richman. *Ambiguity and Intuition*.

треблениями некоторых прилагательных. Взять хотя бы богатое словечко 'poor' («бедный»). Когда оно якобы стоит в атрибутивной позиции, оно может либо употребляться истинно атрибутивно, и в таком случае оно может или приписывать бедность, или выражать жалость, либо оно может быть синкатегорематическим, говорящим «плохо» ('badly'). Если в выражении 'poor violinist'^{20*} мы решим, что 'poor' употреблено истинно атрибутивно, то скрипачи будут бедными (или, возможно, вызывающими жалость), но они останутся скрипачами; если же мы решим, что это слово употреблено синкатегорематически, то скрипачи уже не будут ни бедными, ни вызывающими жалость, ни даже, согласно приличным стандартам, скрипачами.

Если в выражении «интеллектуальный пигмей» мы посчитаем употребление слова «интеллектуальный» истинно атрибутивным, то никто, к кому бы это ни относилось, не мог бы быть вместе и интеллектуальным, и пигмеем. Если же мы посчитаем это слово употребленным синкатегорематически, тогда любой, к кому бы это ни относилось, будет неинтеллектуальным и при этом, вполне возможно, имеющим огромные размеры.

Употребление слов «истинный» и «ложный» в выражениях «истинный художник» и «ложный пророк» – синкатегорематическое, так как ложный пророк – не пророк, а истинный художник, хотя истинно – художник, не есть художник, который истинен. С другой стороны, истинные и ложные предложения – это предложения, которые истинны и ложны; здесь употребление прилагательных истинно атрибутивно в указанном смысле. Термин «истинная любовь» в этом отношении двусмыслен. Если посчитать здесь употребление «истинная» истинно атрибутивным в указанном смысле, то получится конструкция, указывающая на крепкую любовь или, возможно, – на крепость или на того, кого крепко любят. Если же посчитать здесь употребление «истинная» скорее синкатегорематическим, то «истинная любовь» будет указывать просто на то, что есть истинная любовь, или, возможно, на того или на ту, кого истинно любят.

Особенно выдающиеся виды синкатегорематического употребления прилагательных – это те, в которых прилагательное, допускающее сравнение, например «большой», употребляется с существительным по схеме «*F G*» для выражения смысла «*G*, которое является большим *F*, чем среднее *G*»; таково, например, выражение «большая бабочка». Якобсон убедил меня, что «белое вино», «белый человек» и «черный хлеб» можно лучше всего сконструировать таким способом, принимая, что «белый» и «черный» – сравнительные прилагательные. Между этими смыслами и категорематическими или атрибутивными нет угрозы двусмысленности, но только потому, что, например, никакое вино не есть нечто белое и никакой человек не относится к числу белых вещей.

Когда двусмысленность основана на синкатегорематическом употреблении прилагательного, двусмысленный *термин* представляет собой составное целое, а не прилагательное; так как прилагательное в синкатегорематическом употреблении не употребляется как термин. В любом случае вполне естественно говорить о двусмысленности в более широком смысле, чем тот, на который мы указали в начале этого параграфа. Так, удобно говорить о некоторых неопределенных единичных терминах как о двусмысленных, хотя они вообще ни на что не указывают. Пример тому – двусмысленность выражения «некий лев» ('a lion') как колеблющегося между выражениями «какой-то лев» ('some lion') и «всякий лев» ('every lion'); сравните предложение «Некий лев ('a lion') сбежал» с «Всякий лев ('a lion') любит красное мясо».

Неопределенный единичный термин, чья двусмысленность особенно часто приводила к путанице, действительной и мнимой, – это «ничто» или «никто». Этот инструмент нам достаточно хорошо знаком в виде устаревшего юмора: 'I got plenty o' nothin' («У меня изобилие отсутствия чего бы то ни было») Гершвина, 'I passed nobody on the road. Then nobody walks more slowly than you' («Никто [не] был мной обойден по дороге. В таком случае никто ходит медленнее вас») Льюиса Кэрролла. Если придерживаться юмовской, не отличающейся сочувствием, интерпретации¹, Локк совершенно серьезно пал жертвой этой самой путаницы, когда

¹ Hume, p. 81.

он, защищая универсальную каузальность, утверждал, что если событие не имеет причины, то ничто [не] является его причиной, а ничто не может быть причиной. Хайдеггер, если можно читать его буквально¹, был втянут этой путаницей в утверждение '*Das Nichts nichtet*'^{21*}. А у Платона, очевидно, были проблемы с Парменидом в связи с этим маленьким заблуждением.

В неопределенном единичном термине «ничто» беспокоит его тенденция маскироваться под определенный единичный термин. Причина этого ясна. Абсолютная множественность служит напоминанием о неопределенности в тех случаях, когда неопределенный единичный термин построен с помощью частиц «некоторый» или «каждый», но такое напоминание отсутствует, когда в строительстве участвует частица «ни» ('no'). Более того, идея нулевого количества пестуется соображениями границ и, будучи раз принята, легко принимается за обозначение «ничто» *qua* определенного единичного термина. Свидетельства устойчивости этой путаницы повседневны, как в примере 'They fight over nothing' («Они сражаются ни за что» или «Они ни за что не сражаются»^{22*}). Если рассматривать «ничто» строго как неопределенный единичный термин, то это предложение будет созвучно с миром на земле; но на практике оно, вероятнее, должно означать, что они сражаются без повода.

4.3 Некоторые двусмысленности синтаксиса

Иногда понятие двусмысленности толкуют расширенным образом, применяя его не только к терминам, но и к частицам и даже к синтаксису – примечательна в этом отношении частица «или» ('or') с ее вошедшими в поговорку включающим и исключающим смыслами. Так, атрибутивная позиция, можно сказать, синтаксически двусмысленна, поскольку ей соответствуют как истинно атрибутивное, так и синкатегорематическое употребления. То же самое можно сказать и о позиции предиката, так как 'The violinist was poor'^{23*} может означать, что он был беден или что он плохо играл. (Любопытно, что третья альтернатива – выражение жалости – в этой позиции исчезает.)

Многосторонность множественного числа субъектов и объектов глаголов дает простор для синтаксической двусмысленности. Иногда форма множественного числа общего термина просто выполняет работу формы единственного числа со словом «всякий» ('every'); например: «Львы любят красное мясо», «Я не люблю львов». Иногда же форма множественного числа выполняет работу формы единственного числа с неопределенным артиклем или местоимением «некоторые», но – с добавленной импликацией множественности; например: «Львы ревут», «Я слышу львов» (ср. § 3.8). Иногда форма множественного числа выполняет работу абстрактного единичного термина, обозначающего объем общего термина (т.е. класс всех предметов, относительно которых общий термин истинен); например: «Львы многочисленны», «Львы исчезают», «Смирные люди редки» (§ 3.9).

В таком примере, как «Эрнест охотится на львов», форма множественного числа выполняет работу еще одного вида, если подразумевается не что Эрнест нацелился на определенного льва или львов, а лишь что он ищет каких-нибудь львов. Отсталые люди в этом смысле могут даже охотиться на единорогов. Такое употребление глагола «охотиться» и других будет дальше рассмотрено в § 4.7.

Наконец, форма множественного числа играет особую роль в качестве субъекта или объекта глагола, употребленного *диспозиционально*. Лучше всего можно проиллюстрировать это, оставив наконец львов и перейдя к «Тэбби ест мышей». Идея заключается не только в том, что есть, была, были или будет, будут мышь или разные мыши, которых Тэбби ест; скорее, идея заключается в том, что Тэбби регулярно предрасположен есть мышей при определенных благоприятных и не исключительных условиях.

¹См. комментарии Карнапа: *Carnap. Überwindung*, pp. 229 ff.

Синтаксические двусмысленности, отмеченные выше, – во-первых, в категорематическом и синкатегорематическом употреблении прилагательных, а теперь – в различных употреблениях существительных множественного числа – есть синтаксические двусмысленности лишь в том смысле, что двусмысленны определенные конструкции. Мы теперь обратимся к синтаксическим двусмысленностям в более полном смысле: двусмысленностям структуры, двусмысленностям синтаксиса.

Весьма примечательна среди таких синтаксических двусмысленностей двусмысленность местоименной референции. Пример процитирован Журденом:

And Satan trembles when he sees
The weakest saint upon his knees
(Достаточно слабейшему святому на [его] колени опуститься,
Как Сатана от вида этого трепещет и боится^{24*}).

Не допускать двусмысленность такого рода в знакомых языках отчасти удастся с помощью различий рода, числа и лица, но – лишь не точно; так, для предотвращения двусмысленности в только что приведенном примере достаточно было бы того, чтобы слабейший святой был женского рода. Между тем мы можем внести здесь ясность, заменив вызывающее беспокойство местоимение его грамматическим антецедентом – сказав «колени слабейшего святого». То, что грамматические антецеденты не всегда могут быть так повторены, заставляет серьезно относиться к двусмысленности местоименной референции. Мы видели в § 3.7, что их повторение в случае, когда они являются неопределенными единичными терминами, производит ложный эффект. Местоимение с неопределенным антецедентом неустранимо как простое сокращение этого антецедента. Пример двусмысленной перекрестной референции к неопределенным антецедентам:

(1) Все (*everything*) имеет часть, меньше его.

Другой пример, представляет собой адаптацию примера с определенными антецедентами, который Пирс процитировал по Аллену и Гриноу¹:

(2) Адвокат сказал коллеге, что он думает, что его клиент критичнее относится к нему ('himself'), чем к любому из его ('his') соперников.

Возможный способ действия в таких случаях: размножить местоименное «он» ('it' или 'he') в «предыдущий» и «последний» или «первый», «второй» и «третий» и т.д. Такой способ применяется в очень искусственном английском, но, предположительно, также и в естественном языке индейцев чиппевей (*Chippeway*)². Математики, на их счастье, располагают более удобочитаемым методом. Они употребляют произвольные буквы вместо слов «первый», «второй» и т.д., вводя каждую букву в приложение посредством предполагаемого грамматического антецедента, таким образом:

(3) Все, что (*everything*) x , имеет часть меньшую, чем x .

(4) Адвокат x сказал коллеге y , что x [или y ?] думает, что клиент y [или x ?] – z – критичнее относится к z [или к y ? или к x ?], чем к любому из соперников z [или y ? или x ?].

¹ Peirce, т. 2, § 287. Против популярной ошибочной концепции местоимений как заместителей существительных см. его примечание.

² Espersen. *Philosophy of Grammar*, p. 220.

По неочевидным, хотя и прослеживаемым, причинам произвольные буквы, употребляемые для перекрестной референции, как в случаях (3) и (4), называются *переменными*.

Мы отметили, что замена местоимения его грамматическим antecedентом — это очевидный способ справиться с двусмысленностью местоименной референции в тех случаях, когда в роли antecedента выступает определенный единичный термин, но что он недопустим в случаях, когда antecedентом является неопределенный единичный термин. Обратим теперь внимание на то, что он равным образом недопустим, поскольку ведет к бессмыслице, в другом случае: когда antecedент — относительное местоимение, «кто» ('who') или «который» ('which'). Примером двусмысленной перекрестной референции к смешанным antecedентам, состоящим из одного относительного местоимения и двух неопределенных единичных терминов, может служить следующее относительное простое предложение:

(5) который сказал коллеге, что он думает, что его клиент критичнее относится к нему, чем к любому из его соперников.

Тогда как (2) представляло собой предложение, относительное простое предложение (5) — это общий термин (ср. § 3.7); но они сходны своей двусмысленностью. В случае относительного простого предложения очевидно весомым предварительным шагом будет разворачивание относительного местоимения в конструкцию «такой, что» плюс обычное местоимение (ср. § 3.7); такой шаг разделяет референциальную функцию относительного местоимения. Довольно часто и в других случаях, не только в случае (5), этим удачно исправляется порядок слов. Другой хороший шаг — обнаружить и включить в состав конструкции термин, к которому относительное простое предложение должно было атрибутивно присоединяться; ведь относительные простые предложения встречаются только в атрибутивной позиции. В случае (5), как можно предположить, такой термин — «адвокат». Мы получаем:

(6) Адвокат, такой, что он сказал коллеге, что он думает, что его клиент, критичнее относится к нему, чем к любому из его соперников.

Теперь мы готовы ввести переменные так, как в (4):

(7) адвокат *x* такой, что *x* сказал коллеге *y*, что [и т.д., как в (4)]

Заметим, что, хотя (5) могут по контексту предшествовать конструкции с определенным или с неопределенным артиклями ('the lawyer' или 'a lawyer'), все же (5) атрибутивно только по отношению к общему термину «адвокат» ('lawyer') (ср. § 3.7). Соответственно, (6) и (7), как и (5), оформлены как общие термины, которые могут быть, а могут и не быть сверхдополнены определенным или неопределенным артиклями для производства единичного термина. Пример (7) отличается от (4) поучительным образом, проясняя '*x*' в приложении не к неопределенному единичному термину, а к общему термину.

В контексте логической и семантической дискуссии фраза «перекрестная референция» неудачна в том отношении, в котором ее французский эквивалент *renvoi* удачен. Ведь о местоимении или другом единичном термине можно также сказать, что они указывают, постоянно или по случаю, на некоего человека или другой объект. Референция в последнем смысле есть подлинное отношение знака к объекту, тогда как перекрестная референция — это лишь отношение знака к знаку, возвращение местоимения к его грамматическому antecedенту. У логиков, по счастью, есть другая терминология для разговора о перекрестной референции, в которой затрагиваются переменные: они говорят о *связывании*. О появлении «*x*» во введении или в приложении говорится, что оно *связывает* различные повторения «*x*» постольку, поскольку они отсылают к этому приложению, а не к какому-то независимому употреблению этой буквы.

Если предложение или относительное простое предложение содержит «х» в приложении или в связанном виде и – разные повторения «х», то обычно оно включает в свой состав компонентное предложение, которое содержит в себе некоторые появления «х», но ничего, что бы связывало их. Такое компонентное предложение, рассмотренное само по себе, называется открытым предложением, а несвязанные переменные в его составе называются *свободными*. Примеры:

У x есть часть, меньшая чем x .

x думал, что клиент $y - z$ – критичнее относится к z , чем к любому из соперников z .

Открытые предложения являются предложениями по форме, но из-за свободных переменных не являются ни истинными, ни ложными.

Другой структурный вид синтаксической двусмысленности – двусмысленность группирования. Мы можем наполнить смыслом набор слов ‘pretty little girls’ camp’ («довольно маленькие- девочек лагерь»)^{25*}, группируя ее элементы одним из пяти способов: «(довольно (маленьких девочек)) лагерь», «(довольно маленький) (девочек лагерь)» и т.д. Мы справляемся с такой двусмысленностью посредством разнообразия ударений и пауз, вставляя частицы для координации или балласта или – перефразируя всю фразу целиком (например, «пожалуй, маленький лагерь для девочек»)¹. Графическим средством маркировки группирования в математике являются скобки, как в примере, приведенном выше.

4.4 Двусмысленность охвата

Более тонкие проблемы группирования представлены тем, что называется *охватом* (*scope*). Так, рассмотрим выражение «большая европейская бабочка»: должно ли оно быть истинным только относительно тех европейских бабочек, размеры которых велики для бабочек, или оно должно быть истинным относительно всех европейских бабочек, размеры которых велики для европейских бабочек? Вопрос может быть сформулирован так: ограничен ли охват (*scope*) синкатегорематического прилагательного «большая» термином «бабочка» или термином «европейская бабочка»; а тонкость здесь состоит в том, что охват термина не установить путем простого выбора между двумя способами расположения скобок. Возможно, версию, допускающую более широкий охват, можно выразить таким образом: «большая (европейская бабочка)»; а другую версию – с помощью запятой – так: «большая, европейская бабочка». Кроме того, разумеется, мы можем прибегнуть к парафразу².

Проблем с определением охвата не возникает, если прилагательные употребляются категорематически, истинно атрибутивным способом. Никакого различия не требуется между выражением «круглая черная коробка», истинным относительно черных коробок, которые круглы, и этим выражением, истинным относительно коробок, которые черны и круглы.

Я не буду искать дальнейшего случая следовать синкатегорематическому употреблению прилагательных. Но есть еще другая связь, навязывающая двусмысленность охвата, и она занимает центральное место в нашем языке; а именно связь с неопределенными единичными терминами.

Так, рассмотрим:

(1) Если какой-нибудь член сделает взнос, он получает мак.

(2) Если все (every) члены сделают взнос, я удивлюсь.

¹ См. далее мою работу “Elementary Logic”, §§ 11–13, откуда взят этот пример, или “Methods of Logic”, § 4.

² В основу этого параграфа положена дискуссия с Якобсоном.

Предложение (1) утверждает о каждом члене следующее: если он делает взнос, он получает мак. Предложение (2) не утверждает соответственно следующее о каждом из членов: если он сделает взнос, я удивлюсь. Ведь это означало бы, что я не ожидаю никаких взносов, тогда как все, что (2) утверждает, – это что я ожидаю меньше, чем взносы от всех. Скорее составное простое предложение «все члены сделают взнос» в (2) делает (хотя и ложное) утверждение о каждом члене; а (2) затем, как целое, составлено из этого замкнутого простого предложения плюс «я удивлюсь». Различие между (1) и (2) иллюстрирует идею охвата неопределенного единичного термина. Граница охвата (scope) термина «любой член» в (1) есть (1) в его полноте, тогда как граница охвата термина «всякий член» в (2) есть только «все члены сделают взнос».

Пример «Я верю, что он видел мое письмо», в отличие от (1) и (2), таит в себе угрозу двусмысленности охвата. Если в качестве границы охвата неопределенного единичного термина «мое письмо» берется лишь «он видел мое письмо», то целое предложение «Я верю, что он видел мое письмо» дополняет «Я верю» содержащим само себя предложением «он видел мое письмо». При этой интерпретации целое предложение равносильно тому, чтобы просто сказать, что я верю, что он не пропустил все мои письма. Если, с другой стороны, граница охвата термина «мое письмо» – целое предложение, включающее «Я верю», то целое предложение, скорее, равносильно тому, чтобы сказать, что есть одно или более определенных моих писем, которые, я верю, он видел.

Если в предложении ‘Each thing that glisters is not gold’^{1,26*} мы возьмем в качестве границы охвата неопределенного единичного термина ‘each thing’ («каждая вещь») целое предложение, мы получаем ложь: огульное отрицание золотности (*goldhood*) в отношении блестящих вещей. Если мы возьмем в качестве такой границы (scope) предложение ‘each thing that glisters is gold’ («каждая блестящая вещь есть золото»), а ‘not’ («не») будем, таким образом, считать внешним оператором, управляющим целым предложением, то мы получим ту истину, которую хотел высказать Шекспир.

Предложения (1) и (2) не двусмысленны по трем поучительным причинам. Одна состоит в том, что (1) имеет местоимение «он» в составе своего второго простого предложения, грамматическим антецедентом которого является «любой член»; мы не можем рассматривать в качестве границы охвата этого термина просто первое простое предложение в составе (1) под угрозой оставить «он» незадействованным. Вторая причина заключается в том, что «всякий» (‘every’), согласно простому и неустранимому свойству английского словоупотребления, всегда требует кратчайшей возможной границы охвата (scope). Третья причина состоит в том, что «любой» (‘any’), согласно простому и неустранимому свойству английского словоупотребления, всегда требует длиннейшей из двух возможных границ охвата. Эта третья причина – внештатная для (1) из-за местоимения «он»; но она утверждает себя в:

(3) Если любой член сделает взнос, я удивлюсь.

Это, в противоположность (2), утверждается относительно всякого члена, что, если он вносит взнос, то я удивлюсь. Тогда как граница охвата термина «все члены» в (2) есть только «каждый член сделает взнос», граница охвата термина «любой член» в (3) есть (3) как целое. Здесь мы видим причину обоюдного выживания очевидных синонимов «любой» и «всякий»: различные коннотации охвата. То же самое иллюстрирует пара:

(4) Я не знаю ни одного (‘any’) стихотворения,

(5) Я не знаю всех (‘every’) стихотворений.

¹ Я изменил ‘All’ («Все») в тексте Шекспира, чтобы избежать не относящегося к задачам, которые здесь ставятся, предложения считать «все, что блестит», определенным термином, обозначающим совокупное блестящее содержание пространства-времени.

Поскольку у местоимения «любой» ('any') широкий охват, (4) значит, что, относительно каждого стихотворения в ряду, я его не знаю. Поскольку у местоимения «всякий» ('every'), с другой стороны, узкий охват, (5) просто отрицает, что, относительно каждого стихотворения в ряду, я его знаю. Границей охвата термина «ни одно стихотворение» ('any poem') в (4) является (4); границей охвата термина «все стихотворения» ('every poem') в (5) является «Я знаю все ('every') стихотворения», которое (5) отрицает.

Примечательное расхождение между (5) и:

(6) Мне неизвестны все стихотворения (I am ignorant of every poem) –

можно объяснить склонностью местоимения «все» ('every') к минимальному охвату. Предложение (6), в отличие от (5), не содержит вспомогательного предложения, так как отрицательное 'i-' («не-») в (6), в отличие от 'not' («не») в (5), является неотделимой частью. Так, в то время как границей охвата 'every' в (5) не является целое (5), границей его охвата в (6) необходимо является целое (6); и, таким образом, (6) эквивалентно не (5), а (4).

Конструкция «такой, что» дает нам подручные графические средства демонстраирования охвата. Обозначив неопределенный единичный термин буквой «b», а его охват – как «...b...», мы можем суммировать метод в следующей максиме: переписывая охват «...b...» как «b такой, что... он или его (it) ...». Таким образом, (1) – (5) превращаются в:

(7) Каждый член таков, что, если он сделает взнос, он получает мак.

(8) Если каждый член (таков, что он) сделает взнос, я удивлюсь.

(9) Каждый член таков, что, если он сделает взнос, я удивлюсь.

(10) Каждое стихотворение такое, что я не знаю его.

(11) Не каждое стихотворение такое, что я знаю его.

Я здесь заменил «любой» и «всякий» на «каждый» ('each'), поскольку различия охвата, на которые так тонко указывает индивидуальный выбор между словами «любой» и «всякий», самоочевидны, если использована конструкция «такой, что».

Две интерпретации предложения «Я полагаю, что он видел мое письмо» будут такими:

(12) Я полагаю, что какое-то мое письмо такое, что он видел его.

(13) Какое-то мое письмо такое, что я полагаю, что он видел его.

Но о (13) нам еще будет что сказать в § 4.6.

Этот способ демонстраирования охвата существенным образом зависит от постановки неопределенного единичного термина в позицию грамматического субъекта предикации, являющейся границей его охвата, и, таким образом, – от сведения вопроса об охвате к вопросу об определении предиката субъекта. Смысл конструкции «такой, что» состоит всего лишь в том, что она позволяет превратить любое «...b...», какое мы можем хотеть высказать о любом b, в единичный сложный предикат «такой, что ... он ...» ('such that ... it ...'), который можно атрибутировать b.

В (8) есть нечто особенное, а именно: «каждый член» уже ограничен своим собственным охватом – «каждый член делает взнос», так что маневр «такой, что» оказывается излишним. Предложение (8) представляет собой идеально простой случай. На другом полюсе простое предложение вида «такой, что» может оказаться настолько сложным, что придется прибегать к переменным, чтобы сохранить прямые референции местоимений. Но к этому мы подготовлены сказанным на последних страницах; «есть такой, что ... он (it) ...» всего лишь расчищает путь для «есть объект x такой, что ...x...». Вставка слова «объект», делающего существительное из прилагательного простого предложения, открывающегося словами «такой, что»,

здесь служит исключительно грамматической цели дать «х» что-нибудь, к чему оно могло бы относиться как приложение. Обычно также в сложных случаях приветствуется возможность обозначить границы охвата (*limits of scope*) путем заключения в скобки простого предложения, открывающегося словами «такой, что». Значительная ценность маневра «такой, что» в установлении границы охвата заключается в том, что он более явно делает эту границу предметом группирования, поддающимся заключению в скобки.

Простые предложения, открывающиеся словом «который» ('which'), представляют собой прилагательные, которые, подобно прилагательному «простой», встречаются только в атрибутивной, но не в позиции предиката. И это – вполне разумно, можно заметить; ведь предикация простого предложения, открывающегося словом «который», не сделает ничего, что не было бы сделано проще одним только этим простым предложением, в котором «который» заменено субъектом предикации. Во многом то же самое можно было бы сказать о простых предложениях, открывающихся словами «такой, что»: предикация простого предложения этого вида не делает ничего, что не было бы сделано одной лишь его частью, стоящей после «такой, что», при том что его местоимение заменено субъектом предикации. Тем не менее простые предложения, открывающиеся словами «такой, что», в отличие от простых предложений, открывающихся словами «который», встречаются в позиции предиката. И мы теперь видим, что такое их употребление в конечном счете не является бестолковым; ведь это – как раз средство пояснения охвата, как в случаях (7) – (13).

4.5 Непрозрачность референции

Определенные единичные термины могут изменять референцию в зависимости от случаев употребления, либо благодаря двусмысленности, либо посредством особых функций определенного артикля ('the') и частиц «это» ('this') и «то» ('that') (§ 4.2). При некоторых обстоятельствах термин может просто не иметь референции, если отсутствует объект требуемого типа. А также существует еще один вид вариации: в предложениях есть позиции, в которых термины употребляются или нацелены употребляться как просто средства конкретизации объектов, о которых остальная часть предложения что-то высказывает, а есть позиции, в которых термины так не употребляются. Пример последнего типа – позиция термина «Туллий» в:

(1) «Туллий был Римлянином» – трохаическое предложение.

Если единичный термин употреблен в предложении только для того, чтобы выделить свой объект, а предложение истинно относительно этого объекта, то, разумеется, предложение останется истинным в случае, если любой другой единичный термин, обозначающий тот же объект, будет подставлен на место первого. Это – критерий того, что можно назвать *чисто референциальной позицией*: такая позиция должна быть предметом *подстановочности тождественного* (*substitutivity of identity*)¹. То, что позиция термина «Туллий» в (1) не является чисто референциальной, отражено в ложности предложения, получаемого в результате подстановки «Цицерон» на место «Туллий».

Если мы понимаем предложение:

(2) Проверяющий ищет председателя правления больницы –

так, что мы готовы с ним согласиться и в то же время отрицать, что:

(3) Проверяющий ищет декана –

¹Это понятие и его критерий обязаны своим появлением в значительной мере работе Фреге 'Über Sinn und Bedeutung'. Но многое из его связанной с этим понятием теории я не принимаю; см. окончание § 4.6.

даже несмотря на то, что, по последним сведениям, неизвестным проверяющему:

(4) Декан = председатель правления больницы,

то мы рассматриваем позицию справа от «ищет» не как чисто референциальную. С другой стороны, если, зная о том, что проверяющий настойчиво избегает декана, мы по-прежнему принуждены предложениями (2) и (4) считать (3) истинным, то мы в самом деле рассматриваем указанную позицию как чисто референциальную.

Пример (2), даже если рассматривать его не чисто референциальным образом, отличается от примера (1) тем, что он все же, кажется, имеет гораздо большее отношение к председателю правления больницы, декан он или нет, чем (1) – к Туллию. Поэтому я использовал осторожную формулировку: «не чисто референциальная», предназначенную для того, чтобы применяться ко всем таким случаям, не утверждая никакого различия между ними. Если я буду пропускать наречие, то для краткости.

Иллюстрацией чисто референциальной позиции является позиция единичных терминов в предикации. Ибо предикация истинна просто постольку, поскольку предизируемый общий термин истинен относительно объекта, именуемого единичным термином (§ 3.4); поэтому подстановка нового единичного термина, именующего тот же самый объект, на место первого оставляет предикацию истинной. В частности, вопрос, считать ли позиции главного единичного термина в (2) чисто референциальными, есть вопрос, считать ли (2) предикацией относительного термина «ищет. . .» ('looking for').

Позиции, которые мы разделили на чисто референциальные и другие, являются позициями единичных терминов в их отношении к предложениям, которые их содержат. Теперь удобно распространить это понятие на позиции единичных терминов в их отношении к содержащим их единичным терминам. Так, возьмем скобки: будучи добавлены к выражению любого вида, они дают единичный термин (именующий выражение внутри кавычек). Удобно иметь способность говорить о личном имени в (1), что оно занимает нереференциальную позицию не только в предложении (1), но равным образом – в единичном термине в кавычках, являющемся грамматическим субъектом (1). В самом деле, здесь важны скорее кавычки, чем (1) как целое; личное имя занимает не референциальную позицию в (1) просто из-за кавычек.

Подстановочность тождественного является критерием референциальной позиции для позиций внутри единичных терминов, так же как для позиций внутри предложений. Для позиций в предложениях он утверждает, что содержащее термин предложение сохраняет свое истинностное значение, если содержащийся в нем единичный термин заменен любым другим с той же референцией. Для позиций в единичных терминах он утверждает, что содержащий термин единичный термин сохраняет свою референцию, если единичный термин, который он содержит в себе, заменен таким же образом. Так, на то, что позиция личного имени в кавычках:

(5) «Туллий был римлянином» –

не референциальная, указывает следующее: хотя Туллий = Цицерон, все же

««Туллий был Римлянином» ≠ «Цицерон был Римлянином»».

Кавычки, как видно, порождают нереференциальные позиции. Но это неверно в отношении альтернативного метода, служащего той же цели, что и кавычки, а именно – *написания или произнесения по буквам (spelling)*. Вместо (5) мы с тем же успехом можем сказать:

тэ^у^эль^эль^и^и краткое^пробел^бэ^ы^эль^пробел
^рэ^и^эм^эль^я^эн^и^эн

(tee^yu^ell^ell^wye^space^doubleyu^ay^ess^space
^ar^oh^em^ay^en),

используя, таким образом, прозрачные имена букв и дугу (следуя Тарскому) для обозначения сцепления. Переход от кавычек к написанию или произнесению по буквам имеет самостоятельное преимущество (ср. § 5.7), но, между прочим, он поучителен тем, что подчеркивает поверхностный характер нереференциальных, вследствие заключенности в кавычки, появлений терминов, рассеивающийся при легком изменении символики.

Помимо кавычек, еще часты случаи, когда не чисто референциальное появление единичного термина может быть устранено путем парафраза. Но мы не обязаны устранять все неререференциальные появления единичных терминов или сводить их к кавычкам. Мы не непривычны к преодолению появлений, которые каким-то образом «не считаются», – «зло» в слове «изложение», «кара» в слове «караван»^{27*}; и то же самое мы можем допустить относительно всех неререференциальных появлений терминов, раз уж мы знаем, что искать.

Одно и то же появление термина может занимать чисто референциальную позицию относительно его непосредственного окружения и – не чисто референциальную позицию, относительно более широкого контекста. Например, личное имя занимает чисто референциальную позицию в предложении:

(6) Туллий был римлянином –

и тем не менее не занимает ее в более пространных выражениях (1) и (5).

Кавычки, которые так блокируют референциальную силу термина, можно сказать, несостоятельны в отношении референциальной *прозрачности*¹.

Референциальная прозрачность должна иметь дело с конструкциями (§ 2.5): точнее, способами нахождения единичных терминов или предложений в составе единичных терминов или предложений. Я называю способ нахождения в составе Φ референциально прозрачным, если, когда бы появление единичного термина t ни было чисто референциальным внутри термина или предложения $\psi(t)$, оно будет также чисто референциальным в содержащем последний или последнее термине или предложении $\Phi(\psi(t))$. Пусть $\Phi(\psi(t))$ будет (5), $\psi(t)$ – (6), а t – личное имя, и мы получим референциальную непрозрачность кавычек.

Чередование, напротив, референциально прозрачно. Это значит, что если предложение составлено из других предложений посредством «или», то все чисто референциальные позиции в составляющих предложениях будут и в целом составном предложении чисто референциальными позициями. Очевидно, любая истинностная функция (§ 2.7) – референциально прозрачна.

Общие термины, употребленные предикативно, можно рассматривать как конструкции: способы нахождения субъектных единичных терминов в составе предложений. Как конструкции, они референциально прозрачны, так как это означает просто сказать, как мы заметили выше, что позиция субъекта в рамках предикации – чисто референциальная.

Наконец, конструкция «ищет. . .» считается прозрачной, если позиции смежного термина считаются референциальными, и не иначе. В одном случае «искать. . .» – подлинный относительный термин; в другом – нет. Чем он является в другом случае, станет яснее в § 4.7.

Конструкция полагания – « a полагает, что p » – может быть прозрачной или непрозрачной. Так предположим, что, хотя

(7) Том полагает, что Цицерон обличил Катилину,

¹ Термин взят из: *Whitehead and Russel* (второго издания), v. 1, p. 665.

он достаточно плохо информирован для того, чтобы считать, что оратор Цицерон и автор ‘De Senectute’ Туллий – это два разных человека. Столкнувшись с его недвусмысленным отрицанием предложения «Туллий обличил Катилину», мы, возможно, готовы как утверждать (7), так и отрицать, что Том полагает, что Туллий обличил Катилину. Если так, то позиция термина «Цицерон» в (7) – не чисто референциальная. Но позиция этого термина в части «Цицерон обличил Катилину», рассмотренной отдельно от целого, – чисто референциальная. Таким образом, конструкция «полагает, что» (так понятая) – непрозрачная.

В то же время существует альтернативный референциально прозрачный способ конструирования полагания¹. Различие между ними следующее. В непрозрачном смысле полагания, рассмотренном выше, серьезнейшее утверждение Тома «Туллий никогда не обличал Катилину» считается показывающим, что он не полагает, что Туллий обличил Катилину, даже несмотря на то, что он полагает, что это сделал Цицерон. В прозрачном смысле полагания, с другой стороны, серьезное утверждение Тома «Цицерон обличил Катилину» считается показывающим, что он полагает, что Туллий обличил Катилину, несмотря на его собственное вводящее в заблуждение вербальное отречение от этого.

«Цицерон» в (7) либо появляется чисто референциальным образом, либо нет, согласно тому, трактуется ли «полагает» прозрачным или непрозрачным образом. Если полагание трактуется как прозрачное, то (7) выражает прямое отношение между людьми – Томом и Цицероном, а именно отношение полагания (*deeming*) обличителем Катилины; если полагание трактуется как непрозрачное, то (7) явно не соотносит Тома с каким-либо человеком.

У нас еще будет что сказать о различии между прозрачным и непрозрачным полаганием. Пока же заметим, что это различие не связано со знакомой причудой английского словоупотребления, когда «*x* не полагает, что *p*» приравнивается скорее к «*x* полагает, что не *p*», а не к «не верно (*it is not the case*), что *x* полагает, что *p*». Я избегал конструкции «не полагает», чтобы не казалось, будто это случайное идиоматическое усложнение играет какую-то роль в рассуждении.

Было бы ошибкой предполагать, что появление термина внутри непрозрачной конструкции является для него преградой к тому, чтобы занимать референциальную позицию в любом более широком контексте. Примерами противоположного служат появления личного имени в:

(8) «Туллий был римлянином» истинно,

(9) «Туллий» указывает на римлянина.

Несмотря на непрозрачность кавычек, эти появления личного имени явным образом являются, благодаря особенностям основных участвующих в предложениях глаголов, предметами подстановочности тождественного *salva veritate*. Поэтому термин «не-прозрачный» (*non-transparent*) был бы предпочтительнее, чем «непрозрачный» (*opaque*), если бы не его громоздкость; но так – даже лучше.

4.6 Непрозрачность и неопределенные термины

Поскольку неопределенные единичные термины не обозначают объекты (§ 3.7), мы имели в виду, говоря о референциальной позиции, только определенные единичные термины. Термины, которые мы заменяем другими с подобной десигнацией, проверяя их на подстановочность тождественного, – это определенные единичные термины. Все же проверяем мы позиции, а их могут занимать и неопределенные единичные термины. Посмотрим, с каким результатом.

Мы видели, что позиция после «Проверяющий ищет. . .» (*The commissioner is looking for*) может рассматриваться, а может не рассматриваться как чисто референциальная с различными

¹Это ясно из примера Гудмена, цитируемого Шеффлером в работе “On synonymity and indirect discourse”, p. 42.

результатами. Но если мы подставим на это место неопределенный единичный термин, скажем «кого-то» ('someone'), мы уже не будем вольны выбирать между двумя интерпретациями. Чтобы придать правильный смысл фразе «Проверяющий ищет кого-то», мы должны считать соответствующую позицию чисто референциальной. Кто этот некто, кого ищет проверяющий? Председатель правления больницы, т.е. декан. В том смысле выражения «ищет. . .» ('looking for'), в котором о проверяющем можно сказать, что он ищет кого-то, (3) из § 4.5 следует считать истинным вместе с (2). Трактовка, согласно которой (2) считалось бы истинным, а (3) – ложным, ставит истинностное значение таких высказываний в зависимость от того, какой эпитет использован для обозначения искомого человека; а такого рода различие неприменимо в случае «Проверяющий ищет кого-то», где искомым человек вообще не обозначен. То же самое можно выразить парадоксальным образом: неопределенные единичные термины нуждаются в референциальной позиции, поскольку они не имеют референции.

Из такого же соображения, казалось бы, следует, что для целей высказывания «Том полагает, что кто-то (*someone*) обличил Катилину» мы должны считать «полагает» прозрачным; т.е. считать позицию, занимаемую выражением «кто-то», референциальной. Но этот случай усложняется второй двусмысленностью, пересекающейся с первой: проблемой границы охвата неопределенного единичного термина. Согласно тому, считается ли этот охват узким или широким, предложение объясняется одним из двух предложений:

- (1) Том полагает, что кто-то (такой, что он) обличил Катилину,
- (2) Кто-то такой, что Том полагает, что он обличил Катилину.

Разумеется, (1) с большей вероятностью, чем (2), соответствует предложению «Том полагает, что кто-то обличил Катилину»; действительно, слова «такой, что он» в (1) сразу воспринимаются как избыточные. Но в (1), в отличие от предложения «Проверяющий ищет кого-то», мы по-прежнему вполне вольны рассматривать позицию, занимаемую выражением «кто-то», как мы пожелаем – как референциальную или как нереференциальную. Так происходит вследствие того, что «кто-то» явно и недвусмысленно занимает референциальную позицию в подчиненном предложении «кто-то обличил Катилину», рассмотренном отдельно. И именно в силу того, что подчиненное предложение имеет смысл в любом случае, (1) также его имеет. Короче говоря, обличающая позиция в (1), таким образом, может свободно рассматриваться как референциальная или как нереференциальная в (1) как в целом. Другими словами, полагание может конструироваться как прозрачное или как непрозрачное; предложение (1) в обоих случаях осмысленно.

Не так обстоят дела с (2), которое более идиоматическим образом можно сформулировать в виде: «Есть (или был) кто-то, относительно кого Том полагает, что он обличил Катилину (*whom Tom believes to have denounced Catiline*)». Здесь применимы те соображения, которые применялись в случае предложения «Проверяющий ищет кого-то». Кто этот человек, который, как полагает Том, обличил Катилину? Цицерон, т.е. Туллий. В том смысле «полагает», в каком здесь можно сказать, что есть кто-то, кто, как полагает Том, обличил Катилину, «Том полагает, что Туллий обличил Катилину» следует считать истинным вместе с «Том полагает, что Цицерон обличил Катилину». Короче говоря, чтобы (2) имело правильный смысл, полагание должно рассматриваться как прозрачное, в то время как оно может рассматриваться обоими способами в случае (1).

Две интерпретации предложения «Я полагаю, что он видел мое письмо» (§ 4.4) очень похожи в этом отношении на (1) и (2). Прозрачность влияет на отношение к неопределенным единичным терминам там, где не должно быть местоименной перекрестной референции изнутри непрозрачной конструкции к неопределенному единичному термину вне конструкции. Такой урок можно извлечь из предложения (2). Параллельные соображения показывают также, что не должно быть местоименной перекрестной референции изнутри непрозрачной конструкции к выражению «такой, что» вне этой конструкции. Адаптированная к переменным (§

4.3) максима такова: неопределенный единичный термин вне непрозрачной конструкции не связывает переменную внутри конструкции.

Нужда в перекрестной референции изнутри конструкции, выражающей полагание, к неопределенному единичному термину вне этой конструкции не подлежит сомнению. Так, посмотрим, какую важную информацию сообщает предложение «Есть кто-то, кто, я полагаю, является шпионом», в противоположность предложению «Я полагаю, что кто-то является шпионом» (в слабом смысле, соответствующем – «Я полагаю, что есть шпионы»). Первое соответствует предложению (2), второе – (1). Разумеется, таким образом, прозрачный смысл полагания не должен легко устраняться. Пусть все же его важность не ослепляет нас в отношении его странности. «Туллий, – настаивает Том, – не обличил Катилину. А Цицерон обличил». Разумеется, следует признать, что Том полагает в каком угодно смысле, что Туллий не обличил Катилину, а Цицерон обличил. Но о нем также по-прежнему можно сказать, что он полагает, в референциально прозрачном смысле, что Туллий *обличил* Катилину (*did denounce Catiline*). Странность прозрачного смысла полагания состоит в том, что, согласно ему, Том полагает, что Туллий обличил и что он не обличил Катилину. Это еще не самопротиворечие, с нашей точки зрения и даже с точки зрения Тома, так как можно установить различие между (a) полаганием Тома, что Туллий обличил и что Туллий не обличил Катилину, и (b) полаганием Тома, что Туллий обличил и не обличил Катилину. Но странность налицо, и мы должны принять ее как цену, которую приходится платить за такие высказывания, как (2) или – что есть кто-то, кто, как некто полагает, является шпионом.

Конечно, нам не следует обвинять в этой странности Тома, выказавшего простое неправильное понимание имени собственного, так как имеются параллельные примеры, не содержащие имен. Так, вместо «Туллий не обличил Катилину, а Цицерон обличил» Том мог бы сказать «Декан не женат, а председатель совета больницы женат», не понимая, что эти двое – один человек.

Но, если с этой существенной странностью прозрачного смысла полагания еще можно мириться, остается еще больше такого, с чем мириться нельзя. Пусть « δp » (как у Кронекера), где « p » – предложение, будет сокращением для дескрипции:

число x такое, что $((x = 1) \text{ и } p) \text{ или } ((x = 0) \text{ и не } p)$.

Мы можем предположить, что бедный Том, как бы ни были ограничены его знания латинской литературы и местной филантропии, знает логику в достаточной степени, чтобы полагать предложение формы « $\delta p = 1$ » тогда и только тогда, когда он полагает предложение, обозначенное как « p ». Но в таком случае мы можем возражать, исходя из прозрачности полагания, что он верит всему. Ведь, согласно уже имеющейся у нас гипотезе,

(3) Том полагает, что δ (Цицерон обличил Катилину) = 1.

Но, всякий раз, когда ' p ' обозначает истинное предложение,

$\delta p = \delta$ (Цицерон обличил Катилину).

Но тогда, согласно (3) и прозрачности верования,

Том полагает, что $\delta p = 1$,

из чего следует, согласно гипотезе о логических способностях Тома, что

(4) Том полагает, что p .

Но «*p*» обозначало любое истинное предложение. Повторяя аргумент, используя ложное предложение «Туллий не обличил Катилину» вместо истинного «Цицерон обличил Катилину», мы также устанавливаем (4), где «*p*» обозначает любое ложное предложение. Том в результате оказывается верящим всему¹.

Таким образом, объявляя полагание неизменно прозрачным ради случаев (2) и «Есть кто-то, кто, как я полагаю, является шпионом», мы допускаем слишком многое. Иногда, быть может, лучше утверждать «Том полагает, что Цицерон обличил Катилину» и при этом отрицать «Том полагает, что Туллий обличил Катилину», отрицая – по *этой* причине – (2). Вообще, не доктрина прозрачности или непрозрачности полагания является самоцелью, а способ выявления, выборочного и гибкого, того, какие именно позиции в подчиненном предложении следует освещать как референциальные в каждом конкретном случае.

Способ сделать это – согласиться регулярно относить несостоятельность прозрачности на счет связи «что» конструкции «полагает, что» и «в» ('to') конструкции «верит в» ('believe to'), но не на счет «полагает» или «верит». Так, мы можем продолжить писать «Том полагает, что Цицерон обличил Катилину» в случаях, когда мы склонны трактовать появления терминов «Цицерон» и «Катилина» нереференциальным образом, но писать скорее:

(5) Том полагает – Цицерон обличил Катилину^{28*} (Tom believes Cicero to have denounced Catiline)

если мы хотим поставить «Цицерон» в референциальную позицию². Сходным образом мы можем поставить термин «Катилина» в референциальную позицию так:

(6) Том полагает – Катилина был обличен Цицероном.

Желание поставить оба термина в референциальную позицию подтолкнет нас к чему-то наподобие:

(7) Том полагает – Цицерон и Катилина связаны как обличитель и обличенный.

Согласно этой конвенции «полагает, что» недвусмысленно непрозрачно и (2), таким образом, просто остается за бортом, будучи плохой формулировкой, включающей в себя перекрестную референцию изнутри непрозрачной конструкции к неопределенному единичному термину вне ее. Между тем остается в силе то, что предлагалось прежде в качестве идиоматического эквивалента (2): «Есть (или был) кто-то, кто, как Том полагает, обличил Катилину». Точно так же (13) из § 4.4 остается за бортом, но его первоначальный предполагаемый смысл сохраняется в сохраняющей силу версии «Есть (или было) письмо, мое (the letter of mine), которое, как я полагаю, он видел».

Здесь, как водится, мы можем преобразовать относительные простые предложения по нашему желанию в простые предложения, открывающиеся конструкцией «такой, что» (§ 3.7); так, «...кто, как Том полагает, ...» ('... who Tom believes to...') и «...которое, как я полагаю, ...» становятся – «...такой, что Том полагает – он...» ('... such that Tom believes him to...') и «...такое, что я полагаю – оно...»; при этом все, что находится внутри непрозрачных конструкций после «полагает» или «полагаю» и др. ('to' constructions), остается незатронутым. Заметим: «что» конструкции «такой, что» референциально прозрачна; наша конвенция

¹См. близкий аргумент Черча, приведенный в другой связи в его обзоре работы Карнапа.

²Дэвидсон указал мне на то, что формулировка «По Тому, Цицерон полагается обличившим Катилину» наряду с недостатком неестественности имеет достоинство большей яркости по сравнению с (5) в двух отношениях: она охватывает непрозрачное «верит в», и она раскрывает референциальные позиции до упоминания полагания. Сходные формулировки пригодны для случаев (6) и (7).

считает непрозрачными только «что» конструкции «полагает, что» и «в» конструкции «верит в».

Конструкции «полагает, что», «говорит, что», «хочет, чтобы», «старается, чтобы», «обращает внимание на то, что», «боится, что», «удивлен, что» и т.д. относятся к тому, что Рассел называет *пропозициональной установкой*¹. Все сказанное о первых из них на последних страницах в равной степени относится и к остальным. Искажения (5) – (7) в разной степени деформируют обыденный язык, будучи применены к остальным глаголам пропозициональной установки. «Хочет», «обращает внимание» и «боится» так же естественно подходят к (5) – (7), как и «полагает» (за тем исключением, что «обращает внимание» не соответствует нашему конкретному примеру из-за прошедшего времени). «Говорит» встает на место «полагает» без особых затруднений. «Старается» и «удивлен», чтобы они подходили к этим позициям, должны быть выражены другими словами как-то так: «старается добиться» (*‘endeavors-to-cause’*) и «удивлен узнать» (*‘is-surprised-to-learn’*).

Непрозрачная конструкция такова, что в ней вообще нельзя заменить единичный термин *кодесигнативным* термином (указывающим на тот же объект) без того, чтобы не затронуть истинностное значение содержащего такую конструкцию предложения. В непрозрачной конструкции также вообще нельзя ни общий термин заменить *коэкстенсивным* термином (истинным относительно тех же объектов), ни предложение-компонент – предложением с тем же истинностным значением без того, чтобы не затронуть истинностное значение содержащего их предложения. Все эти три несостоятельности называются неудачами *экстенциональности*. Причина, по которой следует обратить внимание на первую, состоит в том, что мы справедливо ожидаем, что в разговоре о тождественных объектах тождественные взаимозаменяемы, в то время как никакая презумпция такого рода не очевидна для полной экстенциональности. Связанная с первой причина состоит в том, что именно первая несостоятельность запрещает перекрестную референцию изнутри непрозрачных конструкций. Фреге был обязан подчеркнуть все три несостоятельности, так как он рассматривал общие термины и предложения как имена классов и истинностных значений; все неудачи экстенциональности оказались неудачами подстановочности тождественного². Неудачи подстановочности тождественности, более того, недопустимы с точки зрения Фреге; таким образом, он номинально исправил их, постановив, что, если предложение или термин встречаются внутри конструкции пропозициональной установки или ей подобной, они перестают именовать истинностное значение, класс или индивида и начинают именовать пропозицию, атрибут или «индивидуальное понятие». (В некоторых отношениях этот подход ближе Черчу, который заострил и развил эту доктрину³.) Я не делаю никаких шагов такого рода. Я не накладываю запрета на неудачу подстановочности, но лишь рассматриваю ее как свидетельство нереференциальной позиции; также я не предусматриваю изменений референции в условиях непрозрачных конструкций.

4.7 Непрозрачность в определенных глаголах

Мы выявили удобный способ так формулировать наши высказывания, выражающие пропозициональную установку, чтобы сохранять выбранные позиции референциальными, а остальные – нереференциальными. Но этот способ по-прежнему не подходит к нашему примеру из § 4.5:

(1) Проверяющий ищет председателя совета больницы,

¹ Russell. *Inquiry into Meaning and Truth*, p. 210 См. также: Reichenbach, p. 277 ff.

² Даже без учета этой специальной доктрины можно установить следующую связь между референциальной прозрачностью и экстенциональностью: если конструкция прозрачна и допускает подстановочность конкретного элемента (§ 7.1), она экстенциональна. Аргумент ясен, однако см. рецензию Черча на мою статью “On Frege’s Way out” для экспозиции разоблачения ошибки в моей адаптации его к теории Уайтхеда и Рассела.

³ Church. *Formulation of Logic of Sense and Denotation*.

так как этот пример не содержит выражения пропозициональной установки. Но его можно сделать таковым, раскрыв «ищет» как «старается найти»:

(2) Проверяющий старается, чтобы проверяющий нашел председателя совета больницы (The commissioner is endeavoring that the commissioner finds the chairman of the hospital board).

Цель этой неудачной английской конструкции – подчеркнуть параллель с предложением «Том верит, что Цицерон обличил Катилину». Теперь, если мы перенесем на этот пример конвенцию, о которой шла речь двумя страницами раньше, термин «председатель совета больницы» займет нереференциальную позицию в предложении (2). Предложение (2) развивает (1) так, что «ищет. . .» считается непрозрачным. Чтобы получить развитие (1) в направлении прозрачности, мы должны поработать над (2) с тем, чтобы вывести «председатель совета больницы» из охвата непрозрачного «старается, чтобы». Такая работа над (2) представляет собой в точности то действие, которое, будучи произведено над предложением «Том верит, что Цицерон обличил Катилину», дало «Том верит – Цицерон обличил Катилину». В применении к (2) это действие дает:

(3) The commissioner is endeavoring (-to-cause) the chairman of the hospital board to be found by the commissioner^{29*}.

Заметим, что непрозрачным является в (3) то 'to', что стоит после 'board', а не то, что стоит в скобках; выражение в скобках для наших целей является просто частью флексии «старается» (см. конец § 4.6).

Таким образом, (2) истолковывает (1) как содержащее непрозрачное «ищет. . .», а (3) истолковывает (1) как содержащее прозрачное «ищет. . .». Это значит, что (2) истолковывает (1) таким образом, что подстановка «кто-то» на место «председатель совета больницы» приводит к бессмыслице; (3) истолковывает (1) таким образом, что та же подстановка термина «кто-то» дает осмысленное предложение. В другом случае (2) истолковывает (1) таким образом, что подстановка «декан» на место «председатель совета больницы» делает предложение ложным; (3) истолковывает (1) таким образом, что та же подстановка термина «декан» сохраняет истинность предложения.

Как в (2), так и в (3) термин «проверяющий» первый раз появляется в референциальной позиции, а второй раз – в нереференциальной. Итак, (1), независимо от того, толкуем ли мы «ищет. . .» в его составе как непрозрачное в духе (2) или как прозрачное в духе (3), есть предложение, чей единственный грамматический субъект неявно играет две роли – референциальную и нереференциальную.

(4) Джорджоне был так назван из-за своего роста –

пример, где этот феномен субъекта, играющего две роли, проявляется ярче; его любой в достаточной степени готов перефразировать в:

Джорджоне был назван именем «Джорджоне» из-за своего роста.

Беря (4) как оно есть, мы должны считать позицию субъекта не (чисто) референциальной из-за нереференциального характера одной из его неявных ролей. И к такому же выводу подводит критерий прямой подстановочности: подстановка в (4), согласно тождеству «Джорджоне = Барбарелли», дает ложное высказывание.

«Проверяющий» в (1) подобным же образом сопротивляется подстановочности, если (1) истолковывается как (2) или (3). Так, предположим, проверяющий, при всей его многозначительности, является наименее компетентным из официальных лиц графства. Подстановка в

(1), согласно этому тождеству, дала бы предложение «Наименее компетентный из официальных лиц старается, чтобы наименее компетентный из официальных лиц нашел и т.д.», если мы истолковываем (1) как (2); а такое предложение с непрозрачным «старается, чтобы», несомненно, следует считать ложным. То же самое произойдет, если истолковывать (1) как (3).

Описание (4) было обычным, но это параллельное описание (1), конечно, является искажением¹. Разумеется, согласно правильному подходу, «проверяющий» должен занимать референциальную позицию в (1) и быть заменимым термином «наименее компетентное официальное лицо» *salva veritate*.

Нереференциальный статус позиции субъекта в (4) исключает возможность того, чтобы «кто-то» занимал ее, и по праву; «Кто-то был так назван из-за своего роста» – это бессмыслица. Но нереференциальный статус позиции субъекта в (1) подобным образом исключал бы возможность ее занятия термином «кто-то», в то время как мы, несомненно, должны настаивать на высказывании «Кто-то ищет председателя совета больницы».

Из приведенных соображений следует, что (1) неправильно истолковывается как в (2), так и в (3). Мы должны поставить «проверяющий» в его втором появлении в референциальную позицию с помощью дополнительного приема, аналогичного тому, что был использован в отношении термина «Цицерон» в (5) или (7) § 4.6. Правильным объяснением (1) с непрозрачным «ищет...» будет не (2) из этого параграфа, а скорее такой аналог (5) из § 4.6:

(5) Проверяющий старается (добиться), чтобы он сам нашел председателя совета больницы (The commissioner is endeavoring (-to-cause) himself to find the chairman of the hospital board).

Правильным объяснением (1) с прозрачным «ищет...» будет не (3) из этого параграфа, а скорее, такой аналог (7) из § 4.6:

(6) Проверяющий старается (добиться), чтобы он сам и председатель совета больницы относились друг к другу как нашедший и найденный.

С предложениями (2) и (3), как таковыми, все в порядке, но – не как с версиями (1).

Если (1) истолковано как (2) или (3), что нельзя было бы оправдать, и также если (1) истолковано как (5), что является одной из двух допустимых интерпретаций, то глагол «ищет...» не рассматривается ни как относительный термин, ни как термин вообще, но – как непрозрачный глагол, функцию которого объясняет в целом весь парафраз. Если, с другой стороны, (1) истолковано как (6), «ищет...» характеризуется как относительный термин. В этом случае субъект и объект в (1) занимают референциальные позиции. Но это не делает (6) более предпочтительным по сравнению с (5). Предложение (5) объясняет (1) с непрозрачным «ищет...», рассматриваемым вследствие этого как не термин, тогда как (6) объясняет (1) с прозрачным «ищет...», понятым, следовательно, как термин; и оба употребления «ищет...» имеют свое применение.

Различие между двумя употреблениями «ищет...» такое же, как различие между охотой на львов вообще и охотой или выслеживанием знакомых львов (§ 4.3). Ведь посмотрите, что происходит с охотой на львов. Точно также, как поиск представляет собой старание найти (*looking for is endeavoring to find*), охота представляет собой старание подстрелить или поймать. Различие между двумя парафразами предложения «Эрнест охотится на львов» *prima facie* есть различие границ охвата:

(7) Эрнест старается, чтобы какой-то лев был таким, что Эрнест застрелил его.

¹ Я обязан здесь замечанию Дэвидсона.

(8) Какой-то лев таков, что Эрнест старается, чтобы Эрнест застрелил его

(ср. (12) и (13) § 4.4, а также (1) и (2) § 4.6). Эта симметричная пара формулировок поучительным образом выдвигает на передний план различие границ охвата, но мы не захотим оставить их в таком виде. Для начала предложение (7) можно с тем же успехом сформулировать более кратко:

(9) Эрнест старается, чтобы Эрнест подстрелил льва.

А (8) – просто ложное, согласно конвенции § 4.6, так как эта конвенция недвусмысленно считает «старается, чтобы» непрозрачным. Предложение (8) подобно предложению (2) из § 4.6 тем, что включает в себя перекрестную референцию изнутри непрозрачной конструкции к неопределенному единичному термину вне ее. Исправляя (8), как мы это сделали с (2) из § 4.6, мы получаем:

Есть лев, относительно которого Эрнест старается (добиться), чтобы он был застрелен Эрнестом (There is a lion which Ernest is endeavoring (-to-cause) to be shot by Ernest).

Или, если мы чувствуем, что можем удерживать в уме намеченные границы охвата неопределенного единичного термина менее экстравагантными способами, то:

(10) Эрнест старается (добиться), чтобы (определенный) лев был застрелен Эрнестом.

Заметим теперь, что (9) и (10) имеют такие же формы, что (2) и (3) настоящего параграфа, за исключением того, что в них употреблен вместо определенного единичного термина неопределенный. Следовательно, возражение против (2) и (3) как версий (1) применимо в равной степени и к (9) и (10) как версиям предложения «Эрнест охотится на львов»; им не удастся поставить «Эрнест» в чисто референциальную позицию в его втором появлении. Пожалуй, так же как мы отказались от предложений (2) и (3) (в качестве версий предложения (1)) в пользу предложений (5) и (6), мы должны отказаться от предложений (9) и (10) (в качестве версий предложения «Эрнест охотится на львов») в пользу предложений:

(11) Эрнест старается (добиться), чтобы он подстрелил льва.

(12) Эрнест старается (добиться), чтобы он и (определенный) лев относились друг к другу как подстреливающий и подстреленный.

Когда «Эрнест охотится на львов» истолковывается как (12), «охотиться» понимается как явный относительный термин. «Охотиться» так употребляется полицейскими в конструкции «охота на человека» ('man-hunting'), но – не в конструкции, выражающей отношение охоты человека на львов (man-hunting lions). «Охотиться» в последнем употреблении, а также в выражении «охота на единорога» и в наиболее распространенном употреблении выражения «охота на льва» не является термином; это – непрозрачный глагол, чье употребление проясняется парафразом (11).

Все, что мы сказали о глаголах «охотиться», «искать...» и «стараться», применимо *mutatis mutandis* к глаголам «хотеть» и «желать»; ведь хотеть значит желать иметь. «Я хочу шлюп» в непрозрачном смысле параллельно (11): «Я желаю себе иметь шлюп (быть владельцем шлюпа)» ('I wish myself to have a sloop (to be a sloop owner)'); «Я хочу шлюп» в прозрачном смысле – «Есть шлюп, который я хочу» – оказывается параллельно (12). Лишь в последнем смысле «хотеть» является относительным термином, соотносящим людей со шлюпами. В другом, или непрозрачном, смысле он вообще не является относительным термином, соотносящим людей

с чем-либо, конкретным или абстрактным, реальным или идеальным. Он в этом смысле представляет собой сокращение в форме глагола, чье употребление устанавливается предложением «Я желаю себе иметь шлюп», где «иметь» и «шлюп» продолжают считаться общими терминами как обычно, но только поверх них накладывается еще конструкция «желаю. . .» ('wish to'). Это следует учитывать философам, обеспокоенным природой объектов желания.

Когда бы ни возникала необходимость рассматривать предложения, способные содержать «хотеть», или «охотиться», или «искать. . .» в непрозрачном смысле, в каком-либо вообще аналитическом ключе, нам надлежит перефразировать их в более ясную идиоматическую форму пропозициональной установки. Проблема прозрачности, таким образом, может быть поставлена и может быть решена, либо как в предложениях (5) и (11), либо как в предложениях (6) и (12), с ясным видением альтернативных обязательств и последствий. Вообще, хорошо взять за правило пытаться объяснять нереференциальные позиции, занимаемые явно непрозрачными конструкциями, при помощи парафраза. Приведенные выше примеры демонстрируют также еще и иное достоинство парафраза: он показывает структуру поразительно непохожую на ту, что обычно ассоциируется с грамматической формой предложений «Эрнест охотится на львов» и «Я хочу шлюп» (ср. «Я слышу львов»).

Когда «охотиться на львов» и подобное понимаются скорее прозрачным образом, в этом редко содержится призыв к парафразу их в идиоматическую форму пропозициональных установок, так как здесь глагол является хорошо функционирующим относительным термином. Обычно нам вполне достаточно идиом «Есть лев, на которого охотится Эрнест», «Есть шлюп, который я хочу»; мы ничего не получаем, расширяя их гротескным образом (12), за исключением целей сравнений того вида, с которыми мы здесь как раз имели дело. Наши парафразы, нацеленные на выявление различия между референциальной и нереференциальной позициями, были в лучшем случае неказистыми; но чем нечто неказистее, тем менее оно необходимо.

ГЛАВА 5. КАТЕГОРИЗАЦИЯ

5.1 Цели и требования категоризации

В различных местах предыдущей главы мы прибегали к практическим временным отклонениям от обыденного языка. Большинство из них в достаточной степени выражали те отклонения, которые на деле допускаются в рамках различных занятий, не предполагающих использование символической логики, и ни одно из них не было радикальным. Некоторые из них представляли собой временные очищения неясных терминов для выполнения ограниченного числа специальных целей закона или календарей. Мы также осуществили еще более мимолетный парафраз двусмысленных терминов, простых или сложных, в целях преодоления внезапно возникающего в процессе коммуникации препятствия; но в общем такие действия остаются в рамках обыденного употребления. Мы прибегали к переменным и скобкам, чтобы вычистить структурные двусмысленности; и если эти инструменты стали доминировать в математической записи, так это во многом благодаря тому, что математическая работа настолько подвержена двусмысленностям перекрестной референции и группирования, что самый простой план – позволить этим инструментам и дальше играть ту же роль. Мы прибегали также к приему «такой, что» в случае двусмысленностей границ охвата; это тоже редко требуется, разве что в связи с затрудненной коммуникацией, которая имеет место в основном в математике. Наконец, мы прибегали к инфинитивным оборотам, чтобы отличить те позиции, которые мыслятся как референциальные, от тех, которые мыслятся как неререференциальные. Что-то подобное время от времени может потребоваться для разрешения сомнений, например, в том, что касается сути исторической ошибки Тома или вопроса о том, кого ищет проверяющий; и все же главным образом это средство полезно, скорее, для аналитических исследований референции, полагания, желания, чем для первично интенционального использования языка в разговоре о других вещах.

Оппортунистическое отклонение от обыденного языка в узком смысле есть часть обыденного языкового поведения. Некоторые отклонения, если нужда, вызвавшая их, сохраняется, могут также сохраняться, становясь, таким образом, элементами обыденного языка в узком смысле; и это – один из факторов эволюции языка. Другие отклонения резервируются для употребления их по мере необходимости.

В связи с задачами этой книги такие отклонения нас меньше интересуют как общие средства помощи в коммуникации, чем как ныне действующие средства понимания референциальной работы языка и прояснения нашей концептуальной схемы. А некоторые такие отклонения имеют еще и дополнительную цель, бесспорно заслуживающую упоминания: упрощение теории. Ярким примером этого является использование скобок. Если сказать о скобках, что они устраняют двусмысленности группирования, то это даст мало представления о том, насколько же они важны. Они позволяют нам итерировать небольшое число одних и тех же конструкций столько, сколько мы хотим, вместо того чтобы постоянно варьировать наши идиомы для поддержания прямого группирования. Они позволяют нам, таким образом, свести к минимуму наш запас базисных функций или конструкций и техник, необходимых для владения ими. Они позволяют нам применять единообразный алгоритм и к длинным выражениям, и к коротким, и использовать в споре подстановки длинных выражений на место коротких, и наоборот,

без корректировки контекста. Но в том, что касается скобок или какой-либо альтернативной конвенции¹, влекущей за собой указанные выгоды, математика не продвинулась бы далеко.

Упрощение теории – также центральный мотив широкого использования искусственной символики в современной логике. Было бы явно глупо засорять логическую теорию вывертами употребления, которые мы можем выпрямить. Сохранять простоту теории там, где это в наших силах, а затем, если мы хотим применить её к конкретным предложениям обыденного языка, трансформировать эти предложения в «каноническую форму», адаптированную к теории, – это часть стратегии. Если бы нам пришлось создавать логику обыденного языка для прямого применения к предложениям в их исходном виде, нам пришлось бы усложнить наши правила вывода множеством способов, не приводящих к ясности. Например, нам пришлось бы позаботиться о противоположных по охвату коннотаций словах «любой» и «всякий» (§ 4.4). Далее, нам пришлось бы включить в теорию правила согласования времен так, чтобы запретить вывод, например, «Джордж женился на вдове» из «Джордж женился на Мэри, а Мэри – вдова». Развивая нашу логическую теорию строго для предложений удобной канонической формы, мы достигаем наилучшего разделения труда: с одной стороны, существует теоретическая дедукция, с другой – работа перефразирования обыденного языка на язык теории. Последнее – наименее аккуратная из двух, но она все же обычно создает не много трудностей для того, кто знаком с канонической символикой. Ибо обычно он сам и есть тот, кто произносит, как часть некоторой данной работы, предложение обыденного языка, о котором идет речь; и он затем может непосредственно судить, отвечает ли парафраз поставленным задачам.

Искусственная символика логики сама, конечно, объясняется в терминах обыденного языка. Объяснение равносильно неявной конкретизации простых механических действий, когда любое предложение в терминах логической символики может быть непосредственно переведено, если не прямо на обыденный язык, то по крайней мере – на частично искусственный (*semi-ordinary*). Скобки и переменные могут сохраниться после такого перевода, так как они не всегда переводимы на обыденный язык при помощи какой-либо простой процедуры. Обычно также результат такой механической экспансии демонстрирует экстраординарную неказистость в построении фраз и экстраординарную монотонность в повторении элементов; но весь словарь, так же как составляющие его грамматические конструкции, принадлежит обыденному языку. Поэтому перефразировать предложение обыденного языка в логические символы явно значит перефразировать его в специальную часть по-прежнему обыденного или частично искусственного языка; ведь формы индивидуальных отличий не важны. Таким образом, мы видим, что парафраз в логические символы в конечном счете не отличается от того, что все мы делаем каждый день, перефразируя предложения во избежание двусмысленности. Главное отличие, если не брать в расчет количество изменений, состоит в том, что в одном случае мотивом является коммуникация, тогда как в другом – применение логической теории.

Ни в том, ни в другом случае синонимия не может использоваться для парафраза. Синонимия для предложений вообще не является таким понятием, смысл которого мы можем с готовностью адекватно прояснить (ср. § 2.6, 2.8); и, если бы даже она была таким понятием, она была бы неприменима в этих случаях. Если мы перефразируем предложение, чтобы устранить двусмысленность, мы ищем не синонимичное предложение, но – более информативное, посредством сопротивления некоторым альтернативным интерпретациям. Действительно, обычно парафраз предложения S обыденного языка в логические символы влечет за собой существенные отклонения. Часто результат S' оказывается менее двусмысленным, чем S , часто он оказывается имеющим истинностные значения в условиях, когда S их не имеет (ср. § 5.5 и дальше), а часто оно даже оказывается обеспечивающим ясную референцию в тех

¹ Лукасевич отмечал, что те же выгоды, что мы получаем от использования скобок, могут быть получены без их помощи путем принятия препозитивного символа для каждой базисной конструкции (в смысле § 2.5) и фиксации, для каждой такой конструкции, числа терминов или предложений, которые она должна включать в себя в качестве непосредственных компонентов. См.: *Tarski*, p. 39.

случаях, когда S использует указательные слова (ср. § 6.8). S' можно было бы действительно вполне естественно назвать синонимом предложения S' частично искусственного языка, на который S' механически переводится, согласно общим объяснениям логических символов; но нет оснований считать S' синонимом S . Его отношение к S ограничивается лишь тем, что конкретная цель, которой старался достичь говорящий при помощи S , среди прочих средств, могла быть вполне успешно достигнута им путем использования S' вместо S . Можно даже позволить ему модифицировать свои задачи соответствующим образом по его желанию.

Отсюда проистекает важность рассмотрения в качестве парадигматической ситуации, в которой исходный говорящий сам перефразирует свои собственные слова, как это делают простые обыватели в своем рутинном уклонении от двусмысленностей; говорящий может, перефразируя, получить совет, а по случаю он даже может быть принужден принять предлагаемый парафраз или заменить один другим, чтобы сохранить свой покой; но его выбор – это единственное, что его связывает. Смутное осознание этого выражено в утверждении, что нельзя навязать другому значение; но понятие о том, что существует определенное, эксплицируемое, но все еще не объясненное значение в уме говорящего, беспричинно. В действительности, просто говорящий есть тот кому приходится судить, продвинет ли подстановка S' на место S в данных обстоятельствах его сиюминутную или нацеленную в будущее программу действий вперед к его удовлетворению, или нет.

В целом канонические системы логической символики лучше всего рассматривать не как законченные символические системы для дискурса на специальные темы, но как частичные символические системы для дискурса на все темы. Существуют катетеризированные символические системы для конструкций и для некоторых из составляющих их терминов, но – ни для какого-либо инвентаря допустимых терминов, ни даже для различия между терминами, которые следует считать простыми, и терминами, чью структуру следует демонстрировать с помощью канонических конструкций. В роли логически простых составляющих, заключенных в каноническую символику, могут выступать термины обыденного языка без ограничения их вербальной сложности. Главенствует здесь *максима ограниченного анализа: показывай не больше логической структуры, чем кажется полезным* для предпринимаемой дедукции или исследования другого вида. Говоря бессмертными словами Адольфа Майера, не чеши там, где не чешется.

По случаю полезный уровень анализа может, напротив, быть таким, что разъединяет простое слово обыденного языка, требуя его парафраза в составной термин, в котором другие термины соединены с помощью канонической символики. Когда это происходит, принятый способ анализа сам обычно зависит от того, на поиск чего нацелено предпринимаемое исследование; опять же здесь нет нужды задавать вопрос ни о единственно верном анализе, ни о синонимии.

Среди полезных шагов парафраза есть, конечно, некоторые, которые довольно регулярно доказывают свою успешность при решении любых, сколь угодно правдоподобных, задач, поставленных проводимым исследованием. В рамках этих шагов можно в не техническом духе вполне оправданно говорить о синонимии, если цель понята как неясная и представляющая собой вопрос степени. Но даже в рамках самого уместного парафраза представление о некой абсолютной синонимии как его цели ведет к путанице и неясности.

Выполнение эффективного алгоритма вывода не в большей степени заботит нас на этих страницах, чем нас заботило осуществление коммуникации. Но упрощение и прояснение логической теории, в которые каноническая логическая символика вносит свой вклад, не только алгоритмична; она еще и концептуальна. Каждая редукция, которую мы выполняем на множестве конституирующих конструкций, нужных для построения предложений науки, есть упрощение в структуре объемлющей их концептуальной схемы науки. Каждое устранение неясных конструкций или понятий, которого нам удастся достичь путем парафраза в более ясные элементы, есть прояснение концептуальной схемы науки. Те же самые мотивы, которые побуждают ученых искать еще более простые и ясные теории, адекватные предмету их специальных

наук, являются мотивами для упрощения и прояснения более широкого каркаса, разделяемого всеми науками. При этом цель называется философской из-за широты затрагиваемого каркаса; но мотивация – та же самая. Поиск самого простого и самого ясного всеобщего образца канонической символики не следует отделять от поиска предельных категорий – описания наиболее общих черт реальности. Не стоит также допускать возражения, что такие конструкции представляют собой конвенции, не обусловленные реальностью; ведь тогда то же самое можно сказать и о физической теории. Правда, такова природа реальности, что одна физическая теория является для нас лучшим проводником, чем другая; но то же самое относится и к каноническим символикам.

5.2 Кванторы и другие операторы

Там, где целью канонической символики является экономия и ясность элементов, нам нужно только показать, как символику *можно* было бы применить к выполнению задач всех идом, которым, как мы считаем, она адекватна; нам не обязательно к ней прибегать. Символические системы средней полноты могут быть менее пригодны к использованию, а различные их формы имеют различные преимущества при решении различных задач. Таким образом, успокоенные тем, что мы ни в коей мере не идем на компромисс со своей свободой, мы можем быть бескомпромиссны в наших редукциях.

Одну яркую редукцию мы уже рассмотрели в § 4.4: мы можем сохранить наши неопределенные единичные термины в позиции субъекта. Идея § 4.4 состояла в том, что это можно делать только тогда, когда есть угроза двусмысленности охвата; но теперь мы также можем настаивать на этом действии как на регулярном условии в узком смысле канонической грамматики. Мы даже можем еще немного стандартизировать способ появления неопределенных единичных терминов, настаивая особо на том, что их появление всегда сопровождается предикатом формы «есть объект x такой, что ... x ...». Ведь это – именно та позиция, которую занимает неопределенный единичный термин, когда мы применяем процедуру «такой, что» из § 4.4, а затем делаем простое предложение, начинающееся с «такой, что», подлежащим с помощью префикса «объект» с тем, чтобы разместить переменные.

Мы также можем расстаться почти со всей категорией неопределенных единичных терминов. Начать с того, что нужда в различии между терминами «любой» и «каждый» или «всякий» уже устранена благодаря нашему использованию конструкции «такой, что» (ср. § 4.4). «Никакой» в его отношении к неопределенным единичным терминам «никакое стихотворение», «никто», «ничто»^{30*} можно перефразировать с помощью термина «каждый» и отрицания. Существенные формы неопределенных единичных терминов сводятся, таким образом, к двум: «всякий F » и «некий F » (в смысле «некий определенный F »), где « F » замещает любой общий термин в форме существительного. Но в целях показательной экономии с этими двумя классами неопределенных единичных терминов, в свою очередь, можно расстаться ради того, чтобы иметь всего два единичных термина – «все» и «нечто». Ведь, как было замечено в предыдущем параграфе, «всякий F » и «некий F » нужны только в позициях «Всякий F есть объект x такой, что ... x ...» и «Некий F есть объект x такой, что ... x ...»; и, ясно, мы можем перефразировать это, в свою очередь, соответственно, как:

- (1) Все есть объект x такой, что (если x есть F , то ... x ...).
- (2) Нечто есть объект x такой, что (x есть F и ... x ...).

Так, все неопределенные единичные термины сводятся к двум: «все» и «нечто», и даже эти два никогда не встречаются иначе, как когда за ними следуют слова «есть объект x [или y , или и т.д.] такой, что». Поэтому мы можем для удобства перевести слово «все» и эти следующие за ним слова в краткую форму путем символизации; и то же самое верно для «нечто». Обычные

символики, служащие этим целям, соответственно – « (x) » и « $(\exists x)$ », для удобства читаемые как «все x таково, что» и «нечто, что x таково, что». Эти префиксы известны по неочевидным, но прослеживаемым причинам как кванторы – универсальный и экзистенциальный.

Возможна также некоторая дальнейшая экономия: нужен только один из наших двух выживших единичных терминов – «все» и «нечто». Другими словами, экзистенциальные кванторы могут быть перефразированы с помощью универсальных, и наоборот, как хорошо известно: « $(\exists x)(\dots x \dots)$ » принимает вид «не (x) не $(\dots x \dots)$ », и наоборот.

Эта последняя редукция имеет небольшое значение. Сведение всех неопределенных единичных терминов к двум видам кванторов куда существеннее, так как оно концентрирует весь сбивающий с толку феномен неопределенных единичных терминов в двух примерах: «все» и «нечто». И еще более важной была ступень, уже достигнутая в § 4.4: четкое разграничение охватов неопределенных единичных терминов. Я объяснял идею квантификации поэтапно, выделив некоторые ее важные аспекты; но Фреге достиг всего сразу, вплоть до финальной редукции универсальных кванторов, в его работе ‘*Begriffsschrift*’ (1879) – тонкой книжке, которая, можно сказать, положила начало математической логике.

Неопределенные единичные термины надстраивались над общими терминами. Теперь они исчезли, оставив после себя квантификацию. Но остаются определенные единичные термины, также надстроенные над общими терминами, а именно единичные дескрипции и демонстративные единичные термины (§ 3.5). Теперь мы можем свести демонстративные единичные термины к единичным дескрипциям, рассматривая «это (this, that) яблоко» как «яблоко здесь (там)», ‘*der hiesige (dortige) Apfel*’. Это употребление указательных слов «здесь» и «там» в качестве общих терминов, атрибутивно присоединенных к термину «яблоко», зависит от указания точно так же, как употребление слов «это» и «то»: не в меньшей и не в большей степени. В случае выражения «это (то) яблоко» вопрос о пространственно временной протяженности, который указывающий жест оставляет открытым, удобным образом решается с помощью общего термина «яблоко» (ср. § 3.5); но то же самое происходит в рамках общего термина «яблоко здесь (там)»; ведь он истинен только относительно того, относительно чего истинны оба его компонента.

Следующий вид определенного единичного термина, который, подобно единичной дескрипции, надстроен над общим термином, – имя класса. В нем за общим термином в форме существительного следует ‘-kind’^{31*} или же общий термин имеет форму множественного числа и ему предшествует «класс...» (‘the class of the’). Другой вид определенного единичного термина – имя атрибута (ср. § 3.9), в котором за общим термином в форме прилагательного, возможно, следует ‘-ness’ или ‘-ity’^{32*}, или же в глагольной форме его окончание изменяется инфинитивно или герундивно: «быть собакой», «(атрибут) бытия собакой», «быть человеком», «ошибаться», «печь пироги». Другой вид определенного единичного термина – имя отношения, формируемое сходным образом: «нахождение следом за» (‘nextness’), «превосходство», «давание».

Мы можем получить некоторую простоту структуры, а также ускорить последующие результаты, категоризируя следующим образом эти определенные единичные термины. Рассмотрим единичную дескрипцию ‘the F ’. Общий термин в роли « F » может быть здесь простым или составным; в частности, он может иметь форму «объект x такой, что $\dots x \dots$ ». Теперь мы можем произвольно настаивать на том, что такова его инвариантная форма, так как сам « F » может быть расширен по желанию до формы «объект x такой, что Fx ». Канонической формой для единичной дескрипции, таким образом, становится:

(3) объект x такой, что $\dots x \dots$

Подобным образом каноническими формами для абстракции класса (как она называется) и абстракции атрибута становятся:

(4) класс объектов x такой, что $\dots x \dots$

(5) быть объектом x таким, что $\dots x \dots$

Отношению можно придать форму, наподобие такой:

(6) быть объектами x и y такими, что $\dots x \dots y \dots$

Следует согласиться с тем, что предложение (6) с его тандемом переменных « x » и « y », распространяет идиому «такой, что» за те пределы, в которых она до сих пор считалась применимой. Более того, предложения (3) – (6), кажется, необоснованно раздувают первоначальную форму. Но выгода такова: мы теперь можем сделать следующий шаг в понимании целых сложных префиксов предложений (3) – (6) как унитарных операторов, поглощающих «такой, что». Именно это мы сделали со сложными префиксами предложений (1) и (2), когда рассматривали их как простые кванторы « (x) » и « $(\exists x)$ ».

Префиксы «объект x такой, что» и «класс объектов x таких, что» явно фигурировали среди базисных операторов математической логики, начиная с Фреге и Пеано, до настоящего времени, обычно в сжатом виде: « $(\mid x)$ » и « \hat{x} ». Будем использовать в качестве префиксов в (5) и (6) просто сами переменные в неизменном виде, а затем заключать каждое отдельное подчиненное предложение в скобки. Тогда предложения (3) – (6) приобретут вид:

(7) $(\mid x)(\dots x \dots), \hat{x}(\dots x \dots), x[\dots x \dots], xy[\dots x \dots y \dots]$.

В последних двух формулах встречается символика абстракции для *интенционалов*: монадические интенционалы, или атрибуты, и диадические интенционалы, или отношения. В таком же духе можно допустить, чтобы одни только скобки без префикса выражали абстракцию меадических (0-адических) интенционалов или пропозиций; так «[Сократ смертен]» будет равнозначно словам «что Сократ смертен» ('that Socrates is mortal') или «бытие Сократа смертным» – в случаях, когда «[Сократ смертен]» рассматривается как указание на пропозицию. Заметим, что в согласии с современной философской практикой я использую термин «пропозиция» для обозначения не предложения, а абстрактного объекта, мыслимого как то, что обозначается простым предложением, начинающимся с «что» ('that-clause'). Такой объект, например – что Сократ смертен – мыслится как относящийся к предложению «Сократ смертен» тем же способом, каким атрибут – например, быть собакой или печь пироги – относится к общему термину: «собака», «печет пироги». Я одним из последних стал бы воздерживаться от вопроса, какого типа объектами они могут быть, но этот вопрос относится к критическому рассмотрению, подходящему больше для следующей главы.

Четыре префикса в предложении (7), подобно кванторам, представляют собой *связывающие переменные* операторы (§ 4.3). Различие состоит лишь в том, что, тогда как кванторы присоединяются к предложениям для производства новых предложений, эти четыре новых оператора присоединяются к предложениям для производства единичных терминов. Предложение, к которому присоединен оператор, называется *охватом* (*the scope*) этого оператора. Охват квантора не является в полной мере охватом неопределенного единичного термина «все» или «нечто» в смысле § 4.4, последние поглощены квантором; ведь охват неопределенного единичного термина включен в сам термин. Охват квантора или другого связывающего переменную оператора – это, скорее, простое предложение, подчиненное конструкции «такой, что», которую поглощает оператор.

В действительности, наши операторы здесь до некоторой степени избыточны. Оператор абстракции класса, на что намекает уже начальное 'the' (определенный артикль) его вербализации в предложении (4), можно свести к оператору единичной дескрипции; ведь мы можем перефразировать « $\hat{x}(\dots x \dots)$ » как:

(8) $(\forall y)(x)(x \in y \text{ тогда и только тогда, когда } \dots x \dots)^1$,

где « \in » – сокращение для относительного термина «есть член...». Если мы сохраняем тем не менее « \hat{x} », мы делаем это в том же духе, в каком мы сохраняем « $(\exists x)$ », несмотря на сводимость последнего к универсальной квантификации; а именно в качестве удобного сокращения.

Этот метод устранения абстракции класса, кстати, терпит неудачу вследствие интенциональной абстракции. Мы не можем, по аналогии с (8), перефразировать « $\alpha(\dots x \dots)$ » как:

(9) $(\forall y)(x)(x \text{ имеет } y \text{ тогда и только тогда, когда } \dots x \dots)$.

То, что (8) оказывается успешной формой там, где (9) терпит неудачу, происходит благодаря различию условий тождественности классов и атрибутов. Поскольку классы с одними и теми же членами тождественны, условие, следующее за « $(\forall y)$ » в (8), определяет y единственным образом. С другой стороны, поскольку атрибуты вообще не полагаются тождественными вследствие лишь того, что одни и те же вещи имеют их, условие, следующее за « $(\forall y)$ » в (9), в общем не может определять, какой атрибут y должен быть исключен.

5.3 Переменные и референциальная непрозрачность

Переменные, получив теперь большую известность, заслуживают того, чтобы пристальнее рассмотреть их связь с референциальной непрозрачностью. Каждый из наших связывающих переменные операторов появился как сжатое выражение конструкции «такой, что» и сопутствующих ей элементов; а переменная, которую связывает оператор, есть переменная, связанная конструкцией «такой, что» самой по себе. Непрозрачность переменных, следовательно, подразумевается уже в том, что было сказано в § 4.6: что может не быть перекрестной референции изнутри непрозрачной конструкции к «такой, что» вне ее. В парафразе для квантификации и других связывающих переменные операций это означает, что *никакая переменная внутри непрозрачной конструкции не связывается оператором, находящимся снаружи*. Нельзя квантифицировать (*quantify into*) непрозрачную конструкцию.

Когда « x » стоит внутри непрозрачной конструкции, а « (x) » или « $(\exists x)$ » – снаружи, следует рассматривать это так, что такое появление « x » не связано таким появлением квантора. Пример – последнее появление « x » в:

(1) $(\exists x)(x \text{ пишет } \langle 9 > x \rangle)$.

Это предложение истинно тогда и только тогда, когда некто пишет « $9 > x$ ». Измени « x » в первых двух его появлениях в предложении (1) на « y » и результат по-прежнему будет истинным тогда и только тогда, когда некто пишет « $9 > x$ ». Измени последнее « x » на « y », и получится обратное. Последнее « x » в предложении (1) не отправляет обратно к « $(\exists x)$ », но выполняет совсем другую работу: оно является частью образованного с помощью кавычек имени трехчленного открытого предложения, содержащего, в частности, двадцать четвертую букву алфавита.

Случай:

(2) $(\exists x)(\text{Том полагает, что } x \text{ обличил Катилину})$ –

¹Эта формула нуждается в модификации для некоторых форм теории классов. См. мою работу “Mathematical Logic”, pp. 131 ff., 155–166, и “On Frege’s Way out”, pp. 153 ff.

подобен предыдущему тем, что « x » находится внутри, « $(\exists x)$ » – снаружи непрозрачной конструкции (если мы придерживаемся конвенции § 4.6). Таким образом, здесь мы снова можем сказать, что « $(\exists x)$ » не удастся связать « x » при таком его появлении. Но предложение (2) отличается от предложения (1) тем, что (1) все же имеет смысл, тогда как (2) – нет.

Конечно, имеет смысл следующее:

(3) $(\exists x)$ (Том полагает, x обличил Катилину).

(4) Том полагает, что $(\exists x)$ (x обличил Катилину).

Но в каждом из этих вариантов « $(\exists x)$ » связывает « x ». В предложении (3) « x » и « $(\exists x)$ » вместе находятся вне непрозрачной конструкции; в предложении (4) они вместе находятся внутри ее.

Референциальную позицию первоначально вполне естественно считать позицией именуемого единичного термина; а критерий такой позиции, а именно подстановочность тождественного, формулировался, соответственно, относительно таких терминов. Производным образом мы были способны говорить о переменных в референциальной позиции, хотя они не именуют; ведь позиция остается той же самой, что бы ее ни занимало. Параллельное замечание открывало § 4.6. Но теперь настало время обратить внимание также на то, что можно натренироваться применять критерий подстановочности непосредственно к переменным, без предварительного упоминания констант. Ведь подстановочность тождественного можно утверждать с помощью переменных как квантифицированное условное предложение:

(5) $(x)(y)$ (если $x = y$ и ... x ..., то ... y ...),

где «... x ...» замещает предложение, в котором « x » полагается занимающим референциальную позицию. Особую важность придает нашей способности объяснить референциальную позицию, не привлекая никаких других единичных терминов, кроме переменных, то, что в § 5.6 другие единичные термины (все, кроме переменных) будут устранены. А понятие референциальной позиции останется.

В предложении (5) подстановочность тождественного имеет немного другой характер по сравнению с тем, какой она имеет в:

(6) Если Туллий = Цицерон и ... Туллий. ..., то ... Цицерон. ...

Легко произвести вполне нормальные предложения для роли «... Туллий. ...», которые нарушают условие (6), и поэтому мы понимаем (6) не как закон тождества, а просто как условие референциальности позиции термина «Туллий» в «... Туллий. ...». С другой стороны, предложение (5) имеет признаки закона; чувствуется, что любая интерпретация «... x ...», нарушающая (5), была бы просто искажением очевидной цели, которой служат пробелы. В любом случае я надеюсь, что это чувствуется, так как для этого имеется хорошая причина. Поскольку непрозрачная конструкция не квантифицируется, позиции « x » и « y » в «... x ...» и «... y ...» должны быть референциальными, если « x » и « y » в этих позициях вообще должны связываться начальными « (x) » и « (y) ». Так как символика (5) очевидно имеет целью связать « x » и « y » кванторами во всех четырех показанных местах, любая интерпретация ... x ..., нарушающая (5), была бы искажением.

Тогда, очевидно, более фундаментальным способом характеризовать референциальную позицию, чем (5), с точки зрения переменных, является указание на связывание: появления переменных должны находиться в референциальном отношении к охвату квантора, который их связывает. Но, если, пытаясь установить, является ли позиция референциальной, мы чувствуем неуверенность в отношении наших интуиции, касающихся кванторов и того, что они

связывают, мы всегда можем вернуться к форме (5) или даже к подстановочности тождественного для константных терминов.

Связывающим переменные операторам, так же как и переменным, было оказано усиленное внимание в § 5.2. Мы теперь получили лучшую перспективу в отношении референциальной позиции с точки зрения переменных. Получается, что мы можем также добавить некоторую живость исследованию пропозициональных установок (§§ 4.6, 4.7) путем использования тех или иных операторов. Ведь глаголы пропозициональной установки могут рассматриваться как относительные термины, предиктируемые объектам, некоторые из которых являются пропозициями, атрибутами или отношениями. Так, «Том полагает, что Цицерон обличил Катилину», «Том полагает – Цицерон обличил Катилину» и «Том верит – Цицерон и Катилина были связаны отношением как обличитель и обличенный» (§ 4.6) становятся соответственно:

- (7) Том полагает [Цицерон обличил Катилину].
- (8) Том полагает – Цицерон x [x обличил Катилину].
- (9) Том полагает – Цицерон и Катилина xy [x обличил y].

Мы можем для большей ясности переформулировать (8) и (9) так:

- (1) Том полагает x [x обличил Катилину] относительно Цицерона.
- (2) Том полагает xy [x обличил y] относительно Цицерона и Катилины.

Этот шаг не означает принятия теории Фреге – Черча (§ 4.6). В предложениях пропозициональной установки я рассматриваю только каждую целую непрозрачно закрытую часть как именующую интенционал. Я не рассматриваю ее компонентные термины и предложения ни как именующие интенционалы, ни как предписывающие изменения референции. Почему я предпочитаю так беззаботно касаться интенциональных объектов, станет ясно в главе 7, где я предприиму действия по их устранению как таковых.

Предложения (7) – (9) имеют соответственные формы « Fab », « $Fabc$ », « $Fabcd$ ». В предложении (7) «полагает» фигурирует как диадический относительный термин, предиктированный человеку и пропозиции. В предложении (8) «полагает» фигурирует как часть триадического относительного термина «полагает...» ('believes of'), предиктированного человеку, атрибуту и человеку. В предложении (9) «полагает» фигурирует как часть тетрадического относительного термина «полагает... и» ('believes of and'), предиктированного человеку, отношению и двум людям. Каждая из позиций, представленных « a », « b », « c » и « d », здесь, как всегда, чисто референциальная. Непрозрачные конструкции, обозначенные в вербальной формулировке с помощью «что» ('that') и 'to'^{33*}, присоединенными к «полагает», в (7) – (9) обозначаются единообразно с помощью скобок интенциональной абстракции.

Эта непрозрачность интенциональной абстракции не является простым следствием нашего прочтения этих конструкций как идиом пропозициональной установки. Ведь, предположительно, тождество пропозиций и атрибутов следует толковать таким образом, что

$$[\text{число главных планет} > 4] \neq [9 > 4] \text{ и } x[\text{число главных планет} > x] \neq x[9 > x],$$

даже несмотря на то, что число главных планет = 9. Эта несостоятельность подстановочности тождественного показывает, что позиция «9» в « $[9 > 4]$ » или в « $x[9 > x]$ » не референциальная. Но она референциальная в « $9 > 4$ » и « $9 > x$ ». Таким образом, абстракция пропозиций и атрибутов – непрозрачная. Такова же и абстракция отношений.

Далее, пусть « p » и « q » обозначают любые два истинных предложения, таких, что $[p] \neq [q]$. Вероятно, тогда

$$[\delta p = 1] \neq [\delta q = 1]$$

(ср. § 4.6), даже несмотря на то, что $\delta p = \delta q$; так пропозициональная абстракция еще раз демонстрирует свою непрозрачность. Ради параллельного аргумента, касающегося абстракции атрибута, примем, что A и B совпадают по объему, но являются разными атрибутами. (Если бы таких не было, мы могли бы забыть про атрибуты и всегда говорить только о классах.) Предположительно, тогда

$$x[x \in \hat{y}(y \text{ имеет } A)] \neq x[x \in \hat{y}(y \text{ имеет } B)],$$

даже несмотря на то, что $\hat{y}(y \text{ имеет } A) = \hat{y}(y \text{ имеет } B)$.

Заметим, что в случае абстракции атрибутов непрозрачная конструкция включает начальный «х» вместе со скобками. Иначе начальный «х» был бы оператором снаружи и, таким образом, не был бы способен связать переменную внутри.

Теме непрозрачности будет подведен итог в § 6.2.

5.4 Время. Ограничение общих терминов

Наш обыденный язык выказывает надоедливое пристрастие в своем отношении к времени. Отношения даты выделяются грамматически как отношения позиции, отношения веса и цвета – нет. Само по себе это пристрастие не элегантно и нарушает принцип теоретической простоты. Более того, форма, которую оно принимает, – требования, чтобы каждая глагольная форма имела временной модус – особенно продуктивно в порождении ненужных усложнений, так как она требует попусту говорить о времени даже тогда, когда наши мысли меньше всего заняты этим предметом. Поэтому обычный способ формулировать канонические символики – исключить временные различия.

Мы можем для удобства сохранить грамматическую форму настоящего времени как таковую, но рассматривать ее как темпорально нейтральную. Так поступают в математике и других отраслях науки с преобладанием теоретического компонента, не заключая преднамеренно никакой конвенции. Так, из предложения «Семь из них остались, а семь есть нечетное число» можно без колебаний вывести «Нечетное их число осталось», невзирая на осязаемую несостоятельность аналогичного вывода из предложения «Джордж женился на Мэри, а Мэри есть вдова». Чувствуется, что «есть», стоящее после «семь», – вневременное, в отличие от «есть», стоящего после «Мэри», даже если не принимать в расчет изысков канонической символики.

Изыск состоит в том, чтобы считать форму настоящего времени всегда вневременной и отказаться от прочих времен. Этот изыск дает нам свободу опускать темпоральную информацию или, если мы хотим, обращаться с ней как с пространственной информацией. «Я не сделаю этого снова» становится «Я не делаю этого после теперешнего момента», где «делаю» рассматривается как безвременное, а сила будущего времени «с-» ('will') передается фразой «после теперешнего момента», сравнимой с фразой «на запад отсюда». «Я звонил ему, но он спал» становится «Я звоню ему тогда, но он спит тогда», где «тогда» указывает на какое-то время, подразумеваемое обстоятельствами произнесения.

Это улучшение делает выводы, подобные приведенным выше для случаев с семьей и Джорджем, удобно открытыми для логического освидетельствования. Обоснованный (*valid*) вывод, касающийся семи, с модусами настоящего времени читается вневременным образом: «Семь из них тогда остаются, и семь есть нечетное число; следовательно, нечетное их число тогда остается». В этой форме вывод больше не имеет необоснованного (*invalid*) аналога в виде вывода о Джордже и Мэри, но – только действительный: «Джордж женится до момента теперь

на Мэри, и Мэри теперь есть вдова; следовательно, Джордж женится до момента теперь на (той, кто) теперь есть вдова». (Писать ли «женится до момента теперь», как здесь, или – «тогда женится», параллельно примеру с семьей – это просто вопрос о том, предполагать ли, что предложения следуют за какой-то ссылкой на конкретное прошлое событие? Я предполагал это в одном примере и не предполагал – в другом.)

Такое переформулирование модусов времени искажает английский язык, хотя едва ли незнакомым образом; ведь считать время равнозначным пространству – это не нововведение естественной науки. Не надо далеко ходить за примерами сложностей, уменьшаемых таким способом, не относящихся к сфере логического вывода. Одна из них – проблема Гераклита (§ 3.8). Если мы полагаем временную протяженность реки равнозначной ее пространственной протяженности, мы видим в том, чтобы ступить в ту же реку два раза, не большую трудность, чем в том, чтобы сделать это в двух местах. Более того, изменение речного вещества в данном месте от раза к разу полагается тогда вполне равнозначным различию речного вещества в данный момент времени от места к месту; то, что река одна и та же, оспаривается в первом случае не в большей степени, чем во втором.

Проблема Гераклита уже рассматривалась в § 3.8 без помощи приравнивания времени к пространству, но интуитивно, такое приравнивание помогает. Подобный метод применим к разрешению проблем личной тождественности: пространственно-временной взгляд помогает оценить то обстоятельство, что нет причины, по которой мои первое и пятое десятилетия не должны, подобно моим голове и ногам, считаться частями одного и того же человека, как бы он ни был не похож на себя. Нет необходимости в существовании какого-либо неизменного ядра, чтобы конституировать меня – одного и того же человека в обоих десятилетиях, – так же как нет необходимости в существовании некоего особого Куайнова фактурного качества, общего для протоплазмы моей головы и моих ног; хотя и то и другое возможно¹.

Физические объекты, понятые, таким образом, как располагающиеся в четырех измерениях в пространстве и во времени, не следует отличать от событий или, в конкретном смысле термина, процессов². Каждый включает в себя просто некоторую порцию пространства-времени, хотя и гетерогенную, как бы та ни была прерывиста и разграничена. Тогда следующая подробность отличает материальные вещества от других физических объектов: если объект есть вещество, то существуют относительно мало атомов, находящихся частично в нем (временно), а частично – вне его.

Парадоксы Зенона, если поначалу и могут нас запутать, становятся менее запутанными, если время рассматривается наподобие пространства. Типичные парадоксы состоят в существовании своем в разделении конечного расстояния на бесконечно много частей и в утверждении, что надо затратить бесконечное время, чтобы пересечь их все. Рассмотрение времени по образцу пространства помогает нам понять, что бесконечно много периодов времени могут точно так же складываться в конечный период времени, как конечное расстояние может быть разделено на бесконечно много составляющих его расстояний.

Обсуждению парадокса Зенона, так же как многого другого, помогает изображение времени как расстояния. Заметим в таком случае, что такие изображения представляют собой, вполне буквально, полагания времени подобным пространству.

Точно так же, как вперед и назад различимы только относительно ориентации, согласно принципу относительности Эйнштейна, пространство и время различимы только относительно скорости. Это открытие не оставляет никакой разумной альтернативы полаганию времени

¹Ср.: Goodman. Structure of Appearance, p. 94.

²Они есть то, что Стросон (Individuals, pp. 56 f.) отверг как *процессуальные предметы*, «не отождествимые ни с процессами, которые происходят в предметах, ни с предметами, в которых происходят процессы. ... Я был озабочен исследованием ... категорий, которыми мы реально располагаем, а категория процессуальных предметов такова, что мы ее не имеем и в ней не нуждаемся». Он поддерживает проведенные различия примерами словоупотребления. Учитывая его озабоченность сохранением словоупотребления, я считаю, что он прав. Но наша непосредственная забота – канонические отклонения.

подобным пространству. Но выгоды, рассмотренные выше, независимы от принципа Эйнштейна¹.

Модусы времени следует в таком случае заменять такими темпоральными характеристиками, как «теперь», «тогда», «перед t », «в момент t », «после t », и – только тогда, когда это необходимо. Эти характеристики можно экономично систематизировать следующим образом.

Каждый отдельный момент времени или период, длиной, скажем, в один час, можно рассматривать как срез четырехмерного материального мира толщиной в один час, исключительно пространственный и перпендикулярный оси времени. (Является ли что-либо периодом в таком смысле, зависит, согласно теории относительности, от точки зрения, но его существование в качестве объекта – нет.) Мы должны думать о моменте t как о периоде любой желаемой длительности и любого желаемого положения на оси времени². Тогда, если x – пространственно-временной объект, то мы можем толковать « x в момент t » как имя общей части x и t . Таким образом, «в момент» ('at') рассматривается как термин, равносильный сопоставляющей символике, которую иллюстрирует единичный термин «красное вино» (§ 3.5). Красное вино – красное у (at) вина.

Мы легко распространяем термин «в момент» на классы. Если z – человечество, то z в момент t можно объяснить как класс $\hat{y}(\exists x)(y = (x \text{ в момент } t) \text{ и } x \in z)$ соответствующих появлений человека.

Мы можем считать указательные слова «теперь» и «тогда» равными словам «я» и «ты», понятым как единичные термины. Точно так же, как временные и смещающиеся объекты референции «я» и «ты» – это люди, временные и смещающиеся объекты референции слов «теперь» и «тогда» – это моменты времени или периоды. «Я теперь» и «я тогда» значат «я в момент теперь» и «я в момент тогда»; обычай сформировался таким образом, что «в момент» в этих случаях опускается, как 'at' в случае 'red wine' («красное вино»)³.

«Перед» можно истолковывать как относительный термин, предицируемый моментам. Такие конструкции, как « x есть поедаящий (is eating) у перед t » и « x есть поедаящий у после t », тогда превращаются в:

$$\begin{aligned} (\exists u)(u \text{ есть перед } t \text{ и } x \text{ в } u \text{ есть поедаящий } y), \\ (\exists u)(t \text{ есть перед } u \text{ и } x \text{ в } u \text{ есть поедаящий } y). \end{aligned}$$

В этом примере я предпочел использовать длительную форму «есть поедаящий» ('is eating') а не «ест» ('eats'), поскольку меня интересует состояние, а не диспозиция; для сравнения – «Тэбби ест мышей» (§ 4.3). Временные характеристики применимы в равной степени и к последнему, так как могло быть время, когда Тэбби не имела вкуса к мышам, и может

¹Открытие Эйнштейна и его интерпретация Минковским, конечно, дали важный толчок пространственно-временному мышлению, которое последовало за ними и заняло господствующие позиции в философских конструкциях Уайтхеда и других. Но идея парафраза предложений, содержащих модусы времени, в терминах внешних отношений предметов к моментам времени была достаточно ясной и до Эйнштейна. См., например: *Russel. Principles of Mathematics* (1903), p. 471. Дальнейшее обсуждение устранения модусов времени см. в моей работе: *Elementary Logic*, pp. 6f., 111–115 ff.; *Goodman. Structure of Appearance*, pp. 296 ff.; *Reichenbach*, pp. 284–298; *Taylor; Williams*.

²Проблему мгновения или периода, не имеющего длительности, лучше здесь не затрагивать и оставить до рассмотрения в § 7.5.

³В работе «Individuals», p. 216, Стросон возражает против рассмотрения «теперь» как единичного термина. Его аргумент состоит в том, что «теперь» не устанавливает никаких временных границ. Возможный ответ мог бы состоять в защите смутности; другой ответ мог бы состоять в толковании временных границ как границ самого короткого произнесения формы предложения, содержащего рассматриваемое произнесение «теперь». Последний ответ – это ответ в нашем духе искусственного разграничения, и мы должны заметить, что пассаж Стросона имеет другой контекст. Я даже разделяю некоторым образом доктрину, в скрытую поддержку которой он вовлечен, так как я думаю, что она согласуется с моими соображениями о приоритете неанализируемых ситуативных предложений в теории радикального перевода и обучения языку в детстве.

наступить время, когда она потеряет этот вкус. Так, мы можем сказать «Тэбби ест мышей в момент теперь», «Тэбби ест мышей в момент t », так же как: «Тэбби есть поедаящий мышей в момент t »; но в одном случае мы сообщаем об этапе в его развивающейся манере поведения, тогда как в другом – мы сообщаем об отдельном событии его поведения.

В средствах канонической символики, которые мы до сих пор рассматривали, еще не встречалось ничего, пригодного для анализа терминов «есть поедаящий» и «ест мышей» или даже «ест мышей» и «ест рыбу» с целью различения каких-либо общих элементов. Не много помощи будет нам в этом и от сказанного на последующих страницах. Ведь я не знаю никакого общего анализа таких терминов, который бы улучшил ситуацию, пусть даже сколь угодно неудовлетворительным образом, в которой оставляет их обыденный язык. Для выполнения особых задач вполне можно перефразировать диспозициональное предложение, вроде «Тэбби ест мышей» в более искусственное предложение, образованное с помощью канонических символик, длительной формы глагола и других элементов; но можно ожидать, что такой парфраз будет включать в себя детали, которые подходят только для данного случая и для данных целей, и не является общепарадигмальным. По этой причине наш анализ в § 5.3 также не привел ни к какому предложению по анализу относительных терминов «полагает», «полагает. . .», «полагает. . . и» ('believes', 'believes of', 'believes of and') и т.д. с целью выявления каких-либо общих элементов.

Где не использовать каноническую символику, где оставлять компоненты в неанализированном виде – обычно зависит от конкретных целей (§ 5.1). Но то, что обычно остается неанализированным, имеет форму термина; точнее, общего термина, так как мы увидим, как устранить единичные термины (§ 5.6). Более того, этот остаточный общий термин регулярно оказывается в конце концов в позиции предиката. Мы уже засвидетельствовали склонность общих терминов стоять в позиции предиката, когда проводили категоризацию символики. Так, предложения «Я теперь имею собаку» и «Всякая собака лает» демонстрируют общий термин «собака» как часть неопределенного единичного термина; их парфразы:

$(\exists x)(x \text{ есть собака и я теперь имею } x)$,
 $(x)(\text{если } x \text{ есть собака, то } x \text{ лает})$ –

предоставляют ему позицию предиката. В предложениях «Черепашки суть рептилии», «Пауль и Элмер суть сыновья коллег», «Буйвол стало меньше» и «Я теперь слышу львов» шесть общих терминов стоят в модусах множественного числа; в парфразах:

$(x)(\text{если } x \text{ есть черепаха, то } x \text{ есть рептилия})$,
 $(\exists x)(\exists y)(\text{Пауль есть сын } x \text{ и Элмер есть сын } y, \text{ и } x \text{ есть коллега } y)$,
 $(\exists t)(t \text{ есть перед теперь и } \hat{x}(x \text{ есть буйвол}) \text{ теперь меньше, чем } \hat{x}(x \text{ есть буйвол}) \text{ в } t)$,¹
 $(\exists x)(x \text{ есть лев и я теперь слышу } x \text{ и } (\exists y)(y \neq x \text{ и } y \text{ есть лев, и я теперь слышу } y))$ (ср. § 3.8)

все шесть общих терминов стоят в позиции предиката. Появление общих терминов в составе единичных терминов вида 'the F ' и 'to be F ' преобразуется подобным же образом в позицию предиката: $(\lambda x)Fx, x[Fx]$.

В §§ 3.5 и 3.6 мы отметили способы, которыми один общий термин может быть частью другого. Один такой способ – когда (относительный) общий термин дополняет единичный термин до общего термина формы ' F of b '. Другой – когда один общий термин атрибутивно присоединяется к другому; таковы ' F G ', «красный шар». В обоих случаях составной общий термин в позиции предиката может быть опущен: ' $(F$ G) x ' сводится к ' Fx and Gx ', а ' $(F$ of

¹См. трактовку класса в момент t выше.

$b)x'$ – к ' Fxb '. Компонентные термины оказываются в конце концов в позиции предиката. То же самое верно и для других алгебраических моделей композиции: таковы « F и G » и « F или G ». Предикация « $(F$ или $G)x$ » упрощается в « Fx или Gx », а предикация « $(F$ и $G)x$ » – в « Fx и Gx ».

Такие алгебраические конструкции в результате представляют собой случаи формы «такой, что»: « F или b » есть «объект x такой, что Fxb », « F и G » – «объект x такой, что Fx и Gx » и т.д. Наблюдаемое устранение таких конструкций в позиции предиката есть, таким образом, в конечном счете, просто устранение формы «такой, что» в позиции предиката (§ 4.4). Заслуживает внимания, что конструкции «такой, что» или, что оказывается тем же самым, относительно простому предложению нет места в канонической символике. Этой конструкции отводилось важнейшее место, но в § 5.2 она в своей полезной функции была поглощена другими, более специальными, связывающими переменные операторами.

Остаются еще нередуцированные способы, какими общие термины могут встречаться в составе других общих терминов. Есть дополнение общего термина наречием или синкатегорематическим прилагательным до более сложного общего термина (§§ 3.5, 3.6, 4.2, 4.3). Есть сопоставление общих терминов в позиции подлежащего, дающее часто случайные смыслы (§ 3.5). По этой причине существуют диспозиционные комбинации, наподобие «ест мышей». Я не говорю, что составляющие общие термины в таких случаях сводятся к позиции предиката; весь остальной общий термин, получившийся в результате нашего парафраза, занимает позицию предиката, а не его части. Внутренняя структура этих неподатливых составных терминов с точки зрения канонической символики вообще не является структурой. Или если для особых целей такой термин перефразирован с помощью канонической символики способами *ad hoc*, то его компонентные термины также занимают позицию предиката. Короче говоря, дело в том, что единственная каноническая позиция общего термина – это позиция предиката, каково бы ни было неканоническое основание этого термина.

Из этого все еще не следует, что общие термины в конце концов оказываются лишенными канонического основания. Напротив, на самом деле они его имеют, за исключением случая принятия определенного варианта рассмотрения, который будет представлен в § 6.5. Даже этот вариант не делает непосредственными составляющими общих терминов другие общие термины, но он делает предложения непосредственными составляющими некоторых из них.

5.5 Новый разбор имен

Постоянный единичный термин, простой или сложный, редко будет употребляться в чисто референциальной позиции до той поры, пока говорящий не поверит или не притворится, что есть нечто, причем одно-единственное, что этот термин обозначает. Для нас, знающих, что нет такого существа, как Пегас, предложение «Пегас летает», возможно, не является ни истинным, ни ложным (ср. § 3.7).

Существуют предложения, содержащие термин «Пегас», которые мы не считаем ни истинными, ни ложными. Пример: «Гомер верил в Пегаса» – мы к нему вернемся; но здесь можно считать позицию неререференциальной. Другой пример: «Пегас существует» или «Есть (такая вещь, как) Пегас»; посмотрим, является ли здесь позиция, которую занимает термин «Пегас», чисто референциальной. Конечно, если предложение формы «... существует» истинно и его субъектный термин замещен другим термином, обозначающим тот же самый предмет, то результат будет истинным; таким образом, согласно этому стандарту, рассматриваемая позиция – чисто референциальная. И все же это странно, поскольку мало ясного смысла в « $(x)(x$ существует)» или « $(\exists x)(x$ существует)».

Достаточно взглянуть на « $(\exists x)(x$ существует)», чтобы увидеть, что наше замешательство – одно из многих: что «существует», возможно, не играет никакой самостоятельной роли в нашем словаре, если в нем у нас в распоряжении имеется « $(\exists x)$ ». Не лучше ли само

предложение «Пегас существует» произносить как « $(\exists y)(y = \text{Пегас})$ »? Согласно этому плану « $(x)(x \text{ существует})$ » и « $(\exists x)(x \text{ существует})$ » преобразуются в « $(x)(\exists y)(y = x)$ » и « $(\exists x)(\exists y)(y = x)$ » и оказываются, таким образом, тривиально истинными. Мы здесь истолковали «существует» как обычный общий термин или предикат, но – тривиальный: мы поняли « $x \text{ существует}$ » как « $(\exists y)(y = x)$ », что, как и « $x = x$ », истинно относительно всего. При этом все же остаются аномалии. Положение, когда « $(x)(x \text{ существует})$ » истинно и «Пегас» занимает чисто референциальную позицию в предложении «Пегас существует», выглядит странным, так как «Пегас существует» должно быть ложным. Эта аномалия сохраняется и после предложенного расширения «существует»: по-прежнему выглядит странным положение, когда « $(x)(\exists y)(y = x)$ » истинно и «Пегас» занимает референциальную позицию в « $(\exists y)(y = \text{Пегас})$ », так как последнее должно быть ложно. Кроме того, здесь имеется определенная аномалия, выражающаяся в том, что, вразрез с общей тенденцией, упомянутой в начале этого параграфа, мы хотим выделить «Пегас существует» или « $(\exists y)(y = \text{Пегас})$ » скорее как ложное предложение, чем как ни истинное, ни ложное. Наконец, независимо от всех технических проблем такого рода, есть что-то неправильное в признании того, что «Пегас» может вообще занимать чисто референциальную позицию в выражениях истины и лжи; ведь интуитивная идея, стоящая за фразой «чисто референциальная позиция», предположительно заключается в том, что термин употребляется исключительно с целью конкретизации объекта, о котором остальная часть предложения что-то высказывает (§ 4.5).

Единичные термины, у которых, как и у термина «Пегас», нет своих объектов, вызывают, таким образом, проблемы; и не только в связи с понятием чисто референциальной позиции. Простое появление провалов истинностного значения (*truth-value gaps*), как их можно назвать, – случаев, когда, повторяя за Стросоном, вопрос об истинностном значении не возникает, – если это допустить, добавило бы скучные усложнения в дедуктивную теорию. Действительно, нас никогда не беспокоило, что открытые предложения не имеют истинностных значений (§ 4.3), но открытые предложения можно узнать по способу их записи. Особое неудобство провалов истинностного значения, которые здесь рассматриваются, состоит в том, что их нельзя систематически распознать по их символической форме. Имеет ли предложение «Пегас летает» истинностное значение, поставлено в зависимость от существования таких предметов, как Пегас. Имеет ли предложение, содержащее выражение «автор *Уэверли*», истинностное значение, поставлено в зависимость оттого, один человек или два написали «Уэверли». Даже такие провалы истинностного значения можно допустить и справиться с ними – возможно, лучше всего с помощью чего-то подобного трехзначной логике. Но они остаются скучным усложнением и, в качестве такового, не обещают никакого улучшения понимания.

Не следует полагать, что эти разнообразные сложности происходят только из педантичного различия между тем, что ложно, и тем, что ни истинно, ни ложно. Мы ничего не получим, объединив эти две категории под одну категорию ложности; ведь они разделены, под какими бы то ни было именами, тем, что одна категория содержит отрицания всех своих членов, тогда как другая – отрицания ни одного из своих членов.

Таковы, таким образом, характерные проблемы, касающиеся единичных терминов, несостоятельных в отношении обозначения. Первородный грех был до некоторой степени зафиксирован в § 3.6. Это – образование составных единичных терминов; а в качестве примера там фигурировало выражение «это яблоко». Соответственно, может напрашиваться реформа следующего непрактичного вида. Мы могли бы настаивать на том, чтобы единичный термин (оставим в стороне переменные) никогда не записывался в форме единичного слова, если он не выучен в этой форме, как «мама» и «вода», посредством обусловливания примитивного вида, предшествовавшего изучению сложных единичных терминов. Мы могли бы настаивать на том, чтобы все остальные единичные термины (без учета переменных) считались сложными на основании рефлексии по поводу того, как они выучены. Тогда мы могли бы разработать техники, которые отвечали бы возможным неудачам обозначения со стороны этих явно структурированных единичных терминов, сохраняя между тем существование десигнатов простых

единичных терминов. Такой подход напоминает, хотя немного карикатурно, раннюю философию собственных имен и дескрипций Рассела. Как бы то ни было, он безнадежен, так как каждый имеет свою особую историю изучения терминов и никто не ведет ее запись. Более того, нет очевидной причины, почему следует ставить улучшение нашего концептуального аппарата в зависимость от исправленных новых обращений к его происхождению. Непрерывная эволюция, ускоренная и направленная творческим воображением, сослужила науке лучшую службу.

Следующее наблюдение поможет нам сузить проблему. Пусть « a » – единичный термин, а « $\dots a \dots$ » – любое предложение, в котором « a » занимает чисто референциальную позицию. Подставляя тождественное, так как позиция чисто референциальная, получим

$$(1) (x)(\text{если } x = a \text{ и } \dots x \dots, \text{ то } \dots a \dots).$$

Я будут полагать « x » не входящим в предложение, представленное как « $\dots a \dots$ ». (Если нет, следует выбрать другую букву.) Но тогда, согласно элементарной логике квантификации, (1) эквивалентно:

$$(2) \text{ Если } (\exists x)(x = a \text{ и } \dots x \dots), \text{ то } \dots a \dots$$

Напротив, более того,

$$(3) \text{ Если } \dots a \dots, \text{ то } (\exists x)(x = a \text{ и } \dots x \dots),$$

так как, если $\dots a \dots$, то $a = a$ и $\dots a \dots$. Предложения (2) и (3) вместе показывают, что « $\dots a \dots$ » эквивалентно « $(\exists x)(x = a \text{ и } \dots x \dots)$ », содержащему « a » только в позиции « $= a$ »¹.

Это показывает, что появление всех единичных терминов, кроме переменных, в чисто референциальной позиции может быть сведено к позиции вида « $= a$ ». Но это не показывает, что то же самое верно для переменных, поскольку достаточно посмотреть на разнообразные появления « x », требуемые в самом « $(\exists x)(x = a \text{ и } \dots x \dots)$ »; но это не имеет значения, так как единичные термины, которые вызывают проблемы, не являются переменными.

Далее, интересная характеристика нашей способности устанавливать вызывающие проблемы единичные термины в стандартную позицию « $= a$ » состоит в том, что, если рассматривать « $= a$ » как целое, мы имеем в результате предикат или общий термин; а общие термины не вызывают ни одну из проблем, вызываемых единичными терминами. Напрашивается разбор конструкции « $=$ Пегас», « $=$ мама», « $=$ Сократ» и т.д. как неразложимых на части общих терминов, при том, что никакого отдельного распознавания единичных терминов «Пегас», «мама», «Сократ» и др. для других позиций не требуется.

Равенство « $x = a$ » разбирается в результате по-новому как предикат « $x = a$ », где « $= a$ » – глагол, « F » – как « Fx ». Или посмотрим на это следующим образом. То, что выражалось словами « x есть Сократ» и символами « $x = \text{Сократ}$ », теперь выражается словами по-прежнему как « x есть Сократ», но «есть» больше не рассматривается как отдельный относительный термин « $=$ ». «Есть» теперь рассматривается как связка, которая, как в случаях «есть мертвый» и «есть человек», служит исключительно для придания общему термину формы глагола и для приспособления его тем самым к позиции предиката. «Сократ» становится общим термином, истинным относительно одного-единственного объекта, но – общим в том отношении, что он отныне рассматривается как грамматически допустимый в предикативной позиции, но не в позициях, подходящих для переменных. Он теперь играет роль « F » в « Fa » и больше не играет роль « a ».

¹ По ходу дела я могу заметить, что, как известно изучающим логику, эта трансформация не единственная возможная. Часто есть выбор между более длинными или более короткими сегментами текста в роли « $\dots a \dots$ ».

Этот новый разбор зависел от теоремы соответствия единичных терминов позиции « $=a$ ». Но эта теорема применялась только к чисто референциальным употреблением терминов. А как обстоят дела с их употреблением перед «существует», которое так трудно классифицировать и которое так богато аномалиями? Оно подвергается усовершенствованию. Наше плохо сыгравшее свою роль предыдущее предложение « $(\exists x)(x = \text{Пегас})$ » в качестве парафраза предложения «Пегас существует» становится самим собой, если « $x = \text{Пегас}$ » разбирается как « x есть Пегас», где «Пегас» – общий термин. «Пегас существует» становится « $(\exists x)(x \text{ есть Пегас})$ » и, следовательно, прямо ложным; «Сократ существует» становится « $(\exists x)(x \text{ есть Сократ})$ », где «Сократ» – общий термин, оно, вероятно, истинное (с нейтральным по отношению к временам «есть», разумеется). «Сократ» теперь – общий термин, хотя и истинный, по случаю, относительно всего лишь одного объекта; «Пегас» – также теперь общий термин, который, подобно термину «кентавр», истинен относительно ни одного объекта. Позиция терминов «Пегас» и «Сократ» в « $(\exists x)(x \text{ есть Пегас})$ » и « $(\exists x)(x \text{ есть Сократ})$ » теперь, конечно, недоступна для переменных и, конечно, не является чисто референциальной позицией, но только потому, что эта позиция просто не является позицией единичного термина; « x есть Пегас» и « x есть Сократ» теперь имеют форму « x есть круглый».

Не разобранными остались те не чисто референциальные употребления единичных терминов, которые имеют другие формы, чем « a существует»; таково, возможно, «Гомер верил в Пегаса». Этот пример можно расширить с целью продемонстрировать предложение внутри предложения так: «Гомер полагал, что Пегас существует» или «Гомер полагал [Пегас существует]» – предложение, содержащееся в другом, имеет форму, которую мы уже разобрали. Есть другие примеры, которые не так очевидно соответствуют случаю пропозициональных установок; таковы: «Том думает о Пегасе», «воображает Пегаса», «описывает Пегаса», «рисует Пегаса»¹. Но, возможно, их можно путем некоторого насилия привести к этому виду. Возможно, с предложением «Том рисует Пегаса» можно совладать каким-то таким способом: «Том делает набросок, который, он воображает, похож на Пегаса», т.е.:

$(\exists y)(\text{Том теперь делает } y, \text{ и Том теперь воображает } x[x \text{ похож на Пегаса}] \text{ относительно } y)^2$.

Возможно, с предложением «Том воображает Пегаса» можно справиться, трактуя его как «Том воображает себя видящим Пегаса», т.е.:

Том теперь воображает $x[x \text{ видит Пегаса}]$ относительно Тома.

Смысл таких усилий заключался бы в том, чтобы поставить единичный термин в референциальную позицию по отношению к его непосредственному объемлющему предложению и, таким образом, считать его доступным для нового разбора в этом непосредственном контексте, будь даже более широкий контекст непрозрачным³.

Под угрозой введения новых проблем анализа общих терминов предложенный новый разбор единичных терминов как общих терминов должен ограничиться теми единичными терминами, которые не имеют внутренней структуры, увековечиванием которой мы озабочены. Какие это термины не есть вопрос о том, как термины впервые были изучены, и не вопрос о том, являются ли они единичными словами английского языка; это – вопрос конкретных нужд аргумента или исследования, в которое мы можем вообразить себя вовлеченными. Единичные

¹Ср.: Chisholm. Sentences about believing.

²Ср. предложение (8) из § 5.3. Есть искушение возразить против моего разбора этого примера, что воображаемое сходство по отношению к y не есть то сходство, которое имеет место теперь, пока y находится в процессе создания; но ответ состоит в том, что относительно последнего y нет никакого «теперь».

³Если более широкий непрозрачный контекст – это кавычки, то любой новый разбор в таком контексте, разумеется, непозволителен. Но мы можем предположить, что кавычки предварительно растворены в произнесении или написании по буквам; ср. § 4.5.

термины, кроме переменных, рассматриваемые как простые в этом смысле, соблазнительно было бы назвать *именами* – именность тогда была бы зависимой исключительно от наличных проектов¹. Предложенный новый разбор представляет собой, таким образом, разбор имен как общих терминов.

5.6 Примирительные замечания. Устранение единичных терминов

Мы можем поощрить понимание нового разбора, позволив эпитету «имя» сопровождать термины «Сократ» и ему подобные в их новом виде, говоря, таким образом, что категория имен не рассеивается, а просто перетолковывается как подчиненная категории общих терминов вместо категории единичных терминов. Так толкуя имена – как общие термины, – мы лишь частично отклоняемся от их употребления, в большей же степени мы отклоняемся от отношения к их употреблению: от политики разбора имен наряду с единичными местоимениями и неопределенными единичными терминами. Это отношение было в чем-то даже искусственным, поскольку оно означало толкование «есть» естественного языка иногда как связки, а иногда как «=». Не было оно и неизменным отношением логиков прошлых столетий; они обычно считали имя, такое, как «Сократ», скорее логически равнозначным терминам «смертный» и «человек» и отличающимся от них лишь тем, что истинны относительно меньшего числа объектов, а именно относительно одного. Далее, Лесневского (1930) лучше всего толковать так, что он сводил имена к общим терминам, хотя он этого и не формулировал². Райл сделал шаг в том же направлении в 1933 г., когда, говоря специально о контексте «х существует», он утверждал, что «термин «х», который с точки зрения грамматики кажется обозначающим (*designating*) субъект атрибутов, в действительности означает (*signifying*) атрибут»³. В § 3.4 мы, в свою очередь, почувствовали, что может вызывать естественное удивление, не было ли различие между общими и единичными терминами переоценено. Наше сведение имен к категории общих терминов – это частичная реставрация этой, в некоторых отношениях более естественной, точки зрения.

Любой вопрос о различии между единичными и общими терминами не затрагивает стимульную синонимию (ср. § 2.6). Более того, он не затрагивает детскую стадию обучения языку, на которой выучиваются такие термины, как «мама» (§ 3.3). Некоторая произвольность сохраняется, когда мы применяем это различие к массовым терминам (ср. § 3.4). А кроме того, существует произвольность в отношении решения, когда трактовать «есть» как «=», а когда – как связку. Кто скажет окончательно, радикальнее ли изменился английский язык под влиянием канонической символики, в которой имена соответствуют единичным местоимениям и неопределенным единичным терминам, или под влиянием такой символики, в которой они соответствуют общим терминам?

В чем наш новый разбор имен как общих терминов заметно отклоняется от обыденного употребления в его отличии от обыденных категоризации употребления, так это в том, как он закрывает провалы истинностного значения. Но в этом и состояла цель нового разбора. Было бы неправильно, если бы парафраз заключал в себе утверждение синонимии; но он его и не содержит (§ 5.1). Парафраз в канонической символике хорош постольку, поскольку он имеет тенденции отвечать нуждам, для выполнения которых был востребован оригинал. Если форма парафраза случайно производит смысл там, где оригинал испытывал провал истинност-

¹ Но заметим, что такое употребление термина «имя» подобно употреблению термина «собственное имя» в грамматике. В некоторых работах я употреблял «имя» скорее в смысле «то, что именуется» – это сверхграмматический смысл, подразумевающий существование именуемого объекта. Хохберг в работе “The ontological operator”, pp. 253 f., неправильно утверждает, что я приравниваю последний или референциальный смысл именности грамматическому.

² См.: Лесневского или Лежневского.

³ Ryle. Imaginary objects. Говоря: «Анализ, который кажется мне правильным, такой», он идет дальше, чем я, утверждая, что есть только один правильный анализ.

ного значения и, таким образом, не был востребован ни для какой цели, мы просто можем позволить дополнительным случаям быть такими, какими они стремятся быть. (Пример: «Пегас летает» исходно – ни истинное, ни ложное – перефразируется в « $(\exists x)(x \text{ есть Пегас и } x \text{ летает})$ » и, таким образом, становится ложным.) Такие ненужные случаи – которые инженеры вычислительных машин называют несущественностями (*don't-cares*) – распространенная черта хороших парафразов; дальше у нас будет случай обратить на это внимание.

Есть ощущение, что при новом разборе имен как общих терминов мы упускаем часть их значения, а именно – нацеленность на единственность¹. Идея состоит в том, что «Сократ» как общий термин был бы истинен относительно только одного единственного предмета всего лишь вследствие случайного факта, тогда как единственность обозначения термином «Сократ» как единичным термином заключена в самом характере слова. Это интуитивное обращение к значению может даже пониматься как нечто разумное (ср. § 2.6, 2.8), как бы ни была она неубедительна. Но надо помнить, что общие термины часто подчиняются законам, которые кажутся ответственными за значения, но не за случайный факт; свидетельством тому – закон симметрии относительного термина «двоюродный брат» или транзитивности термина «часть». С равным успехом можно понять единственность – в любом случае в слабом смысле «в конечном счете один» – как сходным образом предполагаемую самим значением некоторых общих терминов, а именно подобных термину «Сократ». Такие общие термины можно было бы на этом основании назвать особым образом – именами.

Такие термины, как «Сократ», обычно подразумевают единственность референции не только в слабом смысле, но и в смысле «точно один». Они подразумевают ее ценой провалов истинностного значения; но мы вполне освободились от этого предписания. Любое утверждение существования, которое мы чувствуем наличествующим в значениях единичных терминов, хорошо устраняется.

Если бы мы хотели, мы могли бы, в качестве альтернативы, устранить «Сократ» как единичный термин, перетолковав это имя как общий термин, истинный относительно многих объектов; а именно пространственно-временных частей Сократа (ср. § 2.6). Ведь прежняя сила предложения « $x = \text{Сократ}$ » может быть при этом также раскрыта в парафразе, на этот раз как.

$(y)(y \text{ есть сократ тогда и только тогда, когда } y \text{ есть часть } x).$

Эта альтернатива, возможно, интересна потому, что единственность такого объекта x в таком случае следует из логики отношения часть-целое независимо от какой-либо особой черты термина «сократ», помимо его бытия истинным относительно одного или многих таких объектов, которые могут быть частями.

Перейдем теперь от имен к единичным дескрипциям. В обыденном дискурсе идиома единичной дескрипции обычно используется только тогда, когда предполагаемый объект считается выделенным одним-единственным способом содержанием того, что добавлено к единичному определенному артиклю ('the'), возможно, вместе с дополнительной информацией, которая должна подбираться из контекста или обстоятельств произнесения. Когда мы обращаемся к канонической символической, мы должны вообразить, что дополнительная информация эксплицирована как часть, возможно, сложного предложения, представленного частью «... x ...» целого « $(\exists x)(\dots x \dots)$ ». Такое восполнение содержит в себе свидетельство в пользу того, что было сказано в § 5.1: что в парафраз не вовлечено никакое утверждение синонимии и что парафраз зависит от того, что мы пытаемся доказать или обнаружить. Восполнение дескрипций – прагматическая процедура, так же как определение двусмысленностей, времен и указательных слов. Редко на практике это требуется сделать полностью, даже когда мы предлагаем рассуждать в рамках видимой структуры нашей канонической символической. Мы определяем

¹Такова, возможно, позиция Хохберга: "On pegasizing".

то, что важнее всего с точки зрения предусмотренных конкретных формальных маневров, и просто воображаем все остальное каким-либо образом восполненным. Но логическая теория, которую канонический каркас делает возможной, рассматривает двусмысленные термины и указательные слова как имеющие фиксированные референции, предположительно подразумеваемые даже тогда, когда нам нет нужды говорить, какие именно; и она рассматривает «... x ...» из « $(\exists x)(\dots x \dots)$ », как если бы оно восполнялось предположительно подразумеваемыми способами, даже тогда, когда нам нет нужды говорить, как именно. Если кто-то убежден, что предложение, представленное как «... x ...», даже включающее в себя все правдоподобно предполагаемые дополнения, выполняется более чем одним объектом x или ни одним, то для него вопрос истинности или ложности предложений, содержащих референциальные появления « $(\exists x)(\dots x \dots)$ », имеет тенденцию, как замечено в начале § 5.5, устраняться. Он в нормальном состоянии будет воздерживаться от соответствующей дискуссии, предпочитая ей дискуссию о ее соответствии.

Теперь рассмотрим тождество « $y = (\exists x)(\dots x \dots)$ » с квантификацией:

(1) $(x)(\dots x \dots)$ тогда и только тогда, когда $x = y$,

которое можно коротко прочесть как « $(\dots y \dots)$ и только y ». Предположительно, если или « $y = (\exists x)(\dots x \dots)$ », или « $(\dots y \dots)$ и только y » истинно относительно объекта y , то они оба истинны. И все же две формулы еще могут различаться условиями их ложности в отношении провалов истинностного значения; ведь эти провалы можно рассматривать как делающие « $y = (\exists x)(\dots x \dots)$ » свободным от истинностного значения для каждого объекта y , если оно не истинно относительно ни одного из них, тогда как « $\dots y \dots$ и только y » – просто ложное для каждого объекта y , если не истинно относительно ни одного из них. Поэтому мы готовы работать с нашей оппозицией провалам истинностного значения: мы можем просто приравнять « $y = (\exists x)(\dots x \dots)$ » и « $\dots y \dots$ и только y », заполняя, таким образом, провалы истинностного значения « $y = (\exists x)(\dots x \dots)$ » ложностью. Далее, этот шаг позволяет нам вообще избавиться от единичных дескрипций как таковых. Ведь мы раньше видели (§ 5.5), как ограничить появления любых единичных терминов, отличных от переменных, их появлениями в качестве правого члена уравнения и в качестве субъекта при «существует». Там, где термином является « $(\exists x)(\dots x \dots)$ », нам остается только перефразировать уравнения и предложение существования, перефразируя « $y = (\exists x)(\dots x \dots)$ » как « $(\dots y \dots)$ и только y » или (1), а « $(\exists x)(\dots x \dots)$ существует» – как « $(\exists y)(\dots y \dots$ и только $y)$ ». Таков метод устранения единичных дескрипций Рассела¹.

Отличные от переменных простые единичные термины мы разобрали по-новому, а те, что имеют форму дескрипций, – устранили. Что теперь делать с другим важным классом единичных терминов *алгебраического* типа: « \sqrt{x} », « $x + y$ », « $x + 5$ », « $x + y^2$ » и т.д.? Это – единичные термины, имеющие в качестве своих непосредственных составляющих не предложения, подобно дескрипциям, а другие единичные термины. Примером, не связанным с числом, является сцепление, § 5.4: « x в момент t ». Но мы можем свести всю эту алгебраическую категорию к категории дескрипций, приняв подходящий относительный термин вместо каждого из алгебраических операторов. Например, чтобы освободиться от « $+$ », мы принимаем триадический относительный термин « Σ » и считаем « Σwxu » истинным тогда и только тогда, когда $w = x + u$; таким способом мы можем обойтись со всем, что имеет форму « $a + b$ », какими бы сложными ни были термины, обозначенные символами « a » и « b », как « $(\exists w)\Sigma wxu$ ». Эта редукция равносильна новому разбору « $=$ » и « $+$ » из « $w = x + u$ » как простого тетрадического относительного термина; « Σ » добавлено только для живости.

¹ Russell. On Denoting; также: Whitehead and Russell. Возвращаясь к соответствующим размышлениям из § 5.5 в дополнение к вышесказанному, читатель может видеть, что способ устранения дескрипций, примененный здесь, действительно такой же, как у Рассела, несмотря на отличия в подходе.

Так, « $x + y^z$ » сначала превращается в « $(\lambda w) \sum wx y^z$ ». Но y^z , в свою очередь, превращается в « $(\lambda u) Puyz$ », где « $Puyz$ » понимается как равносильное « $u = y^z$ ». Таким образом, « $x + y^z$ » становится « $(\lambda w) \sum wx (\lambda u) Puyz$ ». Далее, « $x + y + z$ » можно объяснить как « $x + (y + z)$ » и, соответственно, в конечном счете – как « $(\lambda w) \sum wx (\lambda u) \sum uyz$ ». Подобным образом « $x \wedge y$ » можно представить как « $(\lambda w) Cwxu$ », « $x \wedge y \wedge z$ » – как « $(\lambda w) Cwx(\lambda u) Cuyz$ » и т.д.

Но еще остаются некоторые формы сложных единичных терминов, которые надо учесть, – так же, как дескрипции, они содержат предложения. Абстракция класса не должна нас задерживать, так как мы видели в предложении (8) из § 5.2, как она сводится к дескрипции. Что касается интенциональной абстракции, она может быть сведена к дескрипции, по существу, тем же методом нового разбора, который мы только что применили к « $w = x + y$ ». Следовательно, рассмотрим скобки пропозициональной абстракции. Вместо того, чтобы считать их оператором, дополняющим предложение до единичного термина, а затем считать « \Rightarrow » в « $a = [p]$ » относительным термином, дополняющим два единичных термина до предложения, мы можем по-новому разобрать « $= []$ » как нередуцируемый оператор, прямо дополняющий « a » и « p » до предложения « $a = [p]$ ». Так, предположим, мы переписали этот новый нераздельный оператор для живости как « O » так, что « $a = [p]$ » становится « aOp »; тогда « $[p]$ » расшифровывается как « $(\lambda w)(wOp)$ ». Абстракцию атрибута можно рассмотреть аналогичным образом, по-новому разбирая « $a = x[\dots x \dots]$ » как образованный нередуцируемым двухместным связывающим переменные оператором типа « $aO_x(\dots x \dots)$ »; тогда « $x[\dots x \dots]$ » расшифровывается как « $(\lambda w)(wO_x(\dots x \dots))$ ». То же самое годится и для абстракции отношений. Таким образом, очевидно, ничто не стоит на пути полного устранения единичных терминов как таковых, за единственным исключением собственно переменных¹.

То, что одни переменные остаются единичными терминами, можно рассматривать как свидетельство первенства местоимения. Кому-то это напомнит меткое замечание Пирса о «существительном, которое можно определить как часть речи, поставленную на место местоимения»².

Что же сохраняется в просеянной таким образом канонической символической? Те из ее предложений, что не содержат предложений в качестве своих частей, составлены каждое из общего термина, у которого отсутствует распознаваемая внутренняя структура (§ 5.4), стоящего в позиции предиката, дополненного одной или более переменными. Это значит, что атомарные предложения имеют формы « Fx », « Fxy » и т.д. Остальная часть предложений составлены из атомарных предложений с помощью истинностных функций, кванторов и, возможно, других средств. Три из таких других средств составления предложений – только что упомянутые операторы « O » и « O_x » и их аналог для отношений – « O_{xy} »; но мы еще к ним вернемся в § 6.5.

¹Стросон в статье “Singular terms, ontology and identity”, pp. 446 ff., 453 предполагал, что демонстративные единичные термины каким-то образом бросают вызов такой программе. То, что это ошибка, очевидно из парафраза таких терминов в дескрипции в § 5.2. Указательные слова «здесь» и «там», которые оставил нам § 5.2, являются общими терминами; указательные слова «теперь» и «тогда», рассматривавшиеся как единичные термины в § 5.4, при новом разборе оказываются общими терминами. Нет очевидной причины выводить выживание единичных терминов из выживания указательных слов. Ср.: *Russel. Mr. Strawson on referring*. Концепция Стросона, несомненно, как-то каузально связана с безуспешной попыткой читать у меня между строк; он пишет (p. 443): «Куайн явно не утверждает... что устранение [указательных слов] есть достоинство рекомендуемой процедуры [устранения единичных терминов]; но я думаю, очевидно, что он отнесся бы к нему именно таким образом». Я так к этому не отношусь. Раз уж об этом зашла речь, воспользуюсь этой возможностью заодно и для отрицания мотивации, на которую указано на p. 444, где Стросон пишет: «И хотя я не думаю, что он явным образом поступил так, Куайн вполне мог утверждать, что [устранения несостоятельности подстановочности тождественного] является дальнейшим упрощением, которое можно получить путем устранения единичных терминов». Напротив, см. § 5.3 выше, особенно предложение (5), также: *From a Logical Point of View*, pp. 144 ff., 152. Эти пассажи служат также ответом Папу (Belief and Propositions, p. 124 п.). В другой статье Стросон продемонстрировал знание этих пассажей; см.: *A logician's landscape*, pp. 234 ff., где он принимает неправильные допущения в других отношениях.

²Peirce, v. 5, § 153.

5.7 Определение и двойная жизнь

Устранение единичных терминов зависело от слияния « \Rightarrow » с некоторым количеством последующего текста. Это не означает, что в конце мы освобождаемся от « \Rightarrow » наряду с единичными терминами. Ведь, хотя единичные термины (не являющиеся переменными) устранены, « \Rightarrow » продолжает встречаться в окружении переменных. Как и все общие термины « \Rightarrow » остается в позиции предиката при переменных, и никак иначе. Действительно, сами формы «... y ... и только y » и « $(\exists y)(\dots y \dots$ и только $y)$ », служившие в § 5.6 для замещения непосредственных контекстов дескрипций, содержат « $x = y$ » (будучи сформулированы согласно условию (1) из § 5.6). Опять же, от предложений единственности можно ожидать, что в результате нового разбора они обнаружат нужду в « \Rightarrow » в окружении переменных; то, что один и только один предмет является, например, Сократом, записывается как « $(\exists y)(y$ есть Сократ и только $y)$ » или:

(1) « $(\exists y)(x)(x$ есть Сократ тогда и только тогда, когда $x = y)$ ».

Устранение единичных терминов, не являющихся переменными, сопровождалось значительным упрощением логической теории в ее применении к закрытию провалов истинностного значения. Но теперь может возникнуть опасение, что при этом происходит сравнимая по величине потеря простоты по другим пунктам. Логические законы, управляющие употреблением « \Rightarrow », автоматически применимы к « x есть Сократ» *qua* « $x = \text{Сократ}$ », но *prima facie* не релевантны « x есть Сократ» *qua* « Fx »; не релевантны они также и « $z = x + y$ » *qua* « $\sum x y$ ». Более того, затруднен вывод путем подстановки единичных терминов, не являющихся переменными, на место переменных универсальной квантификации. То, что имело бы вид:

(2) Если $(z)(\dots z \dots)$, то ...Сократ...

(3) Если $(z)(\dots z \dots)$, то ... $x + y$...

теперь имеет вид:

(4) Если $(z)(\dots z \dots)$, то $(\exists z)(z$ есть Сократ и ... z ...),

(5) Если $(z)(\dots z \dots)$, то $(\exists z)(\sum x y$ и ... z ...).

А это, кроме того, что неуклюже, еще и неправильно, разве что в случае принятия дополнительных экзистенциальных предпосылок « $(\exists z)(z$ есть Сократ)» и « $(\exists z)(\sum x y)$ ».

То, что здесь кажется усложнением, в определенном смысле представляет собой благо. Постольку, поскольку единичные термины, не являющиеся переменными, принимаются в качестве таковых, логика квантификации должна каким-то образом допускать предложения (2) и (3); но как тогда исключить их аналог с термином «Пегас»? То, что было скрытой предпосылкой существования, становится явным, когда, устранив единичные термины, не являющиеся переменными, мы осуществляем переход от предложений (2) и (3) к предложениям (4) и (5).

Помимо непосредственности, никакие потери не поддерживаются. Может быть показано, что все, что демонстрировалось и выводилось из данных предпосылок при некритическом манипулировании термином «Сократ» как единичным термином, по-прежнему демонстрируемо и выводимо из тех же самых предпосылок с помощью дополнительной предпосылки единственности « $(\exists y)(y$ есть Сократ и только $y)$ » или (1) при новом разборе «Сократ» как общего термина. Подобным образом все, что может быть сделано с « $+$ », может быть по-прежнему сделано, в переводе, с помощью « \sum », если дана предпосылка единственности для « \sum »:

(6) $(x)(x)(\text{если } x \text{ есть число и } y \text{ есть число, то } (\exists z)(\sum x y \text{ и только } z))$.

В более общем виде, все, что могло бы быть сделано с « $(\exists x)(\dots x \dots)$ », по-прежнему может быть сделано, в переводе, при наличии предпосылки « $(\exists y)(\dots y \dots$ и только $y)$ ». Эти поддер-

живающие предпосылки скорее заслуживают высокой оценки как раскрытие скрытых допущений, артикуляция неартикулированного, чем сожаления вследствие их неэкономичности.

Но здесь не возникает дополнительных усложнений. Конечно, предложения (4) и (5) более неуклюжи, чем предложения (2) и (3). Конечно, « $(\exists x)(x \text{ есть Сократ и } x \text{ есть грек})$ » формы « $(\exists x)(Fx \text{ и } Gx)$ » более неуклюже, чем «Сократ есть грек», понятие как предложение формы « Ga ». Удобно иметь возможность обсуждать имена, так же как и дескрипции, как единичные термины, подставляя их на место переменных и предикативно дополняя их общими терминами. Действительно, при совершении перехода по примеру перехода от «+» к « Σ » поражает утрата легкости; мы приносим в жертву именно те действия, которые характерны для самой ходовой части математики. Недопущение размещения единичных терминов внутри единичных терминов, размещаемых внутри единичных терминов (и так без конца), в виде полинома, наряду с недопущением легкой подстановки комплексов на место переменных и равных им комплексов, катастрофически уменьшило бы силу математики, даже если это было бы осуществлено только на практике, а не в принципе. По счастью, правда, эта неясно вырисовывающаяся дилемма может быть решена.

Ведь привлекательной чертой канонических символик является то, что они не связывают переменные; мы можем колебаться между двумя символиками, оппортунистически радуясь их несовместимым преимуществам. То, что современные логики называют *определениями*, во многом представляют собой инструкции, предписывающие делать именно это. Таким образом, мы можем в конечном счете, теоретически оставаясь верными канонической символической, в которой нет других единичных терминов, кроме переменных, в то же самое время устанавливать в отношении этой символической краткую форму, предусматривающую употребление других единичных терминов. Посредством таких установлений мы можем даже вернуть к жизни предложения (2) и (3) в качестве работающих правил, показав, что то, что из них следует, по определению, есть просто краткая форма того, что могло бы быть в длинной форме получено из таких предпосылок, как (1) и (6). Все же, если наши проблемы – такого рода, что лучше отвечают принципу экономии в основаниях теории, чем принципу краткости парафразы и быстроты дедукции, мы по-прежнему вольны прямо выбирать кратчайшую каноническую символическую.

Цель определений – позволить нам снова воспользоваться устраненной символической или удобной аппроксимацией, обладая при этом ключом к тому, какой бы могла быть ее каноническая транскрипция. В своем существе соответствующие определения, таким образом, нам даны в самих трансформациях, которые уже демонстрировались с целью показать устранимость единичных терминов, не являющихся переменными. Такие определения, между прочим, обладают достоинством восстанавливать единичные термины во всей их гибкости, не оживляя при этом неприятность провалов истинностного значения. Определение для единичной дескрипции оказывается просто таким: пиши « $y = (\uparrow x)(\dots x \dots)$ » и « $(\uparrow x)(\dots x \dots)$ существует» как варианты записи « $\dots y \dots$ и только y » и « $(\exists y)(\dots y \dots \text{ и только } y)$ » и, возвращаясь теперь назад к рассуждениям из § 5.5, пиши « $\neg(\uparrow x)(\dots x \dots)$ » как сокращение для:

$$(7) (\exists y)(y = (\uparrow x)(\dots x \dots) \text{ и } \neg y \neg).$$

(В этой экспозиции мы понимаем « $\neg y \neg$ » как случайное открытое предложение, а « $\neg(\uparrow x)(\dots x \dots)$ » – как то же самое, но с единичной дескрипцией на месте « y ».)

Трех частей приведенного выше определения достаточно, если применять их последовательно и итеративно, для восстановления « $(\uparrow x)(\dots x \dots)$ » в каждой позиции, в которой он появляется и в которой может появиться свободная переменная. В действительности определение нуждается в некотором известном усилении¹. Но довольно об этом; изучающие логику

¹Так, см. § 5.5.

знают эту логику дескрипций, расселовскую в своем существе, а моей задачей было скорее философское прояснение ее роли.

Наряду с таким практическим возвращением к жизни дескрипций также возвращаются к ней и многие другие единичные термины, сведенные к дескрипциям в § 5.6, а именно термины алгебраического типа. Это – удобный способ также и для нового введения имен как единичных терминов: «Сократ» как единичный термин можно определить как « $(\lambda x)(x \text{ есть Сократ})$ », трактуя «Сократ» как общий термин. На практике определяемый единичный термин «Сократ» и определяющий общий термин «Сократ», несомненно, различались бы, например, путем написания этого слова не с заглавной «С», а с маленькой «с» или даже путем сохранения единичного термина в форме « $(\lambda x)(x \text{ есть Сократ})$ ». Технически мы можем сохранить написание «Сократ» для обеих трактовок, так как в хорошо построенной символике позиции, доступные для общих и единичных терминов, взаимно исключают друг друга, чем предотвращается какая бы то ни было крайняя двусмысленность. Но особенно важно обратить внимание на бессмысленность определения единичного термина или общего термина как *регулярного* (the regular) аналога имени «Сократ» обыденного языка. При парафразе некоторых предложений с определенными целями единичный термин оказывается кстати; в других случаях лучше соответствует задаче общий термин. Вспомним опять, что парафраз не делает никакого утверждения синонимии. Что касается эпитета «имя», то он применим прежде всего и в основном к термину «Сократ» обыденного языка и – производным образом – к любой из его формализации; в случае наличия более характерной интенции мы можем высказать это так, как, например, в рамках временной конвенции, принятой в конце § 5.5.

Преимущества определения как метода одновременно съесть и продолжать иметь свой пирог живо иллюстрируют заключение в кавычки и сцепление. Заключение в кавычки, продуцирующее имена лингвистических форм путем пиктографического письма, имеет огромное практическое удобство видимости референции. Но оно имеет и недостаток для некоторых целей систематической теории, заключающийся в том, что имена, которые оно продуцирует, независимо от их длины не имеют логической структуры. Это поясняет главное достоинство написания или произнесения по буквам, которое выполняется совсем по-другому. Написание или произнесение по буквам, как бы длительно оно ни было, анализируется как повторение одной маленькой двухчастной алгебраической операции сцепления плюс небольшое количество имен букв. Написание или произнесение по буквам также обладает достоинством препятствовать неререференциальным появлениям терминов, порождаемых заключением в кавычки (ср. § 4.5); но это – случайный поверхностный эффект. В таком случае, в конце концов, можно устранить, в свою очередь, сцепление в пользу триадического относительного термина «С». Здесь преимуществом является теоретическая простота при устраненных сложных единичных терминах; а недостатком – неуклюжесть, необходимость пожертвовать алгебраической легкостью. Теперь, благодаря инструменту определения, мы можем радоваться каждой из этих выгод, не давая при этом предварительных клятв в отношении других. Теоретизируя в рамках теории «С», мы защищены в нашем знании, что удобства произнесения или написания по буквам и даже заключения в кавычки могут быть по желанию восстановлены согласно определению. Одно из утешений философии состоит в том, что выгода показа того, как расстаться с понятием, не зависит от расставания с ним.

ГЛАВА 6. БЕГСТВО ОТ ИНТЕНСИОНАЛА

6.1 Пропозиции и вечные предложения

В предыдущей главе господствовал новаторский дух, но практически не раздражающий. Были показаны пути парафразы предложений с целью достижения ясности структуры и экономии конструкций при очень незначительных затратах или вовсе без таковых, если не считать краткости и знакомства выражения. Выбирались такие парафразы, чтобы отвечать большинству или всем вероятным целям, для выполнения которых могли бы употребляться оригиналы, исключая случаи, когда краткость или знакомство составляют одну из этих целей. Не многие или вовсе никакие обороты речи не были запрещены, если такой запрет не позволял получить приемлемого парафраза. Ближе всего мы подошли к такому запрету, вероятно, запретив квантификацию непрозрачных конструкций, но даже в этом случае не было никакой явной потери, которая бы воспринималась как таковая с любой достаточно правдоподобной точки зрения; полезные случаи явной квантификации непрозрачных контекстов в общем сохранялись благодаря парафразу. Абстрактные объекты не запрещались в пользу номинализма; интенциональные объекты не запрещались в пользу экстенционализма; и никакие указательные слова не запрещались в пользу абсолютизма. В этой главе подобные темы выйдут на передний план.

Предложение не есть событие произнесения, но – универсалия: повторяемый звуковой образец или неоднократно приближаемая норма. Истина в целом не может рассматриваться как признак, даже как приходящий признак предложения для человека. «Эта дверь открыта» истинно для человека, когда дверь расположена так, что он воспринял бы ее как естественную мгновенную референцию выражения «эта дверь» ('the door'), и она (знает он об этом или нет) открыта. Индивидуальное событие произнесения можно по-прежнему описать как абсолютно истинное, поскольку время и человек характерны для него; но разговор о предложениях как истинных для людей в моменты времени – шире, так как он включает в себя случаи, когда предложение не произнесено соответствующим человеком в соответствующий момент времени.

Относительность моментов времени и индивидов может быть неудобной с точки зрения дополнительных уточнений, в которые она продолжает нас вовлекать. Без сомнения, есть одна причина, почему философы любили полагать дополнительные абстрактные сущности – *пропозиции* – в качестве суррогатных носителей истинности. Сделав так, они говорят о предложении как о выражающем сейчас одну пропозицию, а в следующий момент – другую, для этого человека и для того, допуская при этом, чтобы сами эти пропозиции оставались непоколебимо истинными или ложными, безотносительно к индивидам.

Этот постулат – не целиком философская затея. Обыденный язык имеет свои простые предложения, начинающиеся с «что», и такие простые предложения (с «что» в качестве конъюнкции, а не в качестве относительного или демонстративного местоимения) функционируют грамматически как единичные термины (исключая случаи, когда им предшествует слово «такой» ('such')), и, таким образом, очевидно, нацелены на обозначение чего-либо. Их предполагаемые объекты – это то, что философы допускают и называют, с некоторыми уточнениями, пропозициями. Из-за своего места в обыденном языке простые предложения, начинающиеся с «что», соответствуют полукритическому настрою предыдущей главы: разместить в

канонической символике то, что мы назвали пропозициональной абстракцией, и временно допустить объекты, названные пропозициями, в качестве единичных терминов, образованных, таким образом, с целью обозначения. Поскольку главное употребление простых предложений, начинающихся с «что», – это их употребление в качестве грамматических объектов так называемых глаголов пропозициональной установки, мы обнаруживаем, что считаем пропозиции, в частности, предметами, которые люди полагают, утверждают, хотят и т.д. Термин Рассела «пропозициональная установка» является напоминанием о том, что мы – не первые, кто это делает.

То, что мы отказались в § 5.6 от символики пропозициональной абстракции, наряду с единичными терминами, не являющимися переменными, вообще, к делу не относится. Ни одно устранение единичных терминов в § 5.5 и 5.6 не устраняло объекты. В соответствии с самим характером метода устранения пропозиции остались жить во вселенной как то, на что намекают «все» и «нечто» « (x) » и « $(\exists x)$ »; коротко говоря, как значения переменных¹. Объект x , о котором идет речь в « xOp », замещающем « $x = [p]$ », – это по прежнему пропозиция $[p]$, пусть даже она никогда больше не будет названа. В любом случае у меня нет намерения становиться приверженцем канонической символики, исключающей единичные термины, не являющиеся переменными; достаточно того, что мы видели, как можно перейти к ней (ср. § 5.7).

Только что отмеченная цель пропозиций как суррогатных носителей истины требует, чтобы пропозиции сопротивлялись изменению истинностного значения, но это требование уже подразумевается также в том, что они используются как объекты пропозициональных установок. Если рассматривать предложение:

(1) Том верит [эта дверь открыта],

утверждаемое по какому-либо случаю, как истинное сколь угодно недолгое время, относительно объектов Том и [эта дверь открыта] то, конечно, эти два объекта сами должны быть весьма определенными раз и навсегда объектами, как бы неадекватно они ни были выделены словами предложения (1). Том должен быть определенным человеческим, заполнителем пары извилистых кубических метров/лет где-то/когда-то в прошлом и будущем пространстве/времени, хотя мы должны сильно зависеть от нашего знания обстоятельств произнесения (1), решая, кто из многих возможных соответствует этому имени; а [эта дверь открыта] должно быть пропозицией, определенной в отношении как соответствующей двери, так и соответствующего времени, хотя и здесь мы также должны зависеть от нашего знания обстоятельств произнесения (1), решая вопрос, какая именно дверь и какой именно момент времени имеются в виду. Смутность, двусмысленность, мимолетность референции – это черты вербальных форм, они не распространяются на объекты, о которых идет речь.

Если мы хотим отождествить Тома, скорее, открыто уточняя (1), чем оставляя это дело на откуп обстоятельствам произнесения, мы можем добавить фамилию и адрес или другие детали. Если мы хотим отождествить [эта дверь открыта], скорее, открыто уточняя (1), чем оставляя это дело на откуп обстоятельствам произнесения, мы можем определить, где находится дверь и какое время подразумевается. В общем, чтобы определить пропозицию независимо от обстоятельств произнесения, мы подставляем на место « p » в « $[p]$ » вечное предложение: предложение, чье истинностное значение остается фиксированным во времени и относительно множества говорящих.

Вечные предложения – это устойчивые предложения (§ 2.3) предельного вида; многие устойчивые предложения, например: ««Таймс» пришла», не являются вечными. Теоретические предложения в математике и других науках стремятся быть вечными, но их претензия на

¹ Ошибочные критические замечания заставляют помнить о том, что есть фантазеры, воображающие, будто математическая фраза «значения переменных» значит «единичные термины, подставляемые на место переменных». Скорее, объект, обозначаемый таким термином, является значением переменной; и объекты остаются значениями переменных, несмотря на то что единичные термины устранены.

проведение этого различия не исключительна. Отчеты и предсказания, касающиеся конкретного единичного события, тоже представляют собой вечные предложения, в которых скорее имеются объективные указания на моменты времени, местоположения или индивидов, о которых идет речь, чем их вариации, зависящие от референций первых имен, неполных дескрипций и указательных слов. Не нуждаются вечные предложения также и в том, чтобы не иметь стимульного значения; говорящий вполне может быть подвигнут к согласию с вечным предложением одной стимуляцией и к несогласию – другой. Но, когда это случается, он говорит, что был не прав и изменил свое мнение в свете новых данных, скорее, нежели что предложение изменило свое истинностное значение, как это имеет тенденцию делать предложение ««Таймс» пришла».

От вечного предложения можно ожидать, что оно свободно от указательных слов, но ничто не препятствует тому, чтобы оно включало в себя имена, хотя и в разобранном виде (§ 5.5), или другие остенсивно изучаемые термины. А эти термины вполне могли быть изучены с помощью указательных слов.

Уже в § 5.4 мы предположили, что времена следует исключить из канонического языка. Но выгоды этого шага не включали в себя обращения в вечные предложения. Исключение времен в случае предложения (1) состоит просто в том, что дважды вставляется «теперь», а два глагола оцениваются как не имеющие времени. Чтобы завершить работу превращения в вечное предложения в скобках, мы должны подставить здесь на место «теперь» дату и время или что-то подобное и добавить что-нибудь еще в дескрипцию «эта дверь». Мы можем продолжить превращение в вечное также и внешних частей предложения, если хотим, подставляя там на место «теперь» соответствующие элементы и увеличивая описание Тома (но см. § 6.6, где указано на препятствие на пути такого превращения в вечные предложения высказываний пропозициональной установки в общем случае).

Я не нахожу никакой достойной причины не считать все пропозиции именуемыми посредством заключения в скобки того или иного вечного предложения. Альтернативный план состоял бы в том, чтобы допустить невыразимые пропозиции, но это не послужило бы никакой явной цели¹. Более банальная причина предполагать, что пропозиции выходят за рамки вечных предложений, могла бы заключаться в том, что для многих пропозиций подходящие вечные предложения хотя и являются вполне произносимыми, тем не менее могут быть никогда не произнесены (или записаны). Это – ошибочная точка зрения, но она заслуживает изучения, поскольку возражение на нее важно также и само по себе, вне всякой связи с тем, о чем здесь идет речь.

Prima facie возражение состоит в том, что предложение не есть событие произнесения, но – лингвистическая форма, которая может произноситься часто, однажды или никогда, и что ее существование не компрометируется отсутствием произнесения. Но мы не должны принимать это возражение, не уточнив, что представляют собой такие лингвистические формы. Если бы предложение рассматривалось как класс его произнесений, то все произнесенные предложения сводились бы к одному, нулевому, классу; они могли бы точно так же и не существовать, пока дело не касается пропозиций, поскольку всякие различия между ними пропадают. Не должен я также рассматривать предложение и как атрибут произнесений; ведь в § 6.4 я выскажусь в пользу отказа от атрибутов. Но есть другой способ рассматривать предложения и другие лингвистические формы так, чтобы отсутствие произнесения не компрометировало их существование и определенность. Мы можем считать каждую лингвистическую форму *рядом* (в математическом смысле) ее последовательных знаков или фонем. Ряд a_1, a_2, \dots, a_n можно объяснить как класс n пар $\langle a_1, 1 \rangle, \langle a_2, 2 \rangle, \dots, \langle a_n, n \rangle$ (см. § 7.6 о парах). Мы по-прежнему можем считать каждый составляющий ряд знак a_i классом событий произнесения, поскольку здесь уже нет риска произнесения.

¹Соображения на эту тему см. у Папа: *Pap. Belief and Propositions*, p. 134.

6.2 Модальность

Существуют неясные идиомы, которые кажутся очень сходными с пропозициональными установками, за тем лишь исключением, что у них отсутствует личная референция; это так называемые логические модальности «Необходимо...», «Возможно...».

В обыденном не философском употреблении «возможно» обычно служит скромно безличным пересказом того, что в действительности в конечном счете является личной идиомой пропозициональной установки: «Я не уверен, но все же». Конструкция «необходимо» обычно не несет в себе, что достаточно любопытно, соответствующего смысла «Я уверен, что». Часто она коннотирует скорее пропозициональную установку цели или решения. Иногда также «необходимо» и «возможно» позволяют кратко сказать, что предложение следует из или совместимо с некоторой фиксированной посылкой, понятой как его основание. А иногда они представляют собой немногим большее, чем стилистический вариант выражений «все» и «некоторые».

Но ничто из этого не соответствует тому, что называется логической модальностью. Употребляемое как логическая модальность, «необходимо» вменяет безусловную и обезличенную необходимость, как абсолютный модус истины; а «возможно» отрицает необходимость (в этом смысле) отрицания.

Модальная логика, как нам теперь известно, началась с Льюиса в 1918 г.¹ Его интерпретация необходимости, отточенная формулировкой Карнапа², состоит в том, что предложение, начинающееся с «необходимо», истинно тогда и только тогда, когда остальная его часть аналитическая. Из-за наших оговорок по поводу аналитичности (§ 2.8) этот подход оставляет желать лучшего; но давайте следовать этим путем некоторое время. Если, для пользы аргумента, мы примем термин «аналитическое» в качестве предиктируемого предложением (а следовательно, предикативно присоединимого к кавычкам или другим единичным терминам, обозначающим предложения), то «необходимо» будет равняться «есть аналитическое» плюс антецедентная пара знаков кавычек. Например, предложение:

(1) Необходимо $9 > 4$ –

объясняется так:

(2) « $9 > 4$ » есть аналитическое.

Сомнительно, чтобы Льюис вообще пошел этим путем, если бы Уайтхед и Рассел, следуя Фреге в защите предложенного Филоном Мегарским прочтения «Если p , то q » как «Не (p и не q)», не допустили ошибки, назвав конструкцию Филона «материальная импликация», а не материальным условным предложением. Льюис возразил, что так определенная материальная импликация должна была бы быть не просто истинной, но аналитической, чтобы квалифицироваться как импликация в собственном смысле слова. Таково было его понимание термина «строгая импликация».

«Подразумевает» ('implies') и «есть аналитическое» лучше всего рассматривать как общие термины, предиктируемые предложениям путем присоединения предиката к именам (например, образованным с помощью кавычек) предложений. В этом они противоположны «не», «и» и «если, то», которые не являются терминами, а представляют собой операторы, присоединяемые к самим предложениям. Уайтхед и Рассел, не заботясь о различии между употреблением и упоминанием выражений, использовали как взаимозаменяемые « p подразумевает q » (в материальном смысле) и «Если p , то q » (в материальном смысле). Льюис последовал их

¹ Lewis. Survey of Symbolic Logic, ch. 5. См. также: Lewis and Langford, pp. 78–89, 120–166.

² Carnap. Meaning and Necessity, § 39.

примеру, записав « p строго подразумевает q » и объясняя это как «Необходимо не (p и не q)». Отсюда началось развитие им модальной логики «необходимо» как оператора предложений. Различие между этим оператором и термином «есть аналитическое», полученное с помощью знаков кавычек в предложении (2), не заботило Льюиса. Но оно возникает, если, как в работах Карнапа, аккуратно проведено различие между употреблением и упоминанием; в самом деле, оно возникает как собственно различие между модальной логикой и обычным разговором об аналитичности¹.

Последователям модальной логики не нужно непременно заботиться о необходимости в этом предельном смысле. Рассматриваемая необходимость могла бы быть истолкована скорее как некий вид физической необходимости, без модификации формы системы. Или ее можно было бы истолковать как условную необходимость, зависящую от некоего неопределенного множества предпосылок². Мои замечания о модальной логике будут касаться первоначальной или предельной интерпретации. Насколько они применимы к другим возможным употреблением той же самой формальной системы – это семейство отдельных вопросов, которые я оставляю в стороне.

Итак, предположим, предложение (1) объяснено как в случае предложения (2). Почему, могут спросить, надо сохранять такую форму оператора, как в предложении (1), а вместе с ней – модальную логику, вместо того чтобы просто оставить все как в предложении (2)? Очевидная выгода такого шага – возможность квантифицировать модальные позиции; ведь мы знаем, что не можем квантифицировать кавычки, а в предложении (2) используются кавычки. Льюис наверняка предполагал квантификацию модальных позиций, но он не развивал квантифицированную модальную логику. Это сделала впоследствии мисс Баркан.

Но законнее ли квантифицировать модальные позиции, чем кавычки? Возьмем предложение (1) даже без всякого отношения к (2); наверняка при любой правдоподобной интерпретации предложение (1) истинно, а следующее ложно:

(3) Необходимо, число главных планет > 4 .

Поскольку $9 =$ числу главных планет, можно заключить, что позиция «9» в (1) не является чисто референциальной и поэтому оператор необходимости – непрозрачный³.

Такие иллюстрации непрозрачности зависят от существования достаточно упорных объектов. Упорство 9 состоит в том, что способы его конкретизации не имеют необходимых эквивалентов (например, в виде нумерации главных планет и следования после 8), так что необходимость подразумевает одни черты (такие, как больший *(greatness)* чем 4) при одном способе конкретизации 9, но не при другом. Теперь, если мы сузим вселенную объектов, доступных в качестве значений переменных квантификации, так, чтобы исключить такие упорные объекты, то не останется ни одного возражения против квантификации модальной позиции⁴. Таким образом, можно узаконить квантификацию модальной позиции, утверждая, что, когда бы каждое из двух открытых предложений ни определяло единственным образом один и тот же объект x , эти предложения эквивалентны по необходимости. Схематично можно сформулировать этот постулат следующим образом, употребляя « Fx » и « Gx » (здесь) для обозначения произвольных открытых предложений, а « Fx и только x » – как сокращение для « $(w)(Fx$ тогда и только тогда, когда $w = x)$ »⁵:

(4) Если Fx и только x и Gx и только x , то (необходимо $(w)(Fx$ тогда и только тогда, когда $Gw)$).

¹ См. далее мою работу “Three grades of modal involvement”.

² Об этой альтернативе см.: *Reichenbach*, § 65 f. Переинтерпретацию в терминах времени см.: *Prior*, pp. 32 f.

³ Хинтикка предложил новое понимание того, что делает модальные контексты непрозрачными.

⁴ Ср. рецензию Черча на мою работу “Notes on Existence and Necessity”.

⁵ Ср. (1) из § 5.6; а также § 3.4.

Но этот постулат устраняет модальные различия; ведь мы можем вывести из него, что «Необходимо p » истинно, независимо оттого, какое истинное предложение мы подставим на место « p ». Аргумент выглядит следующим образом. Пусть « p » замещает любое истинное предложение, а y будет любым объектом, и пусть $x = y$. Очевидно тогда

(5) $(p \text{ и } x = y) \text{ и только } x$ и

(6) $x = y \text{ и только } x$.

На основании (4), с его « Fx » понятым как « $p \text{ и } x = y$ » и его « Gx » понятым как $x = y$, мы можем далее заключить из (5) и (6), что

(7) Необходимо $(w)((p \text{ и } w = y) \text{ тогда и только тогда, когда } w = y)$.

Но квантификация в предложении (7) подразумевает, в частности, « $(p \text{ и } y = y) \text{ тогда и только тогда, когда } y = y$ », что, в свою очередь, подразумевает « p »; таким образом, из (7) мы выводим, что необходимо p .

Модальная логика в том виде, как ее систематизировали мисс Баркан и Фитч, допускает неограниченную квантификацию модальных контекстов. Как интерпретировать такую теорию, не делая катастрофического допущения (4), совершенно неясно. Модальная логика Черча осторожнее: он допускает квантификацию модальных контекстов только относительно особых переменных, чьи значения ограничены интенциональными объектами¹. Но эта предосторожность, при всем том, что для этого приходится удваивать аппарат переменных и кванторов, все же не является ясным решением; ведь вопрос в отношении предложения (4) по-прежнему может возникнуть в рамках этих особых кванторов и переменных².

Теперь посмотрим, что случится, если мы прекратим пытаться систематически квантифицировать модальные позиции, а будем обращаться с ними скорее так же, как мы обращались с пропозициональными установками. Так, для начала можно было бы изобразить (1) как:

(8) $[9 > 4]$ необходимо –

и таким образом закрепить непрозрачность за интенциональной абстракцией. Необходимое и возможное тогда рассматривались бы как пропозиции. Тогда, следуя дальше модели § 5.3, можно было бы попытаться считать модальность выборочно прозрачной, по требованию, путем выборочного переключения с пропозиций на атрибуты. Мы получаем:

(9) $x[x > 4]$ необходимо относительно 9,

отличающееся от (8) тем, что «9» стоит в чисто референциальной позиции, чувствительной к квантификации и подстановке на место «9» дескрипции «число главных планет». Этот маневр казался дающим достаточно хорошие результаты в случае пропозициональных установок, когда мы хотели иметь возможность сказать, например, что есть некто, кто, как я полагаю, является шпионом (§ 4.6). Но в связи с модальностями он влечет за собой нечто загадочное – даже более загадочное, чем сами модальности; а именно – тему различия между необходимыми и случайными атрибутами объекта.

¹Church. A formulation of the logic of sense and denotation.

²Система модальной логики Карнапа в работе “Meaning and Necessity”, § 10 и 40, по существу, такова, что все ее объекты интенциональные. Представляя свою систему, он предлагает на обсуждение любопытную двойную интерпретацию переменных; но в критике, которую он любезно включил в эту книгу, § 44, я возражал, что этот маневр лишь затемняет интенциональный характер его объе<...>е имеет значения для собственно теории. Если это так, то следует ожидать, что его теория приводит к предложению (4), по крайней мере вследствие интерпретации, и, таким образом, портится вышеприведенной дедукцией.

Возможно, я могу следующим образом придать правильный смысл этому замешательству. О математиках можно осмысленно сказать, что они необходимо рациональны, но не необходимо двуноги; а велосипедисты – необходимо двуноги, но не необходимо рациональны. Но что тогда сказать об индивиде, который числит среди своих занятий как математику, так и езду на велосипеде? Является ли этот конкретный индивид необходимо рациональным и случайно двуногим или наоборот? Лишь постольку, поскольку мы говорим об объектах референциально, без особого пристрастия к подспудному группированию математиков в противоположность велосипедистам или наоборот, в оценке каких-либо его атрибутов как необходимых, а других – как случайных нет подобия смысла. Да, некоторые его атрибуты считаются важными, а другие – неважными; некоторые – длительными, а другие – преходящими; но никакие не считаются необходимыми или случайными.

Любопытно, что ради одного только этого различия между необходимыми и случайными атрибутами существует определенная философская традиция. Она осуществляется в терминах «сущность» и «акциденция», «внутреннее отношение» и «внешнее отношение». Это различие приписывается Аристотелю (о котором ученые высказывают противоречивые мнения, как штраф за приписывания Аристотелю). Но, как бы ни было почтенно это различие, его наверняка невозможно отстоять; и наверняка тогда конструкцию (9), которая так естественно подразумевает это различие, следует оставить за бортом.

Мы не можем, находясь в здравом уме, винить эти различные муки модальности в появлении понятия аналитичности. Последнее не нуждается в первом. Квантифицированная необходимость и необходимость, только что продемонстрированная, предсказанная интенциональным объектам, – это ноши, навязанные не просто объяснением предложения (1) и ему подобных, через предложение (2) и ему подобные; такое определение само по себе не повлекло бы за собой всего этого. Однако постольку, поскольку допускается пропозициональная абстракция, существует определение, альтернативное плану (1) – (2), которое также обязывает нас к чему-то, по крайней мере слегка подобному модальной логике: мы можем определить « P необходимо» как « $P = [(x)(x = x)]$ ». Делает ли это предложение (8) истинным, соответствует ли это вообще приравнению (1) к (2), будет зависеть от того, как узко мы толкуем пропозиции с точки зрения их тождества. В действительности, ответ будет отрицательный, если пропозиции истолковываются достаточно узко, чтобы соответствовать прнальным установкам (§ 6.3). Но остается фактом, что это определение необходимости, каким бы не буквальным (*Pickwickian*) оно ни было, влечет за собой нечто, изоморфное модальной логикой логике. Мы тогда вполне можем спросить, а не во власти ли параллельного определения « A необходимо относительно a » – скажем, « $A = x[x \text{ имеет } A \text{ или } x = a]$ » – восстановить ужасы формулы (9). Я оставлю читателя обдумывать этот вопрос, а сам между тем займусь перспективой, в § 6.4, отказа от интенциональных объектов как таковых.

6.3 Пропозиции как значения

Значительную часть изучения слов «яблоко» или «река» составляло изучение того, что считать новым появлением того же самого яблока или реки, а что – другим яблоком или рекой. Так же точно – для слова «пропозиция»: этот термин имел мало смысла, пока у нас не появился некий стандарт – когда говорить о пропозициях как тождественных, а когда – как о разных. Не будучи чем-то физическим, пропозиции не могут, как яблоко или река, быть наблюдаемы; но для них допускается что-то аналогичное. Вопрос тождества пропозиций – это вопрос о том, в каком отношении должны стоять одно к другому два вечных предложения, чтобы всякий раз, когда « p » и « q » заменяют их, мы имели право сказать, что $[q]$ есть та же самая пропозиция, что и $[p]$, скорее, чем другая.

Обычный ответ заключается в том, что такие предложения должны быть синонимичны. Тот, кто дает такой ответ, может с тем же успехом отвечать, что пропозиция является значе-

нием предложения; и это – также хорошо известный подход. Не то что все значения изъяснительных предложений следует считать пропозициями; более вероятная позиция заключается в том, что значение предложения «Эта дверь открыта» остается неизменным, тогда как связанная с ней пропозиция меняется от одного случая произнесения к другому. Но о пропозициях утверждалось бы, что они – значения вечных предложений.

Следует помнить, что значение выражения (если надо допускать такие вещи, как значения) нельзя путать с объектом, который выражение обозначает, если таковой имеется. Предложения вообще не обозначают (если не касаться таких конвенций, как трактовка Фреге), хотя это могут делать слова, входящие в их состав; предложения просто не являются единичными терминами. Но предложения все же имеют значения (если мы допускаем такие вещи, как значения); а значение вечного предложения – это объект, обозначаемый единичным термином, образованным путем заключения предложения в скобки. Этот единичный термин, в свою очередь, тоже будет иметь значение (если мы достаточно щедры на задание значения), но это значение, предположительно, будет чем-то другим¹. При таком подходе значение (если таковое есть) не вечного предложения «Эта дверь открыта» не является пропозицией, и не является пропозицией то, что именует «[эта дверь открыта]»; то, что «[эта дверь открыта]» в таком случае именует, – это пропозиция, являющаяся значением не предложения «Эта дверь открыта», но некоего другого предложения, вечного предложения, представляющего собой подходящий разбор данного предложения для данного случая.

Если мы склонны защищать тождество пропозиций по признаку синонимии предложений, то нет очевидного возражения против того, чтобы называть пропозиции значениями вечных предложений. Опасения относительно того, объектом какого вида могло бы быть такое значение, могут быть устранены, по желанию, путем отождествления его с самим классом всех тех взаимно синонимичных предложений, о которых говорится, что они имеют это значение². Остается только беспокойство по поводу подходящего понятия синонимии вечных предложений.

Если пропозиции должны служить в качестве объектов пропозициональных установок, то широкий вид синонимии предложений, о котором говорилось в § 2.8, не будет удовлетворительным в роли стандарта тождества пропозиций, даже если его адекватно сформулировать. Он будет слишком широк. Ведь он будет считать все аналитические предложения значащими тождественную пропозицию; все же наверняка было бы нежелательно считать все аналитические предложения взаимозаменяемыми в контексте полагания или косвенной речи, особенно если все математические истины считаются аналитическими. Поэтому Льюис и Карнап обратились к суженным производным отношениям синонимии, говоря словами Карнапа – к *интенциональному изоморфизму*, как лучше подходящим для взаимозамены в контекстах пропозициональной установки³. Способ их деривации был вкратце рассмотрен раньше в § 2.8.

Более широкая синонимия остается главной для обоих авторов. Это ей они ставят в соответствие модальную логику и ею измеряют тождество пропозиций. В их терминологии, таким образом, объекты пропозициональных установок не являются пропозициями; они представляют собой лучше индивидуированные объекты, названные Льюисом *аналитическими значениями*. С другой стороны, Черч сохраняет за словом «пропозиция» указание на такие объекты. Я предпочитаю следовать Черчу в этом, так как мне кажется, что именно пропозициональные установки настойчивее всего требуют постулирования пропозиций или чего-то подобного. Что касается задачи быть носителями истинности, то она выполняется пропозициями в любом из двух смыслов.

¹Ср. работу: Frege. “On Sense and Reference” и мою книгу “From a Logical Point of View”, pp. 9, 21 f, 47, 62, 163.

²Так поступает Айер, p. 88. Бергман, если я правильно интерпретирую его ‘Intentionality’, p. 179, понимает пропозиции скорее как определенные атрибуты событий знания и тому подобного.

³Lewis. Modes of Meaning; Carnap. Meaning and Necessity, §§ 14–16.

Оценка тождества пропозиций на соответствие пропозициональным установкам не запрещает модальное употребление пропозициональной абстракции, о котором говорилось в § 6.2. Эффект укрепленного тождества заключается лишь в том, что если значение всякого аналитического предложения продолжает оцениваться как необходимое, то будет много необходимых пропозиций. Отношение минимальной взаимозаменяемости для модальной логики – Льюис назвал его строгой эквивалентностью – просто прекращает подразумевать тождество, а « P необходимо» прекращает определяться как « $P = [(x)(x = x)]$ ». Переинтерпретация модальной логики остается, таким образом, определимой, но ее необходимость уже, чем аналитичность (ср. § 6.2). В любом случае я чувствую, что лучшее из того, что модальная логика предлагает нашему вниманию, – это, скорее, побочный продукт постулирования пропозиций, чем цель их постулирования.

Мэйтс, Черч и Шеффлер утверждали, что интенциональный изоморфизм Карнапа (и ранние конструкции Льюиса такого же вида) все же слишком широки для взаимозамены в контекстах пропозициональной установки. Патнэм и Черч отвечали предложениями по дальнейшему укреплению соответствующего отношения. Шеффлер все равно находит здесь лазейки, но часть его критики можно аннулировать, ограничив вопрос взаимозаменяемости в контексте пропозициональной установки взаимозаменяемостью вечных предложений. Каждое предложение, не являющееся вечным, должно быть переделано в вечное, соответствующее обстоятельствам предполагаемого утверждения пропозициональной установки, прежде чем мы испытаем на нем стандарт пропозиционального тождества. Этот план обязателен, если мы считаем объектами пропозициональных установок пропозиции, а пропозиции – значениями вечных предложений; и это – в любом случае естественное разделение проблем, поскольку превращение в вечное предложение (*eternalization*) часто происходит также и не в связи с пропозициональными установками.

Не многого можно здесь добиться, изучая исторические детали интенционального изоморфизма и его варианты, так как эти конструкции зависят от понятия синонимии предложений в широком смысле или, что эквивалентно, от понятия аналитичности. После § 2.8 нам осталось не многого ждать от придания приблизительно подходящего смысла общей границе между аналитическими предложениями и другими, даже на основании совокупности диспозиций речевого поведения.

У нас есть интуиция аналитичности, но ее статус понижается. Это – вопрос о том, насколько сильно коммуникация ощущается зависимой от принятия соответствующих предложений (§ 2.8). Это – вопрос о том, как много гибкости мы получим, отталкиваясь от омофонного перевода, имея дело с нашим соотечественником, отрицающим такое предложение. Теперь нет возражения против градуированного понятия синонимии или аналитичности, если оно – ясное в разумных пределах; но не похоже, чтобы оно прямо или косвенно входило в стандарт тождества пропозиций. Ведь пропозиции должны быть тождественными или различными абсолютно; тождество в собственном смысле не знает степеней.

Эти соображения имеют значение только как возражения против надежды основать тождество пропозиций на некоего вида интенциональном изоморфизме, выведенном из синонимии предложений широкого вида, взаимно определяемой вместе с аналитичностью. Мы по-прежнему могли бы надеяться сконструировать некое приближение к интенциональному изоморфизму, подходящему для установления тождества пропозиций, каким-то иным способом, отличным от ускользающего широкого понятия синонимии предложений. Ведь мы видели в § 2.6, как определять стимульную синонимию общих терминов, используя стимульную аналитичность, а в главе 5 – как категоризовать структуру предложений в терминах небольшого числа фиксированных конструкций. С высоты категоризации предложения конструировались путем одного лишь предикативного присоединения общих терминов (включая « \Rightarrow » и « \Leftarrow ») к переменным и применения к ним квантификации, истинностных функций и других действий над предложениями (например, « O », « O_x », и др. из § 5.6). Здесь, таким образом, следует рассмотреть определение структурной синонимии: предложения в этой канонической форме записи

синонимичны, если одно можно трансформировать в другое путем трансформаций логики квантификации и истинностных функций вместе с подстановкой общих терминов на место стимульно синонимичных общих терминов. Можем ли мы не считать вечные предложения в канонической записи значащими одну и ту же пропозицию тогда и только тогда, когда они синонимичны в этом смысле? Рассмотрим возражения.

(1) Трансформируемость одного предложения в другое посредством логики квантификации и истинностных функций может ускользать даже от специалиста-логика неопределенно долгое время; нет общего предела длительности исследования, которое для этого может потребоваться¹. Тогда, очевидно, отождествление пропозиций на таком основании дисквалифицировало бы их в качестве объектов полагания². Мы могли бы ответить на это возражение включением в наше определение синонимии только определенных, наименее далеко идущих логических трансформаций или даже – никаких³.

(2) Возможно, стимульная синонимия общих терминов, от которой зависит наше определение, слишком слаба для того, чтобы дать желаемый эффект – в частности, в тех случаях, когда термины не обозначают явно наблюдаемые объекты (ср. § 2.6).

(3) Выживет ли общий термин предложения обыденного языка при каноническом парафразе этого предложения или исчезнет в пользу более своевременного анализа, зависит только от сиюминутных задач парафраза; и то же можно сказать о более своевременном анализе, если таковой имеется, (ср. § 5.1). Таким образом, предложенное нами понятие структурной синонимии с ее упором на общие термины в основном релевантно полностью каузальной стороне нашего употребления канонической символики. Не должны мы также заботиться о том, чтобы ответить на это возражение путем определения или придумывания какого-то абсолютного словаря простых общих терминов как канонических, пригодных для решения всех задач, элементов парафраза⁴. Если постулирование пропозиций как объектов серьезно, то любая такая произвольно проведенная предварительная работа с целью установления пропозиционального тождества должна рассматриваться как беспричинная.

(4) Предложенное понятие структурной синонимии, ограниченное, как оно есть, канонической символикой, слишком специальным образом распространяется на подкласс вечных предложений. Теперь постольку, поскольку это возражение нацелено, например, на отсутствие единичных терминов, оно второстепенно. Для устранения и восстановления единичных терминов у нас есть механические трансформации из § 5.7, и мы, если захотим, можем включить эти действия в наше определение структурной синонимии наравне с логическими трансформациями и подстановками, обусловленными стимульной синонимией. Но это возражение серьезно как возражение против ограничивающего себя канонической символикой в других отношениях; ведь обращения в каноническую символику вообще – не более механические, чем иностранный перевод. Это возражение можно сформулировать просто как утверждение, что мы объясняем пропозициональное тождество относительно только одного языка. Оно применимо также, в частности, к зависимости нашего понятия от понятия стимульной синонимии терминов; ведь эта последняя, в отличие от стимульной синонимии предложений, с самого

¹Так можно утверждать важное открытие, сделанное Черчем. См. мою работу “Methods of Logic”, исправленное издание, § 32.

²Это возражение в принципе подобно возражению, выдвинутому против интенционального изоморфизма Карнапа в упомянутых только что статьях Шеффлера и Черча.

³Не включать ни одну из таких трансформаций – это путь Патнема и Черча в их только что упомянутых статьях. Заметим, что защищать такое чрезмерно узкое отношение синонимии легче, чем чрезмерно широкое; ведь когда мы считаем два предложения не синонимичными и, следовательно, не взаимозаменяемыми в контекстах полагания, мы все же оставляем людям свободу полагать оба предложения. Вследствие этого можно легко справиться с первым из двух проблематичных случаев, замеченных Шеффлером (*op. cit.*, вверху р. 42). Между прочим, все, что нужно для прояснения второго из этих случаев, – это техника выборочной прозрачности из § 4.6.

⁴Ср. § 6.8. Именно в этом состоит наиболее радикальное отличие от употребления Карнапом его интенционального изоморфизма. Он предполагает фиксированный закрытый словарь простых терминов.

начала была ограничена английским языком (§ 2.6). Теперь, сказать, что мы всегда можем придерживаться нашего собственного языка и его канонической части, не будет адекватной защитой. Ведь, если принимать всерьез постулирование пропозиций, следует предполагать, что вечные предложения других языков также означают пропозиции; и каждая из них должна быть тождественна или отлична от каждой пропозиции, означаемой вечным предложением нашего собственного языка, даже если нас никогда не будет заботить, каким именно. Наверняка философски неудовлетворительно, чтобы такие вопросы тождества осознанно возникали, будучи сколь угодно академичными, без того, чтобы в принципе имелось хоть какое-то предложение по поводу того, как их истолковывать в терминах родных и иностранных диспозиций языкового поведения.

Этот последний пункт содержит зачатки аргумента не только против нашего специфического плана понятия структурной синонимии как стандарта пропозиционального тождества, но и против идеи постулирования пропозиций в целом. Ведь постольку, поскольку мы принимаем этот постулат всерьез, мы, таким образом, отдаем значение, как бы непроницаемо оно ни было, на откуп отношению синонимии, которое можно в общем определить для вечных предложений различных языков следующим образом: предложения синонимичны – значит, они означают одну и ту же пропозицию. Мы должны были бы тогда предположить, что среди всех альтернативных систем аналитических гипотез перевода (§§ 2.9–2.10), совместимых с совокупностью диспозиций языкового поведения говорящих на двух языках, некоторые – «действительно» правильные, а другие – неправильные – на непроницаемых с точки зрения поведения основаниях пропозиционального тождества. Таким образом, заключения, полученные в § 2.10, могут сказать сами о себе, что они неявно пренебрегают понятием пропозиции в целом, с точки зрения общей научной перспективы. Указанные выше в этом параграфе трудности упомянуты просто между прочим. Сам вопрос об условиях тождества пропозиций представляет собой не столько нерешенную проблему, сколько ошибочный идеал.

6.4 На пути к отказу от интенциональных объектов

Необходимость постулировать пропозиции – или, возможно, «высказывания», в том смысле, в котором это слово употребляет Стросон, – ощущалась или воображалась более чем в одной связи. От пропозиций или других значений предложений хотели, чтобы они были константами перевода: предметами, как-то разделяемыми как иностранными предложениями, так и их переводами. От них также хотели, чтобы они были константами так называемого философского анализа или парафраза: предметами, разделяемыми как анализируемыми предложениями, так и результатами анализа. От них хотели, чтобы они были носителями истинности и объектами пропозициональных установок. Это желание ощущалось настолько сильно, что побудило философов защищать такое понятие синонимии предложений, которого требует тождество пропозиций, и делать это посредством менее убедительных аргументов, чем они могли бы позволить себе, если бы на кону не было никаких предварительно принятых концепций. Один из этих аргументов содержит ошибку вычитания: утверждается, что если можно говорить, что предложение значимо или имеет значение, то должно быть значение, которое оно имеет, и это значение будет тождественно или отлично от значения, которое имеет другое предложение¹. Это утверждается без какой-либо очевидной попытки защитить синонимию в

¹Так, Грайс и Стросон пишут: «Мы лишь хотим указать на то, что если мы должны отказаться от понятия синонимии предложений как от бессмысленного, то мы должны отказаться тогда и от понятия значимости предложения (что предложение имеет значение) как от столь же бессмысленного» (р. 146). Такая же ошибка вычитания, возможно, может быть приписана Ринину (Rynin), р. 381, когда он, кажется, рассматривает свою защиту понятия «знание значения» как защиту понятия значения; а также Гевирту (Gewirth), примечание 48. См. также: Ксенакиса (р. 20), когда из моего замечания, что мы придаем значение x , давая x синоним, он выводит, что «значение x есть синоним x ». (Но он здесь воодушевлен знакомым употреблением слова «значит» как сокращения для «значит то же самое, что»).

терминах значимости (*meaningfulness*) или внимания к тому факту, что мы с таким же успехом могли бы оправдать гипостазирование сэйков и единорогов на основании идиом «ради» ('for the sake of') и «охотится на единорогов»¹. Кроме того, утверждается, что стандарт ясности, которого я требую для синонимии и аналитичности, – неразумно высок²; я тем не менее не требую, в конце концов, ничего большего, чем приблизительной характеристики в терминах диспозиций языкового поведения.

Другие защитники пропозиций ссылаются на наши интуиции синонимии и аналитичности, которые невозможно отрицать. Я осознаю их, но я настаивал (§ 2.8, 6.3) на том, что они не поддерживают понятие синонимии, подходящее для установления тождества пропозиций или значений. Следует также сказать, что аргументы из предыдущего параграфа отчасти, несомненно, мыслились как аргументы в защиту именно этих интуиции, а не адекватной пропозициональному тождеству синонимии, хотя это различие никогда не проводилось. Как аргументы в защиту упомянутых интуиции, их можно расценить как вполне справедливые, всегда исключающие аргумент, содержащий ошибку вычитания. Но, будучи так истолкованы, эти аргументы не являются аргументами в защиту пропозиций, как бы сильно они ни были мотивированы желанием защитить эти последние.

Проявлять показной оптимизм – это не метод подлинной философии. Окинем взглядом ситуации, побуждающие постулировать пропозиции, и посмотрим, что можно сделать в этих ситуациях, кроме постулирования пропозиций. Прежде всего, ошибочно предполагать, что понятие пропозиций как разделяемых (*shared*) значений проясняет суть перевода. Совокупность диспозиций речевого поведения совместима с альтернативными системами пошагового перевода каждого предложения, настолько непохожими одна на другую, что могут даже различаться истинностные значения переводов одного и того же устойчивого предложения, полученных в рамках двух таких систем (§ 2.10). Если бы не это, мы могли бы надеяться определить общее отношение синонимии предложений, соответствующее нуждам перевода, в терминах поведения, и наше возражение против пропозиций как таковых тогда рассеялось бы. Напротив, поскольку такая ситуация имеет место, постулирование пропозиций только затемняет ее. Понятие пропозиции, кажется, способствует разговору о переводе именно в силу того, что оно фальсифицирует природу этого предприятия. Оно пестует стойкую иллюзию существования единственного правильного стандарта перевода вечных предложений (ср. § 6.3).

Не менее ошибочно предполагать, что понятие пропозиций как разделяемых значений проясняет перефразирующие предприятия философского анализа. Напротив, как подчеркивалось в главе 5, претензии синонимии вообще были бы неуместны в такой связи, даже если бы понятие синонимии, как таковое, пребывало в наилучшем виде.

Следующее на очереди – обращение к пропозициям как носителям истинности. Но нет очевидной причины, почему бы вместо того, чтобы обращаться здесь к пропозициям или значениям вечных предложений, не обратиться просто к самим вечным предложениям как носителям истинности. Если мы возьмемся за определение пропозиции, «выраженной» произнесением некоего предложения, не являющегося вечным, например: «Эта дверь открыта», в неких конкретных обстоятельствах, мы сделаем это, заключив в скобки некое вечное предложение, означающее пропозицию; таким образом мы в любом случае составили подходящее вечное предложение и могли бы с равным успехом на этом и остановиться.

Если на этом остановиться, то возникает вопрос, как соответствующее вечное предложение связано с данным произнесением предложения, не являющегося вечным. Если вопрос, как пропозиция связана с произнесением, и кажется менее важным, то лишь из-за ложного чувства безопасности, навеваемого силой слова «выраженной» и неисследованной онтологией

¹ Или – внимания к трудностям, с которыми я сам столкнулся в этом вопросе в той самой книге, против которой направлен аргумент: *From a Logical Point of View*, pp. 11 f, 22 n, 48 f.

² *Grice and Strawson*, pp. 145 f.; *Kemeny*, рецензия; *Martin*. On 'analytic'; *Mates*. Analytic sentences, pp. 528 ff.; *Richman*. Neo-pragmatism, p. 36. См. также: *Gewirth*, p. 400.

пропозициональной «мысли», которую оно коннотирует. Если разговор о вечных предложениях вместо пропозиций заставляет задать этот вопрос, тем лучше. В общем виде ответ на него будет во многом тем же самым, что и в случае парафразы предложений в каноническую символику (§ 5.1): вечное предложение – это такое предложение, которое данный говорящий мог бы произнести вместо того, что он в действительности произнес в данных обстоятельствах, не нарушая настолько, насколько он может это предвидеть, своего первоначального плана действий. Мне вряд ли нужно говорить, что здесь есть простор для уточнения, но не стоит рассчитывать, что молчаливое согласие с выраженными пропозициями обеспечит такое уточнение.

Может показаться, что, говоря о вечных предложениях, а не о пропозициях как о носителях истинности или в другой связи, мы отгораживаемся от случаев, когда на пропозицию указывают как на функцию некоей переменной: $[x \text{ смертен}]$, где « x » связано только каким-то квантором, стоящим в контексте дальше, после переменной. Аргумент состоял бы в том, что указание на само предложение « x смертен» на месте указания на пропозицию нарушило бы ограничение, накладываемое на квантификацию кавычек. В действительности здесь ничего такого не теряется; ведь квантификация скобок пропозициональной абстракции запрещена с самого начала (ср. § 5.3).

Достаточно сказано о пропозициях как носителях истинности. Нам еще нужно рассмотреть проблему отказа от пропозиций как объектов пропозициональных установок; но пока сделаем паузу и скажем несколько слов о других интенциональных объектах, не являющихся пропозициями.

Меры, принятые против пропозиций, применимы с равной силой к атрибутам и отношениям. Точно так же, как пропозиции нацелены быть значениями вечных закрытых предложений, атрибуты и отношения можно рассматривать как значения вечных открытых предложений: открытых предложений, которые для каждого выбора значений своих свободных переменных принимают истинностные значения независимо от говорящего и обстоятельств. Возражение против пропозиций, отталкивающееся от понятия тождества, применимо в неизменном виде к атрибутам и отношениям. Мы, если сможем, захотим наряду с пропозициями отказаться от атрибутов и отношений как объектов пропозициональных установок.

Атрибуты и отношения или что-либо, достаточно сходное с ними, также требуются для разных целей, а не только для пропозициональных установок. Некоторых из этих целей можно достичь, если говорить только о соответствующих вечных открытых предложениях или общих терминах, точно так же, как цель, стоящую перед пропозициями как носителями истинности, похоже, можно достичь с помощью вечных закрытых предложений. Другие цели, и среди них – очень важные, не имеют аналогов среди целей, для выполнения которых могут казаться желательными пропозиции; и их нельзя достичь путем обращения к открытым предложениям или общим терминам. Мы увидим позже (§ 7.1, 7.6 ff.), каковы некоторые из этих целей. Но мы также обнаружим, что эти другие цели, стоящие перед атрибутами, хорошо достигаются с помощью классов, которые подобны в конечном счете атрибутам во всем, кроме условия их тождества. Классы не порождают затруднений с тождеством, будучи тождественны тогда и только тогда, когда тождественны их члены.

Для решения проблемы тождества желательно не только само по себе употребление, где возможно, классов вместо атрибутов. Важен еще в этом употреблении такой аспект: в отличие от непрозрачной интенциональной абстракции, абстракция класса прозрачна. Значительной частью своей силы абстракция класса обязана нашей свободе квантифицировать ее, как в теореме Кантора:

$(x)(\hat{y}(y \text{ есть подкласс } x) \text{ имеет больше членов, чем } x) -$

или еще – как в правиле счета:

(x)(если x есть положительное целое число, то \hat{y} (y есть положительное целое число $\leq x$) имеет x членов).

С другой стороны, подобная квантификация интенциональной абстракции затруднена вследствие ее непрозрачности.

Классы упорядоченных пар являются для отношений тем же самым, чем классы являются для атрибутов (например, собакообразный (*dogkind*) – для собачести (*caninity*)). Постольку, поскольку классы решают задачи, стоящие перед атрибутами, классы упорядоченных пар решают аналогичные задачи, стоящие перед отношениями. Но здесь следует опасаться терминологического выверта: классы упорядоченных пар в современной логике и математике также привычно называют отношениями. Чтобы избежать путаницы, об отношениях в первом или интенциональном смысле часто говорят как об интенциональных отношениях.

Слова «атрибут» и «отношение» так часто встречаются в большинстве разговоров на большинство тем, что отказ от атрибутов и отношений может ошеломить. Теперь мы чувствуем, что этот отказ, с какими бы трудностями он ни был связан, – не так уж радикален, как выглядит, так как очень многое из того, что говорится путем явного указания на атрибуты и отношения, можно истолковать так, чтобы указание ограничивалось в худшем случае открытыми предложениями, общими терминами, классами или отношениями в смысле классов упорядоченных пар. Часто даже, как в случае с цветами и веществами, можно ограничиться рассредоточенными конкретными объектами (§ 3.4).

Не то, чтобы я вознамерился ограничить мое употребление слов «атрибут» и «отношение» только теми контекстами, которые извиняет возможность такого парафраза. Ведь я так упорствовал в своем профессиональном употреблении слов «значение», «идея» и тому подобных, хотя задолго до этого заронил сомнение в их предполагаемых объектах. Правда, иногда употребление термина может быть поставлено в соответствие отрицанию его объектов (ср. § 7.1 ff.); но я продолжаю употреблять упомянутые термины, даже не обращая внимания на такие соответствия. Здесь имеет значение только степень строгости экономии. Я могу возразить против употребления определенного сомнительного термина в решающих местах теории на том основании, что употреблять его здесь – значит лишить теорию желанной объяснительной силы; но я могу по-прежнему употреблять этот термин и простить ему его прегрешения в более случайных или эвристических контекстах, где предвидится меньшая глубина теоретического объяснения. Такое градуирование строгости экономии – естественный спутник научного предприятия, если мы понимаем это предприятие в духе Нейрата. Нам будет что еще добавить к сказанному по этому поводу в § 6.6 ff.

Но вернемся пока назад к вопросу, как выполнить специфические задачи, стоящие перед интенциональными объектами, с помощью средств подстановок; ведь наши проблемы здесь не закончились. С одной стороны, мы по-прежнему должны знать, что можно сделать со способностью атрибутов и интенциональных отношений, так же как и пропозиций, быть объектами пропозициональных установок.

6.5 Другие объекты установок

Если мы трактуем пропозициональные установки с интенциональной абстракцией как в § 5.3, то их непрозрачность локализуется в непрозрачности интенциональной абстракции. Отсюда следует, что соответствующие классы не могут выполнить работу атрибутов как объектов пропозициональных установок; ведь абстракция класса прозрачна. Или, если отталкиваться от примера, пусть $x[Fx]$ будет атрибутом, для которого ложно, что

- (1) Том полагает $x[Fx]$ относительно a .

Все же, будучи одаренным некоторым логическим чутьем,

(2) Том полагает $x[Fx$ или $x = a]$ относительно a .

Предположим далее, что, без ведома Тома, Fa . Тогда $\hat{x}(Fx) = \hat{x}(Fx$ или $x = a)$; таким образом, требуемая независимость одного от другого предложений (1) и (2) в случае абстракции класса будет потеряна.

Слабость условия тождества класса – вот что дисквалифицирует классы в качестве объектов пропозициональных установок: чтобы два открытых предложения определяли один и тот же класс, они всего лишь должны совпадать по объему, т.е. выполняться одними и теми же значениями переменной. На этом же основании следует опасаться дисквалификации даже интенциональных объектов в качестве объектов пропозициональных установок при определенных созерцаемых условиях тождества таких объектов; ср. возражение (1) из § 6.3. В любом случае мы видели серьезные причины не приветствовать интенциональные объекты. Следующая идея, предлагающая себя, – говорить как об объектах пропозициональных установок о предметах, чьи условия тождества еще строже, чем этого требуют пропозициональные установки.

Такой путь нарушает порядок только некоторых весьма специальных предложений. Примеры: «Пол и Элмер согласны по поводу только трех вещей», «Пол полагает только одну вещь, которую не полагает Элмер»; результатом избытка строгости условий тождества мог бы быть восходящий пересмотр чисел три и один в этих примерах, вплоть до бесконечности. Но данные примеры кажутся странными, чтобы с них начинать. Они в действительности указывают на то, как неуверенно мы чувствуем себя в отношении достаточных условий тождества объектов пропозициональных установок.

Кроме этих тривиальных примеров требует еще рассмотрения не прямое заключение в кавычки; это – одна из идиом пропозициональной установки, которая могла бы показаться уязвимой для избыточно строгих условий тождества. Так, вообразим на месте « p » и « q », далее, два вечных предложения, более или менее интуитивно эквивалентных, и предположим, что первое произнесено w в момент времени t . Можно поддаться искушению считать, что условие тождества настолько строгое, что если провести различие между объектами предложений « w говорит в момент времени t , что p » и « w говорит в момент времени t , что q », то это сделает последнее предложение ложным. Искушение состоит в том, чтобы так думать о не прямом заключении в кавычки, а не о полагании, поскольку w может полагать все виды различных предметов в момент t , но произнести может в один момент только одно предложение. Тем не менее это неправильное рассуждение. Произнося свое одно предложение, w может считаться «говорящим» (в смысле не прямого заключения в кавычки) столько много разных «вещей» (в смысле объектов пропозициональной установки не прямого заключения в кавычки), сколько нам хочется. Строгие условия тождества совместимы с любым количеством свободы не прямого заключения в кавычки; они ограничивают нас лишь в самых незначительных отношениях, отмеченных в предыдущем параграфе.

Если так обстоят дела, то мы могли бы попытаться повторить для пропозициональных установок то, что уже утверждалось в § 6.4 для носителей истинности: мы могли бы попытаться использовать с этой целью вместо интенциональных объектов сами предложения¹. Условие тождества здесь предельное: тождество символов. В приблизительном виде идея заключалась бы в перефразировании предложений (7) – (9) из § 5.3 следующим образом:

(3) Том полагает истинным (believes-true) «Цицерон обличил Катилину».

(4) Том полагает истинным «у обличил Катилину» относительно Цицерона.

¹Так поступает Карнап: Logical Syntax, p. 248.

(5) Том полагает истинным «у обличил z» относительно Цицерона и Катилины.

Я модифицирую «полагает» как «полагает истинным», чтобы смягчить ощущение странности.

Этот план имеет свои достоинства. Кавычки не подведут нас так, как подвела абстракция класса. Более того, будучи явно непрозрачными, кавычки представляют собой живую форму, к которой можно сводить другие непрозрачные конструкции. И мы даже можем, когда захотим, совсем растворить ее в произнесении или написании по буквам (§ 4.5).

Интенциональная абстракция занимает совсем другое положение по сравнению с абстракцией класса. Мы вряд ли смогли бы переключиться с абстракции класса на кавычки и таким образом расстаться с классами. Разница состоит в нашей свободе квантифицировать абстракцию класса (ср. § 6.4). Отбросить теорию классов в пользу неквантифицируемых кавычек означало бы расстаться с большей частью того, что позволяет делать теория классов (подробнее об этом в § 7.8). Интенциональная абстракция, с другой стороны, была призвана к исполнению своих обязанностей в § 5.3 с полным принятием ее непрозрачности; таким образом, ее поглощение кавычками не означает подобной потери.

Предложение вариантов (3) – (5) применимо равным образом к другим пропозициональным установкам. «Том говорит, что Цицерон обличил Катилину» или «Том говорит [Цицерон обличил Катилину]» превратились бы тогда в:

(6) Том истинно говорит (says-true) «Цицерон обличил Катилину».

Этот новый глагол не следует путать с глаголом «говорит» прямого заключения в кавычки; предложение (6) нацелено на сохранение свободы непрямого заключения в кавычки.

Вообще объекты пропозициональных установок, таким образом, рассматривались бы просто как вечные предложения, открытые и закрытые. Ограничивая их вечными предложениями, мы не накладываем запрет на появление других предложений в контекстах пропозициональной установки; просто не они сами, а их парафразы в вечные предложения считаются в таком случае объектами установок. В этом отношении ситуация остается в чем-то такой же, какой она была, когда мы все еще использовали интенциональную абстракцию; ср. § 6.1. Часть того, что приводит в смятение при анализе пропозициональных установок, проясняется, если помнить, что только переход к вечным предложениям делает явными объекты установок, в случае пропозициональной абстракции так же, как в случае кавычек.

Если брать в качестве объектов пропозициональных установок предложения, то это не требует от субъекта, чтобы он говорил на языке предложения-объекта или вообще на каком-нибудь языке. Страх мыши перед кошкой считается ее истинной боязнью (*fearing true*) определенного английского предложения. Все же при этом остается, как заметил Черч¹, определенная зависимость от языка, которую все еще нужно прояснить. Кавычки являются именами только форм, которые в них стоят, независимо от того, к каким языкам эти формы принадлежат. Но что, если в таком случае в результате совпадения те же самые формы, заковыченные в предложениях (3) – (6), имеют смысл в другом языке, и не тот смысл, который мы предполагаем? Такое совпадение не исключено; а с точки зрения Черча, оно даже неизбежно, поскольку он считает языками все возможные языки, а не только те, которые в действительности имеют употребление. Очевидно, тогда мы должны были бы изменить (3) так, чтобы оно читалось как:

(7) Том полагает истинным в английском ‘Cicero denounced Catiline’;

¹“On Carnap’s analysis of statements of assertion and belief”.

и соответствующие изменения предполагаются для предложений (4) – (6) и других случаев.

Но, согласно Черчу¹, при этом такое толкование объектов пропозициональных установок как языковых форм все равно сталкивается с фундаментальной трудностью. Немецкий перевод предложения (7) мог бы выглядеть так (еще увеличивая неэlegantность конструкции):

(8) Tom glaubt wahr auf Englisch ‘Cicero denounced Catiline’.

Тем не менее немец, не знающий английского языка, не получит из предложения (8) той информации о Томе, которую он получил бы из полного немецкого перевода предложения:

(9) Tom beliefs that Cicero denounced Catiline.

Поскольку (8) воспроизводит значение предложения (7), последнее не должно воспроизводить значение (9).

Я нахожу этот аргумент незавершенным, так как он основывается на понятии подобия значения. В конечном счете, именно ошибки в отношении этого понятия в первую очередь заставили нас отказаться от пропозиций². Правда, я не могу отрицать приведенный аргумент по этой причине, чтобы затем настаивать на подобии значений предложений (7) и (9). Но подобие значений не является моей задачей (ср. § 5.1). Можно продолжать придерживаться мнения, что (7) достаточно хорошо выполняет любые кажущиеся достойными выполнения задачи, стоящие перед предложением (9).

Но я нахожу предложение (7) и то, что за ним следует, неудовлетворительным по другой причине: эта причина – зависимость от понятия *a* языка. Базисная форма предложения (7) – «*w* полагает истинным *s* в *l*» – соотносит индивида, языковую форму и язык. Что представляют собой языки и когда считать их тождественными, а когда – различными? Ясно, что такие вопросы должны быть не связаны с пропозициональными установками. Было бы лучше ссылаться здесь не на язык *l*, а на говорящего *z*, так: «*w* полагает истинным *s* в понимании *z* (in *z*’s sense)». В таком случае мы получаем нередуцируемо триадичный относительный термин «... полагает истинным... в понимании...», соотносящий индивида, языковую форму и индивида. Соответствующие исправления применимы к более сложным случаям предложений (4) и (5) и к другим пропозициональным установкам, включая не прямые кавычки. Конечно, на практике подходящим заместителем для «*z*» регулярно будет оказываться указательное слово «я», поскольку простые предложения после «что» всегда формулируются на нашем родном языке.

Шеффлер предлагает альтернативу³. Рассмотрим все те события произнесения (или записи) во всех языках, которые могут справедливо считаться случаями утверждения, что Цицерон обличил Катилину. Назовем каждое такое событие произнесением, что Цицерон обличил Катилину. В результате план Шеффлера состоит в том, чтобы принять как базисный этот оператор «произнесение, что», применяемый к предложениям для образования сложного общего термина, истинного относительно событий произнесения. Тогда он объясняет «*w* говорит, что *p*» как «*w* делает произнесение, что *p*». Шеффлеру по этой причине не требуется никакая вспомогательная конкретизация, так как действительное событие произнесения обычно принадлежит одному-единственному языку, даже тогда, когда произнесенная форма не принадлежит одному-единственному языку.

Не стоит прямо здесь возражать, что нет явного способа сказать, насколько сильно можно позволить произнесению отличаться от предложения, стоящего в позиции «*p*», и продолжать

¹ *Op. cit.* Он приписывает авторство этой идеи Лэнгфорду.

² Это отметил Пап в работе “Belief, synonymity and analysis”.

³ “An inscriptional approach to indirect quotation”.

считаться произнесением, что p . Это – правильное возражение, дважды правильное, если мы подумаем о том, что участвует в переводе с иностранных языков (гл. 2); и Шеффлер понимает это. Но здесь это возражение неуместно, так как оно касается непрямых кавычек, как бы они ни анализировались, и не имеет специального отношения к предложению Шеффлера.

Тем не менее, когда Шеффлер распространяет свой метод на идиомы пропозициональной установки, не являющиеся непрямыми кавычками¹, возникает характерная трудность: как нам сказать, например, что Пол любит что-то, что не любит Элмер? Ничего не получится, если сказать, что Пол полагает истинным некое произнесение, которое Элмер не полагает истинным, поскольку может так случиться, что ни одного такого произнесения не существует или никогда не будет существовать; полагание, в отличие от утверждения, не производит произнесения. Этот дефект можно засчитать в пользу предпочтения предложений событиям произнесения в качестве объектов пропозициональных установок; ведь при толковании, данном в конце § 6.1, неудача произнесения не влияет на предложения.

Этот дефект все же ограничен квантификацией. Он не затрагивает саму идиому « w полагает, что p », истолкованную как « w полагает истинным произнесение, что p »; ведь если « w полагает, что p » само произнесено, то создан образец произнесения, что p ². Возможно, пострадавшим квантификациями – «Пол полагает нечто, что Элмер не полагает», «Эйзенхауэр и Стивенсон согласны по поводу чего-либо» и тому подобные – можно в конечном счете пожертвовать; ведь такие квантификации так или иначе стремятся к тому, чтобы быть вполне тривиальными в том, что они утверждают, и полезными только предвещанием более осязаемой информации. Раньше мы уже приготовились не беспокоиться о том, какими могут быть истинностные значения таких предложений, как «Пол и Элмер согласны по поводу лишь трех вещей»; возможно, теперь мы готовы быть безразличными в отношении этих двух предложений также.

Но если так, то вообще нет нужды понимать «полагает» и подобные глаголы как относительные термины; нет нужды поощрять их предикативное употребление, как в случае « w полагает x » (в противоположность « w полагает, что p »); нет, следовательно, нужды видеть в «что p » термин. Таким образом, окончательная альтернатива, которую я нахожу столь же привлекательной, как любую другую, состоит в том, чтобы просто отказаться от объектов пропозициональных установок. Мы можем продолжать формулировать пропозициональные установки с помощью символики интенциональной абстракции, как в § 5.3, но при этом просто перестать рассматривать эти символы как единичные термины, указывающие на объекты. Это значит считать, что «Том полагает [Цицерон обличил Катилину]» имеет форму не « Fab », где a = Том, а b = [Цицерон обличил Катилину], а скорее « Fa », где a = Том, а весь остальной комплекс – « F ». Здесь глагол «полагает» уже не является термином, а становится частью оператора «полагает, что» или «полагает []», который, будучи применен к предложению, дает составной абсолютный общий термин, непосредственной конституентой которого считается предложение. Подобным образом «полагает» в предложении «Том полагает y [у обличил Катилину] относительно Цицерона» становится частью связывающего переменную оператора, который, будучи применен непосредственно к открытому предложению « y обличил Катилину» и к переменной « y », дает относительный общий термин «полагает y [у обличил Катилину] относительно». Соответственно – для двух и более переменных; и соответственно – для других глаголов пропозициональной установки. Одним словом, мы рассматриваем символику § 5.3 скорее просто как стилизацию вербального толкования § 4.6, нежели как углубленный его анализ, устанавливающий референции к интенциональным объектам.

Этот метод заменяет собой « O », « O_x » и т.д. § 5.6. Это была программа устранения единичных терминов в применении к интенциональным абстрактным объектам, где последние были единичными терминами. Интенциональные абстрактные объекты в своем новом статусе

¹ Он поступает так в работе “Thoughts on teleology”, pp. 280 f.

² Шеффлер обращает на это внимание, p. 280 n.

не терминов (*non-terms*) сохраняются нередуцируемыми в качестве частей составных общих терминов. Общие термины, со своей стороны, больше не считаются всегда простыми с точки зрения канонической символики и могут теперь включать в себя такие конститuentы, как закрытые или открытые предложения и переменные.

6.6 Двойной стандарт

Даже этот метод, при всех его жертвах, оставляет нам весьма неустойчивое множество идиом. Устранить онтологию пропозициональных установок не значит осмыслить их научно. Так, обратимся опять к непрямым кавычкам: вопрос о том, насколько им допустимо отличаться от прямых кавычек, остается по-прежнему актуальным, хотя мы и можем отказаться от предполагаемых объектов не прямых кавычек.

Здесь проблема очевидным образом перекликается с проблемой перевода. Она даже включает в себя эту последнюю в том случае, когда не прямые кавычки соединяют выражения, сформулированные на разных языках. И действительно, самая примитивная фаза перевода, перевод предложений наблюдения по стимульной синонимии, достаточно хорошо выполняет задачи не прямых кавычек в границах предложений наблюдения; так, «Он говорит – там находится кролик» правдоподобно интерпретируется как «Он говорит что-то, что имеет для него стимульное значение, которое «Там находится кролик» имеет для нас».

Столько же может быть сделано и для полагания, если отвлечься ненадолго от лжецов и неразумных животных. «Он полагает – там находится кролик» правдоподобно интерпретируется как «Если бы его спросили, он бы согласился с неким предложением, которое имеет для него такое же стимульное значение, которое «Там находится кролик» имеет для нас»¹. Это, в свою очередь, согласно нашему определению стимульной синонимии, равно утверждению двух вещей: что он как раз имел перед тем стимуляцию, относящуюся к стимульному значению «Там находится кролик» для нас, и что он знает употребление предложения, чье стимульное значение для него – точно такое же. Если вместо этого последнего требования мы согласимся довольствоваться какой-либо неязыковой характерной диспозицией в отношении кроликов, мы можем даже придать смысл предложению «Эта собака полагает – там находится кролик»².

Предложения наблюдения – это не вечные предложения. Изучая их так прямо в связи с пропозициональными установками вместо того, чтобы сначала перефразировать их в вечные предложения, мы, таким образом, отказываемся от предписаний § 6.3; но мы должны так поступить, если нам нужно в значительной степени сохранить здесь употребление их стимульных значений. В любом случае причины для такого предписания, в той мере, в какой оно основывалось на пропозициях, больше нет.

Мы знаем из § 2.5, что стимульную синонимии можно использовать как стандарт перевода не только для предложений наблюдения, но и для ситуативных предложений вообще – спасибо методу обобществленной внутрисубъектной синонимии и овладения двумя языками. Разумно ожидать сравнимого успеха в истолковании не прямых кавычек и предложений полагания, компонентные предложения которых являются ситуативными предложениями, хотя для этого могут потребоваться кое-какие корректировки времен и указательных слов. Эффективность такого подхода распространяется даже на случаи, когда компонентные предложения являются устойчивыми предложениями, но она сходит на нет по мере обеднения их стимульных значений. Отчасти, возможно, это происходит вследствие того, что настолько существенная часть дискурса пропозициональных установок так неприкрыто эмпирична, что люди столь уверенно чувствуют себя и в отношении остальных его частей.

¹Ср.: Carnap. Meaning and Necessity, p. 55.

²Тем, что говорится в этом параграфе и в предыдущем, я обязан Дэвидсону.

Тем не менее для предложений вообще или даже для вечных предложений вообще наверняка не существует приближения к жесткому стандарту в отношении того, насколько не прямые кавычки могут отличаться от прямых¹. Обычно степень допустимого отклонения зависит от причины использования кавычек. Это – вопрос о том, с какими чертами закавыченных замечаний говорящего мы хотим что-либо сделать; таковы черты, которые надо сохранить, как они есть, если есть необходимость считать наши не прямые кавычки истинными. Сходные соображения применимы к предложениям полагания и другим пропозициональным установкам. Так, даже если мы превратим в вечное компонентное предложение, а также избавим содержащее его предложение от таких источников вариации истинностного значения, как неадекватные дескрипции, указательные слова и тому подобное, целое по-прежнему может в некоторых случаях оставаться способным к изменению истинностного значения в зависимости от ситуации: считаясь истинным в тех случаях, когда отличия составляющего предложения от варианта прямых кавычек не дают никаких преимуществ, а иначе – ложным. Очевидно, в не прямых кавычках и других идиомах пропозициональной установки мы должны узнать источник вариации истинностного значения, сравнимый с указательными словами, хотя и с более ограниченными следствиями. Кроме того, часто так случается, что просто отсутствуют указания на то, каким считать утверждение пропозициональной установки – истинным или ложным, – даже если имеется полное знание его обстоятельств и целей.

Причина притягательности не прямых кавычек как первого примера пропозициональных установок состоит в том, что в этом случае действительное закавыченное произнесение говорящего является стандартом сравнения вариантов, тогда как в случае полагания, желания и в остальных обычно нет такой фиксированной позиции, от которой можно было бы дальше отталкиваться. Конечно, эта черта не делает не прямые кавычки по-человечески необязательными. Даже когда мы слышим замечание непосредственно, а не с чужих слов, мы стремимся забыть точные слова, в которых оно было выражено, и запомнить лишь столько содержания, сколько можно сообщить посредством не прямых кавычек². Такова основная польза не прямых кавычек. И в этом состоит также их польза как посредника при переводе. Мы должны сохранить не прямые кавычки, а также, по сходным или иным причинам, – другие идиомы пропозициональной установки.

Вообще основополагающая методология идиом пропозициональной установки сильно отличается от духа объективной науки в ее наиболее показательных аспектах. Так, возьмем опять кавычки – прямые и не прямые. Когда мы прямо закавычиваем произнесение индивидом предложения, мы сообщаем об этом произнесении почти³ так же, как мы могли бы сообщить о крике птицы. Как бы ни было значительно произнесение, прямые кавычки просто сообщают о физическом событии, а любые следствия из него оставляют выводиться нам. С другой стороны, в не прямых кавычках мы проецируем себя на то, что, исходя из замечаний говорящего и других указаний, мы воображаем как состояние сознания, которое он имел, а затем мы говорим на нашем языке то, что для нас естественно и релевантно в так симитированном состоянии чужого сознания. Мы обычно можем ожидать, что не прямое заключение в кавычки будет оцениваться только как более или менее лучшее или плохое, более или менее надежное, и мы даже не можем здесь рассчитывать на строгий стандарт того, что есть более, а что – менее; здесь производится оценка, зависящая от специальных задач, по существу, драматургического действия. Соответственно – для других пропозициональных установок, поскольку все они могут мыслиться как включающие в себя что-то подобное заключению в кавычки собственного воображаемого вербального ответа на воображаемую ситуацию.

Давая таким образом своим действительным самостям не действительные роли, мы вообще не знаем, как много действительного сохранять неизменным. Возникают затруднения. Но,

¹Так, по этому общему поводу я согласен с Шеффлером: “On synonymy and indirect discourse”, несмотря на оговорки в § 6.3.

²См.: Chisholm. Perceiving, p. 160.

³Это наречие учитывает то, что говорится в § 3.2.

несмотря на них, мы обнаруживаем, что атрибутируем полагания, желания и стремления даже существам, лишенным способности говорить, – такова наша драматургическая виртуозность. Мы проецируем себя даже в то, что, исходя из поведения мыши, мы воображаем как состояние сознания, которое она имела, и инсценируем его как полагание, желание или стремление, озвученное так, как кажется релевантным и естественным нам в так симитированном состоянии.

В строжайшем научном духе мы можем сообщить обо всяком поведении, вербальном и другом, которое может лежать в основании наших представлений о пропозициональных установках, и мы можем продолжать рассуждать, как нам угодно, о причинах и следствиях этого поведения; но до той поры, пока мы не прибегаем к вдохновению, по существу, драматургическая идиома пропозициональных установок остается не у дел.

Брентано оживил в связи с глаголами пропозициональной установки и близкими к ним глаголами того вида, который мы изучали в § 4.7, – «охотиться», «хотеть» и др. – схоластическое слово «интенциональное». Между такими идиомами и нормальными, легко поддающимися разбору идиомами существует заметное различие. Мы видели, как оно разделяет референциальное и нереференциальное появления термина. Более того, оно тесно связано с различием между бихевиоризмом и ментализмом¹, между действующей причиной и конечной причиной и между теорией в собственном смысле и драматургическим изображением.

Анализ в § 4.7 был таким, что избавил нас от какого-либо искушения постулировать особые «интенциональные объекты» охоты, желания и тому подобного. Но еще остается непосредственно затрагивающий наши нарождающиеся сомнения относительно пропозициональных установок и других интенциональных форм речи тезис Брентано, позднее иллюстративно развитый Чизомом. В общем виде он утверждает, что от интенционального словаря не избавиться путем объяснения его элементов в других терминах. Наши теперешние соображения благоприятны для этого тезиса. Даже непрямые кавычки, при всей их покорности в сравнении с другими идиомами пропозициональной установки и при всей их сосредоточенности на внешнем языковом поведении, кажутся нечувствительными к общей редукции к терминам поведения; лучшее, что мы можем сделать с ними, – это перейти к прямым кавычкам, а это добавляет новую информацию. А когда мы обращаемся к предложениям полагания, проблема удваивается. Ведь, во-первых, при объяснении полагания вообще как диспозиции соглашаться с предложениями возникает проблема, например, немоты или лживости; а во-вторых, остается открытым вопрос, во многом такой же, как и в случае с непрямыми кавычками: какие различия допустимы между предложениями, с которыми действительно согласились, и теми, которые представляют собой сообщение с чужих слов.

Чизом считает семантические термины «значение», «обозначать», «синонимичны» и им подобные членами интенционального словаря и спрашивает, до какой степени можно объяснить такие термины без помощи других семантических и интенциональных терминов. Тот вид трудности, который он имеет в виду, если адаптировать его к примеру с «Гавагай» (гл. 2), следующий: мы не можем приравнять «Гавагай» и «Кролик» как прямые реакции на появления кроликов, так как к согласию с этими предложениями побуждает не присутствие кроликов, а их полагаемое присутствие; а полагание интенционально. Мы устранили это препятствие в § 2.2, приравняв «Гавагай» и «Кролик» на основании скорее стимуляций, чем кроликов. Стимуляции, как бы они ни были обманчивы, принимаются такими, какие они есть, и достаточно хорошо подходят для того, чтобы поддерживать указанное равенство от говорящего к говорящему. Существует возможность того, что информаторы могут лгать нам, но при этом наблюдатель признает, что такие отклонения, когда их ложность остается незамеченной, достаточно редки, чтобы не испортить важную аппроксимацию стимульных значений.

Но мы по-прежнему сталкиваемся с трудностью, которую предвосхищает Чизом, когда переходим от стимульной синонимии ситуативных предложений к толкованию терминов. Это –

¹См.: Chisholm. Sentences about believing; Bergmann. Intentionality, p. 211.

шаг, требующий аналитических гипотез, не обусловленных вербальными диспозициями (§ 2.6, 2.10); и все же это – шаг, который интенциональный словарь представлял бы как обусловленный. Ведь, употребляя интенциональные слова «полагать» и «приписывать», можно сказать, что термин говорящего следует истолковывать как «кролик» тогда и только тогда, когда говорящий предрасположен приписывать его всем и только тем объектам, которые он полагает кроликами. В таком случае очевидно, что относительность не единственных систем аналитических гипотез влияет не только на синонимию в рамках перевода, но и на интенциональные понятия вообще. Тезис нередуцируемости интенциональных идиом Brentano не конфликтует с тезисом неопределенности перевода.

Можно принять тезис Brentano или в качестве демонстрации неустраимости интенциональных идиом и важности самостоятельной науки, которая бы занималась интенцией, или в качестве демонстрации безосновательности интенциональных идиом и бессодержательности такой науки. Я, в отличие от Brentano, разделяю второе отношение. Мы видели, что принять интенциональное употребление за чистую монету – значит постулировать отношения перевода как в чем-то объективно истинные (*valid*), хотя и в принципе неопределенные относительно совокупности речевых диспозиций. Такое постулирование обещает мало достижений при научном подходе, если для него нет лучшего основания, чем предположение, что отношения перевода подразумеваются жаргоном семантики и интенции.

Не то чтобы я накладывал запрет на каждодневное употребление интенциональных идиом или утверждал, что они практически устранимы. Но они, я думаю, требуют разветвления канонической символики. Какой из ее вариантов выбрать, будет зависеть от того, какая из различных задач канонической символики окажется нашим мотивом в соответствующий момент. Если мы описываем истинную и предельную структуру реальности, каноническая схема для нас будет аскетичной схемой, не знающей никаких кавычек, кроме прямых кавычек, и никаких пропозициональных установок, но только – физическое строение и поведение организмов. (Было бы бессмысленно исключать из этого запрета даже те излюбленные предложения пропозициональной установки, которые могут быть объяснены в терминах стимульной синонимии; ведь если их можно так перефразировать, то они, конечно, устранимы.) Если мы осмеливаемся формулировать фундаментальные законы какой-либо отрасли науки сколь угодно предварительно, то эта аскетичная идиома, вероятно, подойдет также для выполнения этой задачи. Но, если наше употребление канонической символики нацелено лишь на устранение языковых затруднений или на то, чтобы способствовать логическим выводам, то часто хорошим советом нам бывает такой: терпимо относиться к идиомам пропозициональной установки. Нашим целям тогда вполне может служить принятие аппарата пропозициональных установок в том виде, в каком он описан в конце § 6.5, – соответственно, за изъятием права квантифицировать объекты установки¹.

6.7 Диспозиции и условные предложения

Обратимся теперь к другой идиоме, некоторым образом сходной с идиомой пропозициональной установки: сильному или сослагательному условному предложению. Не ложность antecedenta или простого предложения, начинающегося с «если», отличает такое условное предложение от обычного условного предложения, а тот факт, что последнее можно принимать всерьез и утверждать или отрицать при полном осознании ложности его antecedenta.

¹Об аскетичной схеме, которую Бергман (Intentionality) называет L_0 , см. дальше: § 6.8. Наиболее либеральный ее вариант, включающий интенциональные идиомы, отвечает духу, хотя и не в деталях, Бергмановой L . В его добросердечии к интенциональному Бергман ближе к Brentano, чем я; но это различие не легко определить, поскольку мы согласились как с тем, что интенциональное несводимо, так и с тем, что оно по крайней мере практически неустраимо.

Мы утрачиваем интерес к обычному условному предложению и перестаем утверждать или отрицать его, как только удовлетворяемся истинностным значением его антецедента¹.

Сослагательное условное предложение, как и непрямые кавычки и даже больше, зависит от драматургического проекта: мы притворяемся полагающими антецедент и смотрим, насколько убедительным будет для нас в таком случае консеквент. Какие черты реального мира считать сохраненными в притворном мире контрфактического антецедента, можно догадаться только на основании благосклонного понимания вероятной цели, с которой сказочник сочиняет свою сказку. Так, рассмотрим пару (очень близкую к паре, предложенной Гудменом):

Если бы Цезарь мог, он бы использовал атомную бомбу.

Если бы Цезарь мог, он бы использовал катапульты.

Мы с большей вероятностью должны услышать первое, но лишь в силу того, что оно вероятнее соответствует тому уроку, драматургическую постановку которого пытается осуществить говорящий.

Мы помним, что непрямые кавычки никаким общим методом не переводятся в закавыченную речь, хотя за каждым конкретным истинным случаем стоит действительное произнесение, которое можно заключить в кавычки. Подобным образом сослагательное условное предложение – это идиома, для которой мы не можем надеяться найти удовлетворительный общий заместитель в реалистических терминах, хотя обычно в конкретных случаях мы можем видеть, как достаточно прямо переформулировать соответствующее заявление.

Сослагательное условное предложение респектабельнее всего выглядит в терминах диспозиции. Сказать, что объект *a* есть (в воде) *растворимый* в момент времени *t*, – значит сказать, что если бы *a* находилось в воде в момент *t*, *a* растворилось бы в момент *t*. Сказать, что *a* есть *хрупкое* в момент времени *t*, – значит сказать, что, если бы по *a* хорошенько ударили в момент *t*, то *a* бы разбилось в момент *t*. Обычного условного предложения здесь было бы недостаточно, так как оно теряет смысл, когда известно истинностное значение его антецедента. Мы хотим говорить об *a* как о растворимом или хрупком в момент *t*, хотя знаем, что оно не погружено в жидкость и не ударено в момент *t*. Очевидно, здесь используется сослагательное условное предложение. При этом оно сохраняет здесь не много того непостоянства, которое мы видели в примерах с Цезарем.

Различие состоит в том, что здесь вторгается стабилизирующий фактор; теория структуры, подлежащей видимому миру (*subvisible structure*). То, что мы видели растворяющимся в воде, согласно этой теории, имеет растворяющуюся структуру; а если мы теперь говорим о каком-то новом сухом куске сахара как о растворимом, нас можно понимать так, что мы просто говорим, что этот кусок, определено ли ему судьбой быть помещенным в воду или нет, структурирован подобным же образом. Хрупкость определяется параллельным способом.

Правда, люди равно легко говорили о растворимости и до того, как появилось это объяснение; но только потому, что они уже полагали, что есть скрытые характеристики того или иного вида, структурные или иные, присущие веществу и объясняющие его растворение при погружении в жидкость. Этого было достаточно для предположения, что, если бывший прежде объект *a* имел данную гипотетическую характеристику (как видно из того, что он растворился) и если состав *b* кажется точно таким же, как состав *a*, то, вероятно, *b* также имеет эту характеристику. Что-то подобное происходит всякий раз, когда мы выводим одну характеристику из другой на основании широко распространенного наблюдения за ассоциацией характеристик, но не зная связывающего их механизма, как, например, при психиатрических прогнозах, основанных на синдромах; подходящий механизм, хотя и совершенно неизвестный, полагается наличным в структуре демонстрирующего некое поведение организма.

¹ Более детальный анализ этого различия см. у Стенли.

Диспозиции, как мы видим, лучше себя проявляют, чем сослагательные условные предложения; и причина этого – в том, что они понимаются как встроенные, длящиеся структурные характеристики. Сберегающая их благодать распространяется, более того, на многие сослагательные условные предложения, которым не случилось обрести однословных ярлыков, таких, как «растворимый» и «хрупкий». Примером может служить «побудило бы к согласию» из § 2.2. Ведь в этом случае тоже имелась в виду диспозиция, хотя и осталась неназванной: некое тонкое состояние нервной системы, вызванное изучением языка, предрасполагающее субъекта согласиться или не согласиться с определенным предложением в ответ на определенные сопутствующие ему стимуляции.

Диспозициональность терминов диспозиции, таких, как «растворимый» и «хрупкий», показывают их суффиксы, а природу диспозиции – их глагольные основы. Только на основании этих этимологических соображений, если для этого вообще есть какие-нибудь основания, такие термины, как «красный», могут не причисляться к диспозициональным. Объект – красный, если он предрасположен при случае выборочно отражать определенный низкочастотный спектр. Краснота вещей подобна растворимости тем, что образец подлежащей видимому миру структуры, который при этом имеется в виду, теперь может быть вполне справедливо понят и был когда-то так понят, без помех для употребления термина, будучи известен только по своим плодам. Таким образом, если не принимать в расчет этимологию, понятие термина диспозиции оказывается вполне бесполезным до тех пор, пока не понимается релятивистски: «растворимый» диспозиционален относительно «растворяться», «красный» – относительно «выборочно отражать определенный низкочастотный спектр». Сомнения, связанные с сослагательным условным предложением, касаются не нескольких терминов, но скорее диспозиционного оператора ‘-ble’ («-мый») ^{34*}, понятого как то, что может дополнять любые термины с целью получения новых терминов, которые являются диспозициональными относительно первых. Любой конкретный термин, полученный с помощью такого оператора, может по-прежнему оцениваться как простой термин. Нет причин колебаться по поводу допущения общих терминов «растворимый» и «хрупкий» в свой теоретический словарь больше, чем по поводу допущения в него термина «красный». Каждый из них представляет собой термин, который мы атрибутируем физическим объектам, часто – в силу прямого наблюдения, достигаемого путем просто обусловленного ответа, а часто – в силу теории.

Специфическая проблема диспозициональных терминов, таким образом, такова: должны ли мы считать этимологически диспозициональные слова «растворимый», «хрупкий» и др. простыми и не редуцируемыми общими терминами, равнозначными термину «красный», или можно систематически перефразировать содержащие их предложения так, чтобы там не было этих терминов, а вместо них были их коренные глаголы? Конечно парафраз возможен, если мы допустим сослагательные условные предложения; но проблему надо решить также и без этой помощи – или, что эквивалентно, перефразировать сами сослагательные условные предложения постольку, поскольку их можно справедливо трактовать как выражающие диспозиции.

Целью была бы тогда не синонимия, а всего лишь приблизительное выполнение вероятных задач исходных предложений (ср. § 5.1). Это – совершенно смутная цель, не дающая никакого указания в отношении допустимого словаря, но все же наметившая порядок действий содержится в положении о структуре, подлежащей видимому миру. Если мы позволим нашей теории включать в себя относительный термин «*М*», соответствующий словам «со сходной молекулярной структурой», понятым в каком-либо подходящем смысле, то мы сможем перефразировать «*x* растворимо» и «*x* хрупко» приблизительно так:

$$(\exists y)(Mxy \text{ и } y \text{ растворяется}), \quad (\exists y)(Mxy \text{ и } y \text{ разбивается}),$$

где глаголы поняты как не имеющие времен. Соответственно, то же, возможно с изменением «*М*», мы получаем для каких-нибудь других множеств терминов диспозиции. Такие

парафразы, конечно, были бы строго необходимы для категоризации теории, а не для эпистемологической редукции.

Между сослагательными условными предложениями разумно диспозиционного вида и необработанными сослагательными условными предложениями нет четкой границы, а лишь степени: лучше и хуже. Такая градация существует также и среди этимологически явных терминов диспозиции. Какие из них использовать в канонической символике по систематическим соображениям указанного выше вида, какие допускать по отдельности в качестве нередуцируемых общих терминов, а на какие накладывать запрет – это вопросы, которые должны решаться не раз и навсегда, а с оглядкой на действующие проекты.

Чем дальше отстоит диспозиция от тех, ответственность за которые можно уверенно возложить на молекулярную структуру или что-либо, сравнимо стабильное, тем больше наш разговор о ней стремится зависеть от смутного фактора «*ceteris paribus*». Этот фактор так же точно ускользал от нас в случае не прямых кавычек; и он же затруднял общий анализ неявно диспозиционных конструкций, представленных предложением «Тэбби ест мышей» (§ 5.4). Привлекательная его идиома остается полезной благодаря тому, что позволяет знать об охвате «*ceteris paribus*» по контексту или на основании других особых обстоятельств конкретного произнесения. Вот почему парафраз таких идиом в удовлетворительно ясную каноническую символику часто практикуется от случая к случаю, но в целом, как парафраз каждой идиомы в другую идиому, безнадежен.

Из последних параграфов становится ясным не только что сослагательному условному предложению нет места в аскетичной канонической символике науки, но также что запрет, налагаемый на него, не так строг, как сначала казалось. Мы по-прежнему вольны позволять себе использовать один за другим любые общие термины, какие пожелаем, как бы ни были сослагательны или диспозициональны их объяснения. («Стимульно синонимичны» был бы, несомненно, одним из таких.) Исключаем мы только сослагательное условное предложение или диспозиционный оператор «-мый» в качестве свободно используемого ингредиента канонической символики. Более того, значительная часть общей силы даже этих конструкций по-прежнему доступна в других формах благодаря универсально квантифицированному изъяснительному условному предложению, а также благодаря таким относительным терминам, как «*М*», которые мы по-прежнему вольны допускать. Что касается остального, то наш отказ, кажется, имеет силу только в связи с тенденцией самой науки: благорасположением к определенным механизмам, признанным или открытым, по сравнению с неопределенной каузальностью¹.

Что касается изъяснительного условного предложения, то оно не представляется проблематичным. В своей неквантифицированной форме «Если *p*, то *q*» оно, возможно, лучше всего характеризуется как страдающее провалом истинностного значения (§ 5.5) всегда, когда его антецедент ложен. Этот провал неудобен по той же самой причине, как и та, что была отмечена в связи с единичными терминами: он не фиксируется символическим образом. Если мы продолжим закрывать провал в духе хорошей канонической символики, мы получим (как Филон из Мегары и Фреге до нас) просто материальное условное предложение (§ 6.2), истинностную функцию².

¹ Взгляд на остальные сослагательные условные предложения как на ненаучный язык был предложен также Хэмпшайром, который говорил об этих предложениях, что их «не предполагается заменять фальсифицируемыми общими высказываниями плюс высказываниями первоначальных условий; будучи так употреблены, они могут быть описаны как выражения суждений или интерпретаций фактов, чтобы отличить их от их употребления в строго научном дискурсе». И см.: *Russel. Our Knowledge of the External World*, p. 220. О сослагательных условных предложениях и терминах диспозиций см. далее: *Carnap. Methodological Character of Theoretical Concepts*, pp. 62–69, и *Testability and meaning; Goodman. Fact, Fiction and Forecast; Pap. Disposition concepts and extensional logic; Reichenbach*, §§ 60–63, и мою рецензию; и: *Sellers*.

² См. мою работу: *Elementary Logic*, § 7. Но эта претензия применима к изъяснительному условному предложению только в его «полуприлагательном» употреблении, согласно Рейхенбаху (pp. 389 f.), но не к тому, что он назвал его «соединяющим» употреблением.

Чрезмерное обличение материального условного предложения было спровоцировано словом Рассела: «импликация» (ср. § 6.2) – но в любом случае материальное условное предложение вызвало бы протест. Мне не следовало бы желать выводить случай материального условного предложения из той претензии, что оно отличается от изъявительного условного предложения обыденного употребления всем, за исключением провала истинностного значения; ведь здесь, как и в других моментах, касающихся канонической символики, не употребление является нашей темой. Не будем спрашивать, конституирует ли каким-то образом материальное условное предложение подлинный семантический анализ обыденного изъявительного условного предложения; заметим просто, что оно, иногда усиленное универсальной квантификацией, в целом доказывает свою полезность в преодолении неровностей коммуникации там, где иначе мы могли бы прибегнуть к обычному изъявительному условному предложению. В частности, это происходит всякий раз, когда изъявительное «если, то» встречается в формулах, приведенных на предыдущих страницах; его можно удовлетворительно истолковать как материальное условное предложение в каждом таком случае.

6.8 Каркас для теории

Наша каноническая символика в главе 5 продолжала допускать указательные слова уже после того, как были устранены времена и единичные термины. Ее предложения не ограничивались вечными предложениями. Тем не менее вечным предложениям отдается предпочтение, и так было с того момента, когда люди научились писать. Постольку, поскольку некоторые произнесения предложения могут быть истинными, а другие – ложными, мы должны знать обстоятельства произнесения; и мы реже знаем такие обстоятельства в случае письма, чем в случае речи.

Письмо – неотъемлемая часть серьезной науки, если считать ее кумулятивной; и чем дольше предложение сохраняется в науке, тем больше тускнеют обстоятельства его произнесения. Более того, дух теоретической науки, даже независимо от требований письма, поощряет устойчивость истинностных значений. То, что истинно здесь и теперь, тем больше стремится быть истинным также там и тогда, чем яснее его принадлежность к предмету изысканий ученых. Хотя научные данные основываются на предложениях наблюдения, которые истинны только в рамках конкретного произнесения, проектируемые на основании этих данных предложения теории имеют тенденцию быть вечными предложениями.

Воодушевляющим нас следствием этой тенденции является упрощение логической теории. Законы логического вывода ссылаются на возобновляющиеся повторения предложений, признавая, что предложение, истинное в одном случае, будет истинным и в другом. Даже вывод « p » из « p и q » (где « p » и « q » обозначают предложения) – это случай такого рода. Любой план, не предполагающий таким образом устойчивость истинностных значений, был бы невосполнимо сложен.

Мы применяем логику к предложениям, чьи истинностные значения изменяются в зависимости от говорящего и времени произнесения. Мы оставляем временные и местоименные референции и даже смыслы двусмысленных слов нефиксированными лишь потому, что можно ожидать, что обстоятельства, ответственные за эти референции и смыслы в каждом конкретном случае произнесения, устанавливают их единообразно на всем пространстве аргумента. Иногда это ожидание обманывается и мы сталкиваемся с *ошибкой эквивокации*. Те, кто применяет логическую теорию, должны быть бдительны в отношении этой опасности и, если она угрожает, расширять предложение-нарушитель: не до вечного предложения, но достаточно значительно для того, чтобы отобразить любые различия, которые иначе проявят себя в превратностях аргумента¹. Отношение вечных предложений к нашей логике подобно отноше-

¹Ср. мою работу: *Methods of Logic*, pp. xvi, 43.

нию серебряного доллара к нашей экономике: мы его по большей части не видим, но расчеты ведем с его помощью.

Главное отличие вечных предложений состоит в том, что они представляют собой хранилище самой истинности и, соответственно, всей науки. Постольку, поскольку о предложении можно сказать просто, что оно истинно, а не только – истинно теперь или в этих устах, это – вечное предложение. В тех случаях, когда наша цель – аскетичная каноническая форма системы мира, нам не следует останавливаться на отказе от пропозициональных установок и сослагательных условных предложений; мы должны также отказаться от указательных слов и других источников флуктуации истинностного значения.

«Поскольку» и подобные идиомы каузального типа уподобляются сослагательному условному предложению. Если оставить в стороне их и пропозициональные установки и отказаться от модальности и интенциональной абстракции (§§ 6.2, 6.5), а кавычки свести к произнесению или написанию по буквам (§ 4.5), введя изъяснительное условное предложение в строгие рамки (§ 6.7), то не останется никакой явной причины для включения одних предложений в другие иначе, чем посредством истинностных функций и квантификации. Насколько сильно такое сочетание, показали экстенсивно логические категоризации частей науки, особенно математики, осуществленные Фреге, Пеано и их последователями.

Если подходить к формированию канонической символики так аскетично и, кроме того, придерживаться формальных методов экономии из главы 5, то мы получим в точности следующие основные конструкции: предикация, универсальная квантификация (ср. § 5.2) и истинностные функции (сводимые к одной¹). Окончательными компонентами предложений будут переменные и общие термины; они сочетаются в предикацию и дают атомарные открытые предложения. Таким образом, в качестве схемы систем мира мы имеем так хорошо разработанную современными логиками структуру – логику квантификации или исчисление предикатов.

Не то чтобы отвергнутые на этом пути идиомы полагались ненужными на рынке или в лаборатории. Не то чтобы указательные слова и сослагательные условные предложения полагались ненужными при обучении самим терминам – «растворимый», «Гринвич», «нашей эры» ('A.D.'), «Полярный» – которым могут даваться канонические формулировки. Доктрина состоит лишь в том, что такую каноническую идиому можно абстрагировать, а затем следовать ей в высказываниях научной теории. Доктрина состоит в том, что если вообще можно выразить все черты реальности, заслуживающие наименования, то можно сделать это посредством идиомы такого аскетичного вида.

Эта доктрина соответствует духу философской доктрины категорий, за тем лишь исключением, что ее содержание относительно. Сама по себе она не устанавливает никаких ограничений словаря неанализируемых общих терминов, допустимых в науке. Но она ограничивает способы выведения сложных предикатов, сложных условий или открытых предложений из этих необусловленных компонентов. Это – доктрина, устанавливающая границы в отношении того, что можно сказать о предметах на основании (а) таких «первичных черт» или общих терминов, которые могут быть явно приняты исключительно на основании их заслуг, не относящихся к чисто релятивистским задачам данной доктрины, и (b) таких «производных черт», которые можно сформулировать в терминах первичных черт посредством одних только предикации, квантификации и истинностных функций. Она очерчивает круг того, что считать научно допустимой конструкцией, и утверждает, что все, что не может быть так сконструировано из данных терминов, следует либо наделить статусом еще одного нередуцируемого данного термина, либо избегать. Эта доктрина – философская по своей широте, как бы ее мотивация ни обуславливалась наукой.

¹ Имеется в виду знакомая редукция Шеффлера. См., например, мою работу: *Mathematical Logic*, pp. 45 ff., или *Methods of Logic*, p. 11.

Испытывая недостаток определенности в отношении совокупности допустимых неанализированных общих терминов, можно по-прежнему считать определяющими некоторые абсолютные философские категории таких терминов. Так же, испытывая недостаток определенности в отношении допустимых объектов или значений переменных квантификации, можно считать определяющими некоторые категории, предполагающие фундаментально различающиеся типы объектов: таково противопоставление физических объектов классам, а классов, возможно, разным другим, явно отличающимся видам предметов. Можно затем пойти дальше, декларируя, что термины, входящие в состав лишь некоторых категорий терминов, значимым образом предиктируемы предметам определенных видов. Примером тому является теория типов, которую Рассел предложил на обсуждение как средство справиться с антиномиями наивной теории множеств. Кроме того, независимо от этого технического контекста, философы были озабочены декларированием скорее бессмысленности, чем тривиальной ложности, таких предикаций, как «Этот камень думает о Вене» (Карнап) и «Квадратичность пьет оттяжку» (Рассел). Здесь мы иногда становимся очевидцами просто спонтанного восстания против глупых предложений, а иногда – отдаленного проекта приведения осмысленных предложений к чему-то подобному эмпирическому формату. Но поскольку философам, которые возвели бы такие категориальные заборы, в общем не разрешено изгонять из языка всякую математическую ложность и любить абсурдности, я не вижу большой пользы в предпринимаемом ими частичном исключении; ведь формы, о которых идет речь, по-прежнему, если бы допускались, управлялись бы скорее как ложные (и ложные благодаря значению, если угодно), подобно самопротиворечивым формам. Терпимость несущественностей (*don't cares*) (§ 5.6) – главный источник простоты теории; а в данном примере она дважды существенна, поскольку освобождает нас как от установления категорий, так и от почтения к ним.

Что касается технической мотивации в теории множеств, то хорошо известны альтернативные варианту Рассела варианты, не зависящие ни от каких лингвистических запретов; в самом деле, собственно саму теорию Рассела можно легко транскрибировать так, чтобы избежать указанных зависимостей¹. В целом я нахожу, что подавляющее число обстоятельств говорит в пользу единой неразделенной вселенной значений связанных переменных и простой грамматики предикации, допускающей все общие термины на равных основаниях. Все же можно, если кому-то этого хочется, провести второстепенные различия как на основании методологических соображений, так и на основании соображений естественного вида; но мы можем считать их специальными различиями, характерными для конкретных наук и не отраженными в структуре нашей символики.

Ничего по-прежнему не было сказано о составе допустимого словаря неанализированных общих терминов. Но можно быть уверенным относительно частицы « \Rightarrow »: она непременно будет входить в этот состав, или в качестве неанализированного общего термина, или в составе сложного парафраза, по крайней мере если словарь неанализированных общих терминов конечный. Так, запишем «если Fx , то Fy », и наоборот, с каждым из абсолютных общих терминов на месте « F », а также, « $(z)(\text{если } Fxz, \text{ то } Fyz)$ » и « $(z)(\text{если } Fzx, \text{ то } Fzy)$ », и наоборот, с каждым из диадических относительных терминов на месте « F », и – то же самое для « $(z)(w)(\text{если } Fxzw, \text{ то } Fyzw)$ » и т.д. Конъюнкция всех этих формул совпадает по объему с « $x = y$ », если любая формула, конструируемая из элементов данного словаря, совпадает с ней по объему; наоборот, мы можем без конфликта принять эту конъюнкцию как нашу версию тождества². Делая так, мы навязываем определенное отождествление неразличимых³, но – только не строгое.

Так, назовем два объекта *абсолютно* различимыми (по своей символике), если некое открытое предложение с одной свободной переменной выполняется только одним из двух объ-

¹Результатом транскрипции такого рода является не то, что Рассел назвал типической двусмысленностью, а что-то подобное теории множеств Цермело. См. мою работу “Unification of Universes”.

²Ср.: Hilbert and Bernays, pp. 381 f.

³Показательные следствия этого для сочетания различных областей дискурса смотри в моей работе: From a Logical Point of View, pp. 70 ff., 117ff., 123.

ектов, а *относительно* различимыми будем их называть, если некое открытое предложение с двумя свободными переменными выполняется этими двумя объектами в одном-единственном порядке. Описанная версия тождества называет тождественными лишь те объекты, которые неразличимы относительно. Она не называет тождественными все объекты, неразличимые абсолютно. Ведь могут существовать объекты x и y и относительный термин (скажем, « F »), такие, что Fxy , а не Fxx и не Fyy ; и при этих обстоятельствах x и y не обязательно должны быть абсолютно различимыми, чтобы тем не менее не считаться тождественными, поскольку – не (z) (если Fxz , то Fyz).

Наблюдение, что тождество так неявно сопровождает любой конечный словарь общих терминов, соответствует тому, что изучалось в § 2.6, 3.3, 3.4, 3.8, где я подчеркивал релевантность тождества референциальной функции общих терминов. Оно также некоторым образом оправдывает тенденцию рассматривать « $=$ » скорее, чем другие общие термины, как логическую константу.

Теперь вернемся к нашей канонической грамматике, сведенной к предикации, квантификации и истинностным функциям. Есть техническая причина таким образом определять, какие конструкции допустимы, даже если запас общих терминов оставлен открытым. Ведь разные законы логических трансформаций структуры предложения доказаны математической индукцией. Это значит: показано, что законы верны для простейших предложений, а также для предложений следующей степени сложности, чем те предложения, для которых они верны, – откуда выводится заключение, что они верны для всех предложений. Чтобы это утверждать, мы должны знать исчерпывающий перечень допустимых конструкций, но вместе с тем – лишь немногие не так повсеместно разделяемые черты доступных простых предложений. Когда конструкция предложений ограничена квантификацией и истинностными функциями, такой индукцией легко доказывается закон экстенциональности (§ 4.6).

Другая причина определения конструкции отдельно от общих терминов состоит в том, что канонические формы часто желательны для разрешения путаницы и программирования дедуктивных техник там, где не мыслятся окончательные формы. Незавершенность полного курса отказов и редукций – не препятствие для применения логики квантификации; мы просто применяем ее в той степени, в какой углубился соответствующий анализ. Выжившие посторонние идиомы – указательные слова, интенциональные абстракции или что бы то ни было – могут сохраняться в качестве компонентов больших целых выражений, пока воспринимаемых как неанализируемые общие термины.

Но можем ли мы по-прежнему не стремиться к открытию какого-либо фундаментального множества общих терминов, на основании которого в принципе можно было бы сформулировать все черты и состояния всего? Нет; мы можем доказать, что открытость неизбежна в любом случае, когда предложения теории включены в пространство теории в качестве объектов. Так, пусть S_1, S_2, \dots будут предложениями, составленными посредством символики теории θ , где « x » – единственная свободная переменная. Для каждого объекта как значения переменной « x » каждое такое предложение истинно или ложно относительно этого объекта; поэтому каждое из них, будучи также объектом этого же пространства, истинно или ложно относительно самого себя. Легко показать, что никакой общий термин, определяемый в θ , не истинен относительно точно тех S_1, S_2, \dots , которые ложны относительно самих себя. (Ведь если бы « F » было таким термином, то « Fx » было бы истинно относительно себя самого тогда и только тогда, когда оно ложно относительно себя самого¹.) Такой термин можно добавить к θ в качестве его нередуцируемого дополнения.

Все же есть возможность вообще подвергнуть общие термины радикальному формальному сокращению. Если принятое пространство объектов включает в себя хотя бы скромный запас классов – на самом деле для этой цели не требуется классов с числом членов большим

¹Этот аргумент в принципе принадлежит Кантору. Форма, которую я ему придал, напоминает также парадокс Греллинга, а то, как я его употребляю, отсылает к Тарскому.

двух, — то можно показать, что любой словарь (конечный или бесконечный) общих терминов (абсолютных или относительных) редуцируем путем парафразы к единственному диадическому относительному термину¹. Так, на каждом этапе дополнения открытого набора общих терминов мы можем заключить весь набор в единый диадический термин. В случае добавления новых терминов мы можем снова поступить подобным образом; но новый единственный диадический термин будет отличаться от старого тем, относительно каких пар объектов он истинен.

Сказав о предложенной теории, что ее конструкциями должны быть предикация, квантификация и истинностные функции, мы определили не что иное, как логику теории. Тогда остаются вопросы, касающиеся не только ее словаря общих терминов, но и ее пространства дискурса: диапазона значений ее переменных квантификации. Сама осмысленность квантификации, казалось бы, предполагает некое понятие о том, какие объекты считать значениями переменных. Однако отсутствие необходимости полной ясности в этом отношении зиждется на том факте, что истинность наших квантификации обычно зависит, пожалуй, лишь от особых обитателей этого пространства, допускающего свободную вариацию в других отношениях. Это очевидно в случае экзистенциальных квантификации. То, что это в значительной степени истинно также и для универсальных квантификации, становится ясно, когда мы осознаем, насколько обычна для них форма « $(x)(\text{если } \dots x \dots, \text{ то } \text{---}x\text{---})$ »; здесь важны только те особые объекты, которые выполняют антецедент.

Но, если полная ясность в отношении совокупного пространства дискурса для науки не требуется, какие-то широкие нормативные и методологические соображения, относящиеся к этой теме, все же уместны. Оставшуюся главу я посвящаю им.

¹См. мою статью “Reduction to Diadic Predicate” и в ней ссылки на Кальмара и Крейга. Этот результат усиливает последние замечания по поводу тождества, зависящего от конечности числа общих терминов.

ГЛАВА 7. ОНТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

7.1 Номинализм и реализм¹

Можно обнаружить или вообразить несогласие по поводу существования вомбатов, единорогов, ангелов, нейтрино, классов, точек, миль, пропозиций. Философия и конкретные науки предоставляют нам бесконечный простор для несогласия по вопросу о том, что есть. Одна такая проблема, традиционно разделявшая философов, – существуют ли абстрактные объекты? *Номиналисты* утверждали, что нет; *реалисты* (в особом смысле слова), или *платоники* (как их называли во избежание проблем со словом «реалист»), утверждали, что такие объекты существуют.

Нет нужды задерживаться на общем определении термина «абстрактный» или «универсальный» и противоположного ему термина «конкретный» или «частный»². Неважно, есть ли предметы, чей статус в рамках данного различия остается загадочным, – «абстрактные частности», такие, как экватор и Северный полюс, например, поскольку само это различие, как таковое, ничего не дает. На данный момент достаточно будет упомянуть классы, атрибуты, пропозиции, числа, отношения и функции в качестве типичных абстрактных объектов, а физические объекты – в качестве конкретных объектов *par excellence* и рассмотреть онтологическую проблему постольку, поскольку она затрагивает такие типические случаи.

Ничего удивительного нет в том, что к существованию физических объектов следует относиться с большим доверием, чем к существованию классов, атрибутов и тому подобного. Ведь, во-первых, термины для физических объектов принадлежат к более раннему этапу обретения нами языка, чем абстрактные термины. Конкретная референция воспринимается как более надежная по сравнению с абстрактной, поскольку она глубже укоренена в нашем формирующем языковые навыки прошлом. Во-вторых, термины для интерсубъективно наблюдаемых физических предметов находятся в центре наиболее успешной части неподготовленной коммуникации, подобной разговору между незнакомыми людьми на рынке. В-третьих, наши термины для физических объектов обычно выучиваются посредством вполне непосредственного стимулирующего обуславливания со стороны обозначаемых объектов. Эмпирическая очевидность таких физических объектов, если не непосредственна, то, во всяком случае, менее натянута и тем самым менее подозрительна, чем эмпирическая очевидность объектов, чьи термины выучиваются только по контексту. Заметим, что, тогда как две первых причины относительной уверенности в существовании физических объектов являются не более чем причинами, третья причина представляет собой основание, которое можно защищать.

Его можно защищать, но можно также и оспаривать, исходя из двух соображений: поскольку оно не обосновывает случай физических объектов в высшей степени выводимого вида и поскольку случай чувственных данных или чувственных качеств оно обосновывает еще лучше, чем случай физических объектов. На первое из этих двух возражений можно ответить, обратившись к непрерывности. Если в пользу некоторых физических объектов больше

¹ Полуокончателный вариант большей части главы 7 был представлен под заголовком “The Assuming of Objects” в Университете Калифорнии, Беркли, 13 мая 1959 года в качестве ховисоновской лекции по философии.

² Изобретательная частичная формулировка Стросоном этого различия в работе “Particular and general”, p. 257, предполагает общее понятие аналитичности.

данных, чем в пользу абстрактных, то другие, в большей степени предположительные, физические объекты будут на этом же основании предпочтительнее, по сравнению с абстрактными, так как их принятие наряду с объектами, в пользу которых многое свидетельствует, приведет к меньшей потере гомогенности, а следовательно, простоты (*caeteris paribus*), чем повлекло бы за собой принятие абстрактных объектов.

Второе возражение, постольку, поскольку оно выигрышно для чувственных данных, понятых как конкретные сенсорные события (в противовес повторяющимся качествам), направлено в основном против физикализма, а не против номинализма. Но это неважно; вероятный ответ на это возражение независим от того, предусматривает ли оно субъективные чувственные объекты как события или как качества. Дело в том, что постулирование субъективных чувственных объектов не служит никакой достаточной цели. Ответ на это возражение потребовал бы, возможно, поддержки по трем следующим пунктам, соответствующим трем действительным или воображаемым целям постулирования таких объектов, (а) Можно было бы утверждать, что мы не можем надеяться обойтись только этими объектами и исключить физические объекты. Эта позиция, которую я защищал в § 1.1, теперь, кажется, достаточно широко распространена. (b) Можно было бы утверждать (в пику Родерику Фёрту, например), что нет нужды дополнять физические объекты такими объектами, например, как средства отчета об иллюзиях и неопределенностях. Так, можно заявить, что такие цели адекватно выполняются конструкциями пропозициональной установки, в которой термин «кажется, что» или подобный управляет подчиненным предложением, высказывающим нечто о физических объектах. Можно на этом основании утверждать, что особые объекты иллюзии нужны не в большей степени, чем особые нефизические объекты поиска или желания из § 4.7. Правда, этому аргументу угрожает сильное ограничение, которое мы наложили на пропозициональные установки в §§ 6.6 и 6.8; но, возможно, явление (*appearance*) не заслуживает в конечном счете ничего большего, чем статус *дамы полусвета*, соответствующего пропозициональным установкам в целом, (с) Можно было бы утверждать, что нам также не нужны чувственные объекты для объяснения нашего знания или дискурса о самих физических объектах. В этом случае аргумент заключался бы в том, что релевантность чувственной стимуляции предложениям о физических объектах может быть с тем же успехом (и даже лучше) исследована и объяснена непосредственно в терминах обусловливания таких предложений или их частей физическими раздражениями органов чувств субъекта. При этом осуществляется нервная деятельность, но аргумент состоит в том, что полагание промежуточных субъективных объектов восприятия, предшествующих явно упоминаемым в самих высказанных предложениях физическим объектам, не добавляет ничего, кроме лишнего багажа. Предполагаемая функция отчетов о чувственных данных – вносить вклад в составляющую чего-то подобного определенности в формулировке эмпирического знания – может быть с большим основанием приписана предложениям наблюдения в смысле § 2.4. Они обладают преимуществом привилегированной позиции в отношении очевидности, поскольку они прямо скоррелированы с невербальной стимуляцией; но при этом они обычно не являются предложениями о чувственных данных.

Пункты (а), (b) и (с) отражают мое собственное общее отношение. Возможно, главное, что отличает его от позиции философов чувственных данных, – это то, что я предпочел рассматривать познание изнутри нашей собственной развивающейся теории познанного мира, не фантазируя по поводу существования более надежного его основания где-то за его пределами. Однако подобные беглые замечания по поводу философии чувственных данных могут по большей части возбудить желание привести в порядок данные и обозначить позицию, но не убедить¹.

Поместим теперь все сказанное в его непосредственный контекстам противостоял призыв от лица чувственных данных: если некоторые физические объекты следует предпочесть

¹Дальнейшие возражения против чувственных данных и библиографические ссылки см.: Chisholm. *Perceiving*, pp. 117–125, 151–157, Pasch, ch. 3. Далее см. § 7.7 и мое примечание “On mental entities”.

абстрактным по причине сравнительной непосредственности их связи с чувственной стимуляцией, то чувственные данные предпочтительнее *a fortiori*. Предложенный ответ был высказан с точки зрения пользы для теории: что чувственные данные недостаточны для исключения физических объектов и не нужны в дополнение к ним. Теперь мы здесь начинаем обнаруживать столкновение двух стандартов. Сравнительная непосредственность связи с чувственной стимуляцией учитывалась ради физических объектов, но затем мы выставили против чувственных данных второй стандарт: польза для теории. Следует ли в таком случае просто сравнить, какое из противопоставляемых соображений весомее? Нет; при более зрелом рассмотрении картина меняется. Ведь вспомним проблему радикального перевода, которая показала, что полного знания стимульного значения предложения наблюдения недостаточно для перевода или даже понимания термина. В нашем языке, по тому же самому образцу, стимульное значение предложения наблюдения никоим образом не определяет, следует ли выделить какую-либо часть предложения как термин чувственных данных, или как термин физических объектов, или вообще как термин. Насколько непосредственно предложение и его слова связаны с чувственной стимуляцией или насколько надежно предложение может быть подтверждено силой данной чувственной стимуляции, не определяет то, какого вида объекты полагать обозначаемыми словами предложения, способными быть терминами.

Можно так понять, что мы постулировали объекты только тогда, когда вовлекали предполагаемые термины в подходящее взаимодействие со всем явно объективирующим аппаратом нашего языка: артиклями и местоимениями и идиомами тождества, множественного числа и предикации или, в канонической символической, – квантификации. Даже если появление языковой единицы внешне напоминает термин, это еще не доказывает, что она – термин, если не наличествует систематическое взаимодействие с ключевыми идиомами в целом. Так, мы привычно говорим ‘for the sake of’ («ради»), где ‘sake’ явно стоит в позиции термина, но при этом никогда не обязываем себя полагать такие объекты, как сэйки (sakes), так как мы не привлекаем здесь остальной части аппарата: мы никогда не употребляем ‘sake’ как антецедент ‘it’ и ничему его не предиктируем. ‘Sake’, таким образом, представляет собой неизменяемый фрагмент предлога ‘for the sake of’ или ‘for’s sake’.

Пусть тогда слово встречалось в качестве фрагмента сколь угодно многих эмпирически хорошо удостоверенных сентенциальных целых; даже – в качестве фрагмента, подобного термину с точки зрения внешнего вида его появлений в соответствующих позициях. Вопрос, считать ли его термином, все равно представляет собой вопрос, давать ли ему общий доступ к позициям, соответствующим общим терминам или, возможно, единичным терминам, что определяется правилами таких контекстов. Можно разумно решить, делать ли это, основываясь на соображениях систематической эффективности, пользы для теории.

Но, если выбирать между номинализмом и реализмом на таких основаниях, то претензии номинализма убывают. Причиной допущения чисел в качестве объектов является не что иное, как их эффективность в организации и ускорении научного процесса. Причина для допущения классов во многом та же самая. Уже приводились примеры дополнительных возможностей, которые обеспечивают классы (§ 6.4). Другой пример – знаменательное определение, которое дал Фреге предложению «*x* есть предок *y*»:

(*z*)(если все родители членов *z* принадлежат *z* и $y \in z$, то $x \in z$).

Если мы обходимся в описаниях самостоятельным частичным запасом символов, которым снабжают нас классы, то простота воспоследует. Эффективность классов оказывается еще более впечатляющей, когда мы обнаруживаем, что они могут быть привлечены к выполнению функций огромного множества других абстрактных терминов, чью полезность нельзя отрицать: отношений, функций, самих чисел (§§ 7.6 – 7.8).

Мы достигнем, возможно, более фундаментального знания об объединяющей силе понятия класса, если понаблюдаем, как классы помогают нам справиться с кванторами как с

единичными операторами, связывающими переменные. Так, пусть «...z...» – некоторое открытое предложение. Трансформация « $x \in \hat{z}(\dots z \dots)$ » в «...x...» есть *конкреция*¹. Далее, пусть « Φ_x » обозначает некий связывающий переменную оператор, строящий предложения из других предложений. Если мы просто предположим, что « Φ_x » таков, что при нем выполняется подстановочность конкреции, то « Φ_x » можно отбросить в пользу общего термина « G ». Ибо, пусть « G » истинен относительно только классов y таких, что $\Phi_x(x \in y)$; тогда $\Phi_x(\dots x \dots)$ можно переписать как « $G\hat{x}(\dots x \dots)$ ». Наконец, оператор абстракции класса в « $G\hat{x}(\dots x \dots)$ » можно свести к дескрипции, а дескрипцию – к кванторам (ср. § 5.2, 5.6; но также, см. § 7.8).

Близость ассоциации со стимуляцией – плохой аргумент в пользу придания физическим объектам предпочтительного статуса. Но кое-что из этого аргумента все еще можно спасти. Допустим, что вопрос о том, облагородить ли данные слова, посчитав их терминами, есть вопрос, допускать ли их свободно ко всем позициям, занимаемым терминами. Тогда вместо того, что говорилось о физических объектах раньше, а именно что термины для них вполне непосредственно связаны с чувственной стимуляцией, возможно, мы могли бы сказать следующее: предложения, вполне непосредственно связанные с чувственной стимуляцией, демонстрируют термины физических объектов во всех видах позиций, занимаемых терминами, а не только в особых позициях. Кажется правдоподобным, что общие термины физических объектов согласуются с этим стандартом лучше, чем абстрактные термины². Но я не буду пытаться отстаивать эту позицию.

Между тем случай классов основывается на систематической эффективности. Классы, конечно, представляют собой пример, противостоящий негативным заявлениям номинализма, но – не предпочтительному статусу физических объектов. В соревновании за абсолютную систематическую пользу для науки понятие физического объекта по-прежнему лидирует³. По одной только этой причине, таким образом, можно было бы по-прежнему премировать объяснения, обращающиеся к физическим объектам, а не к абстрактным, даже если последние неохотно, но тоже признаны вследствие своей эффективности, проявляющейся где-то в другом месте в теории.

Не следует также презирать те две более ранние причины доверия к физическим объектам – причины, не опознанные в качестве оснований. Одна из них заключалась в том, что термины таких объектов слишком фундаментальны для нашего языка; другая – что они находятся в центре очень успешной коммуникации. Показать, почему определенные термины воспринимаются как удобные границы объяснения, не значит в конечном счете показать относительно них что-либо, кроме этого.

7.2 Ложные предпочтения. Онтическое обязательство

Мы рассмотрели предпочтение конкретных объектов и случай допущения абстрактных объектов, несмотря на такое предпочтение. Ради симметрии поразмышляем теперь о положительном предпочтении абстрактных объектов; ведь такой случай известен.

Очевидной причиной для предпочтения физических объектов была их близость к стимуляции. Это обстоятельство, казалось, в еще большей степени должно было быть причиной для предпочтения чувственных объектов какого-либо вида, даже – чувственных качеств. Тогда если атрибуты вообще считаются в широком смысле аналогичными чувственным качествам (подобно тому, как полученные путем вывода в физике частицы аналогичны телам в общепринятом смысле), то в поддержку атрибутов можно так же точно, как и в поддержку частиц, привести соображения непрерывности (§ 7.1). В этом, я думаю, заключается одна из причин предпочтения, иногда оказываемого атрибутам.

¹ Названная так в моей диссертации, Гарвард, 1932, и в работе “A System of Logistic”.

² Ср.: *Alston*, примечание 7.

³ Ср.: *Strawson*. *Individuals*, pp. 38–58.

Не то чтобы я принимал этот способ рассуждения. Этот аргумент в пользу чувственных объектов, как утверждалось в § 7.1, излишен, если мы признаем, что такие объекты не являются ни адекватными заместителями физических объектов, ни полезным дополнением к ним. Более того, проектирование нечувственных атрибутов просто по аналогии с чувственными качествами, а следовательно, занятие их на постоянных ролях в каком-либо субъективном шоу в сознании, несомненно, выдает бесцеремонное отношение к психологическим процессам и недостаток любопытства в отношении механизмов поведения.

Такова одна вероятная причина предпочтения атрибутов (не считая мотивов систематической пользы). Есть еще и вторая. Некоторые из нас увлечены объектно-ориентированным образом нашего мышления до такой степени, что они ищут сущность любого предложения в предметах, о которых оно высказывается. Когда общий термин встречается в позиции предиката при имени, образованное так предложение будет рассматриваться таким человеком как то, что «о» не только названном объекте, но и названном объекте и атрибуте, символизируемом общим термином¹. Он, таким образом, почувствует, что любой общий термин физических объектов, такой, как «круглый» или «собака», одновременно символизирует атрибут. Но тогда, будет рассуждать он, любой аргумент в пользу физических объектов, отталкивающийся от пользы таких терминов, должен *ipso facto* поддерживать атрибуты так же *и даже лучше*; ведь термины явно символизируют каждый один конкретный атрибут, не находясь при этом ни в каком уместном отношении к неопределенно многочисленным физическим объектам, истинными относительно которых они нацелены быть. (Во многом такой же аргумент может быть использован и для поддержки классов вместо атрибутов, так как об общем термине вполне можно сказать, что он символизирует свой объем как свой интенционал, если мы подходящим образом оттеним смысл термина «символизирует».)

Ошибка такого рассуждения заключается не только в том, что так рассуждающий исходно перебарщивает. Следующую ошибку представляет собой та идея, что польза слова учитывает в себе пользу всех связанных с ним объектов. Слово может обнаружить свою полезность в таких позициях, что предпочтительно допущение объектов, относительно которых оно в этих позициях истинно, но не делать тем самым предпочтительным допущение объектов, связанных с ним другими способами, такими, например, как его объем или интенционал. Рассмотрим, как это происходит.

Типичные позиции, подходящие общим терминам, – это позиции после артикля и предикативная. Первая позиция содержится в единичных терминах, вторая сопровождает единичные термины (которые могут быть переменными). Эти единичные термины, в свою очередь, в качестве таковых отличают их появления в роли субъектов других стоящих в предикативной позиции общих терминов, например «=», и в связывающих переменные операторах. А где объекты? Предполагаемые объекты какого угодно вида, конкретные или абстрактные, суть лишь то, что единичные термины именуют характерными для них способами, на которые они указывают, которые они имеют в качестве своих значений². Они суть то, что имеет значение в случаях, когда, квантифицируя, мы говорим, что все или нечто таково-то. Таким образом, когда на основании систематической эффективности мы решаем допустить слово – скажем, «блеск», если выбирать спорный случай, – в качестве полноценного общего термина, результатом этого является лишь то, что блески (*glints*), а не блескость (*glinthood*) или блескучесть (*glintkind*) допускаются в качестве объектов.

В действительности в результате мы получаем даже еще меньше; ведь общий термин в правильной позиции может тем не менее не быть истинным относительно чего бы то ни было,

¹Так, для Локка общие термины – это имена общих идей (Вк. II, Ch. XI, § 9). Также Бергман пишет: «Допускающий единичный примитивный предикат допускает свойства среди строительных камней своего мира» (*Two Types of Linguistic Philosophy*, p. 430). И см.: *Бейлис*, место, где он утверждает в конце концов, что понимать общий термин значит схватывать его значение, а следовательно, что есть такие значения или атрибуты. Неудача вычитания, отмеченная в начале § 6.4, выше, несомненно исправила тенденцию перебарщивать со словом «о».

²См. § 6.1.

подобно термину «единорог». Но обычно имеет место следующее. Начав уже разбираться, могут ли наши предложения быть так наилучшим образом проанализированы и расширены, чтобы считать «блеск» полнокровным общим термином, мы исходим из определенных, не полностью проанализированных, но полезных истин теории или наблюдения, содержащих это слово; затем наше рассмотрение слова «блеск» как общего термина определяет анализ этих предложений в таком ключе, что некоторые из них оказываются утверждающими или подразумевающими « $(\exists x)(x \text{ есть блеск})$ ».

Так, если «круглый» и «собака» проявили себя во славу физических объектов, они сделали это как общие термины, истинные относительно физических объектов, а не как единичные объекты, именующие атрибуты или классы. Случай атрибутов или классов, как бы ни был он аналогичен, представляет собой отдельный открытый вопрос. Общие термины, релевантные ему, – это не «круглый», «собака» и тому подобное, но «характеристика», «вид» и им подобные; а релевантные единичные термины – не такие, как «Спутник 1» и «Фидо», а такие, как «крутость», «собачесть» (*caninity*), «собакообразный» (*dogkind*).

Нарушителями, из-за которых были написаны последние несколько страниц, являются те, кто, вследствие путаницы, которую я только что пытался прояснить, принимают как нечто само собой разумеющееся, что каждый в своем употреблении общих терминов говорит непосредственно об атрибутах (или классах), *ipso facto* и волей-неволей. Не те – нарушители, кто высказывает рассмотренный аргумент в пользу существования атрибута или класса для каждого общего термина. Такой аргумент, укладываясь в рамки того, что в § 7.1 воспринималось терпимо, утверждался бы на основании систематической эффективности допущения абстрактных общих и, возможно, абстрактных единичных терминов и употребления их таким способом, чтобы допускать атрибуты или классы в пространство дискурса в конечном счете в качестве значений переменных квантификации. Достоинства такого пути рассмотрены в § 6.4 и будут далее рассмотрены в § 7.8.

Нарушители могут оказаться не в состоянии обратить внимание на различие между конкретными общими терминами, такими, как «круглый», и абстрактными единичными терминами, такими, как «крутость», посчитав его незначительной причудой грамматики. Не следует все же понимать меня вследствие этого так, как будто я наживаю капитал на любом педантичном различии словарных форм. Эта дистинкция – всего лишь удобный и необязательный способ провести различие (лежащее в основании данного), которое в любом случае можно обнаружить в различии функций, в том виде, в каком она было недавно проведено. Но я осмеливаюсь утверждать, что неспособность оценить по достоинству это более фундаментальное различие прекрасно коррелирует с необращением внимания на соответствующую вербальную дистинкцию.

Наряду с только что обозначенными нарушителями есть и другие, которые, помимо того, что проливают точно такой же свет на различие между абстрактными единичными и абстрактными общими терминами, еще выступают *против* абстрактных терминов. Очевидно, эти мыслители правильно оценили по каким-либо причинам, что конкретные общие термины не несут в себе никакого обязательства допускать атрибуты или классы, а затем сделали такой же точно вывод в отношении соответствующих абстрактных единичных терминов, не проводя между ними никакого различия. Это направление мысли выводит желанную силу из неприятия абстрактных объектов, соединенного со вкусом к их систематической эффективности. Такая мотивация оказалась достаточной, чтобы породить примечательные крайности. Есть философы, позволяющие себе не только абстрактные термины, но даже вполне безошибочную квантификацию абстрактных объектов («Существуют понятия, с которыми...», «... некоторые из пропозиций которого...», «... есть нечто, в чем он сомневается или во что верит») и при этом вежливо отклоняющие в том же параграфе любое заявление о том, что такие объекты существуют¹.

¹ Обсуждение показательных текстов Айера и Райла см. в работе Черча “Ontological Commitment”.

Под давлением они могут объяснить, что абстрактные объекты не существуют так, как существуют физические объекты. Различие, скажут они, не в том, что два вида объектов различаются – одни пространственно-временные, а другие нет, – но в том, что различаются два смысла слова «существуют»; а именно что нет абстрактных объектов в том смысле, в котором существуют конкретные объекты. Но в таком случае остаются две трудности – маленькая и большая. Маленькая трудность состоит в том, что философ, отказавшийся от абстрактных объектов, похоже, продолжает утверждать, что таковые в конечном счете существуют в том смысле «существуют», который им подходит. Большая трудность состоит в том, что различие между существованием одного смысла «существует» для конкретных объектов и другого – для абстрактных и существованием только одного смысла «существует» для объектов обоих видов бессмысленно¹.

Такой философский двойной стандарт, который бы отрицал онтологию, при этом пользуясь ее выгодами, разрастается вследствие капризов обыденного языка. Проблема состоит в том, что в лучшем случае нет простой корреляции между внешними формами утверждений обыденного языка и подразумеваемыми ими существованиями. Так, если дано, что конструкции, представленной предложением «У агнца есть блохи», очень часто может быть приписан прямой экзистенциальный смысл, предполагаемый формой « $(\exists x)(Fx \text{ и } Gx)$ », остается еще огромное множество случаев, подобных «Тэбби ест мышей» (§ 4.3) и «Эрнест охотится на львов» (§ 4.7), которым такой смысл не может быть приписан. Мыслящие люди, не поколебленные принятием желаемого за действительное, сами могут снова и снова иметь причину недоумевать, о чем они говорят, если вообще о чем-либо.

Тогда мы обнаруживаем восстановление закона и порядка в нашей канонической символике квантификации. До тех пор, пока мы привержены этой символике, объекты, которые, как от нас ожидают, мы признаем, – это именно те объекты, которые мы считаем принадлежащими пространству значений, на которые считаются распространяющимися связанные переменные квантификации. Только таков предполагаемый смысл кванторов « (x) » и « $(\exists x)$ »: «всякий объект x такой, что», «есть объект x такой, что». Кванторы есть вместилища этих специально подобранных недвусмысленных референциальных идиом обыденного языка. Перефразировать предложение в каноническую символику квантификации – значит, в первую очередь и главным образом, сделать ясным его онтическое содержание, при том что квантификация является способом вести речь об объектах вообще.

Спорная или противоречивая часть вопроса об онтическом вкладе предложения может, разумеется, выжить в новом облике – как вопрос о том, как перефразировать предложение в каноническую символику. Но изменение облика удобным образом смещает существо претензий и отказов. Пустая придирка к онтическим импликациям уступает дорогу приглашению к переформулированию чьей-либо точки зрения в каноническую символику. Мы не можем перефразировать предложения нашего оппонента в каноническую символику за него и осуждать его за последствия, поскольку здесь нет синонимии; скорее мы должны спросить его, какие канонические предложения он готов предложить в согласии с его собственными неадекватно выраженными целями. Если он отклонит эту игру, аргумент будет устранен. Отказаться объяснить в терминах квантификации или в терминах тех особых идиом обыденного языка, посредством которых квантификация непосредственно объясняется, – значит просто отказаться обнаружить свое референциальное намерение. Рассматривая радикальный перевод, мы видели, что чужой язык вполне может не разделять, согласно любому универсальному стандарту, образцов объектного полагания нашего собственного языка; а теперь наш поддельный оппонент просто настаивает, хотя и легально, на своих правах как носителя чужого языка. Мы остаемся свободными, как всегда, проектировать аналитические гипотезы (§ 2.9 f.) и перево-

¹Ср. § 4.2. Но знакомое неясное понятие, что признание абстрактных сущностей – это каким-то образом чисто формальное средство, в противоположность более фактическому характеру признания физических объектов, все же может быть не лишено смысла; см.: Putnam. Mathematics and the existence of abstract entities.

дить его предложения в каноническую символику так, как это кажется нам наиболее осмысленным; но он не в большей степени связан нашими выводами, чем абориген – выводами полевого лингвиста¹.

7.3 Entia non grata²

Обращение к канонической символике как к средству прояснения онтических обязательств имеет ограниченную полемическую силу, как мы только что выяснили. Но оно помогает нам, тем, кто готов согласиться с каноническими формами, судить о том, вопрос о существовании чего мы считаем важным рассмотреть. Мы можем столкнуться с этим вопросом прямо как с вопросом, что допускать в пространство значений наших переменных квантификации.

Экономия играет здесь свою роль, но – экономия теории, а не только объектов. Некоторые объекты, кроме того, могут быть предпочтительнее других так, как об этом говорилось в конце § 7.1: показательные предложения, представляющие их как объекты, могут быть относительно тесно связаны с чувственной стимуляцией.

Мы рассмотрели выгоды допущения физических объектов и классов (§ 7.1), хотя о классах у нас еще будет что сказать (§ 7.8). Мы также рассмотрели претензии и проблемы атрибутов и пропозиций (§§ 6.3 f.) и слабость случая чувственных данных (§§ 1.1, 6.3). Крайний случай соответствующего допущения представляют собой сэйки (*sakes*) и беафы (*behaves*)^{35*}. Никто не хочет их допускать, но форма аргумента для их исключения поучительна. Аргумент состоит в том, что ‘sake’ и ‘behalf’ употребляются только в рамках клише ‘for the sake of’ и ‘in behalf of’ и их вариантов; поэтому такие клише можно оставить без анализа в качестве простых предлогов. (С точки зрения канонической символики предлоги, в свою очередь, сводятся к относительным терминам; ср. § 3.6.)

Единицы измерения оказываются в чем-то подобными сэйкам и беафам. «Миля», «минута», «градус Фаренгейта» и им подобные сходны с ‘sake’ и ‘behalf’ тем, что они представляют собой *дефективные* существительные: они обычно употребляются только в ограниченном подборе обычных для терминов позиций. Их дефективность хоть и не так экстремальна, как дефективность ‘sake’ и ‘behalf’, но все же легко демонстрируется абсурдными вопросами. Подобны ли мили друг другу? Если да, то как можно считать, что их много? А если нельзя так считать, то как быть с двумя сотнями миль между Бостоном и Нью-Йорком?

Вопросы, касающиеся тождества атрибутов или пропозиций, в свою очередь, не так абсурдны на первый взгляд, как вопросы тождества миль. Но все же отсутствие стандарта тождества для атрибутов и пропозиций можно рассматривать сходным образом, как случай дефективности терминов «атрибут» и «пропозиция». Философы предприняли попытку, правда,

¹ Больше о квантификации как пути, по которому движется онтическое обязательство, см. мою работу “From a Logical Point of View”, Essays 1, 6. На pp. 19 и 103 там подчеркивается, что я жду от переменных и квантификации свидетельств о том, что теория признает существующим, а не – что существует; но этого могут не заметить, как не заметил Гендерсон, pp. 279 f. Более серьезное недопонимание состоит в утверждении, будто я – номиналист. Я должен поправить его; мои наибольшие усилия писать о референции, референциальной позиции и онтическом обязательстве, очевидно, будут не в состоянии донести что-либо до таких читателей, которые, подобно Мэйтсу (“Synonymity”, p. 213) и Брэйтуэйту (Braithwaite) (рецензия), всю свою добрую волю направляют на то, чтобы вложить в мои слова предполагаемую номиналистическую доктрину. Во всех книгах и в большинстве статей я обращался к классам и считал их абстрактными объектами. Я действительно возражал против того, чтобы делать и навязывать платонистические утверждения без нужды, но равным образом – против их затушевывания. Там, где я рассуждал о том, что может дать номинализм, я подчеркивал его трудности и ограничения. Действительно, моя совместная с Гудменом статья 1947 г. содержит номиналистическое заявление; здесь читателей не в чем винить. Ради приведения к согласию с моим общим отношением, ранним и поздним, это предложение следует понизить в статусе до простого высказывания об условиях производства конструкций, о которых там шла речь; ср.: “From a Logical Point of View”, вверху p. 174.

² Нежелательные сущности (*лат.*).

неудачную, исправить этот дефект, придумав такой стандарт тождества, так как на них повлияли успехи – в виде систематической полезности или чего бы то ни было – признания терминов «атрибут» и «пропозиция» полноценными терминами и допущения, таким образом, атрибутов и пропозиций в пространство дискурса. Это – спорный путь вследствие специфичности его выгод, и мы его оспорили. С терминами «миля», «градус Фаренгейта» и им подобными все очевиднее: допущение единиц измерения в качестве переменных квантификации не служит никакой цели. Мы можем адекватно воспринимать эти существительные как части относительных терминов «длина в милях», «температура в градусах Фаренгейта»¹.

Точно так же, как относительный термин «автор» истинен относительно определенного человека в его отношении к определенной книге, термин «длина в милях» следует понимать как истинный относительно определенного числа в его отношении к определенному телу или региону. Так, вместо того чтобы сказать «длина Манхэттена = 11 милям» мы сказали бы теперь: «длина Манхэттена в милях = 11» (форма « F относительно $b = a$ ») или «11 есть длина Манхэттена в милях» (форма « Fab »).

При этом мы можем продолжать воспринимать числа как объекты. Ведь числительное «11» фигурирует здесь как единичный термин, равнозначный термину «Манхэттен». Если бы нам понадобилось свести к минимуму каноническую символику путем устранения единичных терминов, как в главе 5, мы вполне безошибочно обнаружили бы, что наши кванторы требуют только числа и острова:

$$(\exists x)(\exists y)(x \text{ есть-}11 \text{ и } y \text{ есть-Манхэттен, и } x \text{ есть-длина-в-милях } y).$$

В самом деле, можно ожидать, что числа очень желательны в качестве значений наших переменных, и не только в этом примере; они почти так же полезны, как классы.

Возможные конкретные объекты, не воплощенные в действительность возможности, составляют другую категорию сомнительных объектов, чью сомнительность можно свести к дефективным существительным по крайней мере на столь же хорошем основании, как это было сделано в случае с атрибутами и пропозициями. Ведь здесь опять, и еще ярче, чем в случае с интенционалами, возникает недоумение в отношении тождества (ср. § 2.2). Даже тогда, когда местоположение определено, как в случаях «возможная новая церковь на этом углу», «возможный отель на этом углу», тождество местоположений не делает тождественными возможные объекты. По счастью, мы можем пробиться сквозь эти преграды, иногда отступая к универсалиям, как в § 2.2, а чаще – просто поглощая «возможный» и «возможный объект» соответствующим образом в контексте и, следовательно, не рассматривая «возможный объект» как термин. Предложение о возможных церквях обычно можно перефразировать достаточно удовлетворительным образом в предложение о церквях, управляемое как целое модальным оператором возможности. Тем не менее еще можно спросить, какая здесь желательна модальность, как ее понять и как справиться с другими проблемами, которые, как известно, порождают модальности того или иного вида; но разговор о возможных объектах не был бы лучшим решением этих вопросов.

Понятие возможных объектов поощрялось двумя философскими дилеммами. Одна из них порождена глаголами «охотится» ('*hunting*'), «хочет» ('*wanting*') и подобными, которые вообще не получается рассматривать как связывающие агента с действительными объектами (ср. §§ 4.3, 4.7). Возможные львы, возможные единороги, возможные шлюпы претендуют на роль суррогатных объектов таких действий. Но эти проблемы можно лучшим образом решить, как видно, парафразом в идиомы пропозициональной установки. Проблемы пропозициональной установки остаются, но от них, в отличие от капризов не воплощенных в действительность возможностей, нам в любом случае некуда деваться.

¹Так считает Карнап ("Physikalische Begriffsbildung").

Другая дилемма порождена терминами, нуждающимися в объектах: о чем мы говорим, утверждая, что нет единорогов или что нет такой вещи, как Пегас? Отчасти эта дилемма возникает из увлеченности объектной ориентированностью нашего мышления и доходит если не до крайности, о которой говорилось в § 7.2, то по крайней мере до попытки рассматривать каждое предложение как предложение «об» определенных объектах. Действительно, «единорог» и «Пегас» могут быть вполне хорошими терминами, вполне понятыми в том отношении, что их контексты достаточно хорошо связаны с чувственной стимуляцией или с вклинивающейся теорией, без того, чтобы при этом существовали единороги или Пегас. Означенная дилемма концентрируется в основном на единичных терминах, таких, как «Пегас», а не на общих, таких, как «единорог»; ведь именно повседневное употребление единичных терминов включает в себя философски неудобным образом провалы истинностного значения (§ 5.5). Тем не менее канонический прием нового разбора единичных терминов регулирует эти вопросы и, таким образом, как можно надеяться, кладет предел всякому искушению рискнуть войти в болото не воплощенных в действительность возможностей¹.

Как понятие возможного объекта, так и понятие пропозиции поощрялись философскими дилеммами. Третье такое понятие – факт. Слово «факт» представляет собой достаточно общее место, но, когда дело доходит до выбора между скорее признанием фактов в качестве объектов, чем подделкой слова с помощью оперирующего более низкой шкалой вида оценки, которой удостоили слов ‘sake’ и ‘mile’, вступает в дело философская мотивация.

Частью того, что поощряло принятие пропозиций, было желание иметь вечные носители истинностного значения, независимые от конкретных языков (§ 6.1). Частью того, что поощряло принятие фактов, возможно, является желание оказать почтение вопросу, что делает предложение или пропозицию истинной: те из них истинны, которые утверждают факты. Другая сила, поощрявшая признания того и другого, – это тенденция быть увлеченным объектно-ориентированным мышлением: в данном случае она представляет собой тенденцию уподобить предложения именам, после чего – постулировать объекты их наименования. Возможно, эта сила господствует там, где мы встречаем готовность отождествить факты с пропозициями (а именно с некоторыми или со всеми истинными пропозициями), как мы иногда делаем.

Дополнительная коннотация, часто вкладываемая в слово «факт», как в философском, так и в обычном его употреблении, – это коннотация неприкрашенной объективности плюс определенной доступности для наблюдения. В философском употреблении эта коннотация иногда допускается и расширяется так, что факты полагаются соответствующими всем «синтетическим» истинам и не соответствующими только «аналитическим» истинам. Таким образом, здесь вторгается та же самая дихотомия между аналитическим и синтетическим, которую мы сочли столь сомнительной (§ 2.8); и она вторгается наиболее неправдоподобно абсолютным способом, очевидно, независимо от какого бы то ни было выбора языка. Обезоруживающе общепринятый круг употребления слова «факт» придает даже этой дихотомии поддельный ореол осмысленности: аналитические предложения (или пропозиции) – это истинные предложения (или пропозиции), у которых отсутствует фактическое содержание.

Существует тенденция – не среди тех, кто считает факты пропозициями, – мыслить факты как нечто конкретное. Она выпестована ставшим общим местом кругом употребления слова «факт» и намеком на близость к самой природе и по этой причине не конфликтует с основной концепцией, гласящей, что это факты делают предложения истинными. Чем же все-таки они могут быть и при этом быть конкретными? Предложения «Пятая авеню имеет шесть миль в длину» и «Пятая авеню имеет сто футов в ширину», если мы предположим, что они истинные, видимо, утверждают разные факты; при этом единственный конкретный или в любом случае физический объект здесь – Пятая авеню. Я решил (§ 7.1) не придираюсь к слову «конкретный», но я подозреваю, что тот смысл термина «конкретный», в котором конкретны факты, не есть тот смысл, который нужен, чтобы внушить нам любовь к ним.

¹См.: *Russel. On Denoting.*

Факты, более того, встречают те же трудности в отношении стандартов тождества, какие, как мы видели, встречают пропозиции. И наверняка нельзя серьезно рассчитывать на то, что они могут помочь нам объяснить, что такое истина. Последние заковыченные нами два предложения истинны благодаря Пятой авеню, благодаря тому, что она имеет сто футов в ширину и шесть миль в длину, благодаря тому, что она была спланирована и построена с таким расчетом, и благодаря тому, как мы употребляем наши слова; из постулирования фактов в качестве посредников предложений следует только косвенность. Вероятно, никакое искушение такого рода не возникло бы, если бы уже не было слова, выполняющего пересекающиеся, хотя и не философские, функции в повседневном дискурсе.

В обыденном употреблении слово «факт» часто встречается там, где мы не можем без потерь сказать «истинное предложение» или (если так нам больше нравится) «истинная пропозиция». Но его главная польза, кажется, заключается, скорее, в подкреплении непрочного «что» пропозициональной абстракции (§ 5.2). Оно здесь желательно просто в силу идиоматической неестественности простого предложения, начинающегося с «что», взятого в чистом виде, во многих позициях подлежащего. (И все же оно ограничено в этой синтаксической работе теми простыми предложениями, начинающимися с «что», которые полагаются истинными; ведь термин «факт» настаивает на истинности.) Он имеет еще дальнейшее употребление в придании сокращенной формы перекрестной референции: нам часто удается избежать повторения долгого предварительного утверждения, сказав «этот факт». Теперь, постольку, поскольку эти употребления имеют место, здесь, конечно, не требуется постулировать факты вне и помимо пропозиций, и здесь нет никакой трудности с поглощением или перефразированием слов. Кроме того, специальные философские обращения к факту не впечатлили нас.

7.4 Предельные мифы

Мы смогли, не мучаясь, отречься от сэйков, мер, не воплощенных в действительность возможностей и фактов, удовлетворившись тем, что их допущение не послужило бы никакой достойной цели. С другой стороны, не надо далеко ходить за примерами предполагаемых абсурдных или проблематичных объектов, которые вследствие этого таковы, что их устранение из пространства значений наших переменных угрожает ослабить наш аппарат. *Бесконечно малые* представляют собой классический пример такого конфликта и его разрешения.

Понятие бесконечно малого возникло из вопроса о том, как понимать скорости, например мгновенные скорости. Что значит сказать о частице, что она в мгновение времени t имеет скорость десять футов в секунду? Не в точности то, что в течение некоего действительного периода времени в s секунд (скажем, сотых долей секунды), образующего t , частица проходит соответствующее расстояние в $10s$ футов (десятые доли фута); ведь скорость может меняться в течение этого и любого периода времени. Ньютон и Лейбниц ответили, каждый своим, вариантами дифференциального исчисления, постулировав бесконечно малые: количества, неопределенно близкие к нулю и все же, что довольно абсурдно, отличные друг от друга. Частица, движущаяся со скоростью десять футов в секунду в момент t , полагалась проходящей определенное бесконечно малое расстояние d во время t , а частица, движущаяся со скоростью двадцать футов в секунду в момент t , полагалась проходящей другое бесконечно малое расстояние $2d$ во время t , при том что истекшее время в обоих случаях равнялось нулю. Хотя идея бесконечно малых была абсурдной, дифференциальное исчисление, в котором бесконечно малые считались значениями переменных, дало истинные и ценные результаты.

Конфликт разрешил Вейерштрасс, показав своей теорией пределов, как предложения дифференциального исчисления могут систематически перетолковываться так, чтобы вводить в качестве значений переменных только правильные числа, не ослабляя полезности исчисления. Согласно его анализу, сказать, что частица движется со скоростью десять футов в секунду в

момент t , – значит сказать, что, сужая временной промежуток s вокруг t , можно получить настолько близкое к $10s$ расстояние, насколько это нужно; т.е.:

$(x)(\text{если } x > 0, \text{ то } (\exists s)(\text{расстояние в футах, пройденное в течение } s \text{ секунд вокруг } t - \text{ между } 10s - x \text{ и } 10s + x))$.

Идеальные объекты, о которых, похоже, говорят описания механики, представляют собой случай, в определенном отношении параллельный случаю бесконечно малых: точки массы, поверхности без трения, изолированные системы. Точно так же, как бесконечно малые вступали в противоречие с арифметикой, точка с массой, поверхность без трения или система с иммунитетом к внешним воздействиям противоречат физической теории. В то же самое время элементарные законы механики регулярно формулируются в терминах этих идеальных объектов, так же, как однажды дифференциальное исчисление было сформулировано в терминах бесконечно малых.

Обращение к идеальным объектам в механике регулярно осуществляется посредством универсальных условных предложений: например, $(x)(\text{если } x \text{ есть точка массы, то...})$. Невозможность идеального объекта, следовательно, не фальсифицирует механику; она оставляет такие предложения бессмысленно истинными ввиду отсутствия контрпримеров. Таким образом, механика может показаться чем-то лучшим в отношении идеальных объектов, чем было когда-то дифференциальное исчисление в отношении бесконечно малых. Но это – поверхностное различие. В идеальных объектах нас должно беспокоить следующее. Если, по законам физики, нет таких объектов и поэтому, по законам физики, все универсальные условные предложения, имеющие с ними дело, тривиально истинны, то как тогда получается, что некоторые из этих условных предложений скорее, чем другие, по-прежнему, очевидно, сообщают полезную научную теорию?

Эта дилемма идеальных объектов, подобно дилемме бесконечно малых, имеет свое решение в теории пределов. Когда некто утверждает, что точки массы ведут себя так-то и так-то, его можно понять как говорящего приблизительно следующее: что частицы данной массы ведут себя тем более так-то и так-то, чем меньше их объемы. Когда некто говорит об изолированной системе частиц как о ведущей себя так-то и так-то, его можно понять так, что он говорит, что система частиц ведет себя тем более так-то и так-то, чем меньше энергии она получает от внешнего мира или отдает внешнему миру. Вот таким образом, вообще говоря, был бы предположительно перефразирован сжатый разговор об идеальных объектах, если бы это потребовалось.

Доктрина идеальных объектов в физике «символична» в том смысле, в каком это слово употребляют литературные критики, психоаналитики и философы религии. Это – обязательный миф, полезный вследствие живости, красоты и существенной правильности, с которой он отображает определенные аспекты природы даже тогда, когда, при буквальном прочтении, он фальсифицирует природу в других отношениях. Он также полезен вследствие простоты, которую он привносит в некоторые вычисления. Простота же в теории, имеющей дело с предложениями наблюдения, постольку, поскольку ее контакты с ними продолжаются, является лучшим свидетельством истинности, какого мы только можем потребовать; ничего лучшего не скажешь в пользу доктрин молекул и электронов. Что определяет мифичность доктрины идеальных объектов в противоположность буквальной истинности (в свете сегодняшних достижений) доктрин молекул и электронов, так это то, что она упрощает ограниченную область высказываний ценой более серьезных усложнений в более объемлющей области. Когда мы перефразируем наши высказывания об идеальных объектах в духе Вейерштрасса, как кратко рассмотрено выше, мы просто переходим от удобно простой на первый взгляд, но сложной при более пристальном рассмотрении, теории к теории с противоположными характеристиками. Если последняя считается истинной, если хотя бы одна из двух вообще считается таковой,

то первая приобретает низший статус удобного мифа, не более чем символа этой высшей истины. Между тем определение или правило парафразы позволяет нам наслаждаться лучшим из обоих миров (ср. § 5.7).

Здесь еще более к месту напомнить себе, что парафраз не претендует на установление какой-либо синонимии. Он лишь координирует употребления различных теорий для достижения различных выгод. Придерживайтесь, если хотите, мнения, что миф об идеальных объектах просто удобен, но не вполне истинен и что парафраз истинен; или, если хотите, считайте, что миф об идеальных объектах строго истинен благодаря тому, что у него есть парафраз, являющийся его истинным значением. Любая из этих философий приемлема в той мере, в какой обе воспринимаются как приблизительные описания одной и той же ситуации; противоположными они кажутся благодаря выдуманному, более чем импрессионистскому способу говорить об «истинном значении».

Во многом такое же отношение, какое мы наблюдали между доктриной идеальных объектов и полностью оснащенной физической теорией, можно сказать, в наши дни установлено между физикой Ньютона и теорией относительности. Будучи проще, законы Ньютона сохраняются в употреблении для удобства там, где отклонения от строгой истины, подразумеваемой так установленным отношением, достаточно незначительное, чтобы затруднить выполнение конкретных задач. Так, в том же смысле, в каком мы назвали доктрину идеальных объектов удобным мифом, символикой истин, отличных от тех, которые манифестирует его контекст, мы могли бы равным образом назвать физику Ньютона удобным мифом, символикой той высшей истины (в свете сегодняшних достижений), которой является теория относительности. Парафраз мифа в буквально принятую теорию здесь также осуществлялся бы как у Вейерштрасса: каждое предложение физики Ньютона, утверждающее, что тела ведут себя так-то и так-то, рассматривалось бы как высказывание о том, что тела ведут себя тем более так-то и так-то, чем меньше их относительные скорости.

Такие соображения принимают участие в том, что церковники называют высшим критицизмом. Они нацелены на примирение какой-либо ограниченно полезной теории с объемлющей теорией, которой она при буквально ориентированном прочтении противоречит: исчисление бесконечно малых – с классической математикой чисел, механику идеальных объектов – с общей физикой, а физику Ньютона – с физикой Эйнштейна. Но будем между тем также помнить, что знание нормально развивается при посредстве множества теорий, каждая из которых имеет свою ограниченную полезность и внутренне совместима до той поры, пока не станет в большей степени опасной, нежели полезной¹. Эти теории в весьма значительной степени совпадают между собой своими так называемыми логическими законами и еще много чем, но требование, чтобы они представляли собой увеличения некоего интегрированного и непротиворечивого целого, – это всего лишь достойный идеал, а, к счастью, не необходимое условие научного прогресса. Сохраняющаяся полезность механики идеальных объектов и механики Ньютона – достаточная причина бережного отношения и преподавания этих теорий, как бы они ни конфликтовали с более величественными теориями; и то же самое было истинно в отношении бесконечно малых до Вейерштрасса. Учитывая все сказанное, пусть примирение продолжается; каждый такой шаг увеличивает наше понимание мира.

7.5 Геометрические объекты

Традиционно геометрия была теорией относительного положения в пространстве. Для Пуанкаре и других, на кого оказал влияние плюрализм неевклидовых геометрий, геометрии были скорее семейством неинтерпретированных теоретических форм, называемых геометриями только вследствие структурных сходств с исходной евклидовой геометрией положений в пространстве. Вопрос о природе объектов геометрий, понятых в таком смысле, не должен нас

¹См.: Conant, pp. 98 ff.

задерживать, поскольку он защищен от ответа. Но между тем геометрия также в каком-то, подобном традиционному, смысле остается служанкой, под каким угодно именем, естественной науки. Ее объекты производили бы впечатление точек, кривых, поверхностей и твердых тел, понятых как части действительного пространства, которое охватывает и пронизывает физический мир. Это – объекты, которые мы склонны допускать наряду с физическими объектами в качестве значений наших переменных квантификации, как в случае, когда мы говорим, что Бостон, Буффало и Детройт пересекаются большим кругом земли.

Объекты геометрии можно адекватно объяснить в некоторых целях тем способом, применение которого к идеальным объектам механики мы уже наблюдали; ведь мы можем полагать точки, кривые и геометрические поверхности идеально маленькими частицами, идеально тонкими проволочками и идеально тонкими листами. Это отношение достаточно хорошо соответствует чистым универсальным высказываниям геометрии, утверждающим лишь, что любые геометрические объекты, так-то и так-то взаимосвязанные, взаимосвязаны еще и так-то и так-то. Но это отношение плохо согласуется с экзистенциальными высказываниями геометрии, которые требуют, чтобы существовали точки, кривые, поверхности и твердые предметы.

Можем ли мы тогда придерживаться наивных взглядов? На этот случай у нас имеется дуалистическая теория пространственно-временной реальности, два вида объектов которой – физические и геометрические – проникают один в другой, не вызывая противоречий. Противоречий нет просто потому, что физические законы не распространяются на геометрические объекты.

Но если такой план терпим здесь, то почему мы не могли равным образом допустить в § 7.4 идеальные объекты механики в единой пространственно-временной вселенной наряду с полноценными физическими объектами, просто исключив их из сферы действия некоторых законов? В том ли только дело, что эти две категории интуитивно слишком сильно похожи, чтобы такое разделение законов выглядело естественным? Нет. Есть более существенная причина, почему точки массы и тому подобное менее привлекательны, чем объекты геометрии, в качестве дополнений к полноценным телам. Никак не были осмыслены их временные координаты и местоположение. Очевидно, если судить по тому, что о них сказано, точки массы и подобные идеальные объекты предполагаются существующими в определенного вида пространстве и времени, в нашем или в каком-то другом; но только где это пространство и время? И если мы уловили их местонахождение, то следующая проблема – тождество: когда считать точки массы (или поверхности без трения и т.д.) чем-то одним, а когда – двумя? То, как механика говорит об идеальных объектах, что весьма важно, характеризуется тенденцией не озадачиваться такими вопросами. В этих обстоятельствах кроется важная причина скорее исключить идеальные объекты – скажем, путем Вейерштрасса, обозначенным в § 7.4, – чем сохранить их и пытаться решить проблемы положения в пространстве или тождества путем умножения искусственных средств. С другой стороны, геометрические объекты не вызывают таких явных проблем положения в пространстве или тождества; они сами представляют собой положения в пространстве.

Но готовы ли мы допустить абсолютные положения в пространстве и вместе с ними – абсолютное различие между покоем и движением? Не относительно ли, скорее, движение, настолько, что то, что считалось бы с одной точки зрения одним и тем же удвоенным положением в пространстве, с другой считалось бы двумя разными положениями в пространстве? Несомненно. Однако мы можем найти для этого релятивистского колебания место в теории, просто добавив измерение и говоря о положениях не в пространстве, а в пространстве и времени. Различные образцы точек абсолютно различны, независимо от относительного движения точки зрения.

Если движение относительно, то, очевидно, вопрос, имеет ли данная пространственно-временная область (или агрегат образцов точек) постоянные очертания во времени, или изменяются ли ее внутренние расстояния во времени, будет зависеть от относительного движения

точки зрения; и точно так же будет зависим вопрос, являются ли очертания этой области сферическими или продолговатыми в некий момент времени. Но это значит только сказать, что очертания-в-некий-момент-времени зависят от систем координат; геометрические объекты, об очертаниях которых идет речь, остаются при этом абсолютными агрегатами образцов точек, как бы они ни были конкретизированы и каковы бы ни были их очертания.

Что лучше – оставить наши геометрические объекты в рамках трех измерений или не ограничиваться пространством и размещать их в пространстве и времени зависит от того, мудро ли признавать абсолютное различие между движением и покоем. Этот вопрос, в свою очередь, представляет собой вопрос о том, какая теория лучше всего систематизирует данные физики. Таким образом, мы можем справедливо сказать, что вопрос о природе геометрических объектов, подобно вопросу о природе элементарных частиц в физике, есть вопрос физической теории. Дано, что лабораторные данные лишь оказывают на нас воздействие в проведении геометризаций, но не обуславливают ее; но подобным же образом они лишь оказывают на нас воздействие в нашем изобретении физической теории, но не обуславливают его. Пусть внешний облик и терминология не вводят нас в заблуждение видеть в геометрии нечто слишком отличающееся от физики.

На самом деле физическое теоретизирование Эйнштейна включало в себя, помимо выводов об относительности движения, также геометрические решения. Соображения всеобщей теоретической простоты физической теории подтолкнули его принять решение в пользу неевклидовой формы геометрии, хотя евклидова геометрия проще, если рассматривать ее отдельно. Далее, принимая такую неевклидову геометрию четырех измерений, наряду с релятивистской физикой, как буквальную истину (по сегодняшним меркам), можно рассматривать евклидову геометрию, наравне с физикой Ньютона (ср. § 7.4), как удобный миф, более прострой для решения некоторых задач, но символический в отношении высшей истины. Геометрические объекты евклидовой геометрии в таком случае приобретают, относительно «реальных» объектов неевклидовой «истинной» геометрии идеальных объектов, статус форм речи, предельных мифов, в принципе эксплицируемых путем парафразы наших предложений методом Вейерштрасса.

Остаются еще другие геометрии, другие в различных отношениях. Есть более абстрактные геометрии, кульминацией которых является топология, толкующая геометрические объекты с точки зрения их наименее специфичных подробностей. Эти геометрии не порождают новых онтических проблем, так как их объекты можно рассматривать как те же самые знакомые нам геометрические объекты; мы можем смотреть на эти геометрии как на такие, которые просто меньше говорят об этих объектах.

И еще остаются геометрии, не просто более абстрактные, чем, но действительно противоположные нашей «истинной» геометрии релятивистской физики. Считать ли нам их просто ложными? Или искать способы истолковать их слова так, чтобы сделать их в конце концов истинными или относительно наших старых геометрических объектов, или относительно чего-то еще? Нам не нужно делать ни того, ни другого; неинтерпретированная теоретическая форма может быть достойна изучения благодаря одной только своей структуре, не обязательно при этом, чтобы она говорила о чем-либо. Если ее связать с кванторами, взятыми из более широкого научного контекста, таким образом, чтобы этим предполагалось непритворно говорить об объектах того или иного вида, то тогда будет самое время спросить, что это за объекты.

До сих пор я защищал геометрические объекты не потому, что я думаю, что лучше их признать как часть того, что украшает нашу вселенную, но только для того, чтобы продемонстрировать релевантные соображения. Между тем, очевидно, сохраняется возражение против геометрических объектов, отталкивающееся от соображений экономии объектов. Посмотрим теперь, как можно обойтись без них.

Единственные предложения, которые нам нужно перефразировать, чтобы устранить референцию к геометрическим объектам, – это те, которые нельзя легко отбросить как тарабарщину неинтерпретированного исчисления: те, которые скорее вносят такой же вклад в дискурс о

реальном мире вне геометрии, как предложения про экватор или про Бостон, Буффало и Детройт. Все предложения про экватор, далее, возможно, перефразируются в формы, в которых «экватор» стоит в непосредственном контексте «ближе к экватору, чем»; и эти четыре слова можно рассматривать как простой относительный термин или даже устранить, определив в терминах центробежной силы или среднего солнечного угла возвышения. Предложения, якобы предполагающие геометрический объект в качестве значения переменной квантификации, подобно предложениям про Бостон, Буффало и Детройт, представляют собой более сложные случаи.

Но референция к геометрическим объектам в таких случаях – всего лишь вспомогательное средство сказать то, что мы хотим, о движениях и пространственно-временных отношениях тел; и мы можем надеяться избежать упоминания геометрических объектов, вернувшись к использованию относительного термина расстояния (§ 7.3) или пространственно-временного интервала, понятого как термин, соотносящий физические тела и числа. Этот путь предполагает, конечно, допущение чисел в качестве объектов, наряду с телами, но освобождает нас от дополнительного допущения геометрических объектов. Элементы, таким образом, упрощаются. Практическое удобство геометрических объектов все же можно сохранить путем восстановления их в правах с помощью определения (ср. § 5.7), какие бы идиомы мы ни вывели из употребления путем анализа.

Устранение геометрических объектов можно систематизировать методом аналитической геометрии. Существенный минимум этой идеи для нашего пространства и времени четырех измерений состоит в следующем. Мы выбираем пять элементарных событий a, b, c, d, e , не совсем наугад. (От них требуется только, чтобы они маркировали скорее вершины полноценного «гипертела», имеющего четыре измерения, чем все лежали на плоскости или располагались в трех измерениях.) Мы можем считать, что эти пять событий заданы с помощью собственных имен или, что приведет к такому же результату (ср. § 5.5), общих терминов, в неравной степени истинных относительно каждого из пяти событий. Теперь каждая точка (или образец точки) в пространстве-времени будет неравным образом определен, как только мы определили его «расстояние» (или интервал: аналог расстояния в пространстве-времени четырех измерений) до каждого из пяти событий. Положение тела в пространстве-времени определяется, таким образом, расстоянием от каждого из пяти указанных элементарных событий до различных крайних точек этого тела. Атрибуцию (имеющих четыре измерения) форм телам можно перефразировать как атрибуцию соответствующих арифметических условий классам упорядоченных пятерок чисел, фиксирующих границы тела. Соответствующим образом выводится атрибуция коллинеарности и других геометрических отношений.

Мы можем предпринять, если хотим, следующий шаг номинальной реституции геометрических объектов, *отождествляя* точки (в действительности образцы точек) с соответствующими упорядоченными пятерками чисел и отождествляя остальные геометрические объекты с классами конституирующих их точек, понятых таким образом. Говорить ли о геометрических объектах как о том, чего мы избежали, или как о том – что перетолковали, неважно.

Система координат из пяти точек, описанная таким простым образом, на практике была бы непозволительно неуклюжей. Меньшее, в чем она не изящна, – это то, что она эксплуатирует числовые ресурсы. Например, расстояния от a и b , которые складываются с тем, что меньше, чем расстояние от a до b , никогда не были бы желательны в одной и той же пятерке чисел. Совместимые расстояния от пяти точек составляют вполне особый и непросто распознаваемый класс пятерок. Более строгая картезианская схема фиксирования каждой точки по ее расстоянию от каждой из по-разному взаимно перпендикулярных плоскостей – куда более сильная: она оперирует четверками чисел вместо пятерок, она не теряет ни одной четверки, и, что важнее всего, она соотносит важные геометрические условия с гораздо более простыми арифметическими условиями, чем те, с которыми мог бы соотнести их наш метод пяти точек. Конечно, хотелось бы учредить картезианскую систему координат. Но ее конструирование, при том что в качестве исходной точки даны только измерение расстояния и отображенные

обозначаемые единицы, – это долгая история. Метод пяти точек легче описать с тем же теоретическим результатом, и его достаточно для передачи некоторого конкретного смысла того, что означает устранение геометрических объектов.

С той же целью может быть ценно теперь обратить внимание на кое-что более характерное: продрагаться сквозь весь аппарат точек отсчета системы и четверок или пятерок действительных чисел и рассмотреть, скорее, как некоторое весьма определенное геометрическое замечание о физических телах, понятое буквально, могло бы быть перефразировано в терминах расстояния без упоминания геометрических объектов. Возьмем с этой целью предложение, утверждающее, что есть линия, проходящая через тела A , B и C , причем B расположено посередине.

Простой парафраз, который не вполне исчерпывает задачу, таков: есть частицы x , y и z в A , B и C , соответственно, такие, что расстояние от x до z есть сумма расстояний от x до y и от y до z . Проблема этого парафраза заключается в том, что он не допускает пропусков между составляющими частицами (или элементарными событиями) тела. Он не допускает такой возможности, чтобы каждая линия, пересекающая A , B и C и пересекающая частицы как A , так и C , проходила между частицами B , не пересекая ни одной из них.

Есть способ справиться с этой трудностью, который мы можем легче всего понять, в принципе, если предположим, что мы работаем только в двух измерениях. Тогда A , B и C будут представлять собой собрания точек (*dots*) на странице; и мы хотим в результате сказать, что через A , B и C проходит геометрическая линия, не указывая, действительно, ни на какие объекты, а лишь на точки и их собрания, не соотнося их иначе, как через расстояние. Мы все еще полагаем, что среднее из этих трех собраний (если через них проходит линия) – B . В результате мы в таком случае хотим сказать, хотя и в рамках отведенных для этого средств, что есть точка x A , точка z C и точки y и y' B (одинаковые или различные) такие, что геометрическая линия xz пересекает y' или y или проходит между ними. Но xz пересекает y или y' или проходит между ними тогда и только тогда, когда площадь треугольника xzy плюс площадь треугольника $xy'z$ равняется площади треугольника xyy' плюс площадь треугольника zyy' . Но площадь треугольника есть известная функция f длин его сторон. Отсюда следует соответствующая нашей задаче формула, в которой ' dxy ' значит «расстояние от x до y ».

Существуют точка x A , точка z C и точки y и y' B такие, что $f(dxy, dyz, dxz) + f(dxy', dy'z, dxz) = f(dxy, dyy', dxy') + f(dzy, dyy', dzy')$.

7.6 Упорядоченная пара как философская парадигма

Мы снова и снова иллюстрировали в последних параграфах образец дефективного существительного, которое на поверку недостойно объектов и переведено в разряд нереференциальных фрагментов немногих содержащих его фраз. Но иногда дефективное существительное ведет себя противоположным образом: оно оказывается полезным вследствие допущения обозначаемых объектов в качестве значений переменных квантификации. В таком случае наша работа будет заключаться в том, чтобы выработать интерпретации для этого существительного как стоящего в таких позициях терминов, в которых ему, в его дефективности, не случалось употребляться.

Мы обнаружим, что особенно чистый случай последнего вида – случай упорядоченной пары, способа говорить о двух объектах одновременно, как будто это два объекта одного вида, рассматриваемые в один и тот же момент времени как один. Типичное применение этого метода – ассимиляция отношений к классам путем представления первых классами упорядоченных пар¹. Отношение отцовства становится классом только тех упорядоченных пар, ко-

¹Отношения, в той мере, в какой они нас здесь интересуют, есть «отношения-по-объему». Они относятся к

торые, подобно паре $\langle \text{Авраам, Исаак} \rangle$ ¹, состоят из индивида мужского пола и его отпрыска соответственно.

Но что же такое упорядоченная пара? Вот ответ Пирса:

Диада – это ментальная диаграмма, состоящая из двух образов двух объектов, один из которых экзистенциально связан с одним членом пары, а другой – с другим; один присоединяет к объекту в качестве его обозначения символ, значение которого – «первый», а другой – символ, значение которого – «второй»².

Нам лучше принять как факт, что «упорядоченная пара» (в отсутствие дополнительных конвенций) представляет собой дефективное существительное, находящееся не в ладах со всеми вопросами и ответами, которые мы привычно задаем и получаем в отношении лучших полнокровных воплощений терминов.

Особое иллюстративное достоинство понятия упорядоченной пары состоит в том, что математики вполне преднамеренно вводили его в конечном счете с помощью одного постулата:

(1) Если $\langle x, y \rangle = \langle z, w \rangle$, то $x = z$ и $y = w$.

В отсутствие дополнительных конвенций выражения формы « $\langle x, y \rangle$ », подобно самим упорядоченным парам, являются дефективными существительными, их нормальные употребления ограничены особыми видами контекстов, в которых можно применять предложение (1).

Все же для задач, решаемых с помощью понятия упорядоченной пары, центральным является признание упорядоченных пар объектами. Если отношения должны быть уподоблены классам в качестве классов упорядоченных пар, то упорядоченные пары должны быть доступны наравне с другими объектами как члены классов. Требования к дальнейшим употреблениям понятия упорядоченной пары в математике – такие же; во всяком случае, упорядоченная пара имеет смысл именно в силу своей роли в качестве объекта – единичного объекта, делающего работу двух объектов. Понятие упорядоченной пары не справилось бы ни с одной из своих задач, не будь упорядоченные пары значениями переменных квантификации.

Проблема в том, чтобы приемлемым образом обойтись без употребления дефективных существительных, и эта задача может быть решена раз и навсегда путем систематического нахождения для каждого x и y некоторого подходящего уже опознанного объекта, чтобы отождествить с ним $\langle x, y \rangle$. Это – ясная проблема, так как предложение (1) представляет собой явный стандарт суждения о том, подходит ли для этой цели та или иная версия.

Существует много решений. Самая ранняя, предложенная Винером в 1914 г., состоит (почти что) в следующем: $\langle x, y \rangle$ отождествляется с классом $\{\{x\}, \{y, \Lambda\}\}$, члены которого – только (а) класс $\{x\}$, единственный член которого – x , и (б) класс $\{y, \Lambda\}$, единственные члены которого – y и пустой класс.

Эта конструкция парадигматична в отношении того, к чему мы типичнее всего склонны, когда предлагаем в философском духе «анализ» или «экспликацию» какой-либо до сих пор неадекватно сформулированной «идеи» или выражения. Мы не претендуем на синонимию. Мы не претендуем на прояснение и экспликацию того, что бессознательно имеют в виду те, кто употребляет неясные выражения в момент их употребления. Мы не раскрываем скрытых значений, что предполагали бы слова «анализ» и «экспликация»; мы восполняем отсутствующее. Мы фиксируем особые функции неясного выражения, которые делают его вызывающим беспокойство, а затем вырабатываем замещающее выражение, ясное и сформулированное в отвечающих нашим желаниям терминах, которое способно выполнять эти функции. Помимо

отношениям-по-интенционалу (§ 6.4), как классы – к атрибутам. Любой, кто настаивает на признании интенциональных объектов, может, по аналогии, считать отношения-по-интенционалу атрибутами упорядоченных пар.

¹Традиционная символика Фреге и Пеано для упорядоченной пары x и y – $\langle x, y \rangle$ – в наши дни уступает место символике « (x, y) ».

²Peirce, т. 2, § 316.

тех условий частичного соглашения, которые диктуют наши интересы и цели, любые другие черты эксплицируемого проходят под заголовком «несущественности» (*'don't cares'*) (§ 5.6). Под этим заголовком мы вольны допускать любые виды новых коннотаций эксплицируемого, никогда не ассоциированных с эксплицирующим. Виннерово $\{\{x\}, \{y, \Lambda\}\}$ ярко иллюстрирует это. Наш пример нетипичен только в одном отношении: требования частичного согласия сверхъестественно сжаты и эксплицированы в предложении (1).

Философский анализ, экспликация, не всегда виделся таким¹. Только если усматривать в анализе претензию на установление синонимии, может возникнуть так называемый парадокс анализа, который звучит следующим образом: как может быть информативным правильный анализ, если для того, чтобы понять его, мы уже должны знать значения его терминов, а значит – уже знать, что термины, между которыми он устанавливает равенство, являются синонимами?² Понятие, что анализ должен каким-то образом заключаться в раскрытии скрытых значений, лежит также в основании тенденции последнего времени оксфордских философов сделать своей задачей исследование тонких нерегулярностей обыденного языка. И невозможно ошибиться в том, что разные авторы придают забвению положение о несущественностях (*don't cares*). Если никто не возражает против определения Виннера как фальсифицирующего обыденное понятие упорядоченной пары, например, тем, что оно делает x и y членами членов $\langle x, y \rangle$, то причина этого, возможно, состоит в том, что релевантные здесь соображения – такие на первый взгляд ясные; или, возможно – всего лишь в том, что термин «упорядоченная пара» не принадлежит обыденному языку. В аналогичных возражениях против другого и более классического философского анализа в любом случае нет недостатка. Теория дескрипций Рассела была названа неправильной из-за того, как она обошлась с провалами истинностного значения³. Фрегево определение числа было названо неправильным из-за того, что оно говорило о числах, будто числа имеют классы своими членами, что было не так до той поры. Однако я предвосхищаю события.

Прежде чем нам обратиться к числу, рассмотрим еще кое-что, имеющее отношение к упорядоченным парам и достойное внимания: а именно что версия упорядоченных пар Виннера – всего лишь одна из многих возможных. Более поздняя и лучше известная – версия Куратовского, которая отождествляет $\langle x, y \rangle$ скорее с $\{\{x\}, \{x, y\}\}$. Если кому-либо приходится работать в рамках чистой теории чисел, ему желательно истолковывать упорядоченные пары чисел, скорее, таким образом, чтобы не выводить нас за границы области натуральных чисел; а эту задачу также можно выполнить бесконечным множеством способов – например, рассматривать $\langle x, y \rangle$ как $2^x 3^y$, или как $3^x 2^y$, или как $x + (x + y)^2$. Каждая из этих версий упорядоченных пар конфликтует со всеми остальными, но каждая выполняет условие (1).

Какая из версий верна? Все они верны; все выполняют условие (1) и конфликтуют друг с другом только в отношении несущественностей (*don't cares*). Любое ощущение парадокса возникает исключительно из предположения, что существует единственный правильный анализ – эта ошибка поощряется практикой, в других случаях удобной, применения термина «упорядоченная пара» к каждой из версий. В этом и других отношениях природа экспликации, как ее иллюстрирует упорядоченная пара, может быть совершенно прояснена, если пересказать историю Виннера, Куратовского и упорядоченной пары с помощью усовершенствованной терминологии. В начале было понятие упорядоченной пары, дефективное и затрудняющее понимание, но пригодное. Затем люди обнаружили, что все, что можно выполнить, говоря об упорядоченной паре $\langle x, y \rangle$, можно выполнить, говоря вместо этого о классе $\{\{x\}, \{y, \Lambda\}\}$ или, коли на то пошло, – о классе $\{\{x\}, \{x, y\}\}$.

Подобного взгляда можно придерживаться в отношении каждого случая экспликации: *экспликация есть устранение*. У нас есть для начала каким-либо образом проблематичное выра-

¹ Карнапом – да; см.: *Meaning and Necessity*, pp. 7f.

² По этому вопросу см.: *Carnap*. Op. cit., pp. 63 f.; *White*. On the Church-Frege solution; и ссылки, содержащиеся в этих работах.

³ *Strawson*. Introduction to Logical Theory, pp. 185 ff.

жение или форма выражения. Оно ведет себя частично как термин, но недостаточно так, или же оно смутно в такой степени, что это нас беспокоит, или же оно создает петли в теории или способствует той или иной путанице. Но оно также служит определенным целям, от которых нельзя отказаться. Затем мы находим способ решить те же самые задачи по-другому, используя другие, менее проблематичные, формы выражений. Старые затруднения устранены,

Согласно влиятельной доктрине Витгенштейна, цель философии – не решать проблемы, а устранять их, показывая, что их и нет в действительности. Эта доктрина имеет свои ограничения, но она удачно согласуется с экспликацией. Ведь когда экспликация устраняет проблему, она делает это путем демонстрации, что эта проблема в некоем важном смысле недействительна; а именно в том смысле, что она происходит из ненужных употреблений¹.

Упорядоченная пара имела иллюстративную ценность вследствие свежести требования (1) и множественности и заметной искусственности экспликаций. Но то, что она иллюстрирует в отношении природы экспликации, применяется очень широко. В случае упорядоченной пары исходная философская проблема, суммированная в вопросе «Что такое упорядоченная пара?», устраняется путем демонстрации того, как можно предпочесть упорядоченным парам, понятым в любом проблематичном смысле, определенные более ясные понятия. В случае единичных дескрипций исходные проблемы – неудобство провалов истинностного значения и парадоксы упоминания того, что не существует; и Рассел устраняет их, показывая, как мы можем расстаться с единичными дескрипциями в любом проблематичном смысле в пользу определенных употреблений тождества и кванторов. В случае изъяснительного условного предложения исходные проблемы – неудобство провалов истинностного значения и непрозрачность условий истинности; и они устраняются, когда показана очевидность того, что мы можем вообще расстаться с изъяснительным условным предложением, понятым в любом проблематичном смысле, в пользу истинностной функции. В случае с «ничто», «все» и «нечто» исходные проблемы (если их обозначить) – это те, которые возникают вследствие обращения с этими словами способом, слишком похожим на обращение с собственными именами; и они устраняются путем отказа от слов нарушителей в пользу квантификации. Во всех этих случаях проблемы устранялись путем демонстрации, в существенном смысле, чисто вербального характера этих проблем, где чисто вербальный характер упоминается в существенном смысле возникновения из употреблений, которых можно избежать в пользу тех употреблений, которые не вызывают такого рода проблем.

Иронично, что именно философы, на которых больше всего повлиял Витгенштейн, составляют основную массу тех, кто сожалеет о только что перечисленных экспликациях. В непоколебимом обывательском духе они сожалеют о них как об отклонениях от обыденного языка, не будучи в состоянии оценить по достоинству, что именно путем демонстрации того, как обойти проблематичные части обыденного языка, мы показываем, что проблемы имеют чисто вербальный характер.

Экспликация есть устранение, но не всякое устранение есть экспликация. Раскрытие того, как полезные задачи, стоящие перед неким вызывающим затруднением выражением, могут выполняться новыми способами, похоже, считается экспликацией лишь в том случае, когда новые способы выполнения этих задач достаточно параллельны старым для того, чтобы получился если даже и частичный, то разительный параллелизм функций между старой, вызывающей затруднения формой выражения и некоторой формой выражения, фигурирующей в новом методе. В этом случае мы, вероятно, будем рассматривать последнюю форму выражения как эксплицирующую старую и, если она длиннее, даже сокращать ее с помощью старого слова. Если стоит вопрос об объектах и достигнут частичный параллелизм, который мы сейчас представляем, будет наличествовать стремление смотреть на соответствующие объекты новой схемы как на старые таинственные объекты минус их таинственность. Ясно, что это – всего лишь способ сформулировать предмет и он может быть неправильным лишь постоль-

¹См.: Alston, p. 16; Lazerowitz, pp. 21 f.

ку, поскольку он угрожает иммунитету несущественностей и предполагает, что одна из двух различающихся *explicantia* должна быть неправильной.

Различие, проведенное в начале этого параграфа, между дефективным существительным, с объектами которого мы расстаемся, и дефективным существительным, без дефективности которого нам было бы болезненно обойтись, если мы хотим сохранить объекты, можно теперь сформулировать проще: играют ли объекты дефективного существительного, на которые можно остенсивно указать, такие роли, относительно которых еще желательно, чтобы они игрались объектами какого-либо вида.

7.7 Числа, сознание и тело

Но из-за своей большей древности и связи с более почтенным понятием философский вопрос «Что такое число?» равнозначен соответствующему вопросу об упорядоченных парах. Фреге ответил на один из этих вопросов так же, как Виннер ответил на другой: показав, как задача, для выполнения которой могут понадобиться проблематичные объекты, может быть выполнена объектами предположительно менее проблематичной природы. Он отождествил – можно сказать – каждое натуральное число n с определенным классом классов N следующим образом: 0 – с $\{\Lambda\}$, а $n+1$, для каждого n – с классом всех тех классов, которые принадлежат N , если их сократить на один член. Таким образом, закругляя проблему, каждый n отождествляется с классом всех классов, имеющих n членов¹.

После § 7.6 ничего не надо говорить в опровержение тех критиков, начиная с Пеано, которые отвергали версию Фреге из-за того, что о классах приходится говорить нечто, что мы не склонны говорить о числах². Нет действительно ничего более логичного, чем сказать, что если числа и классы классов имеют разные свойства, то числа не являются классами классов; но здесь упущена суть экспликации.

Фон Нойман, играя такую же роль для Фреге, как Куратовский для Виннера, предложил другое определение: 0 отождествляется с Λ , а $n+1$, для каждого n – с классом всех классов, отождествленных с $0, 1, \dots, n$.

Условие для всякой приемлемой экспликации числа (т.е. натуральных чисел $0, 1, 2, \dots$) можно сформулировать почти так же сжато, как условие (1) из § 7.6: для этого подойдет любая *прогрессия* – т.е. любая бесконечная серия, у каждого члена которой лишь конечно много предшествующих членов. Рассел как-то высказал мнение³, что еще одно условие должно быть выполнено, чтобы был способ применить чьи-либо предполагаемые (*would-be*) числа к измерению множественности: способ сказать, что:

(1) Есть n объектов x таких, что Fx .

Это, однако, было ошибкой; любая прогрессия может соответствовать этому дополнительному условию. Ведь (1) можно перефразировать так, чтобы оно утверждало, что числа, меньшие чем n , допускаются в качестве коррелятов объектов x таких, что Fx . Это требует, чтобы наш аппарат включал достаточно элементарной теории отношений для разговора о корреляции или отношении один к одному; но это не требует ничего особенного от чисел, кроме того, что они должны составлять прогрессию.

Сверх и помимо строгого условия можно еще упомянуть в пользу версии Фреге ее интуитивность следующим образом. Натуральное число n служит первоначально для измерения

¹Frege. Grundlagen, § 68. В деталях используемая мной версия скорее принадлежит Расселу: *Russel. Principles*, Ch. XI.

²Фраза Пеано: «... car ces objets ont des propriétés différentes» (Formulaire, p. 70).

³Russel. Introduction to Mathematical Philosophy, p. 10.

множественности и, следовательно, может естественно рассматриваться как атрибут классов, а именно атрибут обладания n членами; или, если мы предпочитаем классы атрибутам, как класс классов с n членами. Можно иначе высказаться в пользу интуитивности версии фон Ноймана: число – это то, с помощью чего считают. Когда мы считаем члены класса, состоящего из n членов, мы ставим им в соответствие первые n чисел; а само n , по фон Нойману, есть класс, состоящий именно из этих первых n чисел. (Мы должны вести счет от 0 вместо 1, чтобы получилось правильно, но этого недостаточно для формулирования вопроса.)

В действительности, насколько я знаю, соотносительная интуитивность этих двух версий не обсуждалась. Одни используют версию Фреге, другие – фон Ноймана или даже какую-либо другую, такую, как версия Цермело, оппортунистически, для выполнения конкретной задачи, если она вообще требует какой-либо теории числа. Это не похоже на отношения в браке. Прогрессии Фреге, фон Ноймана и Цермело – это три прогрессии классов, каждая из которых представлена в нашей вселенной значений переменных (если мы принимаем обычную теорию классов) и доступна для выборочного использования в соответствии с соображениями удобства. То, что все они адекватны в качестве экспликаций натурального числа, означает, что нет нужды дополнять нашу вселенную натуральными числами, понятыми в каком-либо существенном смысле. Каждая из трех прогрессий или любая другая делает работу натуральных чисел, и каждая, кроме того, приспособлена к выполнению еще и других задач, к чему не пригодны остальные.

Так уж случилось, что и здесь, как в случае с упорядоченными парами, экспликация есть устранение. Этот шаг следует считать обычно зависимым от компенсирующего пересмотра смежного текста. Так, рассмотрим опять экспликацию числа Фреге, при которой « x имеет n членов» можно перефразировать как « $x \in n$ ». Если мы изобразим его экспликацию не как отождествляющую каждое число n с классом классов N , а как избегающую референции к n при помощи N , то действие, производимое конструкцией «имеет... членов», будет не приравниванием ее к « \in », а ее компенсирующим пересмотром в качестве « \in »; парафразом выражения «имеет n членов» будет не « $\in n$ », а « $\in N$ ». Есть такие, кому признание роли компенсирующего пересмотра сэкономило ошибку, состоящую в возражении против версии числа Фреге, а именно в утверждении, что «имеет... членов» не означает « \in », или параллельные ошибки в какой-либо части философии.

Мне вряд ли нужно добавлять, что я всецело одобряю, когда прямо играют в игру Фреге, где « n » замещает « N », а « $x \in n$ » – « x имеет n членов», если только не стоит конкретная задача прояснения.

То, что экспликация есть устранение и, следовательно, наоборот, что устранению может быть часто дозволено иметь более благородный акцент экспликации, представляет собой результат наблюдения за философской деятельностью, которая выходит далеко за рамки философии математики, даже если лучшие примеры располагаются в этой области. Прежде чем мы оставим эту тему, нам хорошо было бы обратить внимание на то, как это наблюдение соответствует философской тематизации сознания и тела. Позвольте мне подойти к этому материалу со стороны защиты физикализма.

Как иллюстрировал пример с предложением «Ой» (§ 1.2), любой субъективный разговор о ментальных событиях с необходимостью осуществляется в терминах, приобретенных и понятых путем их непосредственных или косвенных ассоциаций с социально наблюдаемым поведением физических объектов. Если это так для ментальных событий и ментальных состояний, то их постулирование, как и постулирование молекул, должно иметь какую-то косвенную систематическую эффективность для развития теории. Но, если путем такого полагания различающихся ментальных состояний и событий, стоящих за физическим поведением, достигнута определенная организация теории, такой же организации наверняка можно достичь, постулируя вместо этого просто определенные соответствующие физиологические состояния и события. Не нуждаемся мы также в том, чтобы находить для них особые центры в теле; эту

роль будут выполнять физические состояния неразделенного организма, какова бы ни была их более тонкая физиология. Отсутствие детального физиологического объяснения таких состояний с трудом может служить возражением против признания их состояниями человеческих тел, если мы замечаем, что те, кто постулирует ментальные состояния и события, не могут указать на детали подходящих механизмов или предвидеть таковые из-за своей психофизической (*mind-body*) проблемы. Телесные состояния в любом случае существуют; зачем добавлять другие? Так, интроспекцию можно рассматривать как освидетельствование своего собственного телесного состояния, как наблюдение за кислотностью желудка, даже несмотря на то, что наблюдатель имеет смутные представления о медицинских деталях. Мои слова «смутные» и «освидетельствование», употребленные здесь, имеют менталистское содержание. Но и мой аргумент касается менталистов; физикалисты в нем не нуждаются.

Этот очерк физикализма мало что добавляет к тому, что предвещалось на предыдущих страницах, и ничего не добавляет к тому, что говорили другие¹. Но я составляю его здесь с оглядкой на достаточно умиротворяющее соображение, продиктованное нашими мыслями об экспликации и устранении. Представляет ли собой физикализм в конечном счете отказ от ментальных объектов или их теорию? Отрицает ли он ментальное состояние боли или злости в пользу сопутствующего физического состояния или отождествляет ментальное состояние с состоянием физического организма (и, таким образом, состояние физического организма – с ментальным состоянием)? Последняя версия звучит не так радикально. Даже обыденный язык в его наименее самосознающих атрибуциях явно впадает в физикализм, соответственно, не радикально понятый; говорят «Джонс испытывает боль», «Джонс испытывает злость» о том же самом объекте, о котором говорят «Джонс высокий». Характеризуя так не радикально понятый физикализм, можно в первую очередь сказать, что он не провозглашает никаких несводимых видовых различий между ментальным и физическим. Некоторые могут, следовательно, чувствовать себя комфортно, рассуждая, что между элиминативным и экспликативным физикализмом нет действительного различия².

В качестве следующей параллели рассмотрим молекулярную теорию. Отрицает ли она знакомые твердые тела и провозглашает вместо них молекулярные облака или сохраняет твердые тела и объясняет их как состоящие из молекул на подлежащем видимому уровне? Эддингтон в своем начальном параграфе принял первую версию; здравый смысл и от его имени мисс Стеббинг – вторую³. Различие, опять же, – недействительное. И оно, кроме того, не достаточно удивительно, чтобы представлять большой интерес, разве что в качестве дальнейшей аналогичной помощи в оценке статуса физикализма.

Если не делать различия между устранением и экспликацией, остается еще один важный смысл, в котором о физикализме, рассмотренном выше, можно сказать, что он менее явно *редуктивный*, чем версия числа Фреге⁴. Когда Фреге объясняет числа как классы классов или устраняет их в пользу классов классов, он перефразирует стандартные контексты нумерических выражений в antecedently значимые контексты соответствующих выражений для классов; так «имеет... членов» уступает место « \in », а арифметические операторы, такие как «+» – подходящим образом определенным операторам теории классов. Но, когда мы объясняем ментальные состояния как телесные состояния или устраняем их в пользу телесных состояний простым способом, который мы здесь предусмотрели, мы не перефразируем стандартные контексты ментальных терминов в независимо объясненные контексты физических

¹ См.: Carnap. The Unity of Science; Feigl. The “mental” and the “physical”; и сотни дальнейших ссылок в работе Фейгля. В особенности см.: Feigl, pp. 417 f., по поводу отделения физикализма от проблемы интенциональности из § 6.6.

² Возможно, именно это различие в основном провозглашается вновь, когда говорят, что «философский бихевиоризм не является метафизической теорией: он – отрицание метафизической теории. Следовательно, он ничего не утверждает» (Ziff, p. 136).

³ См.: Urmson.

⁴ Следующими замечаниями я обязан Дэвидсону и Фейглю. См.: Feigl, p. 425.

терминов. Так, выражение «Джонс испытывает» из предложения «Джонс испытывает боль» и «Джонс испытывает» из предложения «Джонс испытывает злость» остаются неизменными, но только осознаются как имеющие скорее физикалистские, чем менталистские, дополнения. Радикальная редукция, которая бы осуществила перевод ментальных состояний в независимо осознанные элементы физиологической теории, представляет собой отдельную и куда более амбициозную программу.

7.8 Зачем классы?

Бесконечно малые и идеальные объекты полагались объектами, чье признание *prima facie* полезно для теории и в то же время проблематично (ср. § 7.4). Классы – другой пример того же самого, но они, кажется, сопротивляются подобному прочтению. Для бесконечно малых и идеальных объектов были найдены способы выполнить их теоретические задачи так, чтобы это в конечном счете не требовало допущения таких проблематичных объектов, и от объектов, соответственно, отказались. С другой стороны, никакое подобное уклонение от классов не предлагается; скорее, заметно побуждение двигаться противоположным курсом – сохранить классы и справиться с трудностями, которые они создают. Исследуем этот вопрос.

Если классы вызывают раздражение, то не только по причине, столь сомнительно неприятной, их абстрактности. Числа тоже абстрактны; но классы, если их принимать некритически, приводят к абсурдным вещам. Существует бесконечно много таких парадоксов классов; простейший из них – знакомый парадокс Рассела: класса $x(x \notin x)$, который является членом самого себя, если не является членом самого себя, и не является членом самого себя, если является членом самого себя.

Но все же допущение классов в качестве значений переменных квантификации имеет такую силу, что от него нелегко отказаться. Примеры этой силы были даны в § 6.4 и 7.1, и их список потом пополнялся. Классы могут выполнять работу упорядоченных пар, а следовательно – отношений (§ 7.6), а также – работу натуральных чисел (§ 7.7). Они, кроме того, могут выполнять работу более богатых видов чисел – рациональных, действительных, комплексных; ведь они могут различными способами эксплицироваться на основании натуральных чисел с помощью подходящих конструкций из классов и отношений. Нумерические функции, в свою очередь, можно эксплицировать как определенные отношения чисел. Вселенная классов в целом не оставляет всей классической математике желать никаких других объектов.

Многосторонность классов в выполнении задач сильно различающихся видов абстрактных объектов лучше всего видна в математике, но она не ограничивается математикой, как иллюстрирует пример с отношениями. Возьмем, теперь, болезнь; ее можно рассматривать как класс всех временных сегментов ее жертв, испытывающих воздействия соответствующего вида. Так же точно – для злости и других состояний. Не касаясь интенциональных объектов, те абстрактные объекты, которые вообще полезно допускать в рамках дискурса, кажутся адекватно эксплицируемыми в терминах вселенной, охватывающей только физические объекты и все классы физических объектов во вселенной (т.е. классы физических объектов, классы этих классов, etc.). Как бы то ни было, я не вижу убедительных исключений.

Такова сила понятия класса в объединении нашей абстрактной онтологии. Отказаться от этой выгоды и снова встретиться со старыми абстрактными объектами во всем их первозданном беспорядке было бы искажением, но если бы только в этом было дело. Мы, однако, должны помнить, что польза классов не ограничивается экспликацией различных других видов абстрактных объектов. Сила этого понятия, проявляющаяся в других отношениях, упомянутых в § 6.4 и 7.1, делает их самих по себе постоянно востребованными в качестве рабочего понятия в математике и кое-где еще: не только в изменчивых видах числа, функции, состояния и всего остального, для экспликации чего оно служит, но также и непосредственно. Оно дает такую силу, которая вряд ли была доступна из других, менее спорных источников.

Не следует считать, что атрибуты, несмотря на особые трудности, связанные с ними (ср. § 6.4), имеют значение как средство устранения классов. Ведь они обычно также вовлечены в парадоксы, совершенно параллельные парадоксам классов. Есть две причины не придавать такого значения атрибутам: они в любом случае бедны и любое средство против парадоксов классов предположительно будет пригодно и для атрибутов.

Так получается, что превалирует решение сохранить классы и каким-то образом избавиться от парадоксов. Теперь не следует удивляться тому, что самопротиворечивое понятие класса должно быть признано сильным. Все препятствия убраны. Оно слишком сильное с точки зрения пользы, поскольку позволяет, как это и происходит, доказывать истинности и ложности без разбора. Тогда проблема состоит в том, чтобы в достаточной степени его ослабить, но не слишком сильно, учитывая будущие задачи.

Известны разные способы сделать это. У них есть свои сильные и слабые стороны, и ни один не выглядит явно самым удовлетворительным. Все они в некотором отношении ограничивают универсальную применимость оператора « x » абстракции класса¹. Здесь больше не действует старая гарантия, что для каждого открытого предложения существует класс, единственные члены которого – значения переменных, делающие предложение истинным². Продолжают ли классы соответствовать всем своим претензиям, например заявленным на предшествующих страницах и в предыдущих главах, следует, таким образом, проверять, обращая внимание на то, какая особая ограничивающая теория принята. Один аргумент, требующий ограничения, был приведен в § 7.1 для устранения « Φ_x ». Однако в целом удастся сохранить большую часть пользы, которую, казалось (при счастливом игнорировании парадоксов), принесла старая теория классов, не считая простоты руководящих принципов. Естественность, для чего бы она ни была полезна, конечно, утрачивается; возникает множественность взаимно альтернативных, взаимно несовместимых систем теории классов, каждая из которых имеет лишь самые бесцветно прагматические претензии на внимание. Постольку, поскольку склонность или терпимость к классам может основываться на соображениях естественности, номинализм набирает очки.

Исходная причина предпочтения физических объектов абстрактным обсуждалась в конце § 7.1. Двигаясь дальше под воздействием этих позднейших размышлений, можно мечтательно обозревать шансы номинализма. Можно позволить себе пожертвовать некоторыми из несомненно систематических выгод абстрактных объектов взамен двойного приобретения: устранения менее желательных объектов и устранения радикального дуализма категорий.

В такого рода программе главная проблема – как сказать то, что хочется сказать о физических объектах, не привлекая при этом в качестве вспомогательных средств абстрактные объекты. Так, если некто интересуется американскими журавлями, а вовсе не числами, он всего лишь хочет сказать, что есть шесть американских журавлей. Фактически здесь нет никакой трудности. Форму «Есть n объектов x таких, что Fx » можно перефразировать для каждого отдельного n с помощью знака « \Rightarrow » и кванторов (ср. § 3.8), не требуя, чтобы числа были значениями переменных квантификации. Нет также никакой трудности с введением переменной времени по нашему желанию и даже – с ее квантификацией; ведь моменты времени можно рассматривать как физические объекты, согласно § 5.4.

«Существует ровно столько же мужей, сколько и жен» – случай, где начинаются трудности. « $(\exists n)(\text{существует } n \text{ мужей и существует } n \text{ жен})$ » здесь не подходит, так как тогда потребуются, чтобы числа были значениями квантифицированных переменных. Не подойдет здесь и «Существует корреляция между мужьями и женами», так как в этом случае потребуются, чтобы отношения были значениями переменных. И проблемы, подобные этой (с выражением

¹Заметим, что универсально применимый оператор « x » из моей работы “Mathematical Logic” имеет другое употребление: он объединяет «элементы», а не объекты вообще.

²Рассел получает такой же результат методом, который действительно сохраняет букву, если не дух, этой старой гарантии: он исключает часть области открытых предложений. См. § 6.8.

«ровно столько же»), возникают также с выражениями «больше чем», «вдвое больше» и им подобными.

Другая трудность состоит в том, что номиналист отталкивается от Фреговой техники парафраз термина «предок» через термин «родитель» и с помощью квантификации классов (§ 7.1). Он по-прежнему волен принять как «предок», так и «родитель» в качестве относительных терминов, но он теряет теорию, которая их связывает. Закон вида: предки предков суть предки – он вынужден признавать нередуцируемым вместо того, чтобы видеть его подразумеваемым в парафразе Фреге. Пример с термином «предок», более того, – один из бесчисленного множества. Для каждого открытого предложения с двумя переменными желательно другое открытое предложение, которое будет связано с ним так же, как « x есть предок y » связано с « x есть родитель y ». Это – важная связь, которую можно широко применять.

Перед лицом таких трудностей номиналист не совсем беспомощен. Он может, с некоторой потерей естественности, простоты и общности, выработать альтернативные парафразы терминов «предок», «ровно столько же» и др., которые квантифицировали бы физические объекты вместо абстрактных¹. Но это – только образцы трудностей, продолжающих осаждать номиналиста. Он должен продолжать заниматься естественными науками без помощи математики; ведь математика, за исключением некоторых тривиальных ее частей, таких, как самая элементарная арифметика, неизлечимо больна обязательством квантифицировать абстрактные объекты².

Если радикальная номиналистская доктрина слишком сильна, чтобы ее придерживаться, то существуют компромиссы. Логические парадоксы, которые только что, похоже, обеспечили по крайней мере последний маленький толчок к номинализму, никогда бы не представляли собой угрозы, если бы классы рассматривались как классы конкретных объектов, классы этих классов и так далее, вплоть до какого-то фиксированного уровня, но – не за его пределами. Это ограничение ослабило бы экспликацию чисел точно так же, как дальнейшую работу в математике, но оно – менее строгое, чем номинализм; а числа, в частности, можно было бы по желанию добавлять без экспликации. Большинство таких компромиссов, конечно, бесполезны как общие философские позиции, вследствие произвольности их окончательных вариантов. Можно продолжать идти на уступки по каждому возникающему случаю.

Но для номинализма и для различных промежуточных уровней отрицания абстрактных объектов все же остается место, если мы считаем, вместе с Конантом, науку не единым развивающимся мировоззрением, а множеством работающих теорий (см. конец § 7.4). Номиналист может реализовать свое предпочтение в специальных областях и указывать с гордостью на теоретические улучшения, достигнутые в них. В таком же духе даже математики, реалисты *ex officio*, всегда рады обнаружить, что некоторые частные математические результаты, которые полагались зависимыми от функций или классов чисел, например, можно заново доказать без обращения к каким-либо другим объектам, за исключением чисел. Вообще направляющим для понимания будет предложение фиксировать наши предпосылки в отношении объектов и иные, проект за проектом, и приветствовать онтологическую экономию в связи с одним проектом, даже если для следующего требуется более обильная онтология. Но также важно иметь под рукой менее экономные и более сильные математические теории как инструменты открытия для быстрого использования в непредвиденных случаях – даже несмотря на то, что в каждом таком случае мы затем берем на себя заботу обнаружения более экономных способов получения того же самого результата.

¹См.: *Goodman and Quine*.

²Программа номинализма кажется уже, и безболезненно, осуществленной, если считать, что теория неполных символов Уайтхеда и Рассела справляется с устранением классов. Но это не так; она лишь устраняет классы в пользу атрибутов. См. мою работу “Whitehead and the rise of modern logic”. Больше о номинализме можно узнать из моей работы “From a Logical Point of View”, Essay 6; *Goodman*. Structure of Appearance, Ch. II; *Martin*. Truth and Denotation, Ch. XIII; *Stegmüller*. Die Universalien-problem einst und jetzt.

7.9 Семантическое восхождение

В центре рассмотрения в этой главе был вопрос, какие объекты признавать. Это – вопрос о словах в не меньшей степени, чем его предшественники. Частично нас занимал вопрос: в чем состоят теоретические обязательства к объектам (§ 7.2) – и этот вопрос второго порядка, конечно, является вопросом о словах. Но достойно внимания, что мы больше говорили о словах, чем об объектах, даже тогда, когда в основном были озабочены объяснением того, что же в действительности есть: какие объекты допускать с нашей собственной точки зрения.

Этого не случилось бы, если и поскольку мы помедлили бы с вопросом, существуют ли, в частности, вомбаты или единороги. Разговор о нелингвистических объектах был бы замечательной средой для обсуждения этих вопросов. Но когда обсуждение коснулось существования или несуществования точек, миль, чисел, атрибутов, пропозиций, фактов или классов, оно приобрело в некотором смысле философский характер и мы прямо обнаружили, что говорим почти только о словах, исключая нелингвистические объекты, о которых, собственно, идет речь.

Карнап долго придерживался взгляда, что вопросы философии, если они вообще действительны, есть вопросы языка; и настоящее наблюдение может показаться иллюстрацией его позиции. Он полагал, что философские вопросы о том, что есть, есть вопросы о том, как мы можем самым удобным способом выразить наш «языковой каркас», а не вопросы о реальности, лежащей за пределами языка, как в случае с вомбатом или единорогом¹. Он считал, что такие философские вопросы только кажутся вопросами о видах объектов, а в действительности являются прагматическими вопросами языковой политики.

Но почему это должно быть истинно в случае философских вопросов, а не теоретических вопросов вообще? Такое различие в статусе целиком соответствует понятию аналитичности (§ 2.8) и в столь же малой степени заслуживает доверия. В конечном счете теоретические предложения вообще можно защищать только прагматически; мы можем только оценить структурные достоинства теории, которая охватывает их наряду с предложениями, прямо обусловленными многообразными стимуляциями. Как тогда Карнап проводит черту между этими теоретическими частями и утверждает, что предложения по эту сторону черты имеют невербальное содержание или значение таким способом, каким предложения по ту сторону черты его не имеют? То, как он сам использует удобство языкового каркаса, допускает прагматические связи между предложениями, разделенными этой чертой. Какого другого вида связи можно еще желать при отсутствии прямой обусловленности невербальными стимуляциями?

Мы тем не менее распознаем, когда разговор об объектах переходит в разговор о словах, по мере того как обсуждение существования вомбатов и единорогов перерастает в обсуждение существования точек, миль, классов и тому подобного. Как можно это объяснить? Для этого, я думаю, будет достаточно правильного применения полезного и часто используемого маневра, который я назову *семантическим восхождением*.

Это – переход от разговора о милях к разговору о слове «миля». Это – то, что ведет от материального (*inhaltlich*) к формальному модусу, если использовать старую терминологию Карнапа. Это – переход от разговора в определенных терминах к разговору об этих терминах. Это – в точности тот переход, который Карнап считал разоблачающим обманчивые на вид философские вопросы и ставящим их затем в их истинном виде. Но этот догмат Карнапа – часть того, что я не принимаю. Семантическое восхождение, как я о нем говорю, применимо где угодно². «В Тасмании есть вомбаты» можно перефразировать как ««Вомбат» истинно относительно некоторых существ в Тасмании», если в этом будет какая-либо необходимость. Но

¹ Carnap. Empiricism, semantics and ontology.

² Одним словом, я отрицаю Карнапову доктрину «квазисинтаксических» или «псевдообъектных» предложений, но принимаю его различие между материальным и формальным модусами. См. его работу “Logical Syntax”, § 63–64. (Если мне позволительно об этом вспомнить, это я в 1934 г. предложил Карнапу термин «материальный модус» в качестве перевода его немецкого термина.)

случилось так, что семантическое восхождение более полезно в философии, чем в большинстве других областей, и мне кажется, я могу объяснить почему.

Рассмотрим, на что было бы похоже обсуждение существования миль без восхождения к разговору о слове «миля». «Конечно, мили существуют. Всякий раз, когда есть 1760 ярдов, есть миля». «Но и ярдов тоже нет. Только тела различной длины». «Разве Земля и Луна отделены друг от друга телами различной длины?» Продолжение теряется в хаосе обличений и некорректных вопросов. Когда же, с другой стороны, мы восходим к слову «миля» и спрашиваем, какой из его контекстов полезен и для каких целей, мы можем продвинуться дальше; мы больше не попадаем в ловушки наших противоположных словоупотреблений.

Стратегия семантического восхождения состоит в том, что оно подвергает обсуждению ту область, в которой обеим спорящим сторонам лучше согласиться как по вопросу об объектах (а именно словах), так и по вопросу об основных терминах, касающихся этих объектов. Слова или их написания, в отличие от точек, миль, классов и тому подобного, являются осязаемыми объектами того размера, который так популярен на рынке, где люди несхожих концептуальных схем лучше всего находят общий язык. Семантическое восхождение – это стратегия восхождения к общей части двух фундаментально несравнимых концептуальных схем, с ее помощью лучше обсуждать несравнимые основания. Ничего удивительного нет в том, что она помогает в философии.

Но она также фигурирует и в естественных науках. Теория относительности Эйнштейна была признана вследствие не только размышлений о времени, свете, быстро движущихся телах и пертурбациях Меркурия, но и размышлений о самой теории как дискурсе и ее простоте в сравнении с альтернативными теориями. Ее отличие от классических концепций абсолютного времени и длины слишком радикально, чтобы его можно было обсуждать на уровне разговора об объектах без помощи семантического восхождения. Подобный же случай, разве что меньшей значимости, представляет собой подрыв традиционной перспективы доктриной молекул и электронов. Эти частицы в некой существенной градации занимают положение между вомбатами и единорогами и точками и милями.

Инструмент семантического восхождения много и с осторожностью использовался в аксиоматических исследованиях математики во избежание некорректных вопросов. Аксиоматизация некоторых уже знакомых теорий геометрии, например, была связана с опасностью вообразить, что некая знакомая истина теории выведена из одних лишь аксиом, тогда как в действительности при этом неумышленно использовались другие геометрические знания. Для предохранения от этой опасности сначала применялся другой инструмент, не семантическое восхождение: инструмент разинтерпретации (*disinterpretation*). Он состоит в притворстве, что понимается только логический словарь, но не значимые термины рассматриваемой системы аксиом. Это был эффективный способ воспрепятствовать влиянию не содержащейся в аксиомах информации и, таким образом, ограничить то, что может быть выведено из аксиом, исключительно тем, что логически следует из аксиом. Инструмент разинтерпретации имел впечатляющие побочные эффекты, некоторые – хорошие, такие, как подъем абстрактной алгебры; некоторые – плохие, такие, как представление, что в чистой математике «мы никогда не знаем, ни о чем мы говорим, ни даже – истинно ли то, что мы говорим»¹. В любом случае с достижением Фреге полной формализации логики стал доступен другой, более чистый альтернативный инструмент предохранения от некорректных вопросов при аксиоматизации; это как раз и есть случай того, что я называю семантическим восхождением. Если дан дедуктивный аппарат логики в форме определенных действий с символическими формами, то вопрос, следует ли логически данная формула из данных аксиом, сводится к вопросу, способны ли определенные действия с символическими формами привести к этой формуле, исходя из этих

¹ Russel. *Mysticism and Logic, and Other Essays*, p. 75. Цитируемая статья датируется 1901 г. и приведенный афоризм, по счастью, не отражал какой-либо устойчивой позиции самого Рассела. Однако эта позиция была широко распространена.

аксиом. Утвердительный ответ на такой вопрос действительно может быть дан без разинтерпретации и при этом без страха создать круг в объяснении, без использования каких-либо терминов теории, исключая лишь разговор о них и действия с ними.

Мы должны также обратить внимание на следующее соображение в пользу семантического восхождения в философии. Это следующее соображение, кроме того, и даже более строгое, верно для логики; поэтому бросим сперва взгляд на логику. Большинство истин элементарной логики содержат нелогические термины; например: «Если все греки люди и все люди смертны...» Основные истины физики, напротив, содержат только термины физики. Таким образом, тогда как мы можем изложить физику в ее полной общности без семантического восхождения, логику мы можем изложить в общем, только говоря о формах предложений. Степень общности, желательная для физики, может быть достигнута путем квантификации нелингвистических объектов, тогда как степень общности, желательная для логики, противоположна тому, что может быть получено в результате такой квантификации. Это – различие в форме области, но не в содержании; приведенный выше силлогизм про греков не нуждается в том, чтобы каким-то более особым образом быть обязанным своей истинностью языку, по сравнению с другими предложениями.

В философии существуют характерные действия – например, решающие проблемы охоты на льва или полагания (§ 4.5 – 4.7) – сходные с логикой тем, что они нуждаются в семантическом восхождении как в средстве обобщения на множестве примеров¹. Не то чтобы я теперь отрицал, что если трудности с охотой на льва или полаганием и аналогичные им устранены, то они устранены благодаря улучшенному структурированию дискурса; но то же самое истинно и относительно подобного же достижения в физике. То же самое истинно даже несмотря на то, что такое реструктурирование осуществляется (как это часто происходит) в рамках дискурса об объектах, а не путем семантического восхождения.

Ведь дела обстоят не так, как если бы соображения систематической эффективности, в широком смысле прагматические соображения, принимались в расчет только тогда, когда мы осуществляли семантическое восхождение и говорили о теории, а фактические соображения, касающиеся поведения объектов в мире, – только тогда, когда мы уклонялись от семантического восхождения и вели разговор в рамках теории. Соображения систематической эффективности равным образом существенны в обоих случаях; вот только в одном случае мы озвучиваем их, а в другом они нас молча направляют. И соображения, касающиеся поведения объектов в мире, даже поведения, воздействующего на наши органы чувств контактно или путем излучения, так же точно существенны в обоих случаях.

Есть две причины, почему кажется, что наблюдение не имеет такого отношения к логике и философии, как к теоретической физике. Одну из них можно проследить вплоть до ложных опасений, касающихся семантического восхождения. Другую – до классификаций курса обучения. Последний фактор также имеет тенденцию дать почувствовать, что наблюдение не имеет такого отношения к математике, какое оно имеет к теоретической физике. Вообще допускается, чтобы теоретические утверждения в физике, будучи и терминологически физикой, были обязаны определенным эмпирическим содержанием физическим наблюдениям, которые они помогают систематизировать, хотя и косвенно; в то же время законы так называемой логики и математики, хотя и полезные для систематизации физических наблюдений, не рассматриваются как носители, вследствие этого чего-либо эмпирического. Более разумное отношение состоит в том, чтобы просто полагать вариацию степени центральности теоретической структуры и степени ее релевантности тому или иному множеству наблюдений.

В § 7.2 я говорил о ловких приемах, с помощью которых философы рассчитывали наслаждаться систематическими выгодами абстрактных объектов, не страдая по поводу самих этих объектов. В том, против чего я выступал на этих последних страницах, содержится еще один

¹ Характерный стиль Витгенштейна в его поздний период состоял в том, что он уклонялся от семантического восхождения, придерживаясь отдельных примеров.

такой прием: предложение, чтобы допущение таких объектов воспринималось как языковая конвенция, так или иначе отличающаяся от серьезных взглядов на действительность.

Вопрос о том, что есть, – это общая забота философии и большинства других жанров, не являющихся фантастикой. На этот вопрос был дан только частичный, но довольно пространственный, дескриптивный ответ. Богатый ассортимент масс земли, морей, планет и звезд был индивидуально описан в географических и астрономических книгах, а нерегулярные двугогие и другие среднего размера объекты – в биографиях и книгах по искусству. Дескрипция поднялась до уровня массовой продукции в зоологии, ботанике и минералогии, где предметы группируются по принципу сходства и описываются коллективно. Физика делает следующий шаг в направлении массовой дескрипции путем еще более безжалостной абстракции от индивидуальных различий. И даже чистая математика присоединяется к дескриптивному ответу на вопрос о том, что есть; ведь предметы, о которых этот вопрос задается, не исключают чисел, классов, функций и другого, если есть еще что-нибудь такое же, чем занимается математика.

Лишь широта категорий отличает онтологическую озабоченность философов от подобной же озабоченности всех остальных. В отношении физических объектов вообще ученый-естественник – это человек, решающий вопросы о существовании вомбатов и единорогов. В отношении классов или чего бы то ни было другого, составляющего расширенное царство объектов, в которых нуждается математика, дело математика решать, существуют ли, в частности, четные простые числа или кубические числа, являющиеся суммами пар кубических чисел. С другой стороны, при изучении такого некритического допущения самого царства физических объектов или классов и т.д. полномочия передаются онтологии. Здесь ставится задача сделать явным скрытое и уточнить смутное; обнаружить и решить парадоксы, распутать петли, обрезать рудиментарные ростки, выполоть онтологические сорняки.

Задача философа, таким образом, отличается от задач всех остальных в деталях; но она не отличается никаким таким радикальным образом, какой предполагают те, кто воображает, что для философа существует выгодная точка зрения за пределами изучаемой им концептуальной схемы. Такого космического изгнания не существует. Философ не может изучать и пересматривать фундаментальную концептуальную схему науки и здравого смысла, не имея какой-либо собственной концептуальной схемы, в рамках которой он мог бы работать, – той же самой или другой, в не меньшей степени нуждающейся в философском анализе. Он может подвергать исследованию и улучшать систему изнутри, обращаясь к когерентности и простоте; но это – общий теоретический метод. Философ осуществляет семантическое восхождение, но то же самое делает ученый. И если ученый-теоретик на своем долгом пути связан обязательством сохранить явные связи с невербальной стимуляцией, то философ на своем еще более долгом пути также обязан их сохранить. Правда, ни от одного эксперимента нельзя ожидать, что он поможет решить онтологическую проблему; но это – только потому, что эти проблемы связаны с раздражениями органов чувств столь разнообразными путями, ведущими сквозь настоящий лабиринт вклинивающейся теории.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹* Имеется в виду составная часть английского идиоматического выражения ‘for the sake of...’ – «ради...».

²* Имеется в виду аргумент, приведенный филологом Джонсоном против тезиса Беркли о том, что материя не существует вне восприятий нашего ума. Чтобы опровергнуть этот тезис, д-р Джонсон, по преданию, пнул ногой камень, в доказательство того, что материальные тела – это реально существующие сущности.

³* ‘Indian nickel’, ‘Buffalo nickel’ – два названия серебряной монеты США, достоинством пять центов.

⁴* В английском тексте приведен другой пример: ‘Put some apple in the salad’ («Положи яблоко в салат»), где, соответственно, не имеется в виду ‘some apple or other’.

⁵* В английском тексте приведен пример: ‘Mary had a little lamb’ («У Мэри был маленький барашек» или «У Мэри было немного баранины»).

⁶* В английском языке – суффиксы соответственно отглагольного прилагательного и отглагольного существительного.

⁷* В английском языке – ‘thing’ значит «вещь», «предмет», «нечто» и, если прибавляется к прилагательному, образует вместе с ним составное выражение в форме существительного, например: ‘singing thing’ – «что-то поющее»; ‘-ish’ – суффиксы некоторых прилагательных, образованных от глаголов.

⁸* В оригинале стоит ‘water wings’ – «плавательные пузыри»; чтобы сохранить в выражении слово «водный», мы заменили этот пример другим.

⁹* Для русского языка это не так.

¹⁰* ‘Red’ в английском не изменяется по числам, как и все прочие прилагательные, поэтому для английского языка такой пример будет соответствовать поставленной цели – проиллюстрировать невозможность определить на соответствующей стадии обучения языку референт термина. Применительно к русскому языку более подходящим примером был бы скорее такой: «красный» либо дом, либо – цвет дома.

¹¹* ‘-s’ после *F* – показатель глагольной формы; поскольку в русском языке нет столь же однозначного способа указать на глагольную форму, ограничимся здесь примером: «*a* делает *b*».

¹²* В русском языке эквивалентные формы имеют вид: «сделано тем-то» и «сделано посредством того-то».

¹³* В русском языке нет эквивалентной формы, которая сохраняла бы в неизменном виде все

части относительного простого предложения, кроме относительного местоимения, неизменными; поэтому мы воспользовались для перевода этого случая причастным оборотом.

14*Мы постарались сохранить здесь порядок слов соответствующих конструкций английского языка в их русских переводах.

15*«Они таковы, что один может заместить другого с сохранением истинности» (лат.).

16*В английском языке это несущественно, но в русском если герундий предваряется конструкцией «свойство. . .», где сам герундий стоит на месте многоточия, то окончание первого слова в нем – в данном случае «обладание» – меняется (в данном случае на «обладания»), а если герундий не предваряется ничем подобным, то первое слово не меняет окончания.

17*Соответствие весьма условное.

18*Все предложение будет тогда звучать так: «Легкий как перо».

19*Здесь указывается на то, что в английском языке, использующем артикли, ни неопределенный, ни определенный артикли не присоединяются к таким словам, употребленным в этом смысле; также к ним не применяется и окончание множественного числа, что справедливо и для русского языка.

20*В русском языке этому выражению будут соответствовать, в согласии с отмеченными Куайном двусмысленностями, три разных перевода: «бедный скрипач», «жалкий скрипач» или «плохой скрипач».

21*«Ничто ничтожит» (нем.).

22*Ни один из уместных переводов, как видно, не сохраняет в неприкосновенности конструкцию «ничто». Надо заметить, что в русском языке поводы для такой путаницы со словами «ничто» и «никто» могут дать разве что конструкции, содержащие отрицательную частичку «не» после этих слов, как в примере «Никто не пришел».

23*Соответственные переводы: «Скрипач был безденежный» или «Скрипач был плохой».

24*По-русски правильнее было бы перевести 'his knees' как «свои колени» или просто «колени», особенно в рамках поэтического перевода; однако, поскольку задача данного примера в этом месте текста – проиллюстрировать двусмысленность, связанную с употреблением 'his knees' в таком контексте, мы сохранили в переводе «[его] колени», хотя и заключили «его» в квадратные скобки.

25*Мы поставили во втором слове черту вместо последней буквы, поскольку в русском языке выбор в пользу «х» или «й» в данном случае уже выдал бы один из способов группирования слов и, соответственно, обусловил бы вполне однозначную интерпретацию.

26*Соответственные переводы: «Все, что (или – каждая вещь, которая) блестит, не есть золото» или «Не все, что (или – каждая вещь, которая) блестит, есть золото».

27*Оригинальные примеры – 'may' в 'summary' и 'can' в 'canary'.

28*Строго говоря, ставить знак «—», так же, как «:», или «.», в данном случае неправильно, поскольку это соответствует другому способу перефразировать контексты полагания; но здесь это было оправдано необходимостью поставить нужный термин в референциальную позицию, соответствующую таковой в английском оригинале. То же самое относится к случаям (6) и (7).

^{29*}Ближайшим по смыслу переводом было бы: «Проверяющий старается (добиться) от председателя совета больницы, чтобы он был найден проверяющим», если бы не необходимость сохранить за термином «председатель совета больницы» референциальную позицию, что в переводе на русский может быть достигнуто только путем дальнейшего парафраза.

^{30*}Термины ‘nobody’ и ‘nothing’, которые можно также расшифровать как «никакой человек» и «никакая вещь», соответственно.

^{31*}Можно перевести как «-образный».

^{32*}В русском языке форма прилагательного в этих случаях также изменяется; соответствующих присоединяемых частей в русском языке – таких, как «-ость» (как в «добродетельность») или «-ота» (как в «доброта»), – больше, чем в английском.

^{33*}В конструкции ‘believe . . . to do smth’; мы в таких случаях обычно переводим его знаком «←».

^{34*}Как видно, и слово «хрупкий» тому пример, далеко не все аналоги соответствующих английских слов в русском языке могут быть выделены в группу этимологически диспозиционных (с точки зрения Куайна) терминов по признаку обладания каким-то одним характерным суффиксом. Мы тем не менее выбрали «-мый» для перевода ‘-ble’, посчитав его лучше всего подходящим для этой роли.

^{35*}Имеются в виду составные части идиом английского языка ‘for the sake of’ («ради») и ‘in behalf of’ («от лица»), не имеющие самостоятельных значений вне этих идиом.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Ajdukiewicz, Kazimierz. "Sprache und Sinn". *Erkenntnis* 4 (1934), pp. 100–138.
- Aldrich, Virgil. "Mr. Quine on meaning, naming and purporting of name". *Philosophical Studies* 6 (1955), pp. 17–26.
- Alston, W.P. "Ontological Commitment". *Philosophical Studies* 9 (1958), pp. 8–17.
- Anrep, G.V. "The irradiation of conditioned reflexes". *Proceedings of the Royal Society of London* 94 (1923), pp. 404–426.
- Apostel, L, W. Mays, A. Morf, and J. Piaget. *Les liaisons analytiques et synthétiques dans les comportements du sujet*. Paris: Presses Universitaires, 1957.
- Ayer, A. J. *Language, Truth and Logic*. London: Gollanz, 1936, 1946.
- Bar-Hillel, Yehoshua. "Bolzano's definition of analytic propositions". *Theoria* 16 (1950), pp. 91–117.
- Barcan, Ruth C. "A functional calculus of first order based on strict implication". *Journal of Symbolic Logic* 11 (1946), pp. 115–118.
- Barcan, Ruth C. "The identity of individuals in a strict functional calculus of second order". *Journal of Symbolic Logic* 12 (1947), pp. 12–15. (См.: *Journal of Symbolic Logic* 23, p. 342, по поводу исправлений, касающихся моего обзора этой статьи).
- Bass, M. J., and C. L. Hull. "The irradiation of a tactile conditioned reflex in man". *Journal of Comparative Psychology* 17 (1934), pp. 47–66.
- Baylis, C A. "Universals, communicable knowledge, and metaphysics", *Journal of Philosophy* 48 (1951), pp. 636–644.
- Bedau, H. A., Review of Whorf. *Philosophy of Science* 24 (1957), pp. 289–293.
- Bennett, Jonathan. "Analytic-synthetic". *Proceedings of the Aristotelian Society* 59 (1959), pp. 163–188.
- Bergmann, Gustav. "Two types of linguistic philosophy". *Review of Metaphysics* 5 (1952), pp. 417–438.
- Bergmann, Gustav. "Intentionality". *Archivio di Filosofia* 1955, pp. 177–216.
- Birkhoff, G. D. "Three public lectures on scientific subjects". *Rice Institute Pamphlet* 28 (1941), pp. 1–76.
- Black, Max. *Critical Thinking*. New York: Prentice-Hall, 1952.
- Bloomfield, Leonard. *Language*. New York: Holt, 1933.
- Braithwaite, R. B. *Scientific Explanation*. Cambridge, England; University, 1953.
- Braithwaite, R. B. Review of Quine's *From a Logical Point of View*. *Cambridge Review* 75 (1954), pp. 417–418.
- Brough, John. "Theories of general linguistics in the Sanskrit grammarians". *Transactions of the Philological Society* (Oxford) 1951, pp. 27–46.
- Brough, John. "Some Indian theories of meaning". *Transactions of the Philological Society* (Oxford) 1953, pp. 161–176.
- Brower, B. A. (ed.). *On Translation*. Cambridge, Mass.: Harvard, 1959.
- Carnap, Rudolf. *Physikalische Begriffsbildung*. Karlsruhe, 1926.

- Carnap, Rudolf. *Der logische Aufbau der Welt*. Berlin, 1928.
- Carnap, Rudolf. "Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache". *Erkenntnis* 2 (1931), pp. 219–241.
- Carnap, Rudolf. *The Unity of Science*. London: Kegan Paul, 1934.
- Carnap, Rudolf. "Testability and meaning". *Philosophy of Science* 3 (1936), pp. 419–471; 4 (1937), pp. 1–40. Перепечатано в: Feigl and Brodbeck.
- Carnap, Rudolf. *The Logical Syntax of Language*. New York: Harcourt, Brace; and London: K. Paul, Trench, Trubner, 1937.
- Carnap, Rudolf. *Meaning and Necessity*. Chicago: University, 1947. 2d ed., with supplements, 1956.
- Carnap, Rudolf. "Empiricism, semantics, and ontology". *Revue Internationale de Philosophie* 11 (1950), pp. 208–228. Перепечатано в: Linsky, а также в: P. P. Wiener, и во 2-ом издании работы Карнапа *Meaning and Necessity*.
- Carnap, Rudolf. "The methodological character of theoretical concepts". *Minnesota Studies in the Philosophy of Science* 1 (1950), pp. 38–76.
- Cassirer, Ernst. *Language and Myth*. New York: Harper, 1946.
- Chisholm, R. M. "Sentences about believing". *Proceedings of the Aristotelian Society* 56 (1956), pp. 125–148. Перепечатано с исправлениями в: *Minnesota Studies in the Philosophy of Science* 3 (1958), pp. 510–519.
- Chisholm, R. M. *Perceiving: A Philosophical Study*. Ithaca: Cornell, 1957.
- Chomsky, Noam. Review of Skinner's *Verbal Behavior*. *Language* 35 (1959), pp. 26–58.
- Church, Alonzo. Review of Carnap's *Introduction to Semantics*. *Philosophical Review* 52 (1943), pp. 298–304.
- Church, Alonzo. Review of Quine's "Notes on existence and necessity". *Journal of Symbolic Logic* 8 (1943), pp. 45–47.
- Church, Alonzo. "On Carnap's analysis of statements of assertion and belief". *Analysis* 10 (1950), pp. 97–99.
- Church, Alonzo. "A formulation of the logic of sense and denotation". In Henle, Kallen, and Langer, pp. 3–24.
- Church, Alonzo. "Intensional isomorphism and identity of belief". *Philosophical Studies* 5 (1954), pp. 65–73.
- Church, Alonzo. "Ontological commitment". *Journal of Philosophy* 55 (1958), pp. 1008–1014.
- Church, Alonzo. Review of Quine's "On Frege's way out". *Journal of Symbolic Logic*, в печати.
- Conant, J. B. *Modern Science and Modern Man*. New York: Colombia University, 1952.
- Duhem, Pierre. *La theorie physique: Son objet et sa structure*. Paris, 1906.
- Eddington, A. S. *The Nature of the Physical World*. Cambridge, England, 1928.
- Einstein, Albert. "Remarks on Bertrand Russell's theory of knowledge". In: Schilpp, *The Philosophy of Bertrand Russell*.
- Erdmann, K. O. *Die Bedeutung des Wortes*. Leipzig, 1900.
- Evans-Pritchard, E. E. (ed.). *The Institutions of Primitive Society*. Oxford: Blackwell, 1954.
- Feigl, Herbert. "The 'mental' and the 'physical'". *Minnesota Studies in the Philosophy of Science* 2, (1958), pp. 370–497.
- Feigl, Herbert and Wilfrid Sellars (eds.). *Readings in Philosophical Analysis*. New York: Appleton-Century-Crofts, 1949.
- Feigl, Herbert and May Brodbeck (eds.). *Readings in the Philosophy of Science*. New York: Appleton-Century-Crofts, 1953.
- Firth, Raymond. *Elements of Social Organization*. London: Watts, 1951.

Firth, Raymond (ed). *Man and Culture: An Evaluation of the Works of Malinowski*. London: Routledge and Kegan Paul, 1957.

Firth, Roderick. "Phenomenalism". American Philosophical Association suppl. vol., 1952 (*Science, Language, and Human Rights*), pp. 1–20.

Fitch, F. B. *Symbolic Logic*. New York: Ronald, 1952.

Flew, A. G. N. (ed.). *Logic and Language*, 1st series. Oxford: Blackwell, 1952.

Frank, Philipp. *Modern Science and its Philosophy*. Cambridge, Mass.: Harvard, 1950.

Frege, Gottlob. *Begriffsschrift*. Halle, 1879.

Frege, Gottlob. *Grundlagen der Arithmetik*. Breslau, 1884. Перепечатано вместе с переводом на английский язык в: *The Foundations of Arithmetic*, New York: Philosophical Library, and Oxford: Blackwell, 1950.

Frege, Gottlob. "Über Sinn und Bedeutung". *Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik* 100 (1892), pp. 25–50. Перевод этой статьи на английский язык ("On sense and reference") см. в: Frege, *Philosophical Writings*, а также ("On sense and nominatum") в: Feigl and Sellars.

Frege, Gottlob. *Philosophical Writings*. (Peter Geach and Max Black, eds.) Oxford: Blackwell, 1952.

Hume, David. *A Treatise of Human Nature*. 1739–1740. L. A. Selby-Bigge (ed.), Oxford, 1888.

Jakobson, Roman, and Morris Halle. *Fundamentals of Language*. The Hague: Mouton, 1956.

Jespersen, Otto. *Language: Its Nature, Development, and Origin*. New York, 1923.

Jespersen, Otto. *The Philosophy of Grammar*. New York, 1924.

Joos, M. A. *Acoustic Phonetics*. Baltimore: Linguistic Society, 1948.

Jourdain, P. E. B. *The Philosophy of Mr. Bertran Russel*. Chicago and London, 1918.

Kemeny, J. G. Review of Quine's "Two dogmas". *Journal of Symbolic Logic* 17 (1952), pp. 281–283.

Kemeny, J. G., "The use of simplicity in induction". *Philosophical Review* 62(1953), p. 391–408.

Korzybski, Alfred. *Science and Sanity*. Lancaster, Pa.: Science Press, 1933.

Krikorian, Y. H., and Abraham Edel (eds.). *Contemporary Philosophic Problems*. New York: Macmillan, 1959.

Kuratowsky, Kazimierz. "Sur la notion de l'ordre dans la théorie des ensembles". *Fundamenta Mathematicae* 2 (1921), pp. 161–171.

Land, E. H. "Experiments in color vision", *Scientific American*, May 1959, pp. 84–99.

Langer, Suzanne K. *Philosophy in a New Key*. Cambridge, Mass.: Harvard, 1942.

Lazerowitz, Morris. *The Structure of Metaphysics*. London: Routledge and Kegan Paul, 1955.

Leach, E. R. "The epistemological background to Malinowski's empiricism". In: Raymond Firth, *Man and Culture*, pp. 119–137.

Lee, Dorothy D. "Conceptual implications of an Indian language". *Philosophy of Science* 5 (1938), pp. 89–102.

Lee, O. H. (ed.). *Philosophical Essays for A. N. Whitehead*. New York: Longmans, 1936.

Lejewski, Czeslaw. "Logic and existence", *British Journal for the Philosophy of Science* 5 (1954), pp. 1–16.

Lenneberg, E. H., and J. M. Roberts. "The language of experience". *International Journal of American Linguistics*, suppl., 1956.

Lesniewski, Stanislaw. "Über die Grundlagen der Ontologie". *Comptes rendus des séances de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie, Classe III*, 1930, pp. 111–132.

Lévy-Bruhl, Lucien. *Les Garnets*. Paris: Presses Universitaires, 1949.

Lewis, C. I. *A Survey of Symbolic Logic*. Berkeley, 1918.

Lewis, C. I. "The modes of meaning". *Philosophy and Phenomenological Research* 4 (1944), pp. 236–249. Перепечатано в: Linsky.

- Lewis, C. I. and C. H. Langford. *Symbolic Logic*. New York: Century, 1932.
- Lienhardt, Godfrey. "Modes of thought". In: Evans-Pritchard, pp. 95–107.
- Linsky, Leonard (ed.). *Semantics and the Philosophy of Language*. Urbana: University of Illinois, 1952.
- Locke, John. *Essay concerning the Human Understanding*. 1690.
- Malinowski, Bronislaw. *Coral Gardens and Their Magic*, vol. 2. New York: American, 1935.
- Mandelbrot, Benoit. "Structure formelle des textes et communication". *Word* 10 (1954), pp. 1–27; 11 (1955), p. 424.
- Martin, B. M. "On 'analytic'". *Philosophical Studies* 3 (1952), pp. 42–47.
- Martin, B. M. *Truth and Denotation*. Chicago: University, 1958.
- Mates, Benson. "Synonymity". *University of California Publications in Philosophy* 25 (1950), pp. 201–226. Перепечатано в: Linsky.
- Mates, Benson. "Analytic sentences". *Philosophical Review* 60 (1951), pp. 525–534.
- Mill, John Stuart. *A System of Logic*, New York, 1867.
- Mises, Richard von. *Positivism: A Study in Human Understanding*. Cambridge, Mass.: Harvard, 1951.
- Naess, Arne. *Interpretation and Preciseness*. Oslo: Dybwad, 1953.
- Neumann, J. von. "Zur Einführung dertransfiniten Zahlen". *Ada Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae*, sectio math., vol. 1 (1923), pp. 199–208.
- Neurath, Otto. "Protokolisätze". *Erkenntnis* 3 (1932), pp. 204–214.
- Osgood, C. E., and T. A. Sebeok (eds.). "Psycholinguistics". *International Journal of American Linguistics*, suppl., 1954.
- Pap, Arthur. "Belief, synonymity and analysis". *Philosophical Studies* 6 (1955), pp. 1–15.
- Pap, Arthur. "Belief and propositions". *Philosophy of Science* 24 (1957), pp. 123–136.
- Pap, Arthur. "Disposition concepts and extensional logic". *Minnesota Studies in the Philosophy of Science* 2 (1958). pp. 198–224.
- Pap, Arthur. *Semantics and Necessary Truth*. New Haven: Yale, 1958.
- Pasch, Alan. *Experience and the Analytic*. Chicago: University, 1959.
- Peano, Giuseppe. *Formulaire de mathématiques*. Paris, 1901.
- Peano, Giuseppe. *Opere scelte*, vol. 2. Rome: Cremonese, 1958.
- Peirce, C. S. *Collected Papers*, vols. 2 and 5. Cambridge, Mass.: Harvard, 1932, 1934.
- Perkins, Moreland, and Irving Singer. "Analyticity". *Journal of Philosophy* 48 (1951), pp. 485–497.
- Pike, K. L. *Phonemics: A Technique for Reducing Languages to Writing*. Ann Arbor: University of Michigan, 1947.
- Prior, A. N. *Time and Modality*. Oxford: Clarendon, 1957.
- Putnam, Hilary. "Synonymity and the analysis of belief sentences". *Analysis* 14 (1954), pp. 114–122.
- Putnam, Hilary. "Mathematics and the existence of abstract entities". *Philosophical Studies* 7 (1956), pp. 81–88.
- Putnam, Hilary. "The analytic and the synthetic". *Minnesota Studies in the Philosophy of Science* 3, в печати.
- Quine, W. V. *A System of Logistic*. Cambridge, Mass.: Harvard, 1934.
- Quine, W. V. "Truth by convention". In: O. H. Lee, pp. 90–124. Перепечатано в: Feigl and Sellars.
- Quine, W. V. *Mathematical Logic*. New York, 1940. Revised edition, Cambridge, Mass.: Harvard, 1951.

- Quine, W. V. *Elementary Logic*. Boston: Ginn, 1941.
- Quine, W. V. "Whitehead and the rise of modern logic". In: Schilpp, *The Philosophy of Alfred North Whitehead*, pp. 125–163.
- Quine, W. V. "Notes on existence and necessity". *Journal of Philosophy* 40 (1943), pp. 113–127. Перепечатано в: Linsky.
- Quine, W. V. *O sentido da nova lygica*. Sao Paulo: Martins, 1944. Издание на испанском языке, *El sentido de la nueva lygica*. Buenos Aires: Nueva Visiyn, 1958.
- Quine, W. V. "The problem of interpreting modal logic". *Journal of Symbolic Logic* 12 (1947), pp. 43–48.
- Quine, W. V. Review of Reichenbach. *Journal of Philosophy* 45 (1948), pp. 161–166.
- Quine, W. V. *From a Logical Point of View*. Cambridge, Mass.: Harvard, 1953.
- Quine, W. V. "On mental entities". *Proceedings of American Academy of Arts and Sciences* 80 (1953), pp. 198–203.
- Quine, W. V. "Three grades of modal involvement". *Proceedings of XIth International Congress of Philosophy* (Brussels, 1953), vol. 14, pp. 65–81.
- Quine, W. V. "Two dogmas of empiricism". См.: *From a Logical Point of View*, Essay 2.
- Quine, W. V. "Carnap and logical truth". Написано первоначально в 1954 г. по просьбе П. Шилпа для сборника статей, посвященного Карнапу. Опубликовано на итальянском языке в: *Rivista di filosofia* 48 (1957), pp. 3–29. Фрагменты опубликованы под заголовком "Logical truth" также в: Hook, *American Philosophers at Work*.
- Quine, W. V. "Reduction to a dyadic predicate", *Journal of Symbolic Logic* 19(1954), pp. 180–182.
- Quine, W. V. "On Frege's way out". *Mind* 64 (1955), pp. 145–159.
- Quine, W. V. "Unification of universes in set theory". *Journal of Symbolic Logic* 21 (1956), pp. 267–279.
- Quine, W. V. "Speaking of objects". *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association* 31 (1958), pp. 5–22. Перепечатано в: Krikorian and Edel.
- Quine, W. V. "Meaning and translation". In: Brower, pp. 148–172.
- Quine, W. V. *Methods of Logic*. Revised edition. New York: Holt, 1959.
- Reichenbach, Hans. *Elements of Symbolic Logic*. New York: Macmillan, 1947.
- Reid, J. R. "Analytic statements in semiosis". *Mind* 52 (1943), pp. 314–330.
- Richards, I. A. *The Philosophy of Rhetoric*. London: Oxford, 1936.
- Richman, R. J. "Neo-pragmatism". *Methodos* 8 (1956), pp. 35–45.
- Richman, R. J. "Ambiguity and intuition". *Mind* 68 (1959), pp. 87–92.
- Russell, Bertrand. *The Principles of Mathematics*. London, 1903.
- Russell, Bertrand. "On denoting". *Mind* 14 (1905), pp. 479–493. Перепечатано в: Russell's *Logic and Knowledge*, а также в: Feigl and Sellars.
- Russell, Bertrand. *The Problems of Philosophy*. New York, 1912.
- Russell, Bertrand. *Our Knowledge of the External World*. London, 1914.
- Russell, Bertrand. *Mysticism and Logic and Other Essays*. London, 1918. В сборнике собраны статьи Рассела, написанные им в период с 1901 по 1914 г.
- Russell, Bertrand. *Introduction to Mathematical Philosophy*. New York and London, 1919.
- Russell, Bertrand. *An Inquiry into Meaning and Truth*. New York: Norton, 1940.
- Russell, Bertrand. "Mr. Strawson on referring". *Mind* 66 (1957), pp. 385–389.
- Russell, Bertrand. *Logic and Knowledge*. London: Allen & Unwin, 1958.
- Ryle, Gilbert. "Imaginary objects". *Aristotelian Society suppl. vol. 12 (Creativity, Politics, and the A Priori)*, 1933, pp. 18–43.

- Ryle, Gilbert. *The Concept of Mind*. London: Hutchinson, 1949.
- Rynin, David. "The dogma of logical pragmatism". *Mind* 65 (1956), pp. 379–391.
- Sapir, Edward. *Language*. New York, 1921.
- Scheffler, Israel. "An inscriptional approach to indirect quotation". *Analysis* 14 (1954), pp. 83–90.
- Scheffler, Israel. "On synonymy and indirect discourse". *Philosophy of Science* 22 (1955), pp. 39–44.
- Scheffler, Israel. "Thoughts on teleology". *British Journal for the Philosophy of Science* 9 (1959), pp. 265–284.
- Schilpp, P. A. (ed.). *The Philosophy of Alfred North Whitehead*. 1941. 2d ed., New York: Tudor, 1951.
- Schilpp, P. A. (ed.). *The Philosophy of Bertrand Russell*. Evanston: Northwestern University, 1944.
- Schonfinkel, Moses. "Über die Bausteine der mathematischen Logik". *Mathematische Annalen* 92 (1924), pp. 305–316.
- Sellars, Wilfrid. "Counterfactuals, dispositions, and the causal modalities". *Minnesota Studies in the Philosophy of Science* 2 (1958), pp. 225–308.
- Shannon, C. E., and Warren Weaver. *The Mathematical Theory of Communication*. Urbana: University of Illinois, 1949.
- Skinner, B. F. *Science and Human Behavior*. New York: Macmillan, 1953.
- Skinner, B. F. *Verbal Behavior*. New York: Appleton-Century-Crofts, 1957.
- Smith, John. "Tre tipi e due dogmi dell empirismo". *Rivista di filosofia* 48 (1957), pp. 257–273.
- Stanley, K. L. "A theory of subjunctive conditionals". *Philosophy and Phenomenological Research* 17 (1956), pp. 22–35.
- Stebbing, L. Susan. *Philosophy and the Physicists*. London: Methuen, 1937.
- Stegmüller, Wolfgang. "Das Universalien-problem einst und jetzt". *Archiv für Philosophie* 6 (1956?), pp. 192–225; 7 (1957?), pp. 45–81.
- Strawson, P. F. *Introduction to Logical Theory*. London: Methuen, and New York: Wiley, 1952.
- Strawson, P. F. "Particular and general". *Proceedings of the Aristotelian Society* 54 (1954), pp. 233–260.
- Strawson, P. F. "A logician's landscape". *Philosophy* 30 (1956), pp. 229–237.
- Strawson, P. F. "Singular terms, ontology, and identity". *Mind* 65 (1956), pp. 433–454.
- Strawson, P. F. "Propositions, concepts, and logical truths". *Philosophical Quarterly* 7 (1957), pp. 15–25.
- Strawson, P. F. *Individuals*. London: Methuen, 1959.
- Tarski, Alfred. *Logic, Semantics, Metamathematics*. Oxford: Clarendon, 1956.
- Taylor, Richard. "Spatial and temporal analogies and the concept of identity". *Journal of Philosophy* 52 (1955), pp. 599–612.
- Urmson, J. O. "Some questions concerning validity". *Revue Internationale de Philosophie* 7 (1953), pp. 217–229.
- Waismann, Friedrich. "Verifiability". In: Flew, pp. 117–144.
- White, Morton. "On the Church-Frege solution of the paradox of analysis". *Philosophy and Phenomenological Research* 9 (1948), pp. 305–308.
- White, Morton. "The analytic and the synthetic: An untenable dualism". In Hook, John Dewey, pp. 316–330.
- White, Morton. *Toward Reunion in Philosophy*. Cambridge, Mass.: Harvard, 1956.
- Whitehead, A. N. *Universal Algebra*. Cambridge, England, 1898.

- Whitehead, A. N. and Bertrand Russell. *Principia Mathematica*, vol. 1. Cambridge, England, 1910. 2d ed., 1925.
- Whorf, B. L. *Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf*. (J. B. Carroll, ed.) M.I.T.: Technology Press and New York: Wiley, 1956.
- Wiener, Norbert. "Simplification of the logic of relations". *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 17 (1912–1914), pp. 387–390.
- Wiener, P. P. (ed.). *Philosophy of Science*. New York: Scribner's, 1953.
- Williams, D. C. "The sea fight tomorrow". In Henle, Kallen, and Langer, pp. 282–306.
- Wilson, N. L. "Substances without substrata". *Review of Metaphysics* 12 (1959), pp. 521–539.
- Wittgenstein, Ludwig. *Tractatus Logico-Philosophicus*. New York and London, 1922.
- Wittgenstein, Ludwig. *The Blue and Brown Books*. Oxford: Blackwell, 1958.
- Woodger, J. H. *Biology and Language*. Cambridge, England: University, 1952.
- Xenakis, Jason. "The logic of proper names". *Methodos* 7 (1955), pp. 13–24.
- Ziff, Paul. "About behaviorism". *Analysis* 18 (1958), pp. 132–136.
- Zipf, G. K. *The Psycho-Biology of Language*. Boston: Houghton Mifflin, 1935.

Научное издание

Уиллард ван Орман Куайн

Слово и объект

Перевод с английского *А. Черняк, Т. Дмитриев*
Художественное оформление *А. Кулагин, А. Эльконин*
Оригинал-макет *Я. Свирский*

Издательство «Логос»
ЛР № 065364 от 20.08.1997
Издательская группа «Праксис»
ИД № 02945 от 03.10.2000

Подписано в печать 31.07.2000
Формат 60х90 1/16. Печать офсетная.
Бумага офс. № 1. Гарнитура Arial Cug.
Печ. л. 48,5. Тираж 1000 экз. Заказ 6660.

ООО Издательская и консалтинговая группа «ПРАКСИС»
127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 9, корп. 2
Отпечатано в Производственно-издательском комбинате ВИНТИ,
140010, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский пр-т, 403.
Тел. 554-21-86

OCR: Александр Гребеньков, greb@kursknet.ru

Натурализованная эпистемология

Уиллард Ван Орман Куайн
Willard Van Orman Quine

2000

В книге:

Куайн Уиллард Ван Орман

Слово и объект. Перевод с англ. М.: Логос, Праксис, 2000. 386 с.

Книга представляет собой первое опубликованное на русском языке издание избранных работ крупнейшего аналитического философа XX века Уилларда Ван Ормана Куайна. Публикуемая в данном издании основополагающая работа американского философа «Слово и объект» внесла огромный вклад в философию языка. Книга будет интересна не только для философов, но также и для лингвистов, психологов, специалистов в области когнитивных наук и всех, кто интересуется современной философией.

ISBN-5-8163-0024-5

Перевод выполнен Т. А. Дмитриевым по изданию: Quine W. V. Ontological Relativity and Other Essays. New York: Columbia University Press, 1969, pp. 69–90.

Эпистемология имеет дело с основаниями науки. Трактующая в столь широком ключе, эпистемология включает в себя исследование оснований математики в качестве одного из своих разделов. В середине века специалисты думали, что их усилия в этой отдельной области достигли значительного успеха: математика выглядела целиком и полностью сводимой к логике. В настоящее время следует скорее вести речь о сводимости математики к логике и теории множеств. Эта поправка с эпистемологической точки зрения ведет к разочарованию, поскольку те надежность и ясность, которые ассоциируются с логикой, не могут быть приписаны теории множеств. Как бы то ни было, успех, достигнутый в исследованиях оснований математики, остается относительным стандартом научного исследования, и мы можем попытаться каким-то образом прояснить оставшуюся часть эпистемологии путем сравнения ее с этим разделом.

Исследования в области оснований математики разделяются на два вида: концептуальный и доктринальный. Концептуальные исследования имеют дело со значением [языковых выражений], доктринальные – с их истинностью. Концептуальные исследования связаны с прояснением понятий путем их определения в других терминах. Доктринальные исследования связаны с установлением законов путем их доказательства; в некоторых случаях это доказательство осуществляется на основе других законов. В идеале более смутные понятия требуются определять в терминах более ясных, с тем чтобы максимально увеличить ясность, и менее очевидные законы следует доказывать, исходя из более очевидных, с тем чтобы максимально увеличить достоверность. В идеале определения должны порождать все понятия из ясных и отчетливых идей, а доказательства должны порождать все теоремы из самоочевидных истин.

Эти два идеала тесно связаны между собой, поскольку, если вы определяете все понятия посредством употребления какого-то их избранного подмножества, вы тем самым показываете, как перевести все теоремы в эти избранные термины. Чем яснее эти термины, тем больше

вероятность того, что выраженные при их помощи истины будут либо очевидно истинными, либо выводимыми из очевидных истин. В особенности если все понятия математики сводимы к ясным терминам логики, то все истины математики в таком случае оказываются истинами логики; ясное дело, что все истины логики являются либо очевидными, либо выводимыми из очевидных истин посредством отдельных очевидных шагов.

В действительности этого не происходит, поскольку математика сводится только к теории множеств, но не к самой логике. Эта редукция увеличивает ясность, но только в силу возникающих взаимоотношений, а не в силу того, что конечные термины анализа являются более ясными, чем остальные. Что же касается конечных истин, аксиом теории множеств, то они обладают меньшей очевидностью и ясностью, чем большинство математических теорем, которые мы выводим из них. Более того, из работ Геделя мы знаем, что математика не может быть охвачена какой-либо непротиворечивой системой аксиом, даже если мы отказываемся от самоочевидности. Редукция в основаниях математики остается математически и философски завораживающей, однако она не дает эпистемологу того, что он хочет от нее получить: она не раскрывает оснований математического знания, она не показывает, как достижима математическая достоверность.

Все же сохраняет силу полезная мысль, рассматривающая эпистемологию в целом с точки зрения той двойственности ее структуры, которая так бросается в глаза в основаниях математики. Я имею в виду разделение на теорию понятий, или значения, и доктринальную теорию, или теорию истины; ведь это разделение применимо к естествознанию не в меньшей степени, чем к основаниям математики. Эта параллель состоит в следующем. Точно так же, как математика должна быть сведена к логике, или же к логике и теории множеств, естественнонаучное знание должно опираться на чувственный опыт. В том, что касается концептуальной стороны исследования, это означает объяснение понятия тела в терминах чувственно данных. В свою очередь, в том, что касается доктринальной стороны исследования, это означает обоснование нашего знания истин природы в терминах чувственно данного; это.

Юм обдумывал эпистемологию естественнонаучного знания с этих двух сторон: концептуальной и доктринальной. Разработка Юмом концептуальной стороны проблемы, заключавшаяся в объяснении тел при помощи чувственных терминов, была простой и незамысловатой: он идентифицирует тела вне нас с чувственными впечатлениями. Если здравый смысл склонен отличать материальное яблоко и те чувственные впечатления, которые мы получаем от этого яблока на том основании, что яблоко остается одним и тем же и существует непрерывно, в то время как впечатлений много и они сменяют друг друга, то тем хуже для здравого смысла; представление о том, что яблоко остается одним и тем же при самых разных обстоятельствах, является вульгарным заблуждением.

Почти что столетие спустя после «Трактата» Юма та же самая точка зрения на тела была сформулирована ранним американским философом Александром Брайаном Джонсоном¹. «Слово *железо*, – писал Джонсон, – именует взаимосвязанные качества зрения и осязания».

А как быть в таком случае с доктринальной стороной, с обоснованием нашего знания истин о природе? В обосновании знания Юм потерпел неудачу. В своем отождествлении тел с впечатлениями он и в самом деле преуспел в конструировании отдельных единичных высказываний о телах как несомненных истинах, как об истинах относительно впечатлений, известных непосредственно. Однако общие высказывания, равно как и единичные высказывания о будущих событиях, не будут достоверными, если конструировать их как высказывания о впечатлениях.

В том, что касается доктринальной стороны, мы в настоящее время вряд ли продвинулись дальше Юма. Предикамент Юма является человеческим предикаментом. Но в концептуальной части произошел прогресс. Решающий шаг вперед был сделан еще до Александра Брайана Джонсона, хотя сам Джонсон не последовал ему. Этот шаг был сделан Бентамом в его

¹ A. B. Johnson A Treatise on Language. New York, 1836; Berkeley, 1947.

теории фикций. Он заключался в признании контекстуальных определений, или того, что он называл перефразировкой. Он признал, что для того, чтобы объяснить термин, нет никакой необходимости ни выделять тот объект, к которому он относится, ни выделять синонимичное слово или фразу; достаточно показать при помощи каких угодно средств, как перевести все предложение, в котором используется данный термин. Безнадежный способ идентификации тел с впечатлениями, практиковавшийся Юмом и Джонсоном, перестает быть единственным мыслимым способом осмысленного разговора о телах, даже если мы придерживаемся взгляда, что впечатления являются единственной реальностью. Можно было бы попытаться объяснить высказывания о телах в терминах высказываний о впечатлениях, путем перевода целых предложений о телах в целые предложения о впечатлениях, не приравнивая сами тела к чему-либо.

Идея контекстуального определения, или признания предложения первейшим носителем значения, была неотделима от последующего развития оснований математики. Она становится ясной уже у Фреге и достигает полного расцвета в учении Рассела о единичных описаниях как неполных символах.

Контекстуальное определение было одним из двух спасительных средств, оказавших освобождающее воздействие на концептуальную сторону эпистемологии естественнонаучного знания. Вторым было развитие теории множеств и использование ее понятий в качестве вспомогательных средств в рамках эпистемологии. Эпистемолог, желающий пополнить свою скудную онтологию чувственных впечатлений теоретико-множественными конструктами, внезапно становился очень богатым; теперь ему приходится иметь дело не только со своими впечатлениями, но и с множествами впечатлений, и с множествами множеств, и так далее. Построения в рамках оснований математики показали, что такие теоретико-множественные средства оказывают нам мощную поддержку; помимо всего прочего, из них конструируется весь словарь понятий классической математики. Снаряженному этими мощными средствами, нашему эпистемологу нет необходимости ни идентифицировать тела при помощи впечатлений, ни довольствоваться контекстуальными определениями; он может надеяться отыскать в какой-то утонченной конструкции множеств из множеств чувственных впечатлений категорию объекта, удовлетворяющую тем стандартным свойствам, которые он приписывает телам.

Эти два спасительных средства весьма разнятся по своему эпистемологическому статусу. Контекстуальное определение является неопровержимым. Предложения, которые было придано значение как отдельным единицам, несомненно, являются осмысленными, и то употребление, которое в их рамках имеют составляющие их термины, также является осмысленным, вне зависимости от того, существует ли какой-либо перевод для этих терминов в изоляции. Ясно, что Юм и А. Б. Джонсон с удовольствием использовали бы контекстуальные определения, если бы знали о них. С другой стороны, обращение за помощью к множествам является решительным онтологическим движением, знаменующим избавление от скудной онтологии впечатлений. Существуют философы, которые скорее откажутся от признания тел вне нас, чем примут все эти множества, которые составляют, помимо всего прочего, всю абстрактную онтологию математики.

Но вопрос о соотношении элементарной логики и математики не всегда был ясен; происходило это по большей части потому, что элементарная логика и теория множеств ошибочно считались неразрывно связанными друг с другом. Это порождало надежду на сведение математики к логике, причем к непорочной и несомненной логике; соответственно, математика так же должна была обрести все эти качества. Поэтому Рассел был склонен к использованию как множеств, так и контекстуальных определений в тех случаях, когда он в «Нашем знании внешнего мира» и в целом ряде других работ обращался к эпистемологии естественнонаучного знания, к его концептуальной стороне.

Программа, согласно Расселу, должна была заключаться в том, чтобы объяснить внешний мир как логическую конструкцию из чувственных данных. Ближе всех к решению этой зада-

чи подошел Карнап в своей работе “Der Logische Aufbau der Welt” («Логическое построение мира»), появившейся в 1928 г.

Так обстояло дело с концептуальной стороной эпистемологии; а что же происходило с ее доктринальной стороной? В ней предикамент Юма оставался неизменным. Если бы реконструкция Карнапа увенчалась успехом, то она позволила бы перевести все предложения о мире в термины, выражающие чувственные данные, или наблюдения, плюс логику вместе с теорией множеств. Но даже в этом случае тот простой факт, что предложения могут быть *выражены* в терминах наблюдений, логики и теории множеств, не означает, что они могут быть *выведены* из предложений наблюдения при помощи логики и теории множеств. Самые скромные обобщения относительно наблюдаемых свойств будут охватывать больше случаев, нежели способен наблюдать автор этих обобщений. Попытка обосновать естественную науку при помощи непосредственного опыта строго логическим способом была признана безнадежной. Картезианский поиск достоверности в качестве мотивации имел весьма отдаленное отношение к эпистемологии, как с ее концептуальной, так и с ее доктринальной сторон. Обосновывать истины природы, опираясь на авторитет непосредственного опыта, – предприятие столь же безнадежное, как и попытка обосновать математические истины при помощи потенциальной очевидности элементарной логики.

Что в таком случае могло мотивировать героические усилия Карнапа по исследованию эпистемологии с ее концептуальной стороны в тот самый момент, когда пришлось оставить надежду на достижение достоверности в ее доктринальном измерении? Все еще сохранялось два хороших повода. С одной стороны предполагалось, что такие конструкции способствовали бы прояснению чувственных данных, используемых в науке, даже если цепочке вывода от чувственных данных к научной доктрине не хватало бы достоверности. Другой повод состоял в том, что такие конструкции способствовали бы углублению нашего понимания мира, даже вне всякой зависимости от вопросов очевидности; они обеспечили бы ясность познания, сравнимую с ясностью терминов наблюдения, логики и, как я вынужден с сожалением добавить, теории множеств.

Эпистемологи, вроде Юма и прочих, горевали о необходимости молчаливого признания невозможности строго вывода науки о внешнем мире из чувственных данных. Два кардинальных принципа эмпиризма оставались, однако же, неприступными, и они продолжают оставаться таковыми и по сей день. Во-первых, это принцип, что всякий опыт, который имеет значение для науки, это – чувственный опыт. Во-вторых, это принцип, что все вводимые значений слов должны в конечном счете опираться на чувственный опыт. Отсюда непреходящая привлекательность идеи *logischer Aufbau*², в котором чувственное содержание познания было бы выражено явным образом.

Если бы Карнапу удалось успешно осуществить это всеобъемлющее построение, то как он мог бы утверждать, является ли оно истинным? Вопрос этот не имеет смысла. Карнап искал того, что он называл *рациональной реконструкцией*. Любое построение физикалистского дискурса в терминах чувственного опыта, логики и теории множеств должно было бы считаться удовлетворительным постольку, поскольку оно способствовало успеху физикалистского дискурса. Если есть один путь, то должны быть и иные, однако любой путь будет большим достижением.

Однако к чему вся эта творческая реконструкция, все эти выдумки? Стимуляции чувственных рецепторов, – вот те единственные эмпирические данные, с которыми приходится иметь дело тому, кто пытается получить картину мира. Почему бы просто не рассмотреть в таком случае, как это построение в действительности происходит? Почему бы не обратиться к психологии? Такая капитуляция эпистемологии перед психологией отвергалась прежде как циркулярное рассуждение. Если целью эпистемолога является обоснование оснований эмпирической науки, то он не может использовать психологию, равно как и иную эмпирическую

²Логического построения (нем.).

науку, в целях такого обоснования. Однако такая щепетильность по поводу логического круга теряет всякий смысл, раз мы оставили надежду вывести науку из наблюдений. Если мы просто хотим понять связь, имеющую место между наблюдением и наукой, то с нашей стороны было бы вполне благоразумным делом использовать любую надежную информацию, включая ту, которая предоставляется нам самой наукой, связь которой с наблюдением мы пытаемся понять.

Но остается еще и иное соображение, не связанное с опасениями по поводу циркулярности, и говорящее в пользу все еще желаемой творческой реконструкции. Мы хотели бы *перевести* науку в логику и термины наблюдения и теорию множеств. Это стало бы громадным эпистемологическим достижением, поскольку показало бы, что все прочие понятия науки являются теоретически избыточными. Это эпистемологическое достижение узаконило бы их – в той степени, в какой понятия теории множеств, логики и наблюдения сами являются легитимными, – путем показа того, что все, сделанное при помощи одного аппарата, может быть в принципе сделано при помощи другого аппарата. Если бы сама психология могла бы осуществить истинную переводную редукцию такого рода, то мы приветствовали бы ее; но в действительности она не в состоянии это сделать, поскольку в действительности мы не взрослеем, обучаясь определениям физикалистского языка в терминах априорного языка теории множеств, логики и наблюдения. Здесь в таком случае появятся хорошие соображения в пользу настойчивого продолжения рациональной реконструкции: мы хотим установить принципиальную безвредность физических понятий путем показа того, что они являются теоретически несущественными.

На самом деле та конструкция, которую Карнап набрасывает в “*Der logische Aufbau der Welt*” вообще не дает переводной редукции. Подобного рода редукция не была бы осуществлена даже в том случае, если бы удалось осуществить логическое построение картины мира. Переломный момент наступает тогда, когда Карнап объясняет, как чувственным качествам приписываются положение в пространстве и времени. Эти приписывания должны осуществляться таким способом, чтобы восполнить, постольку, поскольку это возможно, определенные недостатки, которые он устанавливает, и с ростом опыта приписывания должны пересматриваться для того, чтобы удовлетворять требованиям. Этот план, сколь бы вразумительным он ни был, не дает нам какого-либо ключа к *переводу* предложений науки в термины наблюдения, логики и теории множеств.

Мы должны быть разочарованы любой такого рода редукцией. Карнап разочаровался в ней в 1936 г., когда в своей статье «Проверяемость и значение»³ он ввел так называемые *редукционные формы*, типа более слабого, чем определение. Определения показывали всегда, как перевести предложения в эквивалентные предложения. Контекстуальное определение термина показывало, как перевести предложение, содержащее этот термин, в эквивалентное предложение, этот термин не содержащее. Со своей стороны, редукционные формы либерализованного вида, введенные Карнапом, как правило, не дают эквивалентности; они дают импликации. Они объясняют новый термин, пусть лишь отчасти, путем спецификации некоторых предложений, которые имплицитно содержатся предложениями, содержащими данный термин, и других предложений, имплицитно содержащих, в свою очередь, предложения, содержащие данный термин.

Заманчиво предположить, что допущение редукционных форм в этом либеральном смысле является еще одним дальнейшим шагом на пути либерализации, сравнимым с более ранним шагом, сделанным Бенетом и состоявшим в допущении контекстуального определения. Предшествующий и более суровый вид рациональной реконструкции можно было бы представить как вымышленную историю, в которой мы воображаем своих предшественников вводящими термины физикалистского дискурса на феноменистской и теоретико-множественной основе посредством последовательности контекстуальных определений. Новый и более либеральный вид рациональной реконструкции есть вымышленная история, в которой мы вооб-

³Philosophy of Science, 1936, № 3, pp. 419–471; 1937, №4, pp. 1–40.

ражаем наших предшественников вводящими эти термины посредством последовательности редукционных форм более слабого вида.

Это сравнение, однако же, никуда не годиться. На самом деле первый и более суровый вид рациональной реконструкции, в котором безраздельно господствует определение, вообще не является вымышленной историей. Этот вид рациональной реконструкции был не больше и не меньше как множеством предписаний – или же стал бы таковым в случае успеха – для описания в терминах феноменов и теории множеств всего того, что мы в настоящее время описываем в терминах тел. Это было бы истинной редукцией посредством перевода, легитимацией посредством исключения. *Definire est eliminare*⁴. Ничего подобного не делает рациональная реконструкция посредством более поздних и более свободных редукционных форм Карнапа.

Ослабить требование определения и удовольствоваться видом реконструкции, который не является исключаящим означает отказаться от последнего преимущества, которое, как мы предполагали, рациональная реконструкция имеет перед обыкновенной психологией; а именно это означает отказаться от преимущества переводной редукции. Если все, на что мы надеемся, – это реконструкция, которая связывает науку с опытом явными способами, испытывающими недостаток перевода, то было бы более разумно довольствоваться психологией. Лучше изучать, как наука в действительности развивается и усваивается, нежели выдумывать какие-то вымышленные структуры, служащие сходной цели.

Одну главную уступку эмпирик делает тогда, когда отчаивается вывести истины о природе из чувственных данных. Отчаявшись даже перевести эти истины в термины наблюдения и логико-математических подсобных средств, он делает другую главную уступку. Предположим, что мы вместе со старым эмпириком Пирсом считаем, что значение предложения состоит исключительно в тех практических различиях, которое его истинность будет иметь для возможного опыта. Разве мы не могли бы в таком случае при помощи предложения длиною в главу сформулировать в языке наблюдения все те различия, что истина данного предложения могла бы иметь для опыта; и разве не могли бы мы считать все это переводом? Даже если те различия, которые истинность высказывания могла бы иметь для опыта, будут без конца размножаться, мы все же могли бы надеяться на то, что сможем охватить их всех в логических импликациях нашей формулировки длиною с главу точно так же, как мы можем аксиоматизировать бесконечность теорем. В этом случае, потеряв надежду на такой перевод, эмпирик приходит к заключению, что эмпирические значения типичных высказываний о внешнем мире являются недостижимыми и невыразимыми.

Каким образом можно было бы объяснить эту недостижимость? Может быть, на том основании, что опытные импликации типичного высказывания о телах являются слишком сложными для конечной аксиоматизации, какой бы развернутой она ни была? Нет; у меня есть иное объяснение. Эта недостижимость [эмпирических значений типичных высказываний о внешнем мире] объясняется тем, что типичные высказывания о телах не имеют своего собственного запаса опытных импликаций. Субстанциальная масса теории, будучи взятой в целом, будет обычно иметь опытные импликации; причем именно в силу этого мы делаем доступные для проверки предсказания. Мы можем быть не в состоянии объяснить, почему мы получаем теории, которые делают успешные предсказания, однако мы и в самом деле получаем такие теории.

Иногда происходит так, что опыт, имплицитный теории, не обнаруживается; в таком случае мы мысленно объявляем теорию ложной. Однако эта неудача фальсифицирует только какой-то блок теории как целого, конъюнкцию многих высказываний. Неудача показывает, что одно или несколько из этих предложений являются ложными, но не показывает какое. Предсказанные опыты, истинные или ложные, не имплицитуются каким-либо составляющим теорию высказыванием в большей степени, нежели другим. Составляющие теорию высказывания просто не имеют эмпирических значений, согласно стандарту Пирса; только достаточно

⁴Определять означает устранять (лат.).

внушительная часть теории обладает таковым. Если мы вообще в состоянии стремиться к какому-то виду *logischer Aufbau der Welt*, то это должна быть [логическая конструкция], в рамках которой тексты, предназначенные для перевода в термины наблюдения и логико-математические термины, должны быть скорее внушительными теориями, взятыми как целое, нежели терминами или короткими предложениями. Перевод теории в таком случае будет представлять собой трудную и тяжеловесную аксиоматизацию всех тех опытных различий, которые имела бы истинность этой теории. Это был бы довольно странный перевод, поскольку теория переводилась бы в целом, а не по отдельным частям. В этом случае предпочтительнее было бы говорить не о переводе, но о данных наблюдения для теорий; и мы можем, следуя Пирсу, назвать их эмпирическим значением теорий.

Эти соображения наводят на философский вопрос, касающийся даже обычного нефилософского перевода, например с английского на китайский язык или на язык арунта. Поскольку если английские предложения теории обладают значением только совместно в качестве единого целого, то мы можем обосновать их перевод с английского языка на язык арунта тоже только совместно в качестве единого целого. В таком случае невозможно было бы оправдать разделение на пары составляющих теорию английских предложений и составляющих теорию предложений на языке арунта, кроме тех корреляций, что делают перевод теории в целом правильным. Любой перевод предложений с английского языка на язык арунта был бы столь же правильным, сколь и всякий другой, постольку, поскольку сеть эмпирических импликаций теории в целом сохраняется в переводе. Однако следует ожидать, что множество разнообразных способов перевода составляющих теорию предложений, по существу различающихся друг от друга, будут передавать одни и те же эмпирические импликации для теории в целом, отклонения в переводе одного предложения, составляющего теорию, могли бы в таком случае быть компенсированы в переводе другого составляющего теорию предложения. В таком случае не было бы никаких оснований для определения того, какой из двух явно несхожих переводов отдельных предложений является правильным⁵.

Для некритически настроенного менталиста такая неопределенность не представляет опасности. Всякий термин и всякое предложение являются ярлыком, прикрепленным к идее, простой или сложной, которая находится в уме. Если же, с другой стороны, мы принимаем всерьез верификационистскую теорию значения, неопределенность кажется неизбежной. Венский кружок поддержал верификационистскую теорию значения, однако не воспринимал ее в достаточной степени всерьез. Если мы, вслед за Пирсом, признаем, что значение предложения зависит исключительно от того, что считается свидетельством его истинности, и если мы, вслед за Дюэмом, признаем, что теоретические предложения обладают своими данными не как отдельные предложения, но только как большие блоки теории, то в этом случае неопределенность перевода теоретических предложений есть естественное заключение. А большинство предложений, исключая предложения наблюдения, являются теоретическими. Соответственно, это заключение, коль скоро оно принято, решает судьбу любого общего понятия пропозиционального значения или, собственно говоря, положения дел.

Должна ли нежелательность этого заключения заставить нас отказаться от верификационистской теории значения? Конечно же, нет. Тот вид значения, который является базисным для перевода и для обучения своему родному языку, всегда является эмпирическим значением, и ничем иным. Ребенок учит свои первые слова и предложения, воспринимая их на слух и употребляя их в присутствии соответствующих стимулов. Эти стимулы должны быть внешними стимулами, поскольку они должны воздействовать как на ребенка, так и на говорящего, у которого он учится языку⁶. Язык социально прививается и контролируется; прививка и контроль зависят от соединения предложений с раздельной стимуляцией. Внутренние факторы могут варьироваться *ad libitum* без всякого ущерба для коммуникации до тех пор, пока соединение

⁵См.: Quine W. V. *Ontological Relativity and Other Essays*. New York: Columbia University Press, 1969, p. 2.

⁶Ibid, p. 28.

языка с внешними стимулами остается ненарушенным. Нет иного выбора, кроме как быть эмпириком, коль скоро речь идет о теории лингвистического значения.

То, что было сказано мною относительно усвоения языка ребенком, равным образом относится и к усвоению нового языка лингвистом в полевых условиях. Если лингвист не опирается на родственные языки, для которых существуют ранее принятые практики перевода, то ясно, что в его распоряжении нет никаких иных данных, кроме сопутствующих друг другу высказываний туземца и наблюдаемой стимульной ситуации. Не приходится удивляться тому, что в этом случае имеет место неопределенность перевода – поскольку, конечно же, только небольшая часть наших высказываний передает сопутствующую внешнюю стимуляцию. Предположим, что лингвист в конце концов получит определенные переводы всего, но только делая множество произвольных выборов – произвольных, даже если они являются бессознательными, – на этом пути. Произвольных? Под этим словом я имею в виду то, что различные выборы могли все же сделать правильным все то, что допускает какую-либо проверку.

Позвольте мне свести воедино некоторые из соображений, что были высказаны мной. Решающее соображение в пользу моего аргумента о неопределенности перевода состояло в том, что высказывание о мире всегда или обычно не обладает отдельным запасом эмпирических следствий, который можно было бы считать принадлежащим исключительно ему. Это соображение позволило также объяснить невозможность эпистемологической редукции такого вида, согласно которой всякое предложение сводимо или эквивалентно предложению, состоящему из терминов наблюдения и логико-математических терминов. А невозможность подобного рода эпистемологической редукции рассеивает тень того мнимого превосходства, которое эпистемология якобы имеет перед психологией.

Философы справедливо разочаровались в возможности исчерпывающего перевода в термины наблюдения и логико-математические термины. Они потеряли веру в такую редукцию даже еще до того, как признали в качестве основания для такой несводимости, что высказывания обычно не имеют своего собственного запаса эмпирических следствий. А некоторые философы увидели в этой несводимости банкротство эпистемологии. Карнап и другие логические позитивисты Венского кружка уже придали термину «метафизический» уничижительное значение, как обозначению всего бессмысленного; та же участь ждала и термин «эпистемология». Витгенштейн и его оксфордские последователи находили призвание философии в терапии: в исцелении философов от иллюзии, что существуют эпистемологические проблемы.

Но я думаю, что с этой точки зрения более продуктивной оказывается идея, что эпистемология остается, хотя и в новом ключе и в более проясненном статусе. Эпистемология, или нечто подобное ей, просто занимает место раздела психологии и, следовательно, естественной науки. Она исследует естественные явления, а именно физический человеческий субъект. Этот человеческий субъект представляет собой экспериментально контролируемый вход – например, определенную модель излучения определенной частоты, – и по истечении некоторого времени субъект выдает на выходе описание внешнего трехмерного мира в его развитии. Отношение между бедным входом и богатым выходом и есть то отношение, которое мы должны изучать. В определенном смысле этими же причинами обусловлена и эпистемология; а именно: мы изучаем отношение между бедным входом и богатым выходом для того, чтобы увидеть, как данные относятся к теории и как некоторые теории природы превосходят имеющиеся данные.

Такое исследование должно включать в себя нечто подобное рациональной реконструкции в той степени, в какой эта реконструкция является практичной; поскольку конструкции воображения могут служить указаниями на актуальные психологические процессы в той же степени, в какой на них могут указывать механические стимулы. Однако заметная разница между старой эпистемологией и эпистемологическим исследованием в этом новом психологическом облике состоит в том, что теперь мы можем свободно использовать эмпирическую психологию.

Старая эпистемология пыталась включить в себя естественную науку; она строила ее из чувственных данных. Напротив, эпистемология в ее новом облике сама включена в естественную науку как раздел психологии. Но при этом и прежнее притязание на включение естественной науки в рамки эпистемологии сохраняет свою силу. Мы исследуем, как человеческий субъект нашего исследования постулирует тела и проектирует свою физику из своих данных, и мы понимаем, что позиция, занимаемая нами в мире, в значительной мере сходна с той позицией, которую занимает он. Само наше эпистемологическое исследование, являющееся составной частью психологии, и естественная наука в целом, составной частью которой является психология, – все это наши собственные конструкции или проекции из стимулов, вроде тех, что мы устанавливали для нашего эпистемологического субъекта. В этом случае имеет место двойное включение, хотя и не совпадающее по смыслу: во-первых, эпистемологии в естественную науку и, во-вторых, естественной науки в эпистемологию.

Это взаимодействие вновь приводит к возрождению старой опасности логического круга, однако теперь все в порядке, поскольку мы оставили нереальное стремление вывести науку из чувственных данных. Мы ищем понимания науки как учреждения или процесса, происходящего в мире, и мы не предполагаем, что это понимание должно быть лучше, чем сама наука, которая является его объектом. Этот подход, собственно говоря, и имел в виду Нейрат в годы Венского кружка, когда предлагал метафору науки как моряка, который должен перестроить свою лодку, оставаясь в ней в море.

Один из результатов, достигнутых эпистемологией в ее психологическом облике, состоит в том, что она разрешает старую загадку эпистемологического приоритета. Наша сетчатка воспринимает достигающие ее световые лучи в двух измерениях, и тем не менее мы видим вещи в трехмерном пространстве без помощи сознательного вывода. Что в таком случае следует считать наблюдением – бессознательное двухмерное восприятие или осознанное трехмерное постижение? В старой эпистемологии сознательные формы мышления имели приоритет, поскольку обоснование знания о внешнем мире осуществлялось через рациональную реконструкцию и это требовало осознания. Однако мы перестали нуждаться в осознании в тот самый момент, когда оставили все попытки обосновать знание внешнего мира при помощи рациональной реконструкции. Теперь наблюдением можно считать все, что может быть установлено в терминах стимуляции органов чувств, как бы при этом ни понималось сознание.

Вызов, брошенный гештальт-психологами атомистическому истолкованию чувственных данных, казавшийся столь актуальным для эпистемологии сорок лет назад, в настоящее время также потерял свое обаяние. Вне зависимости от того, составляют ли чувственные атомы или же гештальты передний край нашего сознания, именно стимуляции наших чувственных рецепторов следует считать входом нашего познавательного механизма. Старые парадоксы относительно бессознательных данных и выводов, старые проблемы, касающиеся цепей выводов, которые должны были быть завершены слишком быстро, – все это больше уже не имеет никакого значения.

В старые антипсихологистические дни вопрос об эпистемологической приоритетности носил спорный характер. Что является эпистемологически приоритетным по отношению к чему? Являются ли гештальты первичными по отношению к чувственным атомам, поскольку они привлекают большое внимание, или же по каким-то более тонким соображениям следует предпочесть им чувственные атомы? Теперь, когда мы получили возможность обращаться к физической стимуляции, проблема исчезает; *A* эпистемологически первично или предшествует *B*, если *A* причинно ближе, чем *B*, к чувственным рецепторам. Или, что в ряде отношений лучше, было бы правильно явным образом говорить в терминах причинной близости к чувственным рецепторам и закончить все разговоры об эпистемологической приоритетности.

Примерно в 1932 г. в рамках Венского кружка шли жаркие дебаты относительно того, что считать предложениями наблюдения, или *Protokollsätze*⁷. Одна позиция по этому вопросу со-

⁷Карнап и Нейрат в журнале «Erkenntnis», 1932, №3, pp. 204–228.

стояла в том, что предложения наблюдения имеют форму отчетов о чувственных впечатлениях. Другая заключалась в том, что они являются высказываниями элементарного вида о внешнем мире, например, «На столе стоит красный куб». Еще одна позиция, которую занимал Нейрат, состояла в том, что предложения наблюдения имеют форму отчетов об отношениях между наблюдателем и внешними вещами: «Отто в данный момент видит куб, стоящий на столе». Самым печальным во всех этих спорах было то, что отсутствовал какой-либо объективный способ разрешения этой проблемы: способ, который позволил бы придать данной проблеме реальный смысл.

Давайте попытаемся рассмотреть этот вопрос непредубежденно в контексте внешнего мира. Если говорить в самом общем смысле, то мы считаем предложениями наблюдения такие предложения, которые находятся в наибольшей причинной близости к чувственным рецепторам. Однако как следует измерять или оценивать такую близость? Идея может быть перефразирована следующим образом: предложения наблюдения – это предложения, которые при нашем изучении языка в наибольшей степени обусловлены скорее сопутствующей чувственной стимуляцией, нежели накопленной дополнительной информацией. Давайте вообразим предложение, относительно которого мы должны вынести решение, является ли оно истинным или ложным; должны выразить с ним свое согласие или несогласие. В таком случае предложение является предложением наблюдения, если наше решение зависит исключительно от чувственной стимуляции, наличной в данный момент.

Однако решение не может зависеть от наличной стимуляции до такой степени, что оно будет совершенно исключать накопленную информацию. Сам факт, что мы выучили язык, влечет за собой большое накопление информации, без которой мы вообще были бы не в состоянии принять какое-либо решение, касающееся предложений, насколько бы они ни были предложениями наблюдения. Ясно, что нам следует сделать наше определение менее строгим: предложение является предложением наблюдения, если все касающиеся его решения зависят от наличной чувственной стимуляции и не зависят от дополнительной информации, за исключением той, которая входит в понимание предложения.

Эта формулировка приводит к возникновению следующей проблемы: как нам следует отличать информацию, задействованную при понимании предложения, от информации, в понимании предложения участия не принимающей? Это – проблема проведения различия между аналитическими истинами, значимость которых заключается исключительно в значениях слов, и синтетических истин, которые зависят не только от значений. Долгое время я считал, что это различие является мнимым. Есть, однако, по крайней мере один аспект этого различия, который имеет смысл: предложение, являющееся истинным просто в силу значений слов, по крайней мере в том случае, если оно является простым, может вызвать согласие всех говорящих в рамках сообщества. Возможно, противоречивое понятие аналитичности может быть устранено в нашем определении предложения наблюдения в пользу этого простого атрибута принятия сообществом.

Этот атрибут, конечно же, не является экспликацией аналитичности. Сообщество согласилось бы, что существуют черные собаки, однако никто из тех, кто говорит об аналитичности, не назвал бы это утверждение аналитическим. Мое отрицание понятия аналитичности означает только то, что я не провожу различия между тем, что входит в простое понимание предложений языка, и тем, что помимо этого сообщество видит лицом к лицу. Я сомневаюсь в том, что можно провести какое-то объективное различие между значением и такой дополнительной информацией, которая является общей для всего сообщества.

Возвращаясь к нашей задаче определения предложений наблюдения, мы получаем следующее: предложением наблюдения является такое, которому все говорящие на данном языке выносят одну и ту же оценку при одинаковых стимулах. Выражая это соображение отрицательно, можно сказать, что предложение наблюдения есть предложение, которое нечувствительно к различиям в прошлом опыте в рамках языкового сообщества.

Эта формулировка превосходно согласуется с традиционной ролью предложений наблюдения как судей научных теорий, поскольку, согласно нашему определению, предложениями наблюдения являются предложения, с которыми при одинаковых стимулах согласятся все члены сообщества. Каков критерий членства в сообществе? Это просто общая плавность диалога. Этот критерий допускает различные степени; и мы, конечно же, можем брать сообщество то более широко, то более узко в зависимости от вида исследования. То, что считается предложением наблюдения для сообщества ученых, не всегда будет считаться таковым для более широкого сообщества.

В формулировке предложений наблюдения, данной нами, в основном отсутствует субъективность; обычно они будут предложениями о телах. Поскольку отличительной чертой предложения наблюдения является intersубъективное согласие при одинаковой стимуляции, предположение о существовании тел более вероятно, чем предположение об их несуществовании.

Старая тенденция ассоциировать предложения наблюдения с субъективной чувственной предметностью является скорее иронией, коль скоро мы отдаем себе отчет в том, что предложения наблюдения являются своего рода intersубъективным трибуналом научных гипотез. Старая тенденция возникла благодаря стремлению основывать науку на чем-то более надежном и первичном в опыте субъекта; однако мы отвергли этот проект.

Лишение эпистемологии ее старого статуса первой философии подняло, как мы видели, волну эпистемологического нигилизма. Это настроение отражается в тенденции Поланьи, Куна и позднего Рассела Хэнсона принизить роль эмпирических данных и возвеличить культурный релятивизм. Хэнсон рискнул даже дискредитировать идею наблюдаемости, утверждая, что так называемые наблюдения изменяются от наблюдателя к наблюдателю в зависимости от степени обладания отдельными наблюдателями знаниями. Опытный физик смотрит в аппарат и видит излучение х-лучей. Начинающий физик, смотря в ту же самую точку, наблюдает скорее «стеклянный и металлический прибор, снабженный проводами, рефлекторами, болтами, лампами и кнопками»⁸. То, что для одного человека является наблюдением, для другого является закрытой книгой или полетом воображения. Понятие наблюдения как объективного источника эмпирических данных для науки является несостоятельным. Мой ответ на пример с х-лучами был уже дан чуть выше: то, что считается предложением наблюдения, изменяется в зависимости от ширины соответствующего сообщества. Однако мы всегда можем получить абсолютный стандарт, приняв всех говорящих на данном языке, или большинство сообщества⁹. Ирония заключается в том, что философы, сочтя старую эпистемологию в целом несостоятельной, реагируют на это открытие отрицанием эпистемологии как отдельной дисциплины, которая только-только начинает вырисовываться в виде ясной картины.

Прояснение понятия предложения наблюдения является правильным делом, поскольку это понятие является фундаментальным в двух отношениях. Эти два аспекта соответствуют той двойственности, что была очерчена мной в начале этой лекции: двойственности между понятием и доктриной, между знанием того, что предложение означает, и знанием того, является ли оно истинным. Предложение наблюдения является базисным в обоих отношениях. Отношение предложения наблюдения к доктрине, к нашему знанию о том, что истинно, является довольно традиционным: предложения наблюдения являются носителями эмпирических данных для научных гипотез. Отношение предложения наблюдения к значению также является фундаментальным, поскольку предложения наблюдения являются единственными, которые мы в состоянии научиться понимать в первую очередь; это касается как детей, так и лингвистов, занятых прикладными исследованиями. Ибо предложения наблюдения таковы, что мы

⁸*N. R. Hanson. Observation and Interpretation // S. Morgenbesser(ed). Philosophy of Science Today. New York: Basic Books, 1966.*

⁹Эта характеристика учитывает такие случайные отклонения, как безумие или слепота. С другой стороны, такие случаи могли бы быть исключены путем корректировки уровня плавности диалога при определении тождественности языка. (Это замечание было подсказано мне Бартоном Дребеном, которому я также обязан целым рядом важных соображений, оказавших мне существенную помощь в работе над этой статьей).

можем соотносить их с наблюдаемыми обстоятельствами их произнесения и оценки независимо от прошлой информации, которой располагает индивидуум. Они дают нам единственный возможный доступ к языку.

Предложения наблюдения являются краеугольным камнем семантики. Это обусловлено тем, что они играют центральную роль при обучении значению [выражений языка]. Их значения наиболее стабильны. Предложения теории высших уровней не имеют эмпирических следствий, которые можно было бы назвать принадлежащими исключительно им; они предстают перед трибуналом чувственных данных только в виде более или менее охватывающих совокупностей. Предложения наблюдения, расположенные на чувственной периферии тела науки, являются минимально верифицируемыми совокупностями. В этом смысле они имеют свое собственное эмпирическое содержание.

Предикамент неопределенности перевода не имеет отношения к предложениям наблюдения. Сравнение предложения наблюдения нашего языка с предложением наблюдения другого языка является вопросом эмпирического обобщения; это вопрос тождества между областями стимулов, склоняющих к согласию с первым предложением, и областью стимулов, склоняющих к согласию со вторым предложением¹⁰.

Сказать, что эпистемология стала теперь семантикой, не означает нанести удар по убеждениям старой Вены, поскольку эпистемология остается, как всегда, сконцентрированной на эмпирических данных, а значение остается сконцентрированным на верификации, и эмпирические данные и есть верификация. Однако по предубеждениям наносит удар то, что значение, коль скоро мы выходим за пределы предложений наблюдения, перестает вообще иметь какое-либо применение к отдельным предложениям; а также то, что эпистемология сочетается с психологией, равно как и с лингвистикой.

Этот союз только и может, как мне кажется, содействовать прогрессу в философски интересном исследовании науки. Одной из возможных областей такого исследования является исследование норм восприятия. Рассмотрим для начала лингвистический феномен фонемы. Мы формируем привычку, слушая мириады вариаций произнесенных звуков и истолковывая каждый из них как приближающийся к той или иной из ограниченного множества норм, которых всего-навсего порядка тридцати, конституирующих так называемый разговорный алфавит. Вся речь в рамках нашего языка может считаться на практике следствием именно этих тридцати элементов, таким вот образом исправляющих небольшие отклонения. Итак, за пределами языка также существует, по всей вероятности, весьма ограниченное множество норм восприятия, по отношению к которым мы бессознательно стремимся исправить все наши восприятия. Эти восприятия, будучи отождествленными экспериментально, могли бы рассматриваться как своего рода строительные блоки эпистемологии, как работающие элементы опыта. Они могли бы считаться отчасти зависящими от культурного окружения, наподобие фонем, а отчасти – универсальными.

Опять-таки здесь существует область, названная психологом Дональдом Т. Кэмпбеллом эволюционной эпистемологией¹¹. В этой области работает Хусейн Йылмаз, который объясняет, как отдельные структурные моменты восприятия могут быть объяснены с точки зрения приспособления к природе¹². Еще одна важная эпистемологическая проблема, которая поддается прояснению с точки зрения эволюции – это проблема индукции, коль скоро мы предоставляем в распоряжение эпистемологии ресурсы естествознания¹³.

¹⁰Ср.: *Quine W. V. Word and Object*. New York: John Wiley & Sons, 1960, pp. 31–46, 68.

¹¹*D. T. Campbell. Methodological suggestions from a comparative psychology of knowledge processes // Inquiry*, 1959, № 2, pp. 152–182.

¹²Husein Yilmaz. On color vision and a new approach to general perception // E. E. Bernard and M. R. Care(eds.), *Biological Prototypes and Synthetic Systems*. New York: Plenum, 1962; *Perceptual invariance and the psychophysical law // Perception and Psychophysics*, 1967, № 2, pp. 533–538.

¹³См.: *Quine W. V. Natural Kinds // Quine W. V. Ontological Relativity and Other Essays*. New York: Columbia University Press, 1969, pp. 114–138.

OCR: Александр Гребеньков, greb@kursknet.ru

Две догмы эмпиризма

Уиллард Ван Орман Куайн
Willard Van Orman Quine

2000

В книге:

Куайн Уиллард Ван Орман

Слово и объект. Перевод с англ. М.: Логос, Праксис, 2000. 386 с.

Книга представляет собой первое опубликованное на русском языке издание избранных работ крупнейшего аналитического философа XX века Уилларда Ван Ормана Куайна. Публикуемая в данном издании основополагающая работа американского философа «Слово и объект» внесла огромный вклад в философию языка. Книга будет интересна не только для философов, но также и для лингвистов, психологов, специалистов в области когнитивных наук и всех, кто интересуется современной философией.

ISBN-5-8163-0024-5

Перевод выполнен Т. А. Дмитриевым по изданию: Quine W. V. From a Logical Point of View. New York: Harper, 1963, pp. 20–46.

Современный эмпиризм был в значительной степени обусловлен двумя догмами. Одна из них – это убеждение в наличии некоего фундаментального различия между истинами, которые являются *аналитическими*, или опирающимися исключительно на значения вне зависимости от положений дел, и истинами, которые являются *синтетическими*, или опирающимися на факты. Другая догма – это *редукционизм*; она представляет собой убеждение, что всякое осмысленное (*meaningful*) высказывание является эквивалентом какой-то логической конструкции, состоящей из терминов, отсылающих к непосредственному опыту. Обе догмы, как я буду утверждать, недостаточно обоснованы. Одно следствие отказа от них, как мы увидим, состоит в стирании предполагаемой границы между спекулятивной метафизикой и естественной наукой. Другое следствие – сдвиг к прагматизму.

1 Основание для аналитичности

Кантовское различие между аналитическими и синтетическими истинами было предвосхищено различием, проведенным Юмом между отношениями идей и положениями дел, и различием, проведенным Лейбницем между истинами разума и истинами факта. Лейбниц утверждал, что истины разума являются истинными во всех возможных мирах. Это означает, что истины разума таковы, что они не могут быть ложными. В том же духе аналитические высказывания определяются как высказывания, отрицание которых является самопротиворечивым. Однако это определение обладает не слишком большой объяснительной силой: поскольку понятие «самопротиворечивость», требующееся для подобного определения аналитичности, нуждается в прояснении не в меньшей степени, чем само понятие аналитичности. Эти два понятия – просто две стороны одной подозрительной монеты.

Кант считал аналитическим суждением такое суждение, которое приписывает своему субъекту то, что уже концептуально содержится в субъекте. Эта формулировка страдает двумя недостатками: она ограничивается суждениями субъектно-предикатной формы, и она прибегает к помощи понятия «включенности», которое остается метафорой. Однако замысел Канта, становящийся ясным скорее из того употребления, какое он отводит понятию аналитичности, чем из его определения этого понятия, можно переформулировать следующим образом: суждение является аналитическим в том случае, когда оно истинно в силу значения и независимо от фактов. Придерживаясь этой схемы, давайте рассмотрим понятие *значения* (*meaning*), которое предполагается в этом определении.

Следует помнить о том, что значение не следует отождествлять с именованием¹. Примеры «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда», приводимые Фреге, и примеры «Вальтер Скотт» и «автор *Уэверли*», приводимые Расселом, показывают, что термины могут именовать одну и ту же вещь, но при этом иметь разные значения. Различие между значением и именованием является не менее важным и на уровне абстрактных терминов. Термины «9» и «число планет» именуют одну и ту же абстрактную сущность, но их следует считать различными по своему значению; поскольку потребовались астрономические наблюдения, а не только размышления над значениями, чтобы определить тождественность той сущности, о которой идет речь.

Вышеприведенные примеры состоят из единичных терминов, абстрактных и конкретных. В том, что касается общих терминов, или предикатов, ситуация отчасти отличается, хотя при этом и наблюдается известный параллелизм. В то время как единичный термин нацелен на то, чтобы именовать сущность, абстрактную или конкретную, общий термин подобной нацеленности не имеет; однако общий термин является *истинным* относительно сущности, или относительно каждой сущности из некоего множества, либо в отношении ни одной сущности². Класс всех сущностей, в отношении которых является истинным общий термин, называется *объемом* термина. Теперь параллельно различию между значением сингулярного термина и именуемой сущностью мы должны провести соответствующее различие между значением общего термина и его объемом. Общие термины «живое существо, обладающее сердцем» и «живое существо, обладающее почками» совпадают по своему объему, но отличаются друг от друга по значению.

Смешение значения с объемом в случае общих терминов – вещь гораздо менее распространенная, чем смешение значения с именованием в случае единичных терминов. В философии уже стало общим местом противопоставление интенционала (или значения) экстенционалу, или, если выразиться другим языком, коннотации – денотации.

Аристотелевское понятие сущности было, вне всякого сомнения, предшественником современного понятия интенционала, или значения. Для Аристотеля сущностью человека было то, что он является рациональным существом, и напротив, было не существенно то, что он является двуногим существом. Однако существует одно важное различие между этим подходом и теорией значения. С точки зрения последней можно, конечно же, заключить, что рациональность включается в значение слова «человек», тогда как обладание двумя ногами исключается из него; одно-двуноговость можно в то же самое время считать включающейся в значение слова «двуногое», тогда как рациональность не включается в него. Таким образом, с точки зрения теории значения не имеет смысла говорить о каком-то реально существующем индивиде, являющемся одновременно человеком и двуногим живым существом, что его рациональность является существенной, а двуноговость – акцидентальной, и наоборот. Для Аристотеля вещи имеют сущность, но только лингвистические формы имеют значение. Значение – это то, чем становится сущность, когда ее разводят с предметом референции и отдают замуж за слово.

Для теории значения важной проблемой является природа ее объектов: какого рода вещами являются значения? Острая необходимость в подразумеваемых сущностях может возникнуть

¹См.: Quine W. From a Logical Point of View. Harvard University Press, 1961, p. 9.

²Ibid., p. 10, 107–115.

из предшествующей неудачи понять, что значение и референция отличаются друг от друга. Коль скоро теория значения отделяется от теории референции, мы оказываемся уже на полпути к признанию того, что делом теории значения является синонимия лингвистических форм и аналитичность высказываний; сами же значения, как смутные опосредующие сущности, смело могут быть устранены³.

Мы снова оказываемся лицом к лицу с проблемой аналитичности. Высказывания, которые, по общему мнению философов, являются аналитическими, не так-то сложно обнаружить. Они разделяются на два класса. Высказывания первого класса, которые могут быть названы *логически истинными*, экзemplифицируются высказыванием:

(1) Ни один неженатый человек не женат.

Соответствующее свойство этого примера заключается в том, что данное высказывание не просто является истинным, но остается истинным при каких угодно интерпретациях слов «человек» и «женатый». Если мы предположим исходную опись *логических* частиц, охватывающую выражения «не», «если», «тогда» и т. д., то логической истиной будет высказывание, которое является истинным и остается истинным при всех интерпретациях его нелогических компонентов.

Есть, однако, и второй класс аналитических высказываний, представленный высказываниями типа:

(2) Ни один холостяк не женат.

Характерная черта таких высказываний заключается в том, что они могут быть превращены в логические истины путем замены синонимичного выражения синонимичным выражением; так, высказывание (2) может быть превращено в высказывание (1) путем замены выражения «холостяк» его синонимом «неженатый человек». Мы пока еще не располагаем надлежащей характеристикой этого второго класса аналитических высказываний и поэтому не располагаем и надлежащей характеристикой аналитичности как таковой, поскольку в вышеуказанном описании мы опирались на понятие «синонимии», которое заслуживает прояснения не в меньшей степени, чем понятие самой «аналитичности».

В последнее время Карнап стал склоняться к объяснению аналитичности при помощи того, что он называет описаниями состояния (*state-descriptions*)⁴. Описание состояния есть исчерпывающее приписывание истинностных значений атомарным, или несоставным, высказываниям языка. Все прочие высказывания языка строятся, как полагает Карнап, из этих элементарных компонентов при помощи известных логических средств таким образом, что истинностное значение любого сложного высказывания фиксируется для каждого описания состояния при помощи специфических логических законов. Высказывание объясняется как аналитическое, если оно оказывается истинным при любом описании состояния. Этот подход является адаптацией определения Лейбница «является истинным во всех возможных мирах». Заметьте, однако, что эта версия аналитичности выполняет свою роль только в том случае, если атомарные высказывания языка являются, в отличие от высказываний «Джон – холостяк» и «Джон женат», взаимно независимыми. В противном случае существовали бы описания состояния, которые приписывали бы истину высказыванию «Джон – холостяк» и «Джон женат», и, следовательно, высказывание «Ни один холостяк не женат» оказалось бы, согласно предложенному критерию, скорее синтетическим, нежели аналитическим. Таким образом, критерий аналитичности, сформулированный в терминах описаний состояния, работает исключительно

³См.: Quine W. V. From a Logical Point of View. Harvard University Press, 1961, p. 11 и далее, pp. 46 и далее.

⁴Carnap R. Meaning and Necessity. Chicago: University of Chicago Press, 1947, pp. 9 и далее; Carnap R. Logical Foundation of Probability. Chicago: University of Chicago Press, 1950, pp. 70 и далее.

для языков, свободных от экстралингвистических синонимичных пар, таких, как «холостяк» и «неженатый человек», – иными словами, от синонимичных пар того типа, которые, собственно говоря, и дают начало «второму классу» аналитических высказываний. Критерий, сформулированный в терминах описания состояния, является в лучшем случае реконструкцией логической истины, но не аналитичности.

При этом я далек от того, чтобы считать, что Карнап заблуждается на этот счет. Его упрощенная модель языка, основанная на понятии «описания состояния», нацелена в первую очередь не на разрешение общей проблемы аналитичности, но на другую цель – на прояснение проблемы вероятности и индукции. Нашей же проблемой является именно аналитичность; и здесь наибольшую трудность представляет не первый класс аналитических высказываний, логические истины, но скорее второй класс, зависящий от понятия синонимии.

2 Определение

Находятся люди, которые делают успокоительные заявления, что аналитические высказывания второго класса сводятся к аналитическим высказываниям первого класса, логическим истинам, посредством *определения*; к примеру, «холостяк» *определяется* как «неженатый человек». Однако откуда мы знаем, что «холостяк» определяется как «неженатый человек»? Кто определил это слово так и когда? Следует ли нам обратиться к ближайшему словарю и принять формулировку лексиколога в качестве закона? Ясно, что действовать подобным образом означало бы ставить телегу впереди лошади. Лексиколог является эмпирическим ученым, занимающимся фиксацией имеющихся фактов; и если он истолковывает «холостяка» как «неженатого человека», то это происходит в силу его веры в то, что существует отношение синонимии между этими формами, имплицитированное в общем или предпочтительном употреблении, априорном по отношению к его собственной деятельности. Предполагаемое в данном случае понятие синонимии все еще нуждается в прояснении, – по-видимому, в терминах, относящихся к лингвистическому поведению. Ясно, что «определение», которое является отчетом лексиколога о наблюдаемом поведении, не может считаться основанием синонимии.

Определение не является, конечно же, деятельностью, практикуемой исключительно филологами. Философы и ученые довольно часто имеют дело с «определением» неясных терминов путем перефразировки их в терминах более знакомого словаря. Однако обычно такие определения, как и определения филологов, являются чистой лексикологией, утверждающей отношение синонимии, предшествующее той ситуации, о которой идет речь.

Что значит утверждать синонимию, какие взаимосвязи могут быть необходимыми и достаточными для того, чтобы две лингвистические формы можно было описать как синонимичные – все это еще совсем неясно; однако, каковы бы ни были эти взаимосвязи, обычно они опираются на употребление. Определения, дающие отчеты об отдельных случаях синонимии, становятся поэтому отчетами об употреблении.

Имеется, однако же, отличный тип деятельности определения, который не ограничивается отчетом о предсуществующей синонимии. Я имею в виду то, что Карнап называет *экспликацией*, – деятельность, которой отдаются философы, да, впрочем, и ученые, в наиболее философские моменты их творчества. Целью экспликации является не простая перефразировка определяемого в правильный синоним, но исправление определяемого путем очищения или дополнения его значения. Но даже экспликация, хотя она и не является простым отчетом о предсуществующей синонимии между определяемым и определяющим выражениями, тем не менее опирается на *другие* предшествующие синонимии. Эту проблему можно сформулировать следующим образом. Всякое слово, требующее экспликации, обладает некоторыми контекстами, которые, как целые, являются достаточно ясными и точными для того, чтобы их использовать; и цель экспликации заключается в том, чтобы сохранить употребление этих привилегированных контекстов, обратив в то же самое время внимание на употребление других

контекстов. Для того, чтобы данное определение служило целям экспликации, не требуется, чтобы определяемое выражение в своем предшествующем употреблении было синонимичным с определяющим; необходимо только, чтобы каждый из этих привилегированных контекстов определяемого выражения, взятых как целое в его предшествующем употреблении, был синонимичен соответствующему контексту определяющего.

Два альтернативных определяющие выражения могут быть равным образом подходящими для целей данной задачи экспликации и в то же время не синонимичными друг другу; дело в том, что они могут использоваться взаимозаменяемым образом внутри привилегированных контекстов, но в то же самое время различаться в остальных. Выбирая скорее одно определяющее выражение, нежели другое, определение экспликативного вида производит такое отношение синонимии между определяемым и определяющим выражениями, которое не существовало ранее. Однако такое определение все еще обязано своей экспликативной функцией предшествующим синонимиям.

Остается, однако же, еще крайний случай определения, который вообще не обращается к предшествующим синонимиям, а именно эксплицитно конвенциональное введение новых способов записи для целей явного сокращения. В этом случае определяемое становится синонимичным с определяющим просто в силу того, что оно специально создается с той целью, чтобы быть синонимичным с определяемым. Тут мы имеем реально прозрачный случай синонимии, созданной определением; если бы этот случай синонимии был бы единственным, то все виды синонимии были бы столь же постижимыми. В остальном определение скорее опирается на синонимию, чем объясняет ее.

Слово «определение» приобрело опасно успокоительное звучание благодаря тому, что оно часто встречается в логических и математических произведениях. Поэтому мы поступим правильно, если уделим определенное внимание той роли, которую определение играет в формальных исследованиях.

В логических и математических системах может быть использован любой из двух взаимно противоположных типов экономии, причем каждый имеет свою своеобразную полезность. С одной стороны, мы можем стремиться к экономии практического выражения – к легкости и краткости при установлении разнообразных отношений. Этот вид экономии требует отчетливых кратких способов записи ради благополучия многообразия понятий. Во-вторых, и в противоположность первому подходу, мы можем искать экономии для грамматики и словаря; мы можем пытаться найти минимум основных понятий, таких, что, коль скоро для каждого из них был найден отчетливый способ записи, становится возможным выразить любое иное понятие путем простой комбинации и повторения наших основополагающих способов записи. Этот второй вид экономии является непрактичным в том отношении, что недостаток основополагающих идиом оборачивается чрезмерным удлинением дискурса. Однако она оказывается практичной в ином отношении: второй тип экономии в значительной мере упрощает теоретический дискурс о языке благодаря тому, что уменьшает количество терминов и форм конструкции, из которых состоит язык.

Оба вида экономии, хотя и являются *prima facie* несовместимыми друг с другом, являются ценными по отдельности. Вследствие этого появилась привычка комбинировать два вида экономии путем сохранения двух языков, один из которых становится частью другого. Язык, включающий в себя другой язык, хотя он и оказывается избыточным в отношении своей грамматики и словаря, является экономным в сообщении, в то время как язык, включенный в этот первый, называется примитивным способом записи и является экономным по своей грамматике и словарю. Целое и части соотносятся друг с другом при помощи правил перевода, благодаря которым каждая идиома, не встречающаяся в примитивном способе записи, приравнивается к некоторой сложной идиоме, построенной из примитивного способа записи. Эти правила перевода являются так называемыми *определениями*, встречающимися в формальных

языках. Их лучше считать не принадлежащими к какому-то одному языку, но взаимосвязями между двумя языками, один из которых является частью второго.

Однако подобного рода взаимосвязи отнюдь не произвольны. Они призваны показать, как примитивные способы записи способны достичь всех целей, стоящих перед избыточным языком, за исключением краткости и удобства. Следовательно, есть все основания ожидать, что во всех ситуациях определяемое и определяющее выражения будут связаны друг с другом каким-то одним из тех трех способов, которые я формулирую ниже. Во-первых, определяющее выражение может представлять собой точную перефразировку определяемого выражения в более краткий способ записи, сохраняющий непосредственную синонимию⁵ предшествующего употребления. Во-вторых, определяющее выражение может, в духе экспликации, улучшить предшествующее употребление определяемого выражения. Наконец, в-третьих, определяемое выражение может представлять собой впервые созданный способ записи, впервые наделенный значением здесь и теперь.

Таким образом, как в формальных, так и в неформальных исследованиях мы обнаруживаем, что определение – за исключением крайнего случая эксплицитно конвенционального введения новых способов записи – зависит от предшествующих отношений синонимии. Признавая, что понятие определения не дает нам ключа к синонимии и аналитичности, давайте оставим в покое определение и займемся синонимией.

3 Взаимозаменяемость

Естественное предположение, требующее тщательного исследования, состоит в том, что синонимия двух лингвистических форм заключается исключительно в их взаимозаменяемости во всех контекстах без изменения истинностного значения, т. е. во взаимозаменяемости, именуемой Лейбницем *salva veritate*⁶. Заметьте, что таким вот образом понятия синонимы не обязательно должны быть свободны от смутности, поскольку их смутности сочетаются между собой.

Однако не совсем верно, что синонимы «холостяк» и «неженатый человек» повсеместно взаимозаменяемы *salva veritate*. Истины, становящиеся ложными при замене выражения «неженатый человек» выражением «холостяк», не так-то сложно сконструировать при помощи таких выражений, как «бакалавр искусств» (*bachelor of arts*) или «лютики» (*bachelors buttons*) или с помощью цитаты, например:

«Холостяк» состоит из менее чем десяти букв.

Такие контрпримеры могут, однако, быть исключены посредством рассмотрения фраз «бакалавр искусств» и «лютики» и цитаты «холостяк» каждой как единого неделимого слова и выдвижения оговорки, согласно которой взаимозаменяемость *salva veritate*, которая должна быть краеугольным камнем синонимии, неприменима к отдельным элементам внутри слова. Это объяснение синонимии, коль скоро оно приемлемо на прочих основаниях, сталкивается с известным препятствием, поскольку оно обращается к априорному понятию «слово», которое может при своей формулировке встретиться с дальнейшими трудностями. Тем не менее можно предположить, что сведением проблемы синонимии к проблеме критерия бытия словом (*wordhood*) достигается известный прогресс. Давайте будем двигаться в этом направлении, приняв «слово» за нечто само собой разумеющееся.

⁵Согласно одному из важных смыслов слова «определение», сохраняемое отношение может быть более слабым отношением соответствия по своей референции; см.: Quine W. V. From a Logical Point of View, p. 132. Однако определение в этом смысле было бы лучше игнорировать в связи с темой нашего исследования, поскольку оно не имеет отношения к проблеме синонимии.

⁶Ср.: Lewis C. I. A Survey of Symbolic Logic. Berkeley, 1918, p. 373.

Остается вопрос, является ли взаимозаменяемость *salva veritate* (безотносительно к отдельным элементам внутри слова) достаточно строгим условием для синонимии или же, напротив, некоторые гетерономные выражения могли бы поддаваться подобного рода взаимной замене. Следует отдавать себе отчет в том, что мы не занимаемся в данном случае синонимией в смысле полной идентичности в отношении психологических ассоциаций или поэтического качества; ясно, что ни одно выражение не является синонимичным в этом смысле. Мы занимаемся только тем, что можно назвать *познавательной синонимией*. О том, что она собой представляет, нельзя ничего сказать, не завершив успешно данное исследование; однако мы все же кое-что знаем о ней из той потребности, что возникает в ней в связи с аналитичностью в § 1. Тот вид синонимии, что требуется в этом случае, состоит в том, что всякое аналитическое высказывание может быть превращено в логическую истину посредством замены синонима синонимом. Меняясь ролями и допуская аналитичность, мы можем объяснить познавательную синонимию терминов следующим образом (следуя при этом известному примеру): сказать, что термины «холостяк» и «неженатый человек» являются познавательно синонимичными, означает сказать всего-навсего то, что высказывание:

(3) Все холостяки и только холостяки суть неженатые люди –

является аналитическим⁷.

Нам требуется такое объяснение познавательной синонимии, которое не предполагало бы аналитичность – если, напротив, нам надо объяснить аналитичность при помощи познавательной синонимии, как предполагается в § 1. И конечно же, такое независимое объяснение познавательной синонимии и предполагается в данный момент подвергнуть рассмотрению, а именно повсеместную взаимозаменяемость *salva veritate* за исключением отдельных элементов слов. Вопрос, который стоит перед нами, заключается в том, действительно ли такая взаимозаменяемость является достаточным условием познавательной синонимии. Мы можем быстро уверить себя в этом при помощи примеров следующего вида. Высказывание:

(4) Необходимо, что все холостяки и только холостяки являются холостяками,

очевидно истинно, даже если предположить, что «необходимо» сконструировано так узко, что истинно применимо только к аналитическим высказываниям. Тогда, если «холостяк» и «неженатый человек» являются взаимозаменяемыми *salva veritate*, высказывание:

(5) Необходимо, что все холостяки и только холостяки являются неженатыми людьми,

полученное путем замены выражением «неженатый человек» выражения «холостяк» в высказывании (4), должно, как и высказывание (4), быть истинным. Однако сказать, что (5) является истинным, означает сказать, что (3) является аналитическим и, следовательно, что «холостяк» и «неженатый человек» являются познавательно синонимичными.

Давайте рассмотрим те особенности вышеуказанного аргумента, которые придают ему дух магической формулы. Условия взаимозаменяемости *salva veritate* варьируются по своей силе вместе с вариациями богатства того языка, с которым нам приходится иметь дело. Вы-

⁷Это – познавательная синонимия в исходном, широком смысле этого слова. Карнап (*Carnap R. Meaning and Necessity. Chicago: University of Chicago Press, 1947, pp. 56 и далее*) и Льюис (*Lewis C. I. An Analysis of Knowledge and Valuation. LaSalle, Ill.: Open Court, 1946, pp. 83 и далее*) выдвинули свои объяснения того, как, имея в распоряжении это исходное понятие, можно вывести из него более узкое понятие познавательной синонимии, более предпочтительное с точки зрения определенных целей. Однако это особенное следствие образования понятий не имеет отношения к теме наших рассуждений и не должно смешиваться с более широкой разновидностью познавательной синонимии, о которой в данном случае идет речь.

шеуказанный аргумент предполагает, что мы работаем с языком, достаточно богатым для того, чтобы содержать наречие «необходимо», причем это наречие сконструировано так, чтобы удовлетворять истине тогда и только тогда, когда оно применяется к аналитическому высказыванию. Но можем ли мы мириться с языком, который содержит такое наречие? Действительно ли это наречие имеет смысл? Предполагать, что оно имеет смысл, означает предполагать, что мы уже придали выражению «аналитический» какой-то определенный смысл. Но почему в таком случае мы с таким огромным трудом осуществляем наше исследование?

Наш аргумент не является явно циркулярным, но он явно близок к этому. Выражаясь фигурально, он имеет форму замкнутой кривой линии в пространстве.

Взаимозаменяемость *salva veritate* лишена смысла, пока она не поставлена в зависимость от языка, чья применимость определена в соответствующих отношениях. Предположим, что мы рассматриваем язык, который содержит следующие компоненты. В нем содержится бесконечно большой ряд одноместных предикатов (например, « F », где « Fx » означает, что x является человеком) и многоместных предикатов (например, « G », где « Gxy » означает, что x любит y), которые в основном имеют дело с экстралингвистическими обстоятельствами. Остальная часть языка является логической. Каждое атомарное предложение состоит из предиката, сопровождаемого одной или более переменными « x », « y », и так далее; а сложные предложения строятся из атомарных при помощи функции истинности («не», «и», «или» и так далее) и квантификации⁸. В результате такой язык получает пользу как от описаний, так и, конечно же, и от единичных терминов как таковых, которые определяются контекстуально известными способами⁹. Даже абстрактные единичные термины, именующие классы, классы классов и т. д., контекстуально определимы в случае наличия набора предикатов, включая двухместные предикаты принадлежности классу¹⁰. Такой язык может адекватно служить классической математике и, конечно же, научному дискурсу в целом, за исключением случаев, когда последний включает в себя контрфактические условные высказывания или модальные наречия типа «необходимо»¹¹. Таким образом, язык этого типа является экстенциональным; а два предиката, которые совпадают по объему (т. е. являются истинными в отношении одних и тех же объектов), являются взаимозаменяемыми *salva veritate*¹².

Поэтому в экстенциональном языке взаимозаменяемость *salva veritate* не гарантирует когнитивной синонимии требуемого типа. То, что выражения «холостяк» и «неженатый человек» являются взаимозаменяемыми *salva veritate* в экстенциональном языке, убеждает нас только в том, что (3) является истинным. Однако нет никаких гарантий того, что совпадение по объему выражений «холостяк» и «неженатый человек» опирается скорее на значение, нежели на какие-то случайные эмпирические обстоятельства, как это происходит в случае совпадения по объему выражений «существо, обладающее почками» и «существо, обладающее сердцем».

С точки зрения большинства целей совпадение выражений по объему в наибольшей степени приближается к синонимии, которая нам нужна. Однако остается тот факт, что совпадение по объему оказывается лишенным когнитивной синонимии того типа, что требуется для объяснения аналитичности в виде § 1. Тот вид когнитивной синонимии, который нам требуется, должен быть таким, чтобы он приравнивал синонимичность выражений «холостяк» и «неженатый человек» к аналитичности предложения (3), а не просто к его, то есть предложения (3), истинности.

Итак, нам следует признать, что взаимозаменяемость *salva veritate*, если конструировать ее относительно экстенционального языка, не является достаточным условием когнитивной

⁸В работе “From a Logical Point of View”, p. 81, содержится описание такого точно языка, за исключением разве что того, что в том языке имеется только один предикат, а именно, двухместный предикат «е».

⁹См.: Quine W. V. From a Logical Point of View, pp. 5–8; 85 и далее; 166 и далее.

¹⁰См.: Quine W. V. From a Logical Point of View, p. 87.

¹¹По поводу подобного рода требований см. также очерк VIII.

¹²В этом суть работы: Quine W. V. Mathematical Logic. New York: Norton, 1940.

синонимии в смысле, требуемом для выведения аналитичности тем способом, что был предложен в § 1. Если же язык содержит интенциональное наречие «необходимо» в том смысле, что был отмечен впоследствии, или же иные частицы подобного рода, то взаимозаменяемость *salva veritate* в таком языке и в самом деле обеспечивает достаточное условие когнитивной синонимии; но такой язык является мыслим лишь постольку, поскольку всегда уже заранее предполагается понятие аналитичности.

Попытка объяснить сперва когнитивную синонимию ради того, чтобы вывести аналитичность в том виде, как она была предложена в § 1, является, возможно, ошибочным подходом. Напротив, мы можем попробовать объяснить понятие «аналитичность», не прибегая к понятию когнитивной синонимии. Несомненно, что после этого мы могли бы при желании вывести познавательную синонимию из аналитичности. Мы видели, что когнитивная синонимия выражений «холостяк» и «неженатый человек» может быть объяснена как аналитичность (3). То же самое объяснение работает для любой пары одноместных предикатов, конечно, и оно может быть распространено на многоместные предикаты. Другие синтаксические категории также могут быть введены сходным образом. Можно сказать, что единичные термины являются когнитивно синонимичными, когда высказывание тождества, образованное посредством проставления « \Rightarrow » между ними, является аналитическим. Высказывания могут быть признаны познавательно синонимичными, когда двойное условное высказывание (*biconditional*), образованное из них при помощи выражения «тогда и только тогда», является аналитическим¹³. Если мы стремимся подвести все категории под одну формулировку, то используя понятие «слово», к которому мы уже обращались ранее в этом разделе, мы можем описать две лингвистические формы как когнитивно синонимичные, когда эти две формы являются взаимозаменяемыми (за исключением происходящего внутри «слов») *salva* (но не *veritate*, а *analyticitate*. Несомненно, что в этом случае возникают технические проблемы определенного рода, связанные, в частности, со случаями двусмысленности или омонимии; но давайте не будем на них задерживаться, поскольку мы и так уже отклонились от темы. Давайте лучше оставим в покое проблему синонимии и обратимся снова к проблеме аналитичности.

4 Семантические правила

Аналитичность на первый взгляд представлялась проще всего определимой путем обращения к царству значений. Выражаясь более изысканно, обращение к значениям открывает путь к обращению к синонимии или определению. Однако определение оказалось блуждающим огоньком; к тому же выяснилось, что лучшего понимания синонимии можно достичь только путем предваряющего обращения к самой аналитичности. Так что мы опять возвращаемся к проблеме аналитичности.

Я не знаю, является ли высказывание «Все зеленое – протяженно» аналитическим. Так вот – в самом ли деле моя нерешительность по отношению к вышеприведенному примеру выдает мое непонимание, мое неполное постижение значения слов «зеленый» и «протяженный»? Я думаю, что нет. Проблема заключается не в «зеленом» и не в «протяженном», она заключается в «аналитичном».

Часто указывают, что трудность отделения аналитических высказываний от синтетических в обыденном языке вызвана смутностью обыденного языка и что это различие является ясным, когда мы имеем точный искусственный язык с явно выраженными «семантическими правилами». Это, однако, как я надеюсь показать, является ошибкой.

То понятие аналитичности, о котором мы беспокоимся, есть некое отношение, которое, как предполагается, существует между высказываниями и языком; высказывание *S* считается

¹³Выражение «тогда и только тогда» понимается здесь в истинностно-функциональном ключе. См.: Carnap R. *Meaning and Necessity*. Chicago: University of Chicago Press, 1947, p. 14.

аналитическим для языка L , и проблема заключается в том, чтобы прояснить это отношение в общем, т. е. для переменных « S » и « L ». Сложность этой проблемы не в меньшей мере заметна в искусственных языках, чем в естественных. Проблема осмысления идиомы « S является аналитическим в языке L », с переменными « S » и « L », сохраняет свою неподатливость, даже если мы ограничиваем область переменных « L » искусственными языками. Позвольте мне теперь пояснить это обстоятельство.

Когда речь заходит об искусственных языках и семантических правилах, мы обычно обращаемся к работам Карнапа. Его семантические правила принимают различные формы, и для того, чтобы сформулировать свою идею, я должен различить некоторые из них. Для начала предположим искусственный язык L_0 , семантические правила которого имеют форму явного определения, рекурсивного или иного, всех аналитических высказываний языка L_0 . Правила утверждают, что определенные высказывания, и только они, являются аналитическими в языке L_0 . Проблема в этом случае состоит просто-напросто в том, что правила упоминают слово «аналитический», которое мы не понимаем! Мы понимаем, каким выражениям правила приписывают аналитичность, но не понимаем, что за свойство правила приписывают этим выражениям. Короче говоря, прежде чем мы поймем правило, которое начинается фразой «Высказывание S является аналитическим относительно языка L_0 тогда и только тогда...», мы должны понимать общий относительный термин «аналитический относительно»; мы должны понимать выражение « S является аналитическим относительно L », где « S » и « L » представляют собой переменные.

Мы можем действовать и противоположным образом и считать так называемое семантическое правило конвенциональным определением нового простого символа «аналитично относительно L_0 », которое лучше было бы нетенденциозно записать как « K » с тем, чтобы оно не раскрывало смысл интересующего нас слова «аналитический». Само собою понятно, что любое множество классов высказываний K , M , N и т.д. языка L_0 может быть специфицировано в различных целях либо же безотносительно к какой-то цели; но что означает утверждение, что K , в противоположность M , N и т.д., представляет собой класс «аналитических» высказываний языка L_0 ?

Утверждая, что высказывания являются аналитическими относительно языка L_0 , мы объясняем выражение «аналитический относительно языка L_0 », но не выражения «аналитический» или «аналитический относительно». Мы не приступаем к объяснению идиомы « S является аналитическим относительно L », содержащей переменные « S » и « L », даже если мы склонны ограничить диапазон « L » областью искусственных языков.

В действительности мы знаем достаточно относительно подразумеваемой значимости «аналитического» для того, чтобы отдавать себе отчет в том, что аналитические высказывания относятся к разряду истинных. Давайте поэтому обратимся ко второй форме семантического правила, которая утверждает не аналитический характер высказываний, а их истинность. Это правило защищено от критики постольку, поскольку оно не содержит непонятное слово «аналитический»; одновременно для простоты аргумента мы можем признать, что более широкий термин «истинный» не встречается с затруднениями. Семантическое правило этого второго типа, правило истинности, не нацелено на то, чтобы выделять все истины языка; оно просто обуславливает, рекурсивно или каким-либо иным образом, определенное множество высказываний, которые, наряду с другими неспецифицированными высказываниями, мы должны считать истинными. Такое правило может считаться достаточно прозрачным. Поэтому в производном смысле аналитичность может быть выделена следующим образом: высказывание аналитично, если оно является не просто истинным, но истинным согласно семантическому правилу.

На самом деле тут нет никакого продвижения вперед. Вместо того, чтобы обращаться к необъясненному слову «аналитический», мы теперь обращаемся к необъясненной фразе «семантическое правило». Не всякое истинное высказывание, которое утверждает, что высказы-

вания некоторого класса являются истинными, может считаться семантическим правилом – в противном случае все истины были бы «аналитическими» в том смысле, что они были бы истинными согласно семантическим правилам. Очевидно, что семантические правила различимы только благодаря факту своего появления на странице под заголовком «Семантические правила», и сам этот заголовок поэтому лишен всякого смысла.

Конечно же, мы можем сказать, что высказывание является *аналитическим относительно L_0* тогда и только тогда, когда оно является истинным в соответствии с определенными специально введенными «семантическими правилами», но в результате мы оказываемся отброшенными к ситуации, которую обсуждали с самого начала: «Высказывание S является аналитическим относительно языка L_0 тогда и только тогда...». Если же мы пытаемся объяснить фразу «Высказывание S является аналитическим относительно языка L » как таковую для переменной « L » (даже при условии, что диапазон « L » ограничивается искусственными языками), то объяснение фразы «истинно согласно семантическому правилу L » оказывается недостижимым для нас, поскольку относительный термин «семантическое правило чего-либо» столь же нуждается в прояснении, как и термин «является аналитическим относительно».

Поучительно сопоставить понятие семантического правила с понятием постулата. В отношении данного множества постулатов нетрудно сказать, что собой представляет постулат: он является членом множества. В отношении данного множества семантических правил равным образом нетрудно сказать, что собой представляет семантическое правило. Но если рассматривать символику, математическую или иную, сколь угодно тщательно, с точки зрения перевода условий истинности его высказываний, то кто может сказать, какие из ее истинных высказываний следует считать постулатами? Само собою понятно, что вопрос этот не имеет смысла – точно так же, как лишен смысла вопрос о том, какие точки в Огайо являются начальными. Любое конечное (или эффективно выбранное бесконечное) множество высказываний (желательно истинных) является множеством постулатов в *той же степени*, что и любое другое. Слово «постулат» имеет значение только применительно к акту исследования; мы применяем это слово к множеству высказываний лишь постольку, поскольку нам случилось, на год или на данный момент, мыслить эти высказывания в их отношении к высказываниям, которые могут быть получены из первых при помощи ряда трансформаций, к которым приковано наше внимание. Итак, понятие семантического правила столь же осязаемо и наделено смыслом, сколь и понятие постулата, если только оно мыслится нами в том же самом относительном ключе – относительном в данном случае применительно к тому или иному отдельному предприятию, нацеленному на обучение необученных людей в подходящих условиях к истинности высказываний некоторого естественного или искусственного языка L . Однако с этой точки зрения ни одно выделение подкласса истин языка L не является по существу своему в большей степени семантическим правилом, нежели иное; и если «аналитический» означает «истинный в силу семантических правил», ни одно истинное высказывание языка L не является аналитическим в большей степени, чем иное¹⁴.

На это можно было бы возразить, что искусственный язык L , в отличие от естественного, представляет собой язык в обычном смысле этого слова *плюс* ряд семантических правил – и вместе они образуют, скажем так, упорядоченную пару; соответственно, можно было бы сказать, что семантические правила языка L поддаются выделению в качестве второго компонента пары, составляющей L . Но, выражаясь теми же самыми словами еще проще, мы можем истолковать искусственный язык L с самого начала как упорядоченную пару, чьим вторым компонентом является класс аналитических высказываний; и тогда аналитические высказывания языка L поддаются выделению просто как высказывания, входящие во второй компонент L . Или даже лучше, мы могли бы просто прекратить попытки пробиться без посторонней помощи.

¹⁴Предыдущий параграф не был частью данного очерка в его первоначальном виде. Он был подсказан мне Мартином, равно как и завершающий раздел очерка 7.

Отнюдь не все объяснения аналитичности, известные Карнапу и его читателям, были приняты во внимание в вышеизложенных размышлениях, однако нетрудно распространить их и на другие формулировки этого понятия. Надо упомянуть только один дополнительный фактор, который периодически играет важную роль: иногда семантические правила являются в действительности правилами перевода на обыденный язык, и в этом случае аналитические высказывания искусственного языка считаются таковыми в силу аналитичности их переводов в обыденном языке. Понятно, что со стороны искусственного языка нельзя ожидать устранения проблемы аналитичности.

С точки зрения проблемы аналитичности понятие искусственного языка, снабженного семантическими правилами, является *feu follet par excellence*. Семантические правила, определяющие аналитические высказывания искусственного языка, представляют интерес лишь постольку, поскольку мы уже понимаем понятие аналитичности; они не в состоянии помочь нам добиться этого понимания.

Обращение к гипотетическим искусственным языкам, обладающим относительно простой структурой, могло бы, по всей видимости, быть полезным при прояснении аналитичности, если бы ментальные, или поведенческие, или культурные факторы, связанные с аналитичностью – какими бы они ни были – были бы в общих чертах описаны в этой упрощенной модели. Однако модель языка, в котором аналитичность рассматривается просто как определенное, ни к чему не сводимое свойство, не в состоянии поспособствовать нам в экспликации аналитичности.

Само собою понятно, что истина как таковая зависит как от языка, так и от экстралингвистических фактов. Высказывание «Брут убил Цезаря» было бы ложным, если бы мир был иным в определенных отношениях; но оно было бы ложным и в том случае, если бы слово «убил» обладало бы скорее значением «породил». Поэтому появляется склонность предположить, что истинность высказывания можно каким-то образом разделить на лингвистический компонент и фактический компонент. Коль скоро дано это предположение, разумно было бы предложить, что в некоторых высказываниях фактический компонент сведен к нулю; это и будут аналитические высказывания. Но, при всей ее априорной разумности, граница между аналитическими и синтетическими высказываниями просто не была проведена. То, что подобного рода различие вообще должно быть проведено, есть неэмпирическая догма эмпириков, метафизический символ веры.

5 Верификационистская теория и редукционизм

В ходе этих безрадостных размышлений мы смутно рассмотрели сперва понятие значения, затем понятие когнитивной синонимии и, наконец, понятие аналитичности. Но как, могут спросить, обстоит дело с верификационистской теорией значения? Эта фраза столь прочно заняла место лозунга эмпиризма, что мы не были бы людьми научного склада, если бы не попробовали отыскать в ней ключ к проблеме значения, а также к родственным проблемам.

Верификационистская теория значения, которая получила распространение в философской литературе со времен Пирса, утверждает, что значение высказывания есть метод его эмпирического подтверждения или неподтверждения. Аналитическое высказывание представляет собой такой предельный случай, который подтверждается чем угодно.

Как я утверждал в § 1, мы можем отложить в сторону проблему значений как сущностей и сразу перейти к проблеме сходства (*sameness*) значения, или синонимии. В этом случае верификационистская теория утверждает, что высказывания являются синонимичными, если и только если они сходны с точки зрения метода их эмпирического подтверждения или неподтверждения.

Это объяснение относится не к когнитивной синонимии лингвистических форм как таковых, но к когнитивной синонимии высказываний¹⁵. Тем не менее мы могли бы при помощи рассуждений, сходных с рассуждениями, встречающимися в конце § 3, вывести из понятия синонимии высказываний понятие синонимии для других лингвистических форм. Допуская понятие «слово», мы могли объяснить две любые формы как синонимичные, когда подстановка одной формы на место вхождения другой в любом высказывании (исключая вхождения внутри самих «слов») дает синонимичное высказывание. Наконец, если дано понятие синонимии для лингвистических форм как таковых, мы могли бы определить аналитичность в терминах синонимии и логической истины, как в § 1. В этом отношении мы могли бы определить аналитичность еще проще в терминах синонимии высказываний вместе с логической истиной; нет необходимости обращаться к синонимии каких-то иных лингвистических форм, кроме высказываний. Ибо высказывание может быть описано как аналитическое в том случае, если оно синонимично логически истинному высказыванию.

Итак, если верификационистская теория может быть принята в качестве адекватного объяснения синонимии высказываний, понятие аналитичности сохраняется. Однако давайте поразмыслим. Мы утверждали, что синонимия высказываний есть сходство метода эмпирического подтверждения или неподтверждения. Что это за методы, которые сравниваются в отношении их сходства? Какова, иными словами, природа отношения между высказыванием и опытами, которые говорят за или против его подтверждения?

Самым простым объяснением этого отношения является точка зрения непосредственного отчета. Это – *радикальный редукционизм*. Всякое осмысленное высказывание считается переводимым в высказывание (истинное или ложное), касающееся непосредственного опыта. Радикальный редукционизм в той или иной своей форме предшествует так называемой верификационистской теории значения. Так, Локк и Юм считают, что всякая идея должна или непосредственно возникать из чувственного опыта, или же быть составленной из идей, таким вот образом возникших; следуя указаниям Тука, мы могли бы перефразировать эту доктрину на семантическом жаргоне, указав, что для того, чтобы быть значимым, термин должен либо быть именем чувственных данных, либо должен быть составлен из таких имен, либо должен быть аббревиатурой для такого составного имени. Будучи сформулирована подобным образом, эта доктрина остается двусмысленной в силу того, что чувственно данными считаются как чувственные события, так и чувственные качества; она остается двусмысленной и в отношении приемлемых способов составления [сложных имен из простых]. Более того, эта доктрина не является необходимой и терпимой в силу той ограниченной – термин за термином – процедуры редукции, которую она предполагает. Более разумно, и притом не выходя за границы радикального редукционизма, было бы предположить, что нам следует рассматривать высказывание в целом в качестве значимой единицы – что предусматривает, что наши высказывания как отдельные единицы переводимы на язык чувственных данных, хотя они и непередаваемы термин за термином.

Это улучшение, несомненно, приветствовалось бы Локком, Юмом и Туком, но исторически оно должно было дожидаться важной смены ориентации в рамках семантики, в результате которой первичным носителем значения стали считать не термин, а высказывание. Эта переориентация, ясно дающая о себе знать у Фреге¹⁶, лежит в основании расселовского понятия

¹⁵ Эта доктрина, конечно же, может быть сформулирована применительно к терминам, а не к высказываниям в качестве единиц анализа. Так, Льюис описывает значение термина как «*критерий, находящийся в уме*, благодаря обращению к которому человек способен применить или же отказаться от применения соответствующего выражения в случае, когда имеются данные, или же воображаемые, вещи или ситуации» (Lewis C. I. *An Analysis of Knowledge and Valuation*. La Salle: Open Court, 1946, p. 133). По поводу убедительного объяснения заключений верификационистской теории значения, правда, скорее в связи с проблемой осмысленности, нежели чем с проблемами синонимии и аналитичности, см. Гемпеля (Hempel C. G. *Problems and Changes in the Empiricist Criterion of Meaning* // *Revue Internationale de Philosophie*, №4, 1950, pp. 41–63).

¹⁶ Frege G. *Foundations of Arithmetic*. New York: Philosophical Library, 1950, § 60.

неполных символов, определяемых в употреблении¹⁷; она также неявно предполагается верификационистской теорией значения, поскольку объектами верификации являются высказывания.

Радикальный редукционизм, который теперь имеет дело с высказываниями как единицами анализа, ставит перед собой задачу выделения языка чувственных данных и показа того, как предложение за предложением перенести на него остальную часть научного дискурса. Карнап реализует этот проект в «Aufbau».

Язык, который Карнап принимает в качестве исходного, не был языком чувственных данных в его узком смысле, поскольку он включал в себя также логические символы, вплоть до теории множеств. В действительности он включал в себя весь язык высшей математики в целом. Заключение в нем онтология (т. е. область значения его переменных) охватывала не только чувственные события, но и классы, классы классов и так далее. Эмпириками были те, кто в испуге останавливался перед такой щедростью. Исходный пункт Карнапа был, однако, довольно экономным в том, что касалось его не-логической или чувственной части. В серии конструкций, при построении которых Карнап с большой изобретательностью использовал ресурсы современной логики, он преуспел в определении большого ряда важных дополнительных чувственных понятий, которые, если бы они не служили целям его конструкций, вряд ли можно было бы вообразить определимыми на такой скудной основе. Карнап был первым эмпириком, который, не довольствуясь идеей сводимости науки к терминам непосредственного опыта, предпринял серьезные шаги для осуществления такой редукции.

Даже если исходный пункт Карнапа является удовлетворительным, то тем не менее его конструкции были, как он сам указывал, только отдельным фрагментом всей программы в целом. Конструкция даже простейших высказываний о физическом мире остается у него схематическим наброском. Тем не менее соображения Карнапа по этому поводу, несмотря на их схематичность, были весьма ценными. Он объяснил пространственно-временные точки-моменты как четверки действительных чисел и предусмотрел приписывание чувственных качеств точкам-моментам в соответствии с определенными правилами. Если обобщить эту позицию, то план заключался в том, чтобы приписывать чувственные качества точкам-мгновениям таким способом, чтобы получить [описание] мира, сравнимое с нашим опытом. Принцип минимального действия должен был быть нашим руководителем в конструировании мира из опыта.

Тем не менее Карнап, по-видимому, не признавал, что его размышление о физических объектах не позволяет осуществить редукцию не в силу своей схематичности, а в принципе. Высказывания формы «качество q в точке-мгновении $x; y; z; t$ » должны были, согласно его правилам, получить истинностные значения с тем, чтобы максимизировать и минимизировать определенные избыточные свойства, и с ростом опыта истинностные значения должны были бы прогрессивно пересматриваться в том же самом духе. Я думаю, что это правильное (хотя и чрезмерно упрощенное) описание научного исследования, однако оно не дает нам никаких указаний относительно того, как высказывание формы «качество q в точке-мгновении $x; y; z; t$ » могло бы быть переведено в исходный карнаповский язык чувственных данных и логики. Связка «находится в» является дополнительной неопределенной связкой; правила рекомендуют нам, как ее использовать, но не как ее устранить.

Впоследствии Карнап, как кажется, оценил это обстоятельство; поскольку в его поздних работах он отрицает все понятия переводимости высказываний о физическом мире в высказывания о непосредственном опыте. Редукционизм в его радикальной форме больше уже не встречается в философии Карнапа.

Однако догма редукционизма продолжала, хотя и в более утонченной форме, оказывать влияние на мышление эмпириков. Понятие утверждало, что со всяким высказыванием, или со всяким синтетическим высказыванием, ассоциируется однозначный ряд возможных чувственных данных (*event*), таких, что появление (*occurrence*) любого из них будет вносить вклад в

¹⁷См.: Quine W. V. From a Logical Point of View. New York: Harper, 1963, p. 6.

оценку данного высказывания как истинного, и что с ним ассоциируется также другой однозначный ряд возможных чувственных данных, таких, что событие любого из них будет вносить вклад в противоположную оценку данного высказывания. Это понятие в действительности скрыто подразумевается в верификационистской теории значения.

Догма редукционизма возрождается в предположении, что любое высказывание, взятое в изоляции от своих соседей, вообще может подтверждаться или не подтверждаться. Мое противоположное предположение, вытекающее, по существу, из учения Карнапа о физическом мире в «Aufbau», заключается в том, что наши высказывания о внешнем мире сталкиваются с трибуналом чувственного опыта не поодиночке, но исключительно в виде связанного целого¹⁸.

Догма редукционизма, даже в ее ослабленной форме, тесно связана с другой догмой, согласно которой существует различие между аналитическим и синтетическим. Таким образом, через верификационистскую теорию значения мы пришли от второй проблемы к первой. Говоря точнее, одна догма поддерживает другую следующим образом: если считается значимым говорить о подтверждении или неподтверждении отдельного высказывания чувственным опытом, то вполне осмысленно говорить также о предельном случае высказывания, которое подтверждается *ipso facto*¹⁹ чем угодно; и такое высказывание является аналитическим.

В действительности обе догмы являются тождественными. Мы выяснили, что в общем и целом истинность высказываний зависит как от опыта, так и от экстралингвистических фактов; и мы отметили, что это обстоятельство в свою очередь приводит к тому, что истинна высказывания может быть разложена на два компонента: на лингвистический компонент и фактический компонент. Фактический компонент должен, если мы являемся эмпириками, сводиться к ряду подтверждающих опытов. В предельном случае, когда лингвистический компонент составляет все содержание высказывания, истинное высказывание является аналитическим. Но я надеюсь, что теперь мы находимся под сильным впечатлением того, насколько упорно различие между аналитическим и синтетическим сопротивлялось какому-либо прямому очерчиванию. Кроме того, я впечатлен также и тем, вне зависимости от заранее приготовленных экземпляров черных и белых шаров, находящихся в урне, сколь трудной всегда была проблема выработки теории эмпирического подтверждения синтетического высказывания. Мое нынешнее предположение заключается в том, что это бессмыслица и источник еще большей бессмыслицы – говорить о лингвистической компоненте и фактической компоненте в истине каждого отдельного предложения. Взятая в целом, наука испытывает эту двойную зависимость от языка и опыта; однако эта двойственность не может быть осмысленно прослежена до высказываний науки, взятых по отдельности.

Идея определения символа в употреблении была попыткой разрешить проблему невозможности эмпиризма Локка и Юма, основанного на редукции, осуществляемой термин за термином. После Фреге уже скорее высказывание, чем термин, стало признаваться значимой единицей, подлежащей эмпирической критике. Однако в настоящее время я утверждаю, что, даже принимая в качестве единицы высказывание, мы проводим координатную сетку слишком робко. Единицей эмпирической значимости (*significance*) является вся наука в целом.

6 Эмпиризм без догм

Вся совокупность нашего так называемого знания или убеждений, начиная с не поддающихся обобщению фактов географии и истории и заканчивая основополагающими законами атомной физики и даже чистой математики и логики, есть человеческая конструкция, которая

¹⁸Эта доктрина отстаивалась Дюэмом (*Duhem P. La Théorie physique: son objet et sa structure. Paris, 1906, pp. 303–328*). Или же см.: Ловингера (*Lowinger A. The Methodology of Pierre Duhem. New York: Columbia University Press, 1941, pp. 132–140*).

¹⁹Тем самым (*лат.*).

соприкасается с опытом только по краям. Или, выражаясь по-иному, наука в целом подобна силовому полю, пограничными условиями которого является опыт. Конфликт с опытом на периферии вызывает перестройку внутри самого поля. Приходится перераспределить истинностное значение некоторых наших высказываний. Переоценка одних высказываний влечет за собой переоценку других в силу их логических взаимосвязей – логические законы оказываются, в свою очередь, просто определенными высказываниями системы, некоторыми элементами поля. Подвергнув переоценке одно высказывание, мы оказываемся вынужденными подвергнуть переоценке и целый ряд других, которые могут быть как высказываниями, логически связанными с первым высказыванием, так и высказываниями о самих логических взаимосвязях. Но поле в целом так определено в основе его пограничными условиями, опытом, что существует довольно широкий выбор в отношении того, какие высказывания подлежат переоценке в свете любого отдельного противоречивого опыта. Никакой отдельный опыт не связан с какими-либо отдельными высказываниями внутри поля иначе, нежели косвенно, благодаря соображениям равновесия, воздействующего на поле как целое.

Если эта точка зрения верна, то ошибочно говорить об эмпирическом содержании отдельного высказывания – в особенности если это высказывание, вообще отдаленное от опытной периферии поля. Более того, глупо искать границу между синтетическими высказываниями, истинность которых случайно обусловлена обстоятельствами, зависящими от опыта, и аналитическими высказываниями, которые истинны при любых обстоятельствах. Всякое высказывание может считаться истинным при любых обстоятельствах, если мы производим достаточно радикальные изменения где-то в системе. Даже высказывание, находящееся в непосредственной близости к периферии, может считаться истинным перед лицом противоречивого опыта – путем ссылки на галлюцинации или путем исправления высказываний определенного вида, именуемых логическими законами. И наоборот, ни одно высказывание не гарантировано от исправления. Исправление даже логического закона исключенного третьего было предложено в качестве средства упрощения квантовой механики; и какая принципиальная разница существует между этим поворотом событий и таким поворотом событий, когда Кеплер вытеснил Птолемея, или Эйнштейн – Ньютона, или Дарвин – Аристотеля.

Ради живости я рассуждал, используя термины изменяющихся расстояний от чувственной периферии. Позвольте мне теперь прояснить это понятие, не обращаясь к метафоре. Некоторые высказывания, хотя они и являются высказываниями о физических объектах, а не о чувственном опыте, выглядят особенно относящимися к чувственному опыту – причем избирательным образом: одни высказывания – к одним опытам, другие – к другим. Такие высказывания, в особенности относящиеся к отдельным чувственным опытам, я описываю как близкие к периферии. Однако под этим отношением «отнесенности» я имею в виду не более чем свободную ассоциацию, отражающую на практике относительную предпочтительность отбора нами скорее одного высказывания, чем другого, для исправления в случае противоречащего опыта. Например, мы можем обнаружить противоречивые опыты, с которыми мы, ясное дело, будем склонны согласовать нашу систему путем переоценки именно высказывания, что существуют каменные дома на Элм-стрит, вместе с другими высказываниями, относящимися в данной проблеме. Мы можем также вообразить другие противоречивые опыты, с которыми мы будем склонны согласовать нашу систему путем переоценки именно высказывания, что кентавров не существует, наряду с родственными высказываниями. Я утверждал, что противоречивый опыт может быть согласован путем любой из различных альтернативных переоценок в различных альтернативных частях всей системы в целом; однако в тех случаях, которые мы воображаем себе в данный момент, наша естественная тенденция затрагивать всю систему в целом как можно меньше приведет нас к тому, что мы сосредоточим наши исправления на специфических высказываниях, касающихся каменных домов на Элм-стрит и кентавров. Эти высказывания поэтому выглядят обладающими более четко выраженной эмпирической референцией, чем более теоретические высказывания физики, или логики, или онтологии. Эти

последние высказывания могут считаться находящимися приблизительно в центре всей сети в целом; это значит только то, что они имеют мало предпочтительной связи с какими-либо чувственными данными.

Как эмпирик, я продолжаю считать концептуальную схему науки инструментом для предсказания будущего опыта в свете прошлого опыта. Физические объекты концептуально вводятся в ситуацию как удобные посредники, причем не путем их объяснения в терминах опыта, но просто как несводимые постулируемые сущности (posits)²⁰, эпистемологически сопоставимые с богами Гомера. Что касается меня, то я, как правоверный физик, верю в физические объекты, а не в гомеровских богов, поскольку было бы научной ошибкой думать иначе. Но с точки зрения эпистемологии физические объекты и боги Гомера отличаются только по степени, а не в принципе. Оба типа сущностей входят в наше познание только как культурные постулируемые сущности. Миф о физических объектах эпистемологически превосходит большинство других мифов в том отношении, что он оказался более эффективным, чем другие мифы, в качестве устройства для выработки поддающейся управлению структуры потока опыта.

Постулирование не ограничивается уровнем макроскопических физических объектов. Объекты на атомном уровне постулируются для того, чтобы сделать законы макроскопических объектов, а в конечном счете и законы опыта, более простыми и более измеримыми; и нам нужно ожидать или требовать полного определения атомных и субатомных сущностей в терминах макроскопических сущностей не в большей степени, чем требовать определения макроскопических вещей в терминах чувственных данных. Наука является продолжением здравого смысла, и она продолжает его в смысле целесообразного увеличения онтологии для упрощения теории.

Физические объекты, большие и малые, не являются единственными постулированными сущностями; и теперь мы знаем, что граница между энергией и материей является устаревшей. Более того, абстрактные сущности, которые являются субстанцией математики, – классы, классы классов и так далее – являются другими постулированными сущностями в том же самом духе. Эпистемологически они являются мифами того же уровня, что и физические объекты и боги, не лучше, и не хуже, за исключением различий в той степени, в которой они упрощают наши контакты с чувственным опытом.

Алгебра рациональных и иррациональных чисел в целом недоопределена алгеброй рациональных чисел, но является более однородной и удобной; и она включает в себя алгебру рациональных чисел в качестве структурированной части²¹. Вся наука в целом, математическая, естественная и гуманитарная, сходным образом, хотя и в большей степени недоопределена опытом. Края системы должны согласовываться с опытом; целью же всей остальной части системы, со всеми ее тщательно разработанными мифами и фикциями, является простота законов.

Согласно этой точке зрения, онтологические вопросы находятся на одном уровне с вопросами естественной науки²². Рассмотрим вопрос, считать ли нам классы сущностями. Это, как я утверждал в другом месте, вопрос о том, проводить ли квантификацию относительно таких переменных, которые имеют своими значениями классы. Со своей стороны, Карнап²³ считал, что это вопрос не о факте, но о выборе подходящей языковой формы, подходящей концептуальной схеме или каркаса науки. Я согласен с этим, но только с тем добавлением, что то же самое верно и в отношении научных гипотез вообще. Карнап²⁴ признал, что он в состоянии сохранить двойной стандарт для онтологических вопросов и научных гипотез, только

²⁰ Quine W. V. *From the Logical Point of View*. New York: Harper, 1963, p. 17 и далее.

²¹ Quine W. V. *From a Logical Point of View*. New York: Harper, 1963, p. 18.

²² «L'ontologie fait corps avec la science elle-meme et ne peut en etre separee» (Meyerson E. *Identite et realite*. Paris, 1908; 4th ed., 1932, p. 439).

²³ Carnap R. *Empiricism, semantics and ontology* // *Revue internationale de philosophie*, № 4, 1950, pp. 20–40.

²⁴ *Ibid.*, p. 32, сноска.

допуская абсолютное различие между аналитическим и синтетическим; мне нет необходимости повторять, что это то самое различие, которое я отвергаю²⁵.

Вопросы о том, существуют ли классы, выглядят по большей части вопросами удобной концептуальной схемы; вопросы о том, существуют ли кентавры или каменные дома на Элм-стрит, выглядят скорее как вопросы факта. Однако я утверждал, что это различие является различием только по степени и что оно зависит от нашей смутно прагматической склонности приводить скорее одну, чем другую, нить конструкции науки в соответствие с каким-то отдельным противоречивым опытом. В таких выборах важную роль играет консерватизм, равно как и поиск простоты.

Карнап, Льюис и другие принимают прагматическую точку зрения на вопрос о выборе между лингвистическими формами, научными каркасами; но их прагматизм останавливается перед воображаемой границей между аналитическим и синтетическим. Отказываясь признавать такую границу, я поддерживаю более последовательный прагматизм. Всякий человек обладает научным наследием плюс непрерывным потоком чувственной стимуляции; и те размышления, что руководят им при приспособлении его научного наследия, чтобы оно соответствовало непрерывным чувственным стимуляциям, являются, коль скоро они рациональны, прагматическими.

OCR: Александр Гребеньков, greb@kursknet.ru

²⁵По поводу других убедительных сомнений по поводу этого различия см. Уайта (*White M. The analytic and the synthetic: an untenable dualism* // Hook S. (ed.), John Dewey: *Philosopher of Science and Freedom*. New York: Dial Press, 1950, pp. 316–330).

О том, что есть

Уиллард Ван Орман Куайн
Willard Van Orman Quine

2000

В книге:

Куайн Уиллард Ван Орман

Слово и объект. Перевод с англ. М.: Логос, Праксис, 2000. 386 с.

Книга представляет собой первое опубликованное на русском языке издание избранных работ крупнейшего аналитического философа XX века Уилларда Ван Ормана Куайна. Публикуемая в данном издании основополагающая работа американского философа «Слово и объект» внесла огромный вклад в философию языка. Книга будет интересна не только для философов, но также и для лингвистов, психологов, специалистов в области когнитивных наук и всех, кто интересуется современной философией.

ISBN-5-8163-0024-5

Перевод выполнен А.З. Черняком по изданию: Quine W. V. From a Logical Point of View. New York: Harper, 1963, pp. 1–19.

Онтологический вопрос на удивление незатейлив. Чтобы его задать, достаточно трех односложных англосаксонских слов: ‘What is there?’ («Что есть?»). А ответить на него можно вообще одним словом – «Все», и всякий признает такой ответ истинным. Однако дать такой ответ – все равно, что сказать: «Есть то, что есть». При этом мнения о том, что же все-таки есть, могут по-прежнему расходиться; и такое положение дел сохранялось на протяжении столетий.

Теперь предположим, что два философа, МакИкс и я, имеем разные взгляды на онтологию. Предположим, что МакИкс утверждает, будто есть нечто, чего, как я считаю, нет. МакИкс может, в полном согласии со своей точкой зрения, описать наше расхождение во мнениях, сказав, будто я отказываюсь признавать некоторые сущности. Я, конечно, должен буду возразить, что он неправильно формулирует наше несогласие, поскольку моя позиция состоит в убеждении, что сущностей заявленного им вида нет и что мне просто нечего признавать; но то, что я считаю его формулировку нашего несогласия неправильной, не имеет значения, так как я в любом случае обязан считать ложными его онтологические взгляды.

Но если, с другой стороны, я попытаюсь сформулировать различие наших взглядов, то, похоже, сам окажусь в затруднении. Я не могу признать, что есть нечто, существование чего МакИкс допускает, а я нет, поскольку мое признание того, что есть нечто, что он допускает, а я нет, будет противоречить моему собственному отрицанию этого нечего.

Если бы это соображение было правильным, то в любом онтологическом споре отрицающая сторона страдала бы неспособностью признать свое несогласие с оппонентом.

Это – старая платоновская загадка небытия. Небытие должно в каком-то смысле быть; иначе чего же, собственно, нет? Эту запутанную доктрину можно было бы назвать *бородой*

Платона; исторически она доказала, что представляет собой большую сложность, часто при- тупляя лезвие бритвы Оккама.

Примерно такие рассуждения заставляют философов, подобных МакИксу, приписывать бытие там, где они вполне могли бы при других обстоятельствах удовлетвориться признанием отсутствия чего бы то ни было. Так, возьмем для примера Пегаса. Если бы Пегаса *не было*, утверждает МакИкс, то мы не могли бы говорить о чем-либо, используя это слово; следовательно, бессмысленно было бы даже говорить, что Пегаса нет. Он заключает, что Пегас есть, думая тем самым показать, что отрицание Пегаса не может быть когерентным.

МакИкс, конечно, не может окончательно убедить себя в том, что какая-либо близкая или удаленная пространственно-временная область содержит летающую лошадь из плоти и крови. Тогда, не имея более детального описания Пегаса, он говорит, что Пегас – это идея в человеческих умах. Но тут начинается явная путаница. Для пользы аргумента можно допустить, что есть такая сущность, и даже – единственная в своем роде (хотя это – еще менее правдоподобно), как ментальная идея Пегаса; но люди говорят не об этой ментальной сущности, когда отрицают существование Пегаса.

МакИкс никогда не спутает Парфенон с идеей Парфенона. Парфенон – физическая сущность, идея Парфенона – ментальная (во всяком случае, согласно тому представлению об идеях, которое разделяет МакИкс, а у меня нет лучшего предложения). Парфенон можно видеть, а идея Парфенона невидима. Трудно представить себе две вещи, более непохожие одна на другую и менее расположены к тому, чтобы их путали, чем Парфенон и идея Парфенона. Но когда мы переходим от Парфенона к Пегасу, возникает путаница – и причина этого только одна: МакИкс скорее позволил бы себе быть обманутым грубейшей и самой вопиющей фальшивкой, чем признать небытие Пегаса.

Представление о том, что Пегас должен быть, а иначе бессмысленно было бы говорить даже, что его нет, похоже, привело МакИкса к элементарному заблуждению. Более утонченные умы, исходя из того же предписания, строят теории Пегаса, не столь явно основанные на заблуждении, как теория МакИкса; и их взгляды, соответственно, труднее искоренить. Пусть одного из таких более утонченных мыслителей зовут Вимен. Бытие Пегаса, утверждает Вимен, представляет собой не воплощенную в действительность возможность. Когда мы говорим о Пегасе, что его нет, мы, собственно, говорим тем самым, что Пегас не имеет особого атрибута наличия в действительности (*actuality*). Сказать, что Пегас не действителен, – логически то же самое, что сказать, что Парфенон не красный; в обоих случаях мы утверждаем нечто о сущности, чье бытие несомненно.

Кстати, Вимен – один из тех философов, которые общими усилиями загубили старое доброе слово «существовать». Хотя он признает не воплощенные в действительность возможности, но ограничивает применение слова «существование» действительностью, сохраняя таким образом иллюзию онтологического согласия между ним и нами, отвергающими остальную часть его раздутой вселенной. Мы были склонны, употребляя слово «существовать» в согласии со здравым смыслом, говорить, что Пегас не существует, имея в виду только, что такой сущности нет. Если бы Пегас существовал, он, конечно, должен был бы находиться в пространстве и времени, но – только в силу того, что слово «Пегас» имеет пространственно-временные коннотации, а не потому, что такие коннотации имеет слово «существовать». Если в нашем утверждении существования кубического корня из 27 отсутствует пространственно-временная координата, то причина этого – в том, что кубический корень не является вещью пространственно-временного вида, а не в том, что наше употребление слова «существовать» двусмысленно¹. Однако Вимен, стараясь казаться согласным с нами, благодушно признает, что Пегас не существует, а затем, в противоположность тому, что мы разумели под несуществова-

¹ Отчасти, возможно, идея, согласно которой наблюдение природы соответствует только вопросам о существовании первого вида, побуждает проводить терминологическое различие между существованием как характеристикой объектов, воплощенных в действительность где-либо в пространстве и времени, и существованием (или

нием Пегаса, настаивает на том, что Пегас *есть*. Существование (*existence*), говорит он – это одно, а субсистенция (*subsistence*) – другое. Единственный известный мне способ справиться с таким помутнением сознания – *отдать* Вимену слово «существовать». Я постараюсь больше его не использовать; у меня все еще остается «есть». Но хватит лексикографии; вернемся к онтологии Вимана.

Перенаселенная вселенная Вимана непривлекательна во многих отношениях. Она оскорбляет эстетическое чувство тех из нас, кто имеет склонность к пустынным пейзажам; но это – не худшая ее характеристика. Вимановы трущобы возможного – рассадник неупорядоченных элементов. Возьмем, к примеру, возможного толстого человека в этом дверном проеме и еще – возможного лысого человека в этом дверном проеме. Это один возможный человек или два возможных человека? Как можно решить эту проблему? Каким образом много возможных людей находятся в этом дверном проеме? Больше ли там возможных худых людей, чем возможных толстых? Сколько среди них одинаковых? Или – будут ли все они одним возможным человеком вследствие их одинаковости? Верно ли, что никакие *две* возможные вещи не являются одинаковыми? То же ли это самое, что сказать, что невозможно, чтобы две вещи были одинаковыми? Или, наконец, может быть понятие тождества просто неприменимо к не воплощенным в действительность возможностям? Но какой смысл может иметь разговор о сущностях, о которых нельзя осмысленно утверждать, что они тождественны сами себе и отличны одна от другой? С подобного рода неупорядоченностью почти что ничего нельзя поделать. Можно было бы предпринять некоторые усилия по их реабилитации путем фрегеанской терапии индивидуальных понятий²; но мне кажется, лучше просто вычистить Вимановы трущобы и этим ограничиться.

Я не имею в виду, что возможность, наряду с другими модальностями – необходимостью, невозможностью и случайностью, – ставит проблемы, от которых следует отвернуться. Но мы можем, по крайней мере, ограничить модальности целыми высказываниями (*statements*). Можно подчинить наречию «возможно» целое высказывание и озаботиться семантическим анализом такого его употребления; но не стоит надеяться, что такой анализ действительно позволит расширить нашу вселенную до такой степени, чтобы она включала в себя так называемые *возможные сущности*. Я подозреваю, что главным мотивом для такого расширения является всего лишь старое представление о том, что Пегас, например, должен быть, так как иначе было бы бессмысленно даже говорить, что его нет.

Тем не менее все чрезмерное богатство вселенной возможностей Вимана, похоже, будет сведено к нулю, если мы немного изменим пример и будем говорить не о Пегасе, а о круглом квадратном куполе Беркли-колледжа. Если о Пегасе бессмысленно было бы говорить, что его нет, если бы его не было, то таким же самым образом, если бы не было круглого квадратного купола Беркли-колледжа, то было бы бессмысленно говорить о нем, что его нет. Однако, в отличие от Пегаса, круглый квадратный купол Беркли-колледжа нельзя признать даже в качестве не воплощенной в действительность *возможности*. Можем ли мы теперь подвести Вимана к признанию еще и царства не воплощаемых в действительность невозможностей? Если да, то относительно них можно задать довольно много неудобных вопросов. Можно даже надеяться поймать Вимана на противоречии самому себе, заставив его признать, что некоторые из этих сущностей одновременно круглые и квадратные. Но хитрый Виман по-другому решает эту дилемму и признает, что говорить, будто нет квадратного круглого купола Беркли-колледжа – значит высказывать бессмыслицу. Он утверждает, что фраза «круглый квадратный купол» не имеет значения (*meaningless*).

субсистенцией, или бытием) как характеристикой других сущностей. Но эта идея легко опровергается такими контрпримерами, как «отношение числа кентавров к числу единорогов». Если бы имела такая пропорция, то она была бы абстрактной сущностью, а именно числом. Между тем, только изучая природу, мы заключаем, что как число кентавров, так и число единорогов равны нулю, а следовательно – что нет такой пропорции.

²См. Quine W.V. From a Logical Point of View. New York: Harper, 1963, p. 152.

Виман не первый, кто воспользовался этой альтернативой. Доктрина бессмысленности (*meaninglessness*) противоречий не нова. Более того, эта традиция сохранена авторами, которые, похоже, не разделяют ни одну из мотивировок Вимана. Все же было бы странно, если бы какая-то другая мотивировка, кроме той, что мы наблюдали у Вимана, могла в действительности послужить первичным искушением воспользоваться такой доктриной. В самом деле, эта доктрина не имеет никакой собственной привлекательности; и она привела своих приверженцев к таким донкихотским крайностям, как вызов методу доказательства путем *reductio ad absurdum* – вызов, в котором я вижу *reductio ad absurdum* самой доктрины.

Более того, доктрина бессмысленности противоречий имеет серьезный методологический недостаток – она не позволяет в принципе разработать эффективную процедуру проверки того, что является значащим (*meaningful*), а что нет. Мы навсегда потеряли бы возможность вырабатывать систематические методы решения относительно любого ряда знаков: осмыслен (*made sense*) он – хотя бы для каждого индивидуально, не учитывая других людей, – или нет. Ведь из открытия, сделанного в математической логике Черчем³, следует, что не может быть общей, применимой ко всем случаям, процедуры проверки противоречивости.

Я пренебрежительно отозвался о бороде Платона и намекнул на ее спутанность. Я подробно остановился на неудобствах, связанных с необходимостью ее терпеть. Пришло время подумать о том, чтобы принять меры.

Рассел в своей теории так называемых единичных дескрипций ясно показал, как можно было бы значащим образом (*meaningfully*) употреблять выражения, кажущиеся именами, не полагая, что есть сущности, якобы именуемые ими. Имена, к которым теория Рассела непосредственно применима, суть сложные дескриптивные имена, такие, как «автор *Уэверли*», «нынешний король Франции», «круглый квадратный купол Беркли-колледжа». Рассел подвергает такие фразы систематическому анализу как фрагменты целых предложений, в которых они встречаются. Например, предложение «Автор *Уэверли* был поэтом» как целое он объясняет как значащее: «Некто (лучше: нечто) написал *Уэверли* и был поэтом, и ничто другое не написало *Уэверли*». (Цель этого дополнительного простого предложения – утверждать единственность, подразумеваемую определенным артиклем ('the') в выражении '*the author of Waverley*' («автор *Уэверли*»)). Предложение «Круглый квадратный купол Беркли-колледжа розового цвета» объясняется как «Нечто есть круглое и квадратное и является куполом Беркли-колледжа, и розового цвета, и ничто другое не есть круглое и квадратное, и купол Беркли-колледжа»⁴.

Достоинство этого анализа состоит в том, что кажущееся имя, дескриптивная фраза, перефразируется в контексте как так называемый неполный символ. Никакое унифицированное выражение не предлагается в качестве анализа дескриптивной фразы, но высказывание в целом, будучи контекстом этой фразы, получает полноценное значение – истинно или ложно.

Неанализированное высказывание «Автор *Уэверли* – был поэтом» содержит часть «автор *Уэверли*», которой, как ошибочно считают МакИкс и Виман, требуется референция к объекту для того, чтобы вообще быть значащей. Но в переводе Рассела: «Нечто написало *Уэверли* и было поэтом, и ничто другое не написало *Уэверли*» – бремя референции к объекту, изначально лежавшее на дескриптивной фразе, принимают на себя слова того вида, который логики называют связанными переменными, переменными квантификации, а именно такие слова, как «нечто», «ничто», «все». Эти слова, будучи далеки от того, чтобы именовать именно автора «*Уэверли*», вообще не претендуют на то, чтобы быть именами; они соотносятся (*refer to*) с сущностями вообще, со специфической для них преднамеренной неоднозначностью⁵. Эти квантифицирующие слова или связанные переменные, разумеется, представляют собой главную часть языка, и то, что они являются значащими, по крайней мере в контексте, неоспоримо. Но их бытие значащими никоим образом не подразумевает бытие автора «*Уэверли*», или круг-

³Church A. A note on the Entscheidungsproblem // Journal of Symbolic Logic, № 1, 1936, pp. 40 f, 101f.

⁴Подробнее о теории дескрипций см.: Quine W. V. From a Logical Point of View, pp. 85 f., 166 f.

⁵Подробнее о связанной переменной см. Quine W. V. From a Logical Point of View, pp. 82, 102 f.

лого квадратного купола Беркли-колледжа, или каких-то других специально предварительно назначенных объектов.

Там, где речь идет о дескрипциях, уже нет никаких трудностей с утверждением или отрицанием бытия. Утверждение 'There is the author of *Waverley*' («Есть автор *Уэверли*») Рассел объясняет как значащее: «Некто (или, строже, нечто) написал *Уэверли* и ничто другое не написало *Уэверли*». Соответственно, утверждение 'The author of *Waverley* is not' («Нет автора *Уэверли*») он объясняет как чередование: «Или ни одна вещь не написала *Уэверли*, или две или больше вещей написали *Уэверли*». Это чередование ложно, но значаще; и оно не содержит никакого выражения, претендующего на именование автора «Уэверли». Утверждение «Нет круглого квадратного купола Беркли-колледжа» анализируется подобным же образом. Таким образом, старое представление о том, что высказывания о небытии саморазрушительны, оказывается за бортом. Когда утверждение бытия или небытия анализируется теорией дескрипций Рассела, оно перестает содержать какое-либо выражение, хотя бы претендующее именовать мнимую сущность, чье бытие под вопросом; таким образом, то, что высказывание является значащим, больше не может полагаться подразумевающим, что есть соответствующая сущность.

А что же с выражением «Пегас»? Это скорее слово, нежели дескриптивная фраза: аргумент Рассела к нему непосредственно неприменим. Тем не менее его легко можно сделать применимым к таким случаям. Следует только перефразировать «Пегас» в дескрипцию любым способом, который кажется адекватным представлению нашей идеи; скажем, «крылатая лошадь, пойманная Беллерофоном». Заменяя слово «Пегас» такой фразой, можно затем продолжить анализ высказывания «Пегас есть» или «Пегаса нет» точно по аналогии с анализом Расселом высказываний «Автор *Уэверли* есть» и «Автора *Уэверли* нет».

Так, для того чтобы подвести имя, состоящее из одного слова, или мнимое имя, такое, как «Пегас», под теорию дескрипций Рассела, мы, конечно, должны быть способны сначала перевести это слово в дескрипцию. Но это не является действительным ограничением. Если бы понятие о Пегасе было настолько темным или основополагающим, что известными способами нельзя было бы осуществить никакого точного перевода в дескриптивную фразу, нам тем не менее мог бы еще быть доступен следующий искусственный и кажущийся тривиальным прием: мы могли бы обратиться к *ex hypothesi* неанализируемому, неустранимому, атрибуту бытия *Пегасом*, принимая в качестве его выражения глагол 'is-Pegasus' («есть-Пегас») или 'pegasizes' («пегасит»). Само существительное «Пегас» тогда можно было бы рассматривать как производное и в конечном счете отождествить с дескрипцией: «то, что есть-Пегас», «то, что пегасит»⁶.

Ничего страшного нет в том, что введение такого предиката, как «пегасит», похоже, обязывает нас к признанию соответствующего атрибута – пегасирования – на платоновском небе или в умах людей. Ведь ни мы, ни Виман, ни МакИкс пока не спорили о бытии или небытии универсалий, но лишь о бытии или небытии Пегаса. Если в терминах пегасирования мы можем интерпретировать существительное «Пегас» как дескрипцию – предмет теории дескрипций Рассела, – то это избавляет нас от старого представления о том, что о Пегасе нельзя сказать, что его нет, без того, чтобы не предположить, что он в каком-то смысле есть.

Наш аргумент теперь приобрел достаточно общий вид. МакИкс и Виман полагают, что нельзя значимо утверждать высказывание формы 'So-and-so is not' («Того-то нет») с простым или дескриптивным единичным существительным на месте выражения 'so-and-so' («того-то»), если этого того-то нет. Теперь это предположение выглядит в целом достаточно беспочвенным, поскольку единичное существительное, о котором идет речь, всегда можно тривиальным или каким-то иным способом дополнить до единичной дескрипции, а затем проанализировать *a la* Рассел.

⁶Подробнее о такой ассимиляции всех единичных терминов к дескрипциям см. *Quine W. V. From a Logical Point of View*, p. 167; а также: *Quine W. V. Methods of Logic*. New York: Holt, 1950, pp. 218–224.

Когда мы говорим, что есть простые числа больше миллиона, мы обязываем себя принимать онтологию, содержащую числа; когда мы говорим, что есть кентавры, мы обязываем себя принимать онтологию, содержащую кентавров; а когда мы говорим, что есть Пегас, мы обязываем себя принимать онтологию, включающую пегаса. Но мы не обязываем себя принимать онтологию, содержащую Пегаса, или автора «Уэверли», или круглый квадратный купол Беркли-колледжа, когда мы говорим, что Пегаса, или автора «Уэверли», или купола, о котором идет речь, *нет*. Мы можем отбросить заблуждение, будто значимость предложения, содержащего единичный термин, предполагает именуемую им сущность. Единичный термин не нуждается в том, чтобы именоваться, для того чтобы быть значимым (*significant*).

Виман и МакИкс могли бы начать понимать это даже без помощи Рассела, если бы они только заметили – как слишком немногие из нас делают, – что между *значением* (*meaning*) и *наименованием* существует пропасть даже в том случае, когда единичный термин является настоящим именем объекта. Здесь будет уместен пример из Фреге⁷. Фраза «Вечерняя звезда» именуется большой физический объект сферической формы, несущийся сквозь пространство в десятках миллионов миль отсюда. Фраза «Утренняя звезда» именуется то же самое, как, вероятно, впервые было установлено каким-нибудь наблюдательным вавилонянином. Но эти две фразы нельзя считать имеющими одно и то же значение (*meaning*); иначе упомянутый вавилонянин мог бы оставить свои наблюдения и довольствоваться размышлениями о значениях своих слов. Значения же, будучи отличны одно от другого, должны отличаться от именуемого объекта, который является одним и тем же в обоих случаях.

Путаница значения с наименованием не только заставила МакИкса думать, что он не может осмысленно отрицать существование Пегаса, но и, продолжаясь, несомненно, способствовала возникновению его абсурдного представления о том, что Пегас – это идея, ментальная сущность. Структура его заблуждения следующая. Он путает мнимый *именуемый объект* Пегас со значением слова «Пегас», заключая, таким образом, что Пегас должен быть, чтобы слово имело значение. Но что за вещи – значения? Это спорный вопрос; тем не менее можно было бы вполне правдоподобно объяснять значения как идеи в уме, предполагая, что можно, в свою очередь, прояснить смысл идеи идей в уме. Таким образом, Пегас, первоначально перепутанный со значением, оказывается идеей в уме. Еще примечательнее то, что Виман, изначально мотивированный так же, как МакИкс, избежал этой серьезной ошибки, но при этом запутался в не воплощенных в действительность возможностях.

Теперь обратимся к онтологической проблеме универсалий: вопросу о том, есть ли такие сущности, как атрибуты, отношения, классы, числа, функции. МакИкс, что весьма характерно, полагает, что они есть. Говоря об атрибутах, он утверждает: «Есть красные дома, красные розы, красные закаты; это говорит нам дофилософский здравый смысл, с которым мы все должны соглашаться. Но эти дома, розы и закаты имеют что-то общее; и это общее – все, что я имею в виду, говоря об атрибуте красноты». Для МакИкса, таким образом, бытие атрибутов даже очевиднее и тривиальнее, чем тот очевидный и тривиальный факт, что есть красные дома, розы и закаты. Такой взгляд, я полагаю, характерен для метафизики или, по крайней мере, той части метафизики, которая называется онтологией: тот, кто считает, что высказывание на эту тему вообще истинно, должен считать его тривиально истинным. Индивидуальная онтология лежит в основе концептуальной схемы, в которой интерпретируется всякий опыт, даже самый банальный. Если об онтологическом утверждении судить изнутри определенной концептуальной схемы, – а как еще возможно такое суждение? – то оно проходит безоговорочно, не нуждаясь ни в каком отдельном обосновании. Онтологические утверждения непосредственно следуют из всех типов случайных утверждений банального факта, точно так же, как «Есть атрибут» следует из «Есть красные дома, красные розы, красные закаты», – во всяком случае, с точки зрения концептуальной схемы МакИкса.

⁷Frege G. On sense and nominatum // Feigl, H. and Sellars W. (ed.), Readings in Philosophical Analysis. New York: Appleton-Century-Crofts, 1949.

В другой концептуальной схеме аксиоматическое, с точки зрения МакИкса, онтологическое утверждение может быть признано ложным с равной непосредственностью и тривиальностью. Можно признавать, что есть красные дома, розы и закаты, но отрицать, что они имеют между собой что-то общее, допуская, разве что, что такова распространенная и вводящая в заблуждение форма речи. Слова «дома», «розы» и «закаты» истинны относительно разных индивидуальных сущностей – домов, роз и закатов, – а слово «красный», или «красный объект», истинно относительно каждой из различных индивидуальных сущностей, каковыми являются красные дома, красные розы, красные закаты; но в дополнение к этому ни слово «краснота», ни, по той же причине, слова «домовость», «розовость», «закатность» не именуют никаких сущностей, индивидуальных или иных. То, что дома и розы, и закаты, красные, можно считать основной и нередуцируемой характеристикой, и можно быть уверенным, что МакИкс не смог бы сделать большего для всех оккультных сущностей, которые он постулирует под такими именами, как «краснота», в том, что касается реальной объяснительной силы.

Одно средство, с помощью которого МакИкс естественно мог бы попытаться навязать нам свою онтологию универсалий, уже было устранено до того, как мы обратились к проблеме универсалий. МакИкс не может настаивать на том, что такие предикаты, как «красный» или «есть красный», которые мы все согласованно употребляем, должны считаться именами, каждый – единичной универсальной сущности, для того чтобы вообще иметь значение. Ведь мы увидели, что бытие именем чего-либо – это куда более специальная черта, чем бытие значащим. Он даже не может обвинить нас – по крайней мере, не с помощью *этого* аргумента – в том, что мы постулируем атрибут пегасения, допуская предикат «пегасит».

Тем не менее МакИкс использует другую хитрость. «Допустим, – говорит он, – есть это различие между значением и именованием, о котором вы так печетесь. Допустим даже, что «есть красный», «пегасит» и др. не являются именами атрибутов. Но все же вы признаете, что они имеют значения. Однако эти значения, именуемы они или нет, все равно являются универсалиями, и я бы сказал, что некоторые из них могли бы даже быть теми самыми вещами, которые я называю атрибутами, или чем-то очень похожим».

Для МакИкса это необычайно проницательная речь; и единственный известный мне способ парировать аргумент – отказаться признавать значения. Между тем я не испытываю никакого нежелания отказываться признавать значения, поскольку я не отрицаю тем самым, что слова и высказывания являются значащими. МакИкс и я можем быть согласны во всем, что касается нашего деления лингвистических форм на значимые и незначимые, даже несмотря на то, что МакИкс понимает значимость как *имение* (в определенном смысле слова «имение») некоей абстрактной сущности, которую он называет значением, а мое понимание значимости иное. Я по-прежнему волен утверждать, что тот факт, что некое данное языковое высказывание является значащим (или *значимым* (*significant*)), как я предпочитаю выражаться, чтобы не давать повода гипостазировать значения сущностями, есть основное и не редуцируемое положение дел; или я могу взяться его анализировать непосредственно в терминах того, что люди делают, когда имеют место данное языковое высказывание и другие, ему подобные.

Обычные способы успешно говорить, или как бы говорить, о значениях сводятся к двум: *имение* значений, т.е. значимость (*significance*), и *одинаковость* (*sameness*) значения, или синонимия. То, что называется *приданием* (*giving*) значения высказыванию, есть просто произнесение синонима, обычно сформулированного на более ясном языке по сравнению с языком исходного высказывания. Если у нас аллергия на значения как таковые, то мы можем прямо говорить о высказываниях как о значимых или незначимых и синонимичных или гетеронимичных одно другому. Проблема объяснения прилагательных «значимый» и «синонимичный» с какой-нибудь степенью ясности и строгости – предпочтительно, как я это вижу, в терминах поведения – столь же сложна, сколь и важна⁸. Но объяснительная ценность особых и нередуцируемых промежуточных сущностей, называемых значениями, наверняка, иллюзорна.

⁸См.: эссе 2 и 3 из сборника моих статей «From a Logical Point of View».

До настоящего момента я утверждал, что мы можем значимым образом употреблять в предложениях единичные термины, не предполагая тем самым, что есть некие сущности, которые эти термины нацелены именовать. Еще я утверждал, что мы можем употреблять общие термины, например предикаты, не обязывая их быть именами абстрактных сущностей. Далее, я утверждал, что мы можем считать высказывания значимыми и синонимичными или гетеронимичными одно другому, не поощряя признание царства сущностей, называемых значениями. В этом месте МакИкс начинает сомневаться, есть ли вообще предел нашему онтологическому иммунитету. Или *ничего* из того, что мы можем сказать, не будет обязывать нас признавать универсалии или другие сущности, которые мы можем счесть нежелательными?

Я уже предложил отрицательный ответ на этот вопрос, когда говорил о связанных переменных или переменных квантификации в связи с теорией дескрипций Рассела. Мы очень легко можем взять на себя онтологические обязательства, сказав, например, что *есть нечто* (связанная переменная), что красные дома и закаты имеют общего; или что *есть нечто*, представляющее собой простое число, большее миллиона. Но это, по существу, *единственный* способ, каким мы можем взять на себя онтологические обязательства: используя связанные переменные. Употребление мнимых имен – не критерий, поскольку мы можем без колебаний отказать им в именовании, если не сможем обнаружить соответствующую сущность в том, что мы утверждаем в терминах связанных переменных. На самом деле, все имена онтологически бессодержательны, так как я показал, в связи с выражениями «Пегас» и «пегасить», что из имен можно сделать дескрипции, а Рассел показал, что дескрипции можно устранить.

Все, что мы высказываем с помощью имен, можно высказать на языке, избегающем всяческих имен. Быть признанной сущностью значит не что иное, как считаться значением (*value*) переменной. Это примерно равносильно утверждению, в терминах категорий традиционной грамматики, что быть – значит находиться (*be*) в диапазоне референции местоимения. Местоимения являются основными средствами референции; существительным лучше бы подошло название местоместоимений (*pronouns*). Переменные квантификации – «нечто», «ничто», «все» – охватывают всю нашу онтологию, какая только может быть; и мы осуждены принимать частное онтологическое допущение, если, и только если, заявленное допускаемое (*presuppositum*) должно считаться находящимся среди сущностей, охватываемых нашими переменными, для того чтобы сделать истинным одно из наших утверждений.

Мы можем, например, сказать, что некоторые собаки белы, и не обязывать себя тем самым признавать собаковость или белизну сущностями. Выражение «Некоторые собаки белы» говорит, что некоторые вещи из тех, что являются собаками, являются белыми; и, для того чтобы это предложение было истинным, среди вещей, которые охватывает связанная переменная «нечто» ('something'), должны быть несколько белых собак, но не должно быть собаковости или белизны. С другой стороны, когда мы говорим, что некоторые зоологические виды перекрестно оплодотворяемы, мы обязываем себя признать сущностями несколько видов как таковых, несмотря на их абстрактность. Освободиться от этого обязательства мы сможем не раньше, чем выработаем какой-нибудь способ так перефразировать утверждение, чтобы показать, что кажущееся указание на виды нашей связанной переменной есть такой способ речи, которого можно избежать⁹.

Как ясно видно из примера простых чисел больше миллиона, классическая математика по шею увязла в обязательствах перед онтологией абстрактных сущностей. Выходит так, что великий средневековый спор об универсалиях вновь разгорелся в современной философии математики. Но теперь вопрос приобрел большую ясность, так как наши решения о том, к какой онтологии обязывает данная теория или форма речи, опираются на более четкий стандарт: теория обязывает к тем, и только тем, сущностям, на которые должны быть способны указывать связанные переменные этой теории для того, чтобы ее утверждения были истинными.

⁹Подробнее об этом см.: эссе 6 из сборника моих статей «From a Logical Point of View».

В силу того, что стандарт онтологического допущения не был явно порожден философской традицией, современные философы математики в целом не поняли, что они обсуждают ту же самую старую проблему универсалий в новой, проясненной форме. Но фундаментальные различия между современными взглядами на основания математики вполне очевидно сводятся к расхождениям в отношении того, на какой диапазон сущностей следует позволить указывать связанным переменным.

Историки различают три главные средневековые точки зрения по вопросу об универсалиях: *реализм*, *концептуализм* и *номинализм*. По существу, те же самые три доктрины возникают вновь в двадцатом веке в обзорах, посвященных философии математики, под новыми именами: *логицизм*, *интуиционизм* и *формализм*.

Реализм, как это слово употребляется в связи со средневековым спором об универсалиях, представляет собой платоновскую доктрину, утверждающую, что универсалии, или абстрактные, сущности независимы от сознания; сознание может открывать их, но не может их создавать. *Логицизм*, представленный Фреге, Расселом, Уайтхедом, Черчем и Карнапом, позволяет употреблять связанные переменные для указания на абстрактные сущности, не делая различия между известными и неизвестными, определяемыми и неопределяемыми.

Концептуализм признает универсалии, но как создания ума. *Интуиционизм*, в наше время разделяемый в той или иной форме Пуанкаре, Брауэром, Вейлем и другими, санкционирует употребление связанных переменных для указания на абстрактные сущности только тогда, когда эти сущности могут быть индивидуально приготовлены из заранее определенных ингредиентов. Как заметил Френкель, логицизм исходит из того, что классы открываются, в то время как интуиционизм считает, что они изобретаются, – это вполне относится и к старому противопоставлению реализма концептуализму. Это противопоставление не является простым софизмом; оно существенно для классической математики, в рамках которой можно разделять ту или иную позицию. Логицисты, или реалисты, способны, исходя из их допущений, получить канторовские восходящие порядки бесконечности; интуиционисты принуждены ограничиться самым низшим порядком бесконечности и, как косвенное следствие этого, отказаться даже от некоторых классических законов действительных чисел¹⁰. Современное противоречие между логицизмом и интуиционизмом фактически возникло из разногласий по поводу бесконечности.

Формализм, ассоциируемый с именем Гильберта, подобно интуиционизму, с сожалением относится к логицистскому разнузданному использованию универсалий. Но формализм также находит неудовлетворительным и интуиционизм. У такой оценки могла быть одна из двух противоположных причин. Формалист мог, подобно логицисту, возражать против нанесения вреда классической математике; или же он мог, подобно номиналистам в старом споре об универсалиях, возражать против допущения абстрактных сущностей как таковых, даже в ограниченном смысле сущностей как созданий ума. Результат в обоих случаях один и тот же: формалист считает классическую математику игрой незначимых (*insignificant*) способов записи. Эта игра тем не менее может быть полезной – в зависимости от того, насколько полезной она себя уже проявила в качестве подпорки для физиков и техников. Но польза не обязана подразумевать значимость в каком угодно буквальном лингвистическом смысле. Также не обязан подразумевать значимость и знаковый успех математиков в выведении теорем и в нахождении объективных оснований для согласования своих результатов. Ведь адекватное основание для согласия между математиками может обнаружиться просто в правилах, управляющих манипулированием символами (*notations*), – а эти синтаксические правила, в отличие от самих символов, вполне значимы и понятны¹¹.

¹⁰См.: Quine W. V. From a Logical Point of View, pp. 125 ff.

¹¹См.: Goodman N., Quine W. V. Steps toward a constructive nominalism // Journal of Symbolic Logic, № 12, 1947, pp. 105–122. Дальнейшее обсуждение общих вопросов, затронутых на последних двух страницах, см.: Bemays P. Sur le platonisme dans les mathematiques // L'Enseignement mathématique, № 34, 1935–1936, pp. 52–69; Fraenkel A.

Я утверждал, что может быть важно, какой тип онтологии мы допускаем, – особенно это касается математики, хотя она взята только в качестве примера. Как же нам решить спор между соперничающими онтологиями? Конечно, семантическая формула «Быть – значит быть значением переменной» не дает нам ответа на этот вопрос; эта формула, скорее наоборот, служит для проверки согласия любого данного замечания или доктрины с предшествующим онтологическим стандартом. Мы смотрим на связанные переменные в связи с онтологией не для того, чтобы знать, что есть, а для того, чтобы знать, что есть *согласно* данному замечанию или доктрине, нашей собственной или чьей-то еще; это, строго говоря, проблема языка. А что именно есть – другой вопрос.

Есть другие причины действовать семантически, обсуждая вопрос о том, что есть. Одна из них – желание избежать трудности, на которую мы обратили внимание в начале этого эссе: трудности, связанной с моей неспособностью допустить, что есть вещи, которые МакИкс признает, а я нет. До тех пор, пока я придерживаюсь своей онтологии, противоположной онтологии МакИкса, я не могу позволить моим связанным переменным указывать на сущности, относящиеся к онтологии МакИкса, но не к моей. Я могу тем не менее последовательно описывать наше несогласие, характеризуя утверждения МакИкса. Я могу говорить о предложениях МакИкса, просто на том основании, что моя онтология допускает языковые формы или, по крайней мере, конкретные надписи и высказывания.

Другая причина перехода на семантический уровень заключается в необходимости нахождения общей почвы для спора. Онтологическое разногласие предполагает разногласие в основаниях концептуальных схем; тем не менее, несмотря на эти разногласия в основаниях, МакИкс и я находим, что наши концептуальные схемы достаточно сходны в своих средних и высших разветвлениях, чтобы позволить нам успешно коммуницировать по таким вопросам как политика, погода и в особенности язык. В той мере, в какой наш основной спор об онтологии может быть переведен на уровень семантического спора о словах и о том, что с ними делать, разрушение этого спора сомнительными аргументами (*question-begging*) может быть отложено.

Таким образом, неудивительно, что онтологический спор должен перерасти в спор о языке. Но не следует спешить с выводом о том, что вопрос о том, что есть, зависит от слов. Переводимость вопроса в семантические термины еще не показатель того, что это лингвистический вопрос. Увидеть Неаполь – значит носить имя, которое, если поставить его впереди слов «видит Неаполь», дает истинное предложение; но в видении Неаполя при этом нет ничего лингвистического.

То, как мы принимаем онтологию, я думаю, в принципе подобно тому, как мы принимаем научную теорию – скажем, систему физики: мы допускаем, по крайней мере до тех пор, пока остаемся разумными существами, простейшую концептуальную схему, в которой можно согласовать и организовать разрозненные фрагменты неоформленного опыта. Определившись в отношении общей концептуальной схемы науки в самом широком смысле, мы определяем нашу онтологию; а соображения, определяющие разумное конструирование любой части этой концептуальной схемы, например биологической или физической, не отличаются по виду от соображений, определяющих разумное конструирование целого. В какой степени можно утверждать относительно признания любой системы научной теории, что оно есть вопрос языка, в той же степени – но не в большей – это можно утверждать и относительно допущения любой онтологии.

Но простота как руководящий принцип конструирования концептуальных схем – не такая уж ясная и недвусмысленная идея; она вполне способна задать двойной или множественный стандарт. Представим себе, например, что мы изобрели самый экономичный набор понятий,

A. Sur la notion d'existence dans les mathématiques // L'Enseignement mathématique, № 34, 1935–1936, pp. 18–32; Black M. The Nature of Mathematics. London: Kegan Paul, 1933; New York: Harcourt Brace, 1934.

пригодных для детального отчета о непосредственном опыте. Допустим, что сущности, предполагаемые этой схемой, – значения связанных переменных – представляют собой индивидуальные субъективные события ощущения или рефлексии. Мы все же, несомненно, обнаружим, что физикалистская концептуальная схема, нацеленная на описание внешних объектов, дает большие преимущества при упрощении всех наших отчетов. Сводя воедино рассеянные чувственные события и имея с ними дело как с восприятиями одного объекта, мы сводим сложность нашего потока опыта к управляемой концептуальной простоте. Правило простоты, конечно, является нашей руководящей максимой, когда мы закрепляем за чувственными данными объекты: мы связываем предыдущее и последующее ощущение круглого с одним и тем же так называемым пенни или с двумя разными так называемыми пенни, подчиняясь требованиям максимальной простоты нашей совокупной картины мира.

Здесь у нас есть две конкурирующие концептуальные схемы: феноменалистская и физикалистская. Какая из них победит? Каждая имеет свои преимущества; каждая по-своему проста. Каждая, я полагаю, заслуживает, чтобы ее развивали. О каждой действительно можно сказать, что она фундаментальнее, хотя и в разных смыслах: одна – эпистемологически фундаментальна, другая – физически.

Физическая концептуальная схема упрощает наше описание опыта, поскольку позволяет связывать мириады разрозненных чувственных событий с единичными так называемыми объектами; но все же неправдоподобно, чтобы каждое предложение о физических объектах можно было действительно перевести на феноменалистический язык каким угодно сложным и непрямым способом. Физические объекты – это постулированные сущности, завершающие и упрощающие наше описание потока опыта, точно так же, как введение иррациональных чисел упрощает законы арифметики. С точки зрения только концептуальной схемы элементарной арифметики рациональных чисел расширенная арифметика рациональных и иррациональных чисел имела бы статус удобного мифа, более простого, чем буквальная истина (а именно арифметика рациональных чисел), и все же содержащая эту буквальную истину как свою отдельную часть. Подобным образом с феноменалистической точки зрения концептуальная схема физических объектов представляет собой удобный миф, более простой, чем буквальная истина, и все же содержащий ее как свою отдельную часть¹².

А что делать с классами или атрибутами физических объектов? С точки зрения строго физикалистской концептуальной схемы платонистическая онтология такого вида является мифом в той же степени, в какой сама физикалистская концептуальная схема является мифом для феноменализма. Этот высший миф, в свою очередь, хорош и полезен постольку, поскольку он упрощает наше описание физики. Поскольку математика является неотъемлемой частью этого высшего мифа, его польза для физической науки вполне очевидна. Но то, что я тем не менее говорю о классах и атрибутах как о мифе, отражает ту философию математики, которую я ранее упоминал, называя ее формализмом. Между тем чистый эстет или феноменалист может, в свою очередь, с равным правом отнести формализм к физической концептуальной схеме.

Есть удивительно точная в некоторых дополнительных и, возможно, случайных отношениях аналогия между мифом математики и мифом физики. Взять, к примеру, ускоренный в начале века открытием парадокса Рассела и других антиномий теории множеств кризис в основаниях математики. Эти противоречия приходилось устранять неинтуитивными средствами *ad hoc*¹³; наше математическое мифотворчество стало взвешенным и ясным для всех. А что же физика? Здесь возникло противоречие между волновым и корпускулярным описаниями света; и если это противоречие не было таким совершенным, как парадокс Рассела, то потому лишь, я подозреваю, что физика не так совершенна, как математика. С другой стороны, второму великому современному кризису в основаниях математики – ускоренному в 1931 г.

¹²Арифметической аналогией я обязан Франку. См.: *Frank P. Modern Science and Its Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 1949, pp. 108 f.

¹³См.: *Quine W. V. From a Logical Point of View*, pp. 90 ff., 96 ff., 122 ff.

гёделевским¹⁴ доказательством того, что арифметика содержит нерешаемые утверждения, – сопровождал кризис в физике в виде принципа неопределенности Гейзенберга.

На предшествующих страницах я взялся показать, что некоторые общие аргументы в пользу определенных онтологий ошибочны. Затем я выдвинул ясный стандарт решения вопроса о том, каковы онтологические обязательства теории. Но какую онтологию в самом деле следует принять? – этот вопрос остается открытым. Очевидный совет, который здесь можно дать, – это терпимость и экспериментаторский дух. Пусть мы какими угодно средствами выяснили, насколько физикалистская концептуальная схема может быть сведена к феноменилистической; но и физикой все равно надо продолжать заниматься, так как она несводима *in toto*. Пусть мы увидели, как или до какой степени естественная наука может считаться независимой от платонистической математики; но давайте также продолжать заниматься математикой и углубляться в ее платонистические основания.

Среди различных концептуальных схем, наилучшим образом подходящих к этим разным занятиям, одна – феноменилистическая – притязает на эпистемологический приоритет. Если смотреть изнутри феноменилистической концептуальной схемы, онтологии физических объектов и математических объектов представляют собой мифы. Между тем качество мифа относительно; в данном случае – относительно эпистемологической точки зрения. Эта точка зрения – одна из многих, она соответствует одному из множества наших различных интересов или одной из множества наших различных целей.

OCR: Александр Гребеньков, greb@kursknet.ru

¹⁴Gödel K. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme // Monatshefte für Mathematik und Physik, №38, 1931, pp. 173–198.